



Альфонс Доде

Джек

Посвящаю эту книгу, полную сострадания, гнева и иронии, моему другу и учителю Гюставу Флоберу. Альфонс Доде

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I. МАТЬ И ДИТЯ

— Вначале «Дж», ваше преподобие, да, да, «Дж»! Имя пишется и произносится на английский манер... Вот так — Джек... Крестный отец ребенка был англичанин, начальник главного штаба индийской армии... лорд Пимбок... Может, вы, часом, его знаете? Человек в высшей степени благовоспитанный и принадлежащий к знати, о, не сомневайтесь, господин аббат, к самой что ни на есть знати!.. И как он вальс танцует!.. Впрочем, он погиб ужаснейшим образом в Сингапуре уже несколько лет назад, во время грандиозной охоты на тигра, которую устроил в его честь некий раджа, один из его друзей... Тамошние раджи, говорят, настоящие царьки... А уж этого в тех краях все знают... Как же его зовут?.. Погодите-ка... Боже мой!.. Имя так и вертится, так и вертится у меня на языке... Рана... Рама...

— Простите, сударыня... — перебил ее ректор, против воли улыбаясь этому словоизвержению и беспрестанному перескакиванию с одного предмета на другой. — Ну, а что мы напишем после имени Джек?

Опершись локтем на стол, за которым он перед тем писал, и чуть склонив голову набок, достойный пастырь краешком глаза с тонкой усмешкой и присущей духовным лицам пронизательностью поглядывал на сидевшую против него молодую женщину, возле которой стоял ее Джек.

То была

элегантная особа, одетая изысканно, по моде и по сезону: дело происходило в декабре 1858 года; ее пушистые меха, дорогой черный костюм, обдуманная оригинальность шляпки — все говорило о том, что женщина эта привыкла к роскоши, что у нее свой выезд и от мягких ковров она прямо переходит к подушкам кареты, минуя пошное посредство улицы.

У нее была маленькая голова, отчего женщины всегда кажутся гораздо выше, красивое личико, покрытое нежным пушком, подвижное, смеющееся, освещенное наивными и ясными глазами и ослепительно белыми зубками, которые она не упускала случая показать. Черты ее лица были необыкновенно подвижны, и что-то в этой занятой мордочке — то ли нижняя

губка, чуть оттопыренная от безудержной болтовни, то ли узкий лоб, над которым блестели гладко уложенные и разделенные пробором волосы, — указывало на отсутствие здравого смысла, на некоторую ограниченность ума и объясняло, почему эта премилая особа в разговоре то и дело перескакивает с одной темы на другую; слушая ее, вы невольно вспоминали о тех крохотных японских корзиночках строго рассчитанного размера, которые входят одна в другую, и последняя при этом всегда остается пустой.

Чтобы лучше представить себе ребенка, вообразите мальчугана лет семи или же восьми, худощавого, не по летам высокого и наряженного по английской моде, как того и требовало имя Джек: голые коленки, плоская шапочка с серебряной лентой, плед. Костюм, пожалуй, был по возрасту, но не соответствовал долговязой фигуре и уже сильной шее мальчика. Его замерзшие мускулистые икры буквально выпирали из причудливого одеяния, словно стыдливо протестуя своей преждевременной мощью против него. Мальчик и сам явно тяготился этим: неуклюжий, робкий, он не поднимал глаз от земли и только временами бросал отчаянный взгляд на свои голые ноги, будто проклинал в душе лорда Пимбока, а заодно и всю индийскую армию, по вине которых его так вырядили.

Он походил на мать, но в его наружности было нечто более утонченное, более значительное, то, что отличает освещенное мыслью мужское лицо от смазливого женского личика. Словно бы тот же взгляд, да более глубокий, тот же лоб, но более высокий, тот же рот, только выражавший большую решительность.

Мысли и впечатления скользили по лицу женщины, не оставляя ни следа, ни морщин; они так торопливо, так быстро сменяли друг друга, что из-за этого в ее глазах, казалось, постоянно жило удивление. В ребенке, напротив, ощущалась работа ума, и вид его, чересчур уж задумчивый, мог бы даже вызвать тревогу, если бы не медлительная повадка, если бы не некоторая томность этого мальчугана с робкими и вкрадчивыми движениями, который рос, держась за маменькину юбку.

Вот и сейчас, прильнув к матери, засунув руку в ее муфту, он с немым обожанием прислушивался к ее речам, время от времени посматривая на священника и озираясь по сторонам со сдержанным и боязливым любопытством.

Он дал обещание не плакать.

Лишь иногда подавленный вздох, словно заглушенное рыдание, сотрясал его с головы до пят. И тогда мать кидала на него быстрый взгляд, будто говоря: «Помнишь, что ты мне обещал?..» И мальчик сразу же удерживал вздохи и слезы; однако заметно было, как сильно он горюет и как боится, что его покинут: пансион, куда впервые попадают малыши, которые дотоле воспитывались дома, кажется им местом изгнания.

Священник уже несколько минут присматривался к матери и сыну; более поверхностный наблюдатель, пожалуй, удовольствовался бы этим, но отец О., который уже четверть века стоял во главе аристократического учебного заведения, находившегося под эгидой иезуитов из Вожирара, был слишком сведущ в мирских делах, слишком хорошо знал высший парижский свет, досконально изучил, как там разговаривают и как ведут себя, а потому без труда угадал в матери нового воспитанника посетительницу особого сорта.

Самоуверенность, с какой она вошла в его кабинет, самоуверенность слишком подчеркнутая и уже по одному этому ненатуральная, манера сидеть, откидываясь на спинку стула, звонкий, слегка искусственный смех, а главное, неиссякаемый поток слов, при помощи которого она, казалось, скрывала какую-то тяготившую ее мысль, — все настораживало священника. На беду, в парижском обществе все до того перемешалось, одни и те же развлечения и места для прогулок, схожие наряды сделали различия между женщинами, принадлежащими к высшему свету и принадлежащими к полусвету, между лореткой, умеющей себя держать, и

маркизой, которая себе многое позволяет, настолько тонкими и неуловимыми, что даже самые опытные люди могут при первом знакомстве впасть в ошибку; вот почему ректор с таким вниманием рассматривал свою посетительницу.

Особенно смущала его эта бессвязная речь. Как было уследить за ее прихотливыми, крутыми поворотами, походившими на прыжки белки в колесе! И все же, хоть его, видимо, и старались запутать, у священника почти сложилось определенное мнение. Замешательство матери, когда он спросил, как фамилия Джека, окончательно убедило его.

Дама покраснела, смутилась, запнулась.

— В самом деле, — пролепетала она, — простите меня... Я ведь еще не представилась... Где моя голова?

Достав из кармана миниатюрный, надушенный, как саше, футляр из слоновой кости, где хранились визитные карточки, она вынула оттуда одну из них, на которой удлинненными буквами было начертано броское, но ничего не значащее имя:

Ида де Баранси

Ректор едва заметно улыбнулся.

— И ребенок носит ату фамилию? — спросил он.

Вопрос прозвучал почти оскорбительно. Дама все поняла, смешалась еще больше и, чтобы скрыть смятение, надменно проговорила:

— Ну, разумеется, господин аббат... разумеется!

— Вот как! — без тени улыбки проговорил священник.

Теперь уже он не знал, как выразить то, что следовало сказать. Он сгибал и разгибал визитную карточку, и губы у него чуть дрожали, как у человека, сознающего значение и важность слов, которые он сейчас произнесет.

Внезапно он поднялся, подошел к одной из высоких застекленных дверей, выходящих прямо в густой сад, где росли великолепные деревья, сад, казавшийся багряным под лучами красного зимнего солнца, и негромко постучал по стеклу. За окнами скользнул темный силуэт, и почти тотчас же на пороге кабинета возник молодой священник.

— Вот что, мой милый Дюфье, — сказал ректор, — погуляйте с ребенком... Покажите ему нашу церковь, наши теплицы... А то бедный мальчик заскучал...

Джек подумал, что прогулка — лишь предлог, чтобы разом покончить с тягостным прощанием перед разлукой, и в его глазах отразились такое отчаяние и страх, что добрый священник мягко успокоил его:

— Не бойся, голубчик... Твоя мама не уйдет... Ты найдешь ее здесь.

Мальчик все еще был в нерешительности.

— Ступайте, милый!.. — с царственным жестом произнесла г-жа де Баранси.

И он тотчас же вышел — без звука, без жалобы, как будто жизнь уже сломила его, подготовила к беспрекословному повиновению.

Когда за ребенком закрылась дверь, в кабинете ненадолго воцарилось молчание. Слышно было, как удаляются шаги Джека и его спутника, как под их ногами поскрипывает

затвердевший на холоде песок, как потрескивает пламя в камельке, как чирикают воробьи на ветках. Откуда-то неслись звуки фортепьяно, голоса, шорохи наполненного людьми дома — словом, повседневный шум большого учебного заведения в часы занятий, приглушенный закрытыми на зиму окнами.

— Мальчик, видимо, очень вас любит, сударыня, — сказал ректор, растроганный грацией и покорностью Джека.

— Как же ему не любить меня! — воскликнула г-жа де Баранси, быть может, уж слишком мелодраматически. — Ведь у несчастного малютки нет никого на свете, кроме матери!

— Ах! Стало быть, вы вдова?

— Увы, ваше преподобие! Муж мой умер десять лет назад, в самый год нашей свадьбы, и при весьма печальных обстоятельствах... Ах, господин аббат! Сочинители, которые бог знает где ищут приключений для своих героинь, даже не подозревают, что самая заурядная жизнь стоит десяти романов... И лучшее тому доказательство — моя судьба... Итак, граф де Баранси принадлежал, как вы уже, верно, поняли по его имени, к одному из самых старинных родов в Турени...

Она попала впросак. Отец О., как нарочно, родился в Амбуазе и отлично знал все дворянство своей провинции. В тот же миг граф де Баранси очутился в одной компании с начальником главного штаба Пимбоком и раджей из Сингапура, которые с самого начала были на подозрении у священника. Однако он и вида не показал и удовольствовался тем, что спокойно прервал мнимую графиню.

— Не кажется ли вам, как и мне, сударыня, — спросил он, — что, пожалуй, жестоко уже сейчас разлучать с вами ребенка, который, судя по всему, настолько к вам привязан? Он еще так мал! Достанет ли у него сил перенести столь горестную разлуку?..

— Вы ошибаетесь, сударь, — ответила она простодушно. — Мой Джек на редкость здоровый ребенок. Он в жизни не хворал. Может, он немного бледен, но это от парижского воздуха, мальчик к нему еще не привык.

Раздосадованный тем, что она не поняла его с полуслова, священник снова заговорил, уже с некоторым раздражением:

— Ко всему еще наши дортуары сейчас переполнены... Ведь занятия давно начались... Мы даже вынуждены были предложить некоторым уже зачисленным ученикам обождать до будущего года... Я буду вам весьма обязан, если и вы сообразовываете подождать. Пожалуй, тогда можно будет попытаться... Однако поручиться я не могу.

Она поняла.

— Значит, вы отказываетесь принять моего сына? — проговорила она, бледнея. — Но вы по крайней мере не откажетесь сказать мне, почему?

— Сударыня! — ответил священник. — Я бы многое отдал, чтобы это объяснение не понадобилось, но коль скоро вы меня к нему вынуждаете, я обязан довести до вашего сведения, что вверенное мне заведение требует от семейств, поручающих нам воспитание своих детей, безупречной нравственности... В Париже достаточно светских учебных заведений, где ваш маленький Джек обретет все то, в чем он нуждается, но у нас это невозможно. Заклинаю вас, — прибавил он, заметив ее протестующее и возмущенное движение, — не вынуждайте меня к дальнейшим объяснениям... Я не вправе вас ни о чем спрашивать, ни в чем упрекать... Сожалею, что причиняю вам боль. Верьте, что мой решительный отказ столь же неприятен мне самому, как и вам.

Пока священник говорил, лицо г-жи де Баранси выражало то обиду, то высокомерие, то замешательство. Сперва она попыталась сохранить самообладание, высоко подняла голову и приняла непроницаемый вид, но доброжелательство, прозвучавшее в словах ректора, нашло отклик в этом легкомысленном существе, и молодая женщина внезапно разразилась жалобами, слезами, признаниями, пустилась в шумные и горестные излияния.

О да! Что и говорить, она так несчастна! Никто даже не подозревает, сколько она уже выстрадала из-за этого ребенка...

Ну да! У ее дорогого несчастного малыша нет фамилии, нет отца, но разве он повинен в своей беде, разве он должен отвечать за грехи родителей? «Ах, господин аббат, господин аббат, умоляю вас!..»

В порыве крайнего самозабвения, который при менее серьезных обстоятельствах мог бы вызвать улыбку, она завладела рукой священника, холеной, как у епископа, мягкой и белой рукой, а тот не без смущения осторожно пытался ее высвободить.

— Успокойтесь, милая! — уговаривал он, напуганный этим взрывом отчаяния, этим потоком слез, ибо плакала она, как ребенок, каким, в сущности, она и была, захлебываясь от рыданий, громко всхлипывая, не сдерживаясь, как это свойственно вульгарным натурам.

«Господи, что стану я делать, если ей вздумается упасть в обморок?» — думал бедный священник.

Однако все попытки успокоить посетительницу приводили ее в еще большее возбуждение.

Она жаждала оправдаться, все объяснить, поведать о своей жизни, и ректору поневоле приходилось следовать за нею по темному лабиринту ее рассказа — обрывистому, запутанному, бесконечному, куда она очертя голову устремилась, теряя на каждом шагу путеводную нить и нимало не задумываясь над тем, как она выберется оттуда на свет.

Фамилия де Баранси не настоящая ее фамилия... О, если бы она могла назвать свое имя, свое подлинное имя, все были бы ошеломлены! Однако честь одного из самых древних родов Франции — да, да, одного из самых древних — неотделима от него, и ее скорее убьют, чем вырвут это имя!

Ректор попробовал было торжественно заверить ее, что он вовсе не думает посягать на эту тайну, — куда там! Она его не слушала. Легче было остановить крылья ветряной мельницы на полном ходу, чем этот вихрь слов, крутившийся в пустоте. Но особенно она старалась доказать, что принадлежит к высшей знати, что ее бесчестный оболститель также носит громкое имя и что ко всему еще она жертва фатального стечения обстоятельств.

Чему тут следовало верить? По-видимому, ни единому слову, ибо эта бессвязная речь изобиловала недомолвками и противоречиями. Лишь одно в ее рассказе не вызывало сомнений — искренняя, волнующая, даже трогательная взаимная привязанность матери и ребенка. Они еще никогда не расставались. Мальчик занимался дома, куда к нему приезжали учителя, и теперь она решается на разлуку с ним только потому, что ум его слишком быстро пробуждается, глаза все время вопрошают и никакие меры предосторожности уже не помогают.

— Лучше всего, — внушительно произнес священник, — упорядочить вашу жизнь, сделать ваше жилище достойным ребенка, который в нем живет.

— Я и сама постоянно об этом думаю, господин аббат... — ответила она. — По мере того, как растет Джек, я, поверьте, становлюсь более серьезной. Кстати, в самом ближайшем будущем положение мое упрочится... Один человек уже давно домогается моей руки... Но, пока суд да

дело, я предпочла бы удалить ребенка из дому, чтобы он не был свидетелем моей неустроенной жизни и получил аристократическое и христианское воспитание, достойное гордого имени, которое он должен был бы по праву носить... И я подумала, что нигде ему не будет так хорошо, как тут, но вы его отталкиваете и тем самым обескураживаете мать, полную самых благих намерений...

Казалось, ректор заколебался. Он с минуту помолчал, а потом произнес, глядя ей прямо в глаза:

— Так и быть, сударыня. Коль скоро вы на этом настаиваете, я уступаю. Ваш маленький Джек мне очень понравился. Я согласен принять его в число наших воспитанников...

— О, ваше преподобие!..

— Однако я ставлю два условия.

— Я готова принять любые.

— Первое: до того дня, пока ваше положение не упрямится, ребенок будет проводить все праздники и даже вакации у нас в заведении, домой его отпускать не будут.

— Но Джек захиреет, если ему не позволят видеться с матерью.

— Сами-то вы можете навещать сына так часто, как вам захочется, но — и это второе наше условие — вы никогда не будете видеться с ним в гостиной, а только здесь, у меня в кабинете, и я устрою так, чтобы вы ни с кем не сталкивались.

Она встала, дрожа от возмущения. Мысль, что она не будет вхожа в гостиную, не сможет приобщиться к очаровательной суматохе по четвергам, когда матери кичатся друг перед другом красотой своих детей, дорогими нарядами и каретами, поджидающими их у ворот, что она не сможет говорить своим подружкам: «Вчера я встретила у отцов-иезуитов с госпожой де В. и госпожой де С., дамами из общества», что ей придется тайком видеться с Джеком, обнимать его где-то в уголке, — все это привело ее в негодование.

Лукавый священник бил наверняка!

— Вы жестоки ко мне, господин аббат, вы меня вынуждаете отказаться от того, за что я еще минуту назад благодарила вас, как за милость, но я должна оберегать свое достоинство матери, достоинство женщины. Условия ваши неприемлемы. Что подумал бы мой мальчик о...

Дама остановилась: она увидела, что из-за стеклянной двери на нее смотрит мордочка ее белокурого сынишки, порозовевшая от холодного воздуха и лихорадочного волнения. По знаку матери ребенок быстро вошел в комнату.

— Ох, мама, какая же ты прелесть!.. Хоть меня и успокаивали... но я-то был уверен, что ты уехала.

Она схватила его за руку.

— Ты уедешь вместе со мной, мы тут не пришлишь ко двору.

И с этими словами она торопливо направилась к дверям — прямая, надменная, — таща за собой ребенка, пораженного этим неожиданным уходом, напоминавшим бегство. Она едва кивнула в ответ на почтительный поклон доброго священника, который поднялся со своего места. Но как ни поспешно было ее бегство, Джеку все же удалось расслышать, как мягкий голос прошептал ему вслед: «Несчастный ребенок!.. Несчастный ребенок!..» Участие,

прозвучавшее в этом восклицании, потрясло мальчика.

Его жалели... Почему?..

Впоследствии он нередко думал об этом.

Ректор не ошибся.

Графиня Ида де Баранси была графиней только на словах.

Фамилия ее была не де Баранси; возможно, и звали ее вовсе не Ида. Откуда она явилась? Кто она была? Имелась ли хоть крупица правды во всех ее рассказах о знатном происхождении, на котором она была помешана? Никто не мог бы этого сказать. У таких особ столь запутанная жизнь, столь причудливая судьба, в ней так много подспудного, за плечами у них такое долгое и полное приключений прошлое, что людям известно только их нынешнее обличье. Они походят на вертящиеся маяки, где вспышки света перемежаются и чередуются с долгими периодами тьмы.

Лишь одно не вызывало сомнений: она не была парижанкой, о чем свидетельствовал ее провинциальный выговор. Парижа она совсем не знала и, как выражалась ее камеристка мадемуазель Констан, понятия не имела о столичном лоске.

«Провинциальная кокотка...» — пренебрежительно говорила камеристка о своей хозяйке.

Как-то вечером в театре Жимназ два лионских негоцианта приняли ее за некую Мелани Фавро, у которой в свое время была лавка «духов и перчаток» на площади Терро, однако эти господа ошиблись и долго просили прощения. В другой раз какой-то офицер из третьего гусарского полка посмел принять ее за некую Нана, которую он знал лет восемь назад в Орлеанвиле. Ему тоже пришлось просить прощения, ибо и он допустил оплошность. Досадное и неуместное сходство!

Так или иначе г-жа де Баранси немало путешествовала и отнюдь этого не скрывала, но лишь волшебник мог бы обнаружить что-либо подлинное и достоверное в том потоке слов, которые она извергала, едва дело касалось ее происхождения или прошлой жизни. Сегодня Ида рассказывала, будто она родилась где-то в колониях, говорила о своей матери, прелестной креолке, о своих плантациях и негритянках, завтра оказывалось, что она родом из Турени и все детство провела в большом замке на берегу Луары. И какие подробности, какие невероятные истории, а наряду с этим великолепное презрение к логике, к необходимости хоть как-то связать все эти разрозненные эпизоды своей жизни!

Как уже мог заметить читатель, в ее невероятных рассказах надо всем господствовало тщеславие, тщеславие болтливой зеленой попугая. Знатное происхождение, богатство, деньги, титулы — она только этим и бредила.

Впрочем, богатой-то она была или, во всяком случае, была на содержании у богача. Только недавно он снял для нее уютный особнячок на бульваре Османа. В ее распоряжении были лошади, экипажи, красивая мебель, хотя и сомнительного вкуса, прислуга. Ее существование было пустым, праздным, бездумным, каким оно всегда бывает у подобных особ, но в отличие от большинства из них она еще сохранила некоторую застенчивость и неуверенность в себе, что, без сомнения, сообщила ей провинция, где лучше, чем в Париже, умеют остерегаться женщин определенного толка. Это обстоятельство, а также бесспорная свежесть, — вероятно, следствие того, что детство она прожила на воздухе, — пока выделяли ее из среды дам парижского полусвета, где она, впрочем, еще не успела занять достойное место, так как совсем недавно сюда приехала.

Каждую неделю ее навещал мужчина средних лет, седеющий и элегантный. Упомянув о нем,



Ида так торжественно говорила «мсье», будто дело происходило при французском дворе в ту пору, когда так именовали брата короля. Мальчик называл его просто «милый дядя».

Слуги же, докладывая о нем, почтительно произносили «его сиятельство», а в разговорах между собой выражались куда более фамильярно — «ее старик».

«Ее старик» был, должно быть, очень богат, ибо г-жа де Баракси ни о чем не заботилась, и деньги просто таяли в этом доме, где всем заправляла мадемуазель Констан, камеристка и «правая рука» хозяйки, единственная, с кем тут по-настоящему считались. Констан сообщала хозяйке адреса поставщиков и наставляла эту неопытную провинциалку, как следует вести себя в Париже, чтобы прослыть дамой из хорошего общества, так как у этой дамы полусвета была одна мечта, одно желание, зародившееся, без сомнения, тогда, когда ей улыбнулось счастье, — желание казаться порядочной женщиной, благовоспитанной, благородной и безупречной.

Вот почему нетрудно вообразить себе состояние, в какое привел нашу даму прием, оказанный ей отцом О., и ярость, которая овладела ее душой, когда она выходила от него.

Элегантная двухместная карета ожидала ее у ворот учебного заведения. Она не поднялась, а просто кинулась в карету вместе с сыном, но у нее все же достало сил громко приказать кучеру: «В мой особняк!» Ей явно хотелось, чтобы ее услышали священники, беседовавшие у подъезда и отпрянувшие, уступая дорогу этому вихрю мехов и локонов.

Едва карета покатила, незадачливая просительница откинулась назад, но отнюдь не в той картинной позе, в какой она обычно красовалась на прогулках, нет, она забилась в самый угол, удрученная, со слезами на глазах, пытаясь заглушить рыдания и громкие вздохи в плотной шелковой обивке экипажа.

Какой срам! Они отказались принять ее ребенка! И этот священник с первого взгляда раскусил ее. А она-то думала, что так ловко скрывает свое истинное лицо под сверкающей и лживой маской светской женщины и безукоризненной матери.

Стало быть, сразу понятно, кто она такая!

Уязвленная гордость то и дело воскрешала в ее памяти пронизательный взгляд священника. Это было нестерпимо, и при одном воспоминании о нем ее кидало в жар, и она заливалась краской. Чего она только не болтала, чего только не придумывала — и все зря! А эта его улыбка, эта недоверчивая улыбка! Даже она не заставила Иду вовремя остановиться, а ведь он ее сразу же разгадал!

Неподвижный и молчаливый, Джек, съездившись в другом углу кареты, печально глядел на мать, не понимая, отчего она так убивается. Мальчик чувствовал, что он причина ее горя, и бедняжку мучило ощущение собственной вины, но к этой грусти примешивалась немалая радость оттого, что его не приняли в пансион.

Подумать только! Вот уже две недели в доме все разговоры вертелись вокруг этого Вожирара. Мама взяла с него обещание не плакать, хорошо вести себя. «Милый дядя» вразумлял его. Констан купила ему все, что нужно для пансиона. Все было подготовлено, решено. Он уже не жил, он только трепетал при одной мысли об этой темнице, куда все старались его спровадить. И вот в последнюю минуту его пощадили.

Эх, если бы мама так не горевала, как бы горячо он благодарил ее! До чего чудесно было бы сидеть, укрывшись теплой меховой полостью и прижавшись к матери, в этой маленькой карете, в которой они совершили столько славных прогулок вдвоем! А сколько таких прогулок еще ждало их впереди! Джек припоминал послеобеденные часы в Булонском лесу, долгие очаровательные поездки по Парижу, который даже в грязь и холод таил для обоих столько

новизны, вызывал одинаковый интерес у матери и у сына. Памятник, встреченный на пути, малейшее происшествие на улице — все забавляло их.

— Гляди, Джек!..

— Гляди, мамочка!..

Точно двое детей... В оконце кареты одновременно появлялись золотистые локоны малыша и лицо матери под густой вуалью...

Отчаянный вопль г-жи де Баранси внезапно отвлек ребенка от этих светлых воспоминаний.

— Боже мой! Боже мой! Что я такое совершила? — причитала она, ломая руки. — Что я такое совершила? Почему я так несчастна?

Вопрос этот, натурально, остался без ответа, ибо мальчик-то уж совсем не знал, что она такое натворила. Не находя, что сказать матери, не умея утешить ее, он робко взял руку Иды и пылко, точно настоящий влюбленный, прильнул к ней губами.

Она встрепенулась и потерянно взглянула на него.

— Ах, жестокое, жестокое дитя! Сколько горя ты причинил мне с тех пор, как появился на свет!

Джек побледнел.

— Я?.. Я причинил тебе горе?

Только одно существо на всей земле он знал и любил — свою маму. Он считал ее красивой, доброй, бесподобной! И вот, сам того не желая, сам того не ведая, причинил ей горе.

При этой мысли бедного малыша охватило отчаяние, но отчаяние безмолвное, словно после бурного взрыва горя, свидетелем которого он только что стал, ему неловко было открыто высказывать собственную боль. Его била дрожь, сотрясали подавленные рыдания, нервная спазма.

Испуганная мать обняла и прижала его к себе.

— Нет, нет, я пошутила... Да ты у меня совсем еще младенец! И до чего ж чувствительный!.. Вы только поглядите на этого голенастого неженку! Выходит, его надо баюкать, как грудного! Нет, Джек, голубчик, ты никогда не причинял мне горя... Это я, глупая, впутываю тебя во все дела... Ну ладно, не плачь... Разве я плачу?

И эта взбалмошная женщина, забыв о своих горестях, уже смеялась от всего сердца, стараясь развеселить сына. То было одно из самых счастливых свойств ее переменчивой и неглубокой натуры — она ни на чем не умела долго задерживаться. Странная вещь: слезы словно придали еще больше юного блеска ее лицу — так проливной дождь, скользя по оперению голубок, только усиливает его блеск и глянец, не проникая сквозь перышки.

— Где это мы? — внезапно спохватилась она, опуская запотевшее стекло. — Ах, уже церковь Магдалины!.. Как быстро доехали!.. погоди, а что, если мы заглянем к этому... да ты знаешь, к этому чудесному кондитеру... Ну, вытри глаза, глупыш... Я тебе куплю меренги.

Они вышли из экипажа возле испанской кондитерской, самой модной в ту пору.

Там было полно.

Ткани, меха задевали, теснили друг друга, будто и им не терпелось полакомиться, в зеркалах

с резными золочеными либо кремового цвета рамами отражались женские лица с приподнятыми до глаз вуалями, а вокруг весело плясали отражения молочно-белых блюдец, хрустальных бокалов, глазированных сластей различных сортов.

Все поглядывали на г-жу де Баранси и ее сына. Она была в восторге. После этого небольшого успеха и только что пережитого волнения она с жадностью набросилась на меренги и нугу, запивая сладости крошечными глотками испанского вина. Джек был воздержаннее: потрясение, которое он испытал, все еще переполняло его существо, напоминая о себе подавленными вздохами и неизлившимися слезами.

Когда они вышли из кондитерской, стояла чудесная, хотя и холодная погода, рынок возле церкви Магдалины наполнял все вокруг пряным запахом фиалок; Ида решила пойти домой пешком и отослала карету. Держа за руку Джека, она шла легкой, но медленной походкой, которая свойственна женщинам, привыкшим, что ими любят. Прогулка на свежем воздухе, освещенные витрины окончательно привели ее в хорошее расположение духа.

Внезапно перед какой-то особенно ярко сверкавшей витриной она вспомнила, что собиралась вечером на бал — маскарад, а до этого была приглашена на обед в ресторане.

— Боже милосердный!.. Совсем забыла... Подумай, Джек, голубчик, какая у меня голова... Скорей, скорей!..

Ей нужны были цветы, целый букет, и еще кое — какие мелочи. Мальчик, чья жизнь была заполнена суетою, почти в такой же мере, как и его мать, ощущал тонкое очарование этих модных развлечений: он бежал за ней вприпрыжку, взволнованный предстоящим балом, который ему не суждено было увидеть. Главной радостью Джека была красота матери, ее наряды, тот восторженный интерес, какой она вызывала на улице.

— Восхитительно... восхитительно!.. Доставьте все это ко мне на бульвар Османа.

Г-жа де Баранси бросала на прилавок свою визитную карточку и выходила, оживленно болтая с Джеком о покупках. Потом напускала на себя важный вид.

— Главное, не забудь, что я тебе говорила. Не проболтайся дяде, что я ездила на бал... Это секрет... Черт побери! Уже пять часов... Ну и попадет мне от Констан!..

Она не ошиблась.

Ее камеристка и «правая рука», высокая плотная особа лет сорока, мужеподобная и некрасивая, кинулась навстречу хозяйке, едва та переступила порог.

— Маскарадный костюм уже доставили... Разве можно так задерживаться?... Мадам нипочем не управится... Нельзя в такой короткий срок одеть ее.

— Не сердись, моя славная Констан... Если бы ты только знала, что со мной приключилось!.. Вот полюбуйся!

И она указала на ребенка. Камеристка пришла в негодование.

— Как, господин Джек! Вы возвратились? Это очень дурно, сударь мой, особенно после всего, что вы наобещали. Уж не хотите ли вы, чтобы вас отвезли в школу с жандармами?... Вот не ожидала! Ваша мама слишком добра.

— Да нет, он не виноват. Это тамошние священники не захотели... Ну, что ты на это скажешь? Нанести мне подобное оскорбление, мне... мне!..

Тут у нее снова хлынули слезы, и она опять принялась допытываться у бога, в чем она перед

ним провинилась и почему так несчастна. Присовокупите к этому съеденные меренги, испанское вино и, наконец, духоту в комнатах. Ей стало дурно.

Пришлось уложить ее в постель и, чтобы привести ее в чувство, открыть флаконы с нюхательной солью. Мадемуазель Констан хлопотала вокруг барыни с видом человека, который знает истинную цену таким припадка: она ходила взад и вперед по комнате, открывала и захлопывала шкафы с тем завидным хладнокровием, какое дает опыт; при этом у нее был такой вид, точно она хотела сказать: «Пройдет!»

Делая свое дело, она бормотала себе под нос:

— Тоже придумали везти мальчишку к отцам иезуитам... Разве этот пансион годится в его-то положении?... Спросили бы у меня, такого конфуза уж верно бы не случилось... Я бы мигом приискала подходящий пансион, да еще самый лучший!

Перепуганный Джек, видя свою мать в таком состоянии, подошел к постели; он тревожно глядел на нее и от всего сердца молил о прощении за то, что причинил ей горе.

— А ну-ка, марш отсюда, господин Джек! Вашей маме лучше. Пора ее одевать.

— Как! Ты настаиваешь, чтобы я ехала на бал, Констан?... Но мне вовсе не хочется нынче веселиться...

— Ладно уж, оставьте, я-то вас знаю. Через пять минут ни о чем и не вспомните. Взгляните-ка лучше на этот очаровательный костюм, на розовые шелковые чулочки и колпачок с бубенцами...

Она взяла в руки костюм Шалости и показала его хозяйке: бубенчики зазвенели, блески переливались на свету — и Ида не выдержала.

Пока его мать наряжалась, Джек удалился в темный будуар, где никого не было.

В этой кокетливо убранной и заставленной мебелью комнате с мягкой обивкой на стенах царил полумрак, лишь фонарь, горевший на бульваре, отбрасывал сюда слабый свет. Прижавшись лбом к оконному стеклу, мальчик стал с грустью размышлять об этом беспокойном дне и постепенно — он бы не мог толком объяснить почему-почувствовал себя тем «несчастливым ребенком», о котором тамошний священник говорил с таким сочувствием.

Как чудно: тебя жалеют, а ты себя чувствуешь счастливым! Стало быть, есть на свете несчастья, так глубоко упрятанные, что ни виновники их, ни жертвы даже не догадываются о них!

Дверь распахнулась. Мать уже закончила свой туалет.

— Пожалуйте, господин Джек! Поглядите! Красиво?..

Какая же это была прелестная Шалость, розовая и серебряная, вся в атласе! Как весело шуршали и переливались блески при каждом ее движении!

Ребенок смотрел, восхищался, а мать — напудренная, легкая, воздушная, с шутовской погремушкой в руке — улыбалась сыну, улыбалась собственному отражению в большом зеркале на ножках, уже забыв и думать о том, в чем она согрешила перед богом и отчего так несчастна.

Констан набросила ей на плечи теплую бальную накидку и проводила до кареты. Джек, опершись на перила, смотрел вниз и видел, как два крошечных розовых башмачка, шитых серебром, живые и подвижные, будто они уже кружатся в танце, спускаются по застланной

ковром лестнице, увлекая его маму далеко-далеко, на бал, куда детям ходить нельзя. Когда замерло позвякивание бубенчиков, он с потерянным видом вернулся в комнаты, впервые в жизни ощущая гнет одиночества, которое чуть не всякий вечер было его уделом.

В тех случаях, когда г-жа де Баранси не обедала дома, Джека оставляли на попечение мадемуазель Констан.

— Вы будете обедать вместе, — говорила мать.

Накрывали на два прибора, и в такие дни столовая казалась Джеку особенно пустой. Но чаще всего Констан, которую совсем не привлекала эта трапеза с глазу на глаз с мальчуганом, относила приборы на кухню, и они обедали в полуподвальном этаже, в компании с другими слугами.

Вот где было раздолье!

За перепачканным жирными пятнами, ломившимся от еды столом царило бурное и беспорядочное веселье. Естественно, «правая рука» хозяйки восседала на председательском месте и, чтобы развеселить присутствующих, не стесняясь, рассказывала о похождениях своей госпожи, выражаясь, однако, обиняками и так, чтобы не напугать малыша.

В тот вечер на кухне разгорелся шумный спор по поводу отказа вожирарских священников принять Джека в пансион. Кучер Огюстен объявил, что так оно даже лучше, не то бы они там превратили мальчишку в «иезуита и ханжу».

Мадемуазель Констан возмутили эти слова. Она «не слишком благочестива», это верно, но не желает, чтобы дурно говорили о религии. Тут спор принял иное направление, к великому огорчению Джека, который весь обратился в слух, все еще надеясь понять, почему священник, который показался ему таким добрым, не захотел принять его.

Уже не было речи ни о Джеке, ни о его матери, спор шел о верованиях каждого. Кучер Огюстен, захмелев, сделал весьма странное признание. Его бог — это солнце... Никаких других богов он не признает...

— Я — как слоны, я поклоняюсь солнцу!.. — повторял он с упорством пьяного.

Под конец его спросили, где он видел, что слоны поклоняются солнцу.

— Я это однажды видел на фотографическом снимке! — ответил он с величественным и глупым видом.

За это мадемуазель Констан назвала его безбожником и нечестивцем, а кухарка, толстая пикардийка, с чисто крестьянским лукавством старалась урезонить спорщиков:

— Оба вы не правы. Нешто о вере спорят?..

Ну, а Джек?.. Что он делал все это время?

Сидя на самом краешке стола, разомлев от жарко натопленной плиты и непрекращающегося спора этих невежественных людей, он дремал, уронив голову на руку, и его золотистые кудри рассыпались по рукаву бархатного костюмчика. В полудреме, предшествующей сну, который в конце концов сморил его за столом, сну тяжелому и томительному, он, казалось, различал шушуканье трех слуг... Теперь ему чудилось, что говорят о нем, но голоса слышались где-то далеко, очень далеко, они звучали, как в тумане.

— А от кого он у нее, ребеночек? — спрашивала кухарка.

— Ничего я об этом не знаю, — отвечала Констан. — Одно мне доподлинно известно: оставаться ему тут нельзя, и она велела приискать для него пансион.

Кучер икнул и, запинаясь, пробормотал:

— Погодите, погодите. Знаю я один пансион, да еще знаменитый, он вам вот как подойдет. Называется эта штука коллеж... нет, не коллеж... ги... гимназия Моронваля. Но это все равно что коллеж. Когда я еще жил у Саидов, у этих моих египтян, я туда возил ихнего сына, и хозяин заведения, черномазый такой, все совал мне проспекты. У меня, верно, один еще сохранился».

Кучер стал рыться в бумажнике и среди пожелтевших листков, которые он выложил на стол, отыскал самый захватанный.

— Вот, — проговорил он с торжествующим видом.

Потом расправил бумажонку и принялся читать, а вернее, с трудом разбирать по слогам:

— «Ги... гимназия... Моронваля... в... в...»

— Дай-ка мне, — прервала его мадемуазель Констан и, взяв у него из рук проспект, единым духом прочла:

— «Гимназия Моронваля, авеню Монтеня, двадцать пять. В самом красивом квартале Парижа. Семейное заведение. Большой сад. Число воспитанников ограничено. Уроки французского произношения по методу Моронваль-Декостер. Исправление всякого рода недостатков в произношении путем правильной постановки органов речи...»

Камеристка остановилась, чтобы немного отдышаться, и сказала:

— По-моему, это нам вполне годится.

— Как же не годится, — подхватила кухарка, вытаращив глаза.

— «...органов речи. Выразительное чтение, правила произношения и дыхания...»

Чтение проспекта продолжалось, но Джек уже уснул и ничего больше не слышал.

Ему снился сон.

Да, в то время, как его будущее оживленно обсуждалось за этим неопрятным кухонным столом, в то время, как его мать в розовом костюме Шалости бездумно веселилась неизвестно где, мальчик видел во сне давешнего священника, который проникновенным, кротким голосом говорил:

«Несчастный ребенок!..»

## II. ГИМНАЗИЯ МОРОНВАЛЯ

«Авеню Монтеня, 25, в самом красивом квартале Парижа», — гласил проспект Моронваля.

И впрямь невозможно отрицать, что авеню Монтеня находится в одном из самых красивых кварталов Парижа, в самом сердце Елисейских полей, и жить здесь куда как приятно, ибо с одного конца улицы видна набережная Сены, а с другого — круглая площадь и водометы,

обсаженные цветами. И все же улица кажется какой-то несурзной, разномастной, будто прокладывали ее наспех, да так и не закончили.

По соседству с внушительными особняками, украсившими закругленные свои грани зеркальными стеклами, сквозь которые можно разглядеть занавеси светлого шелка, золоченые статуэтки и аляповатые жардиньерки, лепятся жилища рабочих, хибары, откуда доносится стук молотков каретника или кузнеца. Здесь когда-то было предместье, по вечерам скрипки Мабиля до сих пор оживляют его обычным шумом модного загородного кабачка. В те времена на авеню Монтеня выходили, да, верно, и сейчас еще выходят, два-три омерзительных проулка — живое напоминание о старинной Аллее вдов, — и унылое их обличье составляло необычайно резкий контраст с окружающим великолепием.

Один из этих переулков начинался возле дома номер 25 по авеню Монтеня; именовали его проездом Двенадцати домов.

Золоченые буквы на фронте стрельчатой решетки, закрывавшей проезд, горделиво объявляли, что учебное заведение Моронваля расположено именно здесь. Но, едва миновав решетку, вы сразу же увязали в черной, зловонной, неистребимой грязи, грязи пустыря, какую оставляют вокруг себя разрушаемые либо вновь возводимые строения. Сточная канава посреди дороги, фонарь, раскачивающийся прямо над головой, два ряда низкопробных мебелишек, домишек, заплатанных старыми досками, — все переносило вас лет на сорок назад и на другой край Парижа, к заставе Лашапель или к Менильмонтану.

Вокруг всех этих деревянных домишек с их крытыми галереями, балконами, наружными лесенками сушилось белье, стояли клетки с кроликами, копошились оборванные детишки, крались худые кошки, вышагивали прирученные сороки.

Удивительное дело! На столь малом пространстве кишело множество людей — конюхи-англичане, слуги без места, целое море ветхих ливрей, лохмотьев, красных жилетов и клетчатых фуражек. Прибавьте к этому, что каждый вечер на закате сюда возвращались, завершив дневные труды, старухи, дающие стулья на подержание, запряженные козами тележки, владельцы кукольных балаганчиков, продавцы вафель, барышники, промышленяющие перепродажей редкостных собак, всякого рода попрошайки, лилипуты из цирка «Ипподром» с карликовыми пони и фанерными афишами, и вы составите себе некоторое представление об этом столь причудливо расположенном проулке: он походил на угрюмые и тесные кулисы позади великолепной декорации — позади Елисейских полей. Этот вечно клопочущий проулок, окруженный зеленой завесой деревьев, куда глухо долетал стук проезжавших экипажей, казался убогой изнанкой лежавших вокруг невозмутимо роскошных улиц.

Гимназия Моронваля отнюдь не разрушала этого живописного ансамбля.

По несколько раз в день высокий и необыкновенно тощий мулат с прямыми, ниспадающими на плечи волосами, в широкополой квакерской шляпе, сдвинутой на затылок так, что она напоминала нимб, проходил с сосредоточенным видом по проулку в сопровождении шести подростков, чья кожа была самых разных оттенков — от медно-красного до черного, как смоль. Выраженные в потертые форменные тужурки, худые, неопрятные, вялые, они походили на взбунтовавшийся отряд колониальной армии.

Это директор гимназии, г-н Моронваль, выводил на прогулку «питомцев жарких стран», как он именовал своих воспитанников. Без дела слонявшийся по улице «многоцветный» пансион, где занятия велись от случая к случаю, а также диковинная внешность его преподавателей дополняли необычную физиономию проезда Двенадцати домов.

Если бы г-жа де Баранси самолично привезла в гимназию своего ребенка, то вид сего Двора чудес,[1] которым нужно было пройти, чтобы очутиться в заведении, несомненно, устранил

бы ее, и она ни за что не согласилась бы оставить «своего дорогого сыночка» в такой клоаке. Однако визит к отцам иезуитам был настолько неудачным, встреченный ею прием был так далек от того, на какой она рассчитывала, что бедняжка Ида, в сущности весьма робкая и легко терявшаяся, опасаясь новых унижений, поручила своей камеристке, мадемуазель Констан, отвезти Джека в пансион, незадолго до того выбранный для него слугами.

И вот однажды, в печальное, холодное и снежное утро, экипаж Иды де Баранси остановился на авеню Монтеня перед золоченой вывеской гимназии Моронваля.

Проулок был пустынен, фонарь скрипел на веревке, дощатые стены лачуг и промасленная бумага, служившая оконными стеклами, — все имело такой ветхий, убогий и жалкий вид, какой придает домам недавнее наводнение либо соседство канала, набережные которого еще не сооружены.

Отважный фактотум[2] безбоязненно продвигался вперед, держа в одной руке ручку мальчика, а в другой — зонт.

Возле двенадцатого дома они остановились.

Здесь был конец проулка, в этом месте особенно узкого: протиснувшись меж двух высоких стен, он выходил на улицу Марбеф. Тонкие черные ветви вздрагивали от холода над потускневшими зелеными воротами.

Относительная чистота говорила о соседстве аристократического учебного заведения: устричные раковины, черепки, ржавые и продавленные коробки из — под сардин были старательно убраны в сторону от зеленых ворот — массивных, прочных, грозных, как будто они закрывали доступ в тюрьму или в монастырь.

Мертвую тишину, благодаря которой с улицы строения и сады гимназии казались еще обширнее, внезапно пререзал громкий звон дверного колокольчика, который резко дернула мадемуазель Констан.

От этого звона у Джека похолодело в груди, а воробьи, сидевшие все на одном дереве, как это бывает зимою, когда зерно становится редкостью и птицы инстинктивно жмутся друг к другу, испуганно взметнулись над садом и опустились на скат соседней крыши.

Между тем никто не спешил открыть, но за тяжелыми воротами послышалось шушуканье, и у маленького зарешеченного оконца, прорезанного в их толще, возникла черная толстогубая улыбающаяся физиономия с вытаращенными от удивления глазами.

— Здесь находится гимназия Моронваля?.. — спросила величественная камеристка г-жи де Баранси.

Курчавая голова уступила место другой, на этот раз маньчжурского или татарского типа, с вытянутыми щелочками глаз, сильными скулами, узким, остроконечным черепом. Потом настал черед какого-то метиса цвета кофе с молоком, любопытного и улыбчивого. Однако ворота по-прежнему оставались на запоре, и мадемуазель Констан уже начала терять терпение, как вдруг издалека донесся чей-то высокий пронзительный голос;

— Да

отопьете вы или нет, обезьяны?..

Шушуканье тотчас же усилилось — невнятное, возбужденное. Кто-то торопливо поворачивал ключ в ржавом замке, потом донеслась брань, удары, поднялась ужающая суэта, и, когда, наконец, ворота распахнулись, Джек увидел одни только спины кинувшихся врассыпную гимназистов, напуганных не меньше, чем только что взлетевшие с дерева воробьи.



У входа остался один лишь долговязый, тощий мулат; его голая шея была несколько раз обернута белым платком, отчего лицо казалось еще темнее и землистее.

Моронваль попросил мадемуазель Констан оказать ему честь и войти, после чего подал ей руку, и они двинулись через довольно большой сад, избитые дорожки и поврежденные куртины которого выглядели особенно уныло при тусклом, сумрачном свете зимнего дня.

Несколько отдельно стоящих строений причудливой формы возвышались среди мертвых лужаек. Гимназия, видимо, разместилась в здании, где раньше фотографировали лошадей: Моронваль приспособил его под учебное заведение. Одно из сооружений — просторная застекленная ротонда, пол которой был посыпан песком, — служило воспитанникам рекреационным залом. Стекла в рамах, расположенных, как в теплице, частью выбитые, частью треснувшие, были пересечены в разных направлениях несметным числом бумажных полосок.

В одной из аллей им попался навстречу негритенок в красном жилете, вооруженный огромной шваброй и ведром для угля. Он боязливо и почтительно отпрянул в сторону, пропуская директора, а тот на ходу бросил:

— Огонь в гостиной!..

При этих словах негр так перепугался и всполошился, точно ему сообщили, что гостиную охватил огонь, хотя речь шла всего лишь о том, чтобы затопить там поскорее.

Распоряжение это было отнюдь не лишним.

Вообразить себе что-либо более холодное, нежели эта большая приемная зала, облезлый, но навощенный пол которой походил на скованное льдом озеро, было невозможно. Казалось, будто мебель и та пытается уберечься от царящей здесь стужи, кутаясь в ветхие, не по мерке сделанные чехлы, — так больные в лазаретах зябко кутаются в больничные халаты.

Однако мадемуазель Констан не видела ни потрескавшихся стен, ни наготы этой огромной гостиной, походившей на частично застекленный коридор: заведение, где фотографировали лошадей, занимавшее прежде эти несуразные здания, оставило тут избыток холодного света, без которого легко можно было обойтись.

Камеристка с нескрываемым удовольствием изображала важную даму, напуская на себя значительный вид.

Она вся сияла, находила, что детям здесь, должно быть, очень хорошо — много чистого воздуха, совсем как в деревне.

— Вот именно, как в деревне... — подхватил Моронваль, угодливо изгибаясь.

Когда все усаживались, возникло минутное замешательство, как это неизменно происходит в бедных жилищах, где визитеры словно приводят в движение какие-то незримые силы.

Негритенок разводил огонь. Г-н Моронваль искал скамеечку под ноги благородной незнакомке. Наконец г-жа Моронваль, урожденная Декостер, которую поспешили предупредить, вошла и манерно поклонилась. Эта низенькая, очень низенькая женщина, с удлиненной, невыразительной физиономией, состоявшей, казалось, из одного только лба да подбородка, была, видимо, слегка кривобока. Она постоянно становилась к вам лицом, держась очень прямо и стремясь не потерять не единого дюйма роста, точно скрывала ведомый только ей бугор между плечами. Впрочем, это была весьма любезная, обходительная и достойная особа.

Она подозвала мальчика, погладила его длинные кудри, нашла, что у него чудесные глаза.

— Глаза матери... — нахально прибавил Моронваль, глядя на мадемуазель Констан.

Камеристка не торопилась разуверить его, но возмущенный Джек со слезами в голосе крикнул:

— Это не мама... это моя бонна!

При этих словах г-жа Моронваль, урожденная Декостер, слегка устыдясь допущенной фамильярности, приняла неприступный вид, что могло нанести ущерб интересам учебного заведения. Хорошо еще, что ее благоверный удвоил любезность, смекнув, что если служанке поручают отвезти господского ребенка в пансион, то уж она, верно, занимает в доме немаловажное место.

Мадемуазель Констан не преминула доказать его правоту. Говорила она громко, тоном, не допускающим возражений, и даже не думала скрывать, что выбор пансиона был всецело доверен ей. Всякий раз, упоминая о своей госпоже, она произносила ее имя таким покровительственным и небрежным тоном, что Джек чуть не плакал от досады.

Разговор зашел о плате за пансион: три тысячи франков в год, помимо белья и одежды. Назначив цену, Моронваль тотчас же стал расхваливать свой товар.

Три тысячи франков!.. Это может показаться немалой суммой. Да, да, совершенно верно, он первый готов с этим согласиться... Но ведь гимназия Моронваля не походит на прочие учебные заведения. Ее неспроста по немецкому образцу нарекли гимназией, то есть местом, где невозбранно развиваются и ум и тело. Здесь воспитанников обучают и одновременно приучают к парижской жизни. Они сопровождают своего директора в театр, посещают с ним светские салоны. Они присутствуют на публичных заседаниях, где ведутся литературные споры. Здесь не превращают учеников в ограниченных педантов, нафаршированных греческим и латынью. В них всячески развивают самые гуманные чувства, приобщают их к радостям семейной жизни, которых воспитанники — по большей части чужестранцы — уже давно лишены. Образованим в гимназии не пренебрегают, совсем напротив: самые видные люди, ученые, артисты, не задумываясь, поддержали это филантропическое начинание — они преподают здесь естественные науки, историю, музыку, изящную словесность. Кроме того, здесь каждый день занимаются французским произношением по новой безукоризненной методе, разработанной г-жой Моронваль-Декостер. Этого мало: в пансионе каждую неделю бывают вечера выразительного чтения, на которых присутствуют родственники или попечители гимназистов, — здесь они могут сами убедиться в преимуществах воспитательной системы Моронваля.

Эта длинная тирада была сравнительно быстро произнесена директором, которому тоже не мешало брать уроки произношения у своей супруги, ибо он, как все креолы, проглатывал добрую половину слов и устранял из своей речи звук «р»: Моронваль говорил «преподаватель литеатуы» вместо «преподаватель литературы», «филантропическое» вместо «филантропическое».

Нужды нет! Мадемуазель Констан была совершенно ослеплена.

Деньги, как вы понимаете, не имели для нее значения. Важно одно — чтобы ребенок получил изысканное, аристократическое воспитание.

— О, уж об этом!.. — промолвила г-жа Моронваль, урожденная Декостер, закидывая назад свою лошадиную голову.

Супруг же ее присовокупил, что он зачисляет в свою гимназию лишь благородных чужеземцев, отпрысков знатных родов, вельмож, принцев. Сейчас, кстати, у него воспитывается даже принц крови, родной сын короля Дагомеи. При этих словах восторг

мадемуазель Констан перешел всякие границы.

— Королевский сын!.. Слышите, господин Джек? Вы будете воспитываться вместе с королевским сыном!

— Да, его величество король Дагомеи, — с важностью заявил директор гимназии, — поручил мне воспитание его королевского высочества, и я льщу себя надеждой, что мне удалось превратить наследника в замечательного во всех отношениях человека.

Что происходило с негритенком, который раздувал огонь в камине? Почему он так волновался, почему с таким ужасным грохотом передвигал железное ведро для угля?

Директор между тем продолжал:

— Я уповаю, и присутствующая здесь госпожа де Моронваль-Декостер тоже уповает, что юный король, вступив на престол своих предков, будет вспоминать благие советы, благие примеры, которые преподали ему парижские наставники, будет вспоминать о чудесных годах, проведенных рядом с ними, равно как об их неустанных заботах и неизменных усилиях.

Взглянув невзначай на негритенка, который все еще возился у камина, Джек был поражен: тот повернул к нему курчавую голову и, вращая громадными белками, энергично мотал ею во все стороны, как будто что-то молчаливо, но яростно отрицал.

Может быть, он хотел этим сказать, что его королевское высочество и не подумает вспомнить о хороших уроках, полученных в гимназии Моронваля, и не сохранит к ней даже тени признательности?

Но что могло быть известно этому невольнику?

После заключительной тирады директора мадемуазель Констан объявила, что она готова, как это принято, уплатить вперед за треть учебного года.

У Моронваля вырвался горделивый жест, означавший: «С этим можно и не спешить!».

Напротив, спешить было необходимо.

Об этом вопиял весь дом: и хромоногая мебель, и потрескавшиеся стены, и потертые ковры. О том, что необходимо было спешить, твердили на свой лад и поношенный костюм Моронваля и залоснившееся, обвисшее платье низенькой дамы с длинным подбородком.

Но нагляднее всего об этом свидетельствовала та стремительность, с какой супруги Моронваль ринулись в другую комнату на поиски великолепной книги с застежками, куда вписывали имя, возраст новичка и дату его приема в гимназию.

Пока улаживались эти весьма важные вопросы, негр по-прежнему сидел на корточках перед огнем, хотя в его присутствии теперь уже не было нужды.

Камин, который сперва отказывался проглотить хотя бы щепочку, подобно тому, как сжавшийся после долгого поста желудок отказывается от какой бы то ни было пищи, сейчас алчно пожирал топливо, и усилившаяся тяга раздувала великолепное багровое пламя, своенравное и гудящее.

Сейчас негритенок, прижавший кулаки к вискам и не сводивший восторженного взгляда с огня, на сверкающем фоне которого сам он казался особенно черным, походил на какого-то бесенка.

Он широко раскрывал рот в беззвучной усмешке и тарачил глаза.

Казалось, будто он вбирает в себя тепло и свет, зябко кутаясь в невидимый плащ, сотканный из языков пламени. На улице между тем под низким, желтоватым небом кружились белые хлопья снега.

Джек пригорюнился.

У этого Моронваля, несмотря на слащавую физиономию, был злобный вид.

А главное, в этом диковинном пансионе мальчик чувствовал себя каким-то потерянным и отторгнутым от матери, словно цветные воспитанники, съехавшиеся сюда с разных концов земли, привезли с собой всю скорбь разлуки и тревогу далеких, неведомых стран.

И внезапно он вспомнил коллеж в Вожираре, такой уютный, жужжащий, как улей, наполненный жизнью, вспомнил его чудесные деревья, теплую оранжерею, царившие там доброжелательство и покой, которые он ощутил, когда рука ректора на минуту мягко легла на его голову.

Ах, почему его не оставили там?.. Но тут же он подумал, что, может быть, и здесь его не захотят принять.

На мгновение ему стало даже страшно.

У стола, склонившись над толстой книгой, супруги Моронваль и Констан о чем-то шептались, посматривая на Джека и подмигивая при этом. До него долетали обрывки фраз. Низенькая женщина с удлиненной головой глядела на мальчика с состраданием, и он дважды услышал, что и она прошептала, как вожирарскин священник:

— Несчастный ребенок!..

Как, и она тоже?

И что это они все вздумали жалеть его?

В этом сострадании было что-то пугающее, оно угнетало его. Джек чуть было не заплакал со стыда: ребенок в простоте душевной объяснял эту жалость, в которой он чувствовал пренебрежение к себе, необычностью своего костюма, тем, что у него голые коленки и чересчур длинные волосы.

Но пуще всего Джека пугало отчаяние матери в случае нового отказа.

Вдруг он увидел, что мадемуазель Констан достает из своей сумочки и раскладывает на ветхом, перепачканном чернилами зеленом сукне стола кредитные билеты и золотые двадцатифранковые монеты.

Стало быть, его оставляют.

Бедный малыш от души обрадовался: он даже не подозревал, что там, за этим столом, только что был подписан приговор ему, было положено начало несчастьям его жизни, всей его скорбной жизни.

В эту минуту из пустынного сада донесся чей-то чудовищный бас:

Девицы, что лежат под холодной землей...

Стекла в гостиной еще дрожали, когда какой-то тучный, невысокий, но коренастый и широкоплечий мужчина, коротко остриженный, с раздвоенной бородкой, шумно распахнул дверь и появился, держа в руке черную мягкую войлочную шляпу.

— В гостиной топят! — вскричал он с комическим изумлением. — Какая роскошь! Бэу! Бэу! Значит, мы заполучили новенького питомца жарких стран... Бэу! Бэу!

По свойственной многим певцам маниакальной причуде вновь пришедший постоянно стремился обнаружить в сокрытом у него в груди органе присутствие нижнего «до» — ноты, которой он сильно гордился и из-за которой постоянно тревожился: вот почему все свои фразы он завершал этими замогильными звуками: «Бэу! Бэу!». Они напоминали глухое рычание, казалось, исходившее из-под земли в том самом месте, где он стоял.

Увидев незнакомую даму, ребёнка и кучу денег, он замер, и слова застыли у него на устах. Он был ошеломлен, обрадован, потрясен, и все это отражалось на его лице, мускулы которого были, видимо, приучены воспроизводить различные чувства.

Моронваль торжественно повернулся к камеристке:

— Господин Лабассендр ив Императорской музыкальной академии, наш преподаватель пения!..

Лабассендр поклонился раз, другой, третий, потом порядка ради пнул ногой негритенка, и тот исчез, не вымолвив ни слова, и унес с собой ведро для угля.

Дверь снова распахнулась, пропустив еще двух мужчин.

Первым переступил порог уродливый человек с седящей головою и невзрачным безбородым лицом, одетый в застегнутый на все пуговицы сюртук, на лацканах которого виднелись многочисленные следы неопрятности, присущей близоруким: глаз его не было видно из-за очков с выпуклыми стеклами.

То был доктор Гирш, преподаватель математики и естественных наук.

Он распространял вокруг себя сильный запах щелочи; в результате всевозможных химических манипуляций его пальцы были разных цветов — желтого, зеленого, голубого, красного.

Человек, вошедший следом, являл собою совершенную противоположность этому пугалу.

Он был еще молод и довольно красив; его тщательно продуманный костюм дополняли светлые перчатки: нарочито отброшенные назад волосы увеличивали несоразмерно высокий лоб, взгляд у него был рассеянный и высокомерный, а густые, золотистые, сильно нафабранные усы на широком и бледном лице придавали ему вид пораженного недугом мушкетера.

Моронваль представил его:

— Наш выдающийся поэт Амори д'Аржантон, преподаватель литературы.

Увидев золотые монеты, поэт, так же как и его коллеги, не мог скрыть свое изумление... В его холодных глазах сверкнула молния, но он почти тотчас же прикрыл веки, успев, однако, бросить покровительственный взгляд на ребенка и бонну.

Затем он присоединился к другим учителям, стоявшим перед камином. Поздоровавшись, все трое молча поглядывали друг на друга с довольным и слегка растерянным выражением лица.

Мадемуазель Констан нашла, что у д'Аржантона спесивый вид, а на Джека он нагнал необъяснимый страх, смешанный с отвращением.

В будущем Джеку предстояло немало выстрадать по вине собравшихся тут людей, но больше всего — по вине этого человека. И ребенок точно предчувствовал это. Как только д'Аржантон появился в гостиной, малыш безотчетно угадал в нем «врага», а когда глаза их встретились, у него похолодело в груди.

Сколько раз в печальные часы своей жизни Джеку суждено было встречать суровый взгляд этих блекло — голубых глаз, будто спящих под набрякшими веками! Когда же они пробуждались, то сверкали стальным, бездушным блеском. Кто-то назвал глаза окнами души, но эти окна были так плотно закрыты, что возникало сомнение, есть ли вообще за ними душа.

Когда беседа между мадемуазель Констан и супругами Моронваль закончилась, мулат подошел к новому воспитаннику и легонько похлопал его по щеке.

— Ну, ну, дружок!.. Что это у нас такая постная физиономия? Пора бы уж развеселиться.

Джек и в самом деле в минуту прощания с камеристкой почувствовал, что на глаза у него навертываются слезы. Не то, чтобы он был сильно привязан к этой толстухе, но она была последним звеном, которое связывало его с домом, она все время находилась рядом с его матерью, и ему казалось, что с ее уходом разлука будет уже бесповоротной.

— Констан, Констан! — едва слышно повторял он, уцепившись за ее юбку. — Передайте маме, чтобы она приехала ко мне.

— Да, да, она приедет, господин Джек... не нужно плакать...

Ребенок и впрямь с трудом удерживал слезы. Но тут ему показалось, что все присутствующие испытующе смотрят на него, что преподаватель литературы не сводит с него насмешливого и леденящего взора, и этого было достаточно, чтобы малыш совладал со своим отчаянием.

А снег все падал и падал.

Моронваль предложил послать за извозчиком, но камеристка, ко всеобщему и величайшему изумлению, объявила, что кучер Огюстен ожидает ее в двухместной карете на углу переулка.

Черт побери, собственная карета!

— Кстати, Огюстен кое о чем просил меня, — спохватилась мадемуазель Констан. — Нет ли у вас тут воспитанника по имени Сайд?

— Да, да. Разумеется, есть... Чудесный малый! — сказал Моронваль.

— А какой у него бесподобный бас!.. Сейчас вы сами услышите!.. — прибавил Лабассендр и, высунувшись в сад, громовым голосом позвал Сайда.

В ответ послышался страшный рев, а вслед за тем появился и «чудесный малый».

Это был долговязый смуглый подросток; мундир, как и все школьные мундиры, которые подолгу носят быстро растущие дети, был ему узок и короток; в этой стянутой наподобие кафтана форменной одежде Сайд особенно походил на египтянина, правда, наряженного на европейский манер.

В довершение всего природа отпустила слишком мало кожи на долю его круглой желтой физиономии с довольно правильными чертами: кожа на ней была натянута так туго, что едва

не лопалась, и, когда у Сайда раскрывался рот, глаза его тут же зажмурились, если же открывались глаза, то захлопывался рот.

При взгляде на этого злополучного юнца, для которого не хватило кожи, вас так и подмывало сделать ему надрез, прокол или еще что-нибудь, лишь бы облегчить его участь.

Обнаружилось, что Сайд отлично помнит кучера Огюстена, который служил у его родителей и давал мальчику окурки от сигар.

— Что ему от вас передать? — спросила мадемуазель Констан с самым любезным видом.

— Ничего... — ответил воспитанник Сайд.

— А как поживают ваши родители?.. Вы получаете от них вести?

— Нет.

— Если не ошибаюсь, они собирались в Египет? Добрались они туда?..

— Не знаю... Они никогда мне не писали...

Говоря по правде, ответы этого образцового ученика пансиона Моронваль-Декостер производили не слишком отрадное впечатление, и наострившему уши Джеку лезли в голову самые странные мысли.

Равнодушие, с каким подросток упоминал о своих родителях, совершенно не вязалось с хвастливыми утверждениями Моронваля о том, будто ему удастся создать для своих воспитанников семейную обстановку, что особенно важно, ибо они по большей части лишены таких радостей с раннего детства, и на Джека все это произвело мрачное впечатление.

Мальчик представил себе, что ему суждено жить среди сирот, покинутых детей и что ему самому будет здесь так же сиротливо, как если бы он приехал из Тимбукту или с острова Таити.

И он инстинктивно цеплялся за платье недоброй служанки, которая привезла его сюда.

— Передайте маме, чтобы она приехала... чтобы она непременно приехала ко мне!

Когда дверь захлопнулась и пышная юбка камеристки исчезла из глаз, мальчик понял, что все кончено, что целый отрезок его жизни, жизни избалованного ребенка, уходит в прошлое и что никогда уже не повторятся эти счастливые дни.

Он беззвучно плакал, стоя возле двери в сад, и тут чья-то рука протянулась к нему, сжимая какой-то небольшой черный предмет.

Долговязый Сайд, пытаясь утешить Джека, протягивал ему окурки.

— Бери, бери!.. Не стесняйся... У меня их полная коробка... — говорил потешный юнец, зажмуриваясь, чтобы открыть рот.

Джек, улыбаясь сквозь слезы, мотал головой, объясняя, что ему не нужны эти замечательные окурки; ученик Сайд, который отнюдь не блистал красноречием, стоял перед ним, как истукан, не зная, что бы еще такое сказать, но тут как раз вошел Моронваль.

Он проводил мадемуазель Констан до кареты и возвращался, проникнутый почтительным сочувствием к печали нового воспитанника.

У кучера Огюстена была такая богатая меховая полость, лошадь, запряженная в

двухместную карету, казалась такой резвой, что юный де Баранси сильно вырос в его глазах. Мальчику на редкость повезло, так как обычно Моронваль, желая развеять тоску по родине, подчас овладевавшую «питомцами жарких стран», прибегал не к декостеровской, а совсем к иной методе — свистящей, хлещущей, секущей.

— Вот-вот, постарайтесь развлечь его, — сказал он Сайду. — Поиграйте вместе... Но главное — идите в залу, там теплее, чем здесь... В честь новичка я освобождаю всех от занятий до завтрашнего утра.

Несчастный новичок!

В просторной застекленной ротонде, где около десятка маленьких метисов с воплями носились как угорелые, Джека миглом окружили и наперебой стали задавать ему вопросы на непонятном жаргоне. Робкий мальчик в пледе, с золотистыми локонами и голыми икрами, неподвижно стоявший в кругу неистово жестикулировавших, худых и возбужденных «питомцев жарких стран», походил на элегантного парижанина, ненароком угодившего в вольеру для обезьян в Зоологическом саду.

Это сравнение, пришедшее в голову Моронвалю, показалось ему забавным. Однако ему недолго пришлось предаваться молчаливому веселью, его отвлек бурный спор: знакомые возгласы Лабассендра «Бэу! Бэу!» и тоненький торжественный голосок г-жи Моронваль слились в ожесточенном дуэте. Директор тотчас же смекнул, в чем дело, и устремился на помощь своей супруге, которая самоотверженно обороняла деньги, полученные за треть учебного года, от натиска преподавателей, которым давно уже не выплачивали жалованья...

Эварист Моронваль, адвокат и литератор, прибыл в Париж из Пуэнт-а-Питра[3] в 1848 году: его привез с собой в качестве секретаря некий депутат из Гваделупы.

Тогда он был еще молодым человеком, лет двадцати пяти, полным честолюбивых стремлений, неглупым и довольно образованным. Не имея денег, он принял эту полулакейскую должность, чтобы не нести расходов по поездке и добраться до грозного искусствителя — Парижа, чье зарево так далеко распространяется по земле, что привлекает к себе даже мотыльков из колоний.

Едва сойдя на берег, он бросил своего депутата, свел кое-какие знакомства и прежде всего ринулся в политику, главное оружие которой — слово и жест, уповая и тут добиться такого же успеха, какого он добивался в заморских колониях Франции. Но он не принял в расчет насмешливости парижан и своего злосчастного креольского выговора, от которого, несмотря на все усилия, ему так и не удалось избавиться.

В первый раз Моронваль выступил публично на каком-то процессе, связанном с прессой. Он ополчился на «пъезъенных хъоникёов, котые поэят литеатуу», и громовой взрыв хохота, каким была встречена его тирада, доказал злосчастному «Эваисту Моонвалю», что ему нелегко будет создать себе имя как адвокату.

Ему пришлось заняться литературным трудом, однако он довольно быстро понял, что добиться известности в Париже гораздо труднее, чем в Пуэнт-а-Питре. Спесивый, избалованный успехом в родных краях, к тому же необыкновенно вспыльчивый, он переходил из одной газеты в другую, но нигде не сумел удержаться.

Тогда-то и началась для него ужасная жизнь впроголодь, которая либо тотчас же надламывает человека, либо закаляет его навсегда. Он стал одним из тех голодных, но гордых неудачников, которых в Париже по меньшей мере десять тысяч: когда люди эти встают по утрам, голова у них кружится от голода и честолюбивых мечтаний, прямо на улице они съедают припрятанный в кармане дешевый хлебец, отщипывая от него по кусочку, чернят свое платье тушью, подбеливают воротничок сорочки бильярдным мелком и пытаются



согреться возле калориферов в церквах и в библиотеках.

Он испытал все невзгоды и унижения, какие испытывает человек, когда в кухмистерских ему отказывают в кредите, а в меблированных комнатах в одиннадцать ночи отбирают ключ, когда свечи не хватает даже на вечер, а башмаки пропускают воду.

Он с утра до вечера бесцельно бродил по Парижу, обивая пороги и хватаясь за любое предложение, сочинял гуманитарные брошюры и кропал статейки для справочных изданий по полсантима за строку, написал историк» средних веков в двух томах — по двадцать пять франков за том, составлял какие-то учебники и руководства, переписывал пьесы для специальных контор.

Был он и репетитором английского языка в различных учебных заведениях, но его всякий раз увольняли, так как по закоренелой привычке креола он поколачивал учеников. Одно время он усиленно домогался места письмоводителя в морге, но потерпел неудачу за отсутствием протекции, а также потому, что его сочли неблагонадежным.

Наконец, после трехлетнего прозябания, когда он питался главным образом редиской и сырыми артишоками, после того, как он растерял все свои иллюзии и расстроил желудок, случай помог ему получить урок английского языка в пансионе для девиц, который содержали три сестры — барышни Декостер.

Двум старшим было уже за сорок, младшей — под тридцать. Создательница «методы Декостер» была маленького роста, сентиментальная и жеманная; ей, как и сестрам, угрожало вечное безбрачие, но Моронваль сделал ей предложение, и оно было принято.

После свадьбы молодожены еще некоторое время оставались в доме; оба приносили пользу, так как давали уроки в пансионе. Но Моронваль еще с той поры, когда он бедствовал, сохранил привычку слоняться по улицам, околачиваться в кафе, и теперь орда его праздношатающихся приятелей буквально наводнила мирный и добропорядочный пансион. К тому же мулат обращался с воспитанницами так, точно дело происходило на плантации сахарного тростника. Барышни Декостер, боготворившие свою младшую сестру, были все-таки вынуждены спровадить чету Моронвалей, выделив ей в виде возмещения тридцать тысяч франков.

Как лучше распорядиться этой суммой?

Сперва Моронваль решил издавать газету либо журнал, однако страх лишиться денег взял верх над удовольствием печатать свои сочинения.

Ему нужен был надежный путь к обогащению, он долго искал его, и в один прекрасный день ему пришла в голову счастливая мысль.

Он знал, что в Париж для получения образования присылают детей из самых далеких стран. Они прибывают сюда из Персии, Японии, Индостана, Гвинеи, причем их поручают заботам капитанов кораблей или негоциантов, которые служат малышам попечителями.

Детвора эта, как правило, недостатка в деньгах не испытывает, но как с ними обращаться, не имеет понятия, и Моронваль смекнул, что напал на золотую жилу, которую нетрудно разрабатывать. Да и система г-жи Моронваль-Декостер была словно нарочно создана для того, чтобы исправлять всякого рода изъяды и погрешности в произношении иностранцев. Мулат прибег к некоторым связям, сохранившимся у него в газетах, выходивших в колониях, и опубликовал в них ошеломительную рекламу, напечатанную на нескольких языках и воспроизведенную затем в газетах Марселя и Гавра между списком отплывающих кораблей и объявлениями международного агентства «Веритас».[4]

В первый же год племянник имама с острова Занзибар и два негретенка из богатых семей с побережья Гвинеи прибыли в Батиньоль и обосновались в небольшой квартире Моронваля — квартира оказалась тесной для его коммерческого начинания. Тогда он стал искать более просторное помещение. Стремясь примирить соображения экономии с требованиями своей новой затеи, он арендовал в отвратительном переулке Двенадцати домов, отгороженном со стороны авеню Монтеня великолепной решеткой, заброшенные строения, где прежде фотографировали лошадей; заведение совсем недавно обанкротилось, ибо кони упорно отказывались входить в эту клоаку.

Можно было, пожалуй, поставить в упрек Моронвалю, что в его пансионе слишком много окон, но директор считал это делом временным, так как владельцы фотографии сумели убедить его, что домовладение будет вскоре отчуждено, ибо в этом квартале, и так уже пересеченном во всех направлениях незавершенными улицами, будто бы намеревались проложить еще одну.

Тут должен был пройти бульвар — план его якобы уже изучали. Легко представить себе, как дурно отразилось это предполагаемое отчуждение земельного участка на устройстве пансиона Моронваля. В дортуаре будет сыро? Летом температура рекреационного зала станет подниматься до температуры теплицы? Пустяки! Все дело в том, чтобы подписать долгосрочный контракт на аренду, прибить на ворота большую золоченую вывеску, а затем — ждать.

Сколько парижан за последние двадцать лет растратили свои способности, состояние, самую жизнь в таком лихорадочном ожидании!.. Эта горячка охватила и Моронваля. Обучение воспитанников, их быт отныне его не занимали.

Когда в доме требовался срочный ремонт, он отвечал: «Скоро все переменится...» — или: «Нам тут жить не больше двух месяцев...»

Он просто бредил баснословной суммой за предстоящее отчуждение и вынашивал самые невероятные планы. Он собирался придать воспитанию «питомцев жарких стран» небывалый размах, превратить свое начинание в грандиозное цивилизаторское и прибыльное дело.

А тем временем он совсем забросил гимназию, без всякого толка бегал, высунув язык, по присутственным местам и по возвращении всякий раз спрашивал:

— Ну как?..

Пъиходили по поводу отчуждения?..

Нет. Никто не приходил.

И чего они там ждут?

Наконец он понял, что его одурачили. И тогда этот от природы запальчивый, но слабохарактерный и безвольный креол пал духом и нравственно опустился. О воспитанниках и вовсе перестали заботиться. Лишь бы они пораньше укладывались спать, чтобы как можно меньше уходило дров и керосина, — большего с них не спрашивали.

День их складывался из классных занятий — бессистемных, нерегулярных, зависевших от прихоти директора — и бесконечных поручений, которыми он загроужал детей.

На первых порах старшие воспитанники посещали лицей. Впоследствии эту статью расхода упразднили, но по-прежнему включали ее в счета за каждую треть года.

Разве частные педагоги не могут с успехом заменить рутину казенного преподавания? И Моронваль созвал своих старых приятелей, с которыми сошелся в парижских кафе: медика

без диплома, поэта без издателя, певца без ангажемента — изгоев, пустоцветов, неудачников, как и он, сердитых на общество, которое не оценило их таланты.

Вы замечали, как в Париже люди такого сорта упорно тянутся друг к другу, сплачиваются, разжигают в себе требовательное недовольство, подогревают в себе пустое, бесплодное тщеславие? На самом деле один другого и в грош не ставит, но в своей компании они льстят, они восторгаются друг другом, ибо, кроме самих себя, решительно ничем не интересуются.

Судите сами, что это были за уроки, дурно оплачиваемые уроки таких педагогов! Едва ли не все время они просиживали за кружкой пива в табачном дыму, таком густом, что под конец собеседники уже не только не видели, но даже почти не слышали друг друга. Каждый говорил громко, стараясь перекрыть остальных, и они так долго жевали и пережевывали те крохи мыслей, которыми располагали, что доводили их до абсурда. В ходу у них был свой, особый, ни на что не похожий лексикон; искусство, наука, литература — словом, все высокие материи безжалостно растягивались, уродовались, кромсались ими, превращались в лоскутья, в обрывки, как это происходит с дорогими тканями под воздействием едких кислот.

Ну, а «питомцы жарких стран»? Каково было им среди такого хаоса?

Одна лишь г-жа Моронваль, сохранившая добрые традиции пансиона сестер Декостер, относилась к своим обязанностям серьезно, но починка одежды, кухня и заботы о большом, приходившем в упадок учебном заведении поглощали добрую половину ее времени.

Надо было, чтобы хоть форменная одежда воспитанников, в которой они появлялись на улице, имела приличный вид — они гордились своими мундирами, разукрашенными до локтей галуном. В гимназии Моронваля, как в иных армиях Южной Америки, солдат не существовало, были только сержанты, и это слегка утешало воспитанников, прозябавших на чужбине и терпевших дурное обращение директора.

Да, мулат шутить не любил! В самом начале триместра, когда касса гимназии пополнялась, он еще изредка улыбался, но потом не без удовольствия мстил чернокожим воспитанникам за то, что и у него в жилах текла негритянская кровь.

Свирепость Моронваля довершила то, чему положила начало его нерадивость.

Вскоре нескольких попечителей-судовладельцев, торговых агентов — ужаснула «превосходная метода воспитания» в гимназии Моронваля. Некоторых учеников забрали из пансиона. Вместо пятнадцати «питомцев жарких стран» осталось всего лишь восемь.

«Число воспитанников ограничено», — гласил проспект Моронваля. Одна только эта фраза и была в нем правдой.

Тоска и уныние царили в этом большом и пустынном заведении, ему угрожала опустошения, как вдруг в сопровождении Констан появился Джек.

Разумеется, плата, внесенная вперед за треть учебного года, была не бог весть что, но Моронваль быстро оценил ту выгоду, какую можно будет извлечь из особого положения нового воспитанника, ибо он угадывал своеобразный нрав его матери, хотя и не был еще с ней знаком.

Вот почему в тот день все получили короткую передышку-мулат был менее злобен и вспыльчив, чем обычно. В честь новичка устроили пышный обед, на котором присутствовали все педагоги, а «питомцы жарких стран» получили даже по глотку вина, чего уже давным-давно не случалось.

### III. ВЕЛИЧИЕ И ПАДЕНИЕ ЮНОГО КОРОЛЯ МАДУ-ГЕЗО

Если гимназия Моронваля существует до сих пор, а я боюсь, что так оно и есть, я почитаю своим долгом указать санитарному надзору на дортуар сего почтенного заведения, как на самое диковинное, самое сырое и самое нездоровое помещение из всех, где когда-либо укладывали детей спать.

Вообразите длинное одноэтажное строение без единого окна, куда свет проникает лишь сверху, сквозь потолок, и где стоит неистребимый запах коллодия и эфира, потому что раньше тут работали фотографы. Строение это было расположено в глубине сада, каких немало в Париже, — высокая и мрачная, глухая каменная ограда, покрытая плющом, отбрасывала тень, которая порождала плесень всюду, куда бы она ни падала.

Дортуар выходил на задний двор роскошного особняка и упирался прямо в конюшню, откуда всякий час долетал стук копыт и шум безостановочно работавшего насоса, что как нельзя лучше дополняло унылый облик этой пропитанной сыростью каменной коробки, источника ревматизма; поперек ее стен, как раз посередине, шла, точно ватерлиния, зловещая зеленая полоса.

С января и по декабрь тут всегда было сыро, с той только разницей, что — смотря по времени года — воздух здесь был либо ледяной, либо горячий и влажный. Летом эта душная коробка с застекленной крышей сильно нагревалась в дневные часы, а с наступлением ночной прохлады наполнялась, как ванная комната, паром, сочившимся из ее растрескавшихся каменных стен.

В довершение всего освещенные стекла притягивали к себе тучи насекомых, ютившихся по соседству, в старом плюще; сквозь едва заметные щели они проникали внутрь, порхали под самым потолком или ползали по нему с легким шорохом и потрескиванием, а затем с шумом падали на кровати, точно соблазненные белизною простынь.

Зимой сырость все же донимала меньше. Стужа вливалась сквозь стекла вместе с мерцанием звезд, поднималась с земли сквозь отверстия в перегородках и тонкий пол, и все-таки можно было, свернувшись калачиком под одеялом и подтянув колени к самому подбородку, часа через два немного согреться.

Отеческое око Моронваля сразу же определило, как лучше воспользоваться этим одиноко и безо всякого толка высившимся среди груды мусора сараем, уже покрытым темноватым налетом, каким проливные дожди вместе с парижской копотью скоро покрывают заброшенные строения.

— Тут дортуар! — не задумываясь, объявил мулат.

— Пожалуй, здесь сыровато... — осмелилась мягко возразить г-жа Моронваль.

Мулат осклабился:

— Наши «питомцы жарких стран» лучше сохраняются на холоде...

Строго говоря, место тут было лишь для десятка кроватей, а впихнули все двадцать. В глубине комнаты поставили умывальник, у порога положили плохонький коврик, и, как выразался директор, получился отличный

до'туа.

И в самом деле, ведь дортуар — это спальня. Так вот, дети там и спали, спали, невзирая на

жару, холод, недостаток чистого воздуха, невзирая на насекомых, шум насоса и яростный стук лошадиных копыт. Они болели ревматизмом, бронхитом, у них воспалялись глаза, но все же они крепко спали, мирно улыбаясь и посапывая, сморенные тем благодетельным, сковывающим все тело сном, какой наступает после игр, физических упражнений и не омраченного заботами дня.

О непорочное детство!

...Правда, в первую ночь Джек долго не мог уснуть. Еще ни разу в жизни не доводилось ему спать в чужом доме. И уж очень разительна была перемена: после уютной комнатки, освещенной ночником, где его окружали любимые игрушки, он оказался в каком-то темном, странном помещении.

Едва воспитанники улеглись, слуга-негритенок унес лампу. Джек лежал, не смыкая глаз.

При тусклом свете, струившемся сквозь залеplенный снегом застекленный потолок, он смотрел на железные койки, расставленные впритык во всю длину вала, большей частью не занятые, плоские, со скатанными и уложенными в изголовье тюфяками. Только на семи или восьми кроватях угадывались очертания спящих — оттуда доносились дыхание, храп, сухой, приглушенный одеялом кашель.

Новичка положили на лучшее место — в стороне от двери, откуда дуло, и подальше от шума конюшни. И все же он никак не мог согреться. Холод, а также мысли о столь неожиданно начавшейся новой жизни мешали забыться сном. Он так долго бодрствовал, что у него слегка кружилась голова, перед ним вновь проходил минувший день, и он видел его ясно, во всех подробностях, как это нередко бывает в сновидениях, когда мысль спящего человека, несмотря на зияющие провалы, упорно возвращается к одному и тому же, озаряемая ярким светом воспоминаний.

Белый шейный платок Моронваля, его силуэт, походивший на силуэт огромного кузнечика — прижатые к туловищу локти выступали у него за спиной, как лапы, — выпуклые очки доктора Гирша, его длинный, запачканный сюртук так и стояли перед глазами ребенка, но особенно его мучил надменный, леденящий и насмешливый, оловянный взгляд «врага»!

При этом воспоминании мальчика обуял такой ужас, что он невольно подумал о матери, о своей заступнице... Что-то она сейчас делает? Башенные часы пробили одиннадцать раз, потом другие, третьи... Она, конечно, на балу или в театре. Скоро она возвратится домой, кутаясь в меха и надвигая на лоб отделанный кружевами капор.

В какой бы поздний час Ида ни возвращалась, она открывала дверь в комнату сына и подходила к его кроватке: «Джек! Ты не спишь?» Даже сквозь сон он ощущал, что мама тут, рядом, улыбался, подставлял свой лоб и сквозь опущенные ресницы смутно различал великолепие ее наряда. Она казалась ему сияющим, благоуханным видением — точно фея спустилась к нему в душистом облаке ириса.

А теперь...

И все же этот тягостный для Джека день имел и свои маленькие радости, льстившие его самолюбию: галун, гимназическое кепи. А как приятно было упрятать наконец свои длинные ноги в синие форменные штаны, обшитые красным шнуром! Костюм был великоват, но его обещали подправить. Г-жа Моронваль наметила булавками те места, где надо было сузить или укоротить. Потом он познакомился с товарищами, чудными, но славными ребятами, несмотря на дикарские повадки. Он играл с ними в снежки в саду, на морозном воздухе, и эта неведомая забава была исполнена прелести для мальчика, который, точно в теплице, рос в будуаре хорошенькой женщины.

Одна вещь сильно занимала Джека. Ему не терпелось увидеть его королевское высочество. Где же все-таки этот маленький дагомейский король, о котором так интересно рассказывал директор? Может, у него каникулы? Или он в больнице?.. Как хорошо было бы с ним познакомиться, поболтать, подружиться с ним!

Он попросил, чтобы ему назвали по именам всех восьмерых «питомцев жарких стран». Но принца среди них не оказалось. Тогда Джек отважился спросить у долговязого Сайда:

— А что, разве его королевского высочества нет в пансионе?

Юноша с короткой кожей удивленно воззрился на него; при этом он так вытаращил глаза, что высвободилась малая толика кожи, и он получил возможность на миг закрыть рот. Он тут же этим воспользовался, и вопрос Джека остался без ответа.

Мальчик долго думал о загадочном принце, ворочаясь в постели и прислушиваясь к музыке. Порывы ветра доносили до него из главного корпуса звуки фисгармонии, перемежавшиеся с раскатистым басом человека, которого директор назвал Лабассендром. Все это очень мило гармонировало с шумом еще работавшего насоса и ритмичным стуком копыт — лошади соседа непрерывно колотили в стену.

Наконец воцарилась тишина.

В дортуаре, как и в конюшне, все спало, и гости Моронваля, прикрыв за собой решетчатые ворота, перегораживавшие проезд, уже двинулись по негромко рокочущей улице, как вдруг дверь дортуара, опущенная снаружи снегом, приотворилась.

Слуга-негритенок вошел с фонарем в руке.

Он отряхнул похожие на белый плюш хлопья, которые придавали ему забавный вид, подчеркивая темный цвет кожи, и углубился в проход между кроватями, понуро втянув голову в плечи, съежившись и дрожа от холода.

Джек разглядывал эту смешную фигурку и ее удлиненную тень на стене — она преувеличивала и карикатурно подчеркивала особенности обезьяноподобной головенки: выдающуюся челюсть, большие оттопыренные уши, шарообразный и слишком выпуклый череп, покрытый густыми, как шерсть, волосами.

Негритенок приладил фонарь в глубине дортуара, и комната слабо осветилась, как междупалубное пространство судна, а сам остановился, протянув большие замерзшие руки и обратив землистое лицо к теплу, к свету с таким добродушным, детским и доверчивым видом, что Джек тотчас же проникся к нему симпатией.

Греясь, он то и дело посматривал на застекленный потолок:

—

Снига- то сколько!..

Снига-то сколько!.. — повторял он, дрожа как в ознобе.

То, как негритенок исковеркал слово «снег», да и самый звук его мягкого голоса, неуверенно выговаривавшего чуждые ему названия, тронули Джека, и он бросил на незнакомого мальчика взгляд, исполненный глубокого сочувствия. Тот заметил это и едва слышно сказал:

— А, новичок!.. Почему твой не спит, мусье?

— Не могу уснуть, — со вздохом отозвался Джек.

— Хорошо вздыхать, когда печаль имеешь, — пробормотал негритенок и наставительно прибавил: — Если бедный люд не умел вздыхать, бедный люд задохнуться как раз.

Говоря это, он расправлял одеяло на соседней койке.

— Так вы спите тут?.. — спросил Джек, изумленный, что слуга ночует в дортуаре вместе с воспитанниками. — Но где же ваша простыня?

— Для меня плохо простыни. Мой кожа слишком черная...

Негр произнес эти слова, слегка усмехаясь, и уже приготовился было улечься в постель полуодетым, чтобы не так мерзнуть, но внезапно замер, схватил висевшую на груди резную ладанку из слоновой кости и благоговейно прильнул к ней губами.

— Какая чудная медаль! — удивился Джек.

— Не медаль, — возразил негритенок. — Это мой гри - гри

Джек понятия не имел, что такое «гри-гри», и тот разъяснил ему, что так называется амулет, вещица, приносящая счастье. Ему подарила этот талисман тетя Керика перед самым его отъездом из родных мест; она воспитала его, и он надеется, что в один прекрасный день возвратится к ней.

— Как и я к моей маме, — пробормотал маленький Баранси.

Наступила минутная тишина: каждый думал о своей Керике.

Спустя мгновение Джек спросил:

— А красиво в вашей стране? Это далеко отсюда? Как она называется?

— Дагомея, — ответил негр.

Джек даже привстал на кровати.

— Но тогда... тогда вы его знаете!.. Вы, может, вместе с ним приехали во Францию?

— Кого?

— Его королевское высочество... вы ведь знаете... юного короля Дагомеи?

— Это я... — простодушно сказал негр.

Джек ошалело уставился на него... Король?.. Вот этот слуга, который у него на глазах весь день с половой щеткой или с ведром в руках бегал по дому, одетый в рваный шерстяной красный жилет, который у него на глазах прислуживал за столом, ополаскивал стаканы?..

Однако в словах негритенка не было и тени иронии. На лице его появилось выражение глубокой печали, а глаза, казалось, пристально глядели куда-то вдаль, в далекое прошлое, где осталась его утраченная родина.

Потому ли, что на нем уже не было красного жилета, или же что-то магическое заключало в себе само слово «король», но только Джек находил теперь, что негритенок, сидевший на краю своей кровати, с голой шеей, в рубахе, распахнутой на темной груди, где поблескивал амулет из слоновой кости, вдруг обрел в его глазах обаяние, какое придает человеку высокий сан.

— Как же так вышло?.. — спросил он робко, будто выражал этим вопросом накопившееся в нем за день удивление.

— Да так уж вышло... так уж вышло... — ответил негр.

Внезапно он кинулся к фонарю и задул его.

— Мусье Моронваль недоволен, когда Маду оставлять свет...

Затем негритенок придвинул свою койку вплотную к койке Джека.

— Твой не спится, — проговорил он. — Мой никогда не спится, когда говорить Дагомейя... Слушай!

И во мраке, где поблескивали лишь белки его глаз, зазвучала скорбная повесть...

Его звали Маду, как и отца, прославленного воина Ракк-Маду-Гезо, одного из наиболее могучих владык в странах золота и слоновой кости, которому Франция, Голландия, Англия присылали дары из-за моря.

У его отца были большие пушки, тысячи солдат, вооруженных ружьями, стрелами, стада боевых слонов, музыканты, жрецы, танцовщицы, четыре полка амазонок и двести жен. Его громадный дворец был украшен железом копий, узором из раковин и отрубленными человеческими головами, которые прикрепляли на фасаде после битвы или жертвоприношений. Маду вырос в этом дворце, куда отовсюду вливалось солнце, нагревая каменные плиты и разостланные циновки. Тетя Керика, предводительница амазонок, опекала его и, когда он еще был совсем малышом, уже брала с собой в дальние походы.

До чего же красива тетя Керика! Высокая и сильная, как мужчина, в синей тунике, с ожерельем из стеклянных бус на голых руках и ногах, с луком за спиной, с развевающимися и колышущимися конскими хвостами у пояса! А на голове у нее, в густых, как шерсть, волосах, два небольших рога антилопы сходятся в виде полумесяца, как будто чернокожие воительницы сохранили традиции Дианы, белолицей охотницы!

И какой меткий глаз, какая твердая рука! Она одним махом вырывала клык у слона, отрубала голову воину из племени Ашанти![5] Но хоть и грозна бывала порою Керика, а со своим любимцем Маду она всегда обращалась ласково, дарила ему ожерелья из янтаря и кораллов, шелковые набедренные повязки, расшитые золотом, и тьму раковин, которые заменяли монеты в их стране. Она даже подарила ему небольшой карабин из золоченой бронзы: Керика сама получила его от английской королевы, но он был для нее слишком легок. Маду стрелял из карабина, когда тетя брала его с собою на охоту в бескрайние леса, где деревья оплетены лианами.

Деревья там росли так густо, у них были такие широкие листья, что солнце не проникало сквозь эти зеленые своды, где звуки отдавались гулко, точно в храме. Но здесь все-таки было светло, и громадные цветы, спелые плоды, птицы яркой окраски, перья которых свисали с высоких ветвей до самой земли, — все блестело, все искрилось, переливалось, как драгоценные камни.

В гуще лиан раздавалось жужжание, шум крыльев, шелест. С виду безобидные змеи покачивали своими плоскими головами, но из их пасти высовывались жала, черные обезьяны перемахивали с одного высокого дерева на другое, а большие таинственные лесные озера, в которые никогда не гляделось небо, были разбросаны, точно зеркала, в этом громадном лесу. Отражаясь в них, он как бы уходил под землю, вбирая в себя густую зелень, среди которой порхали птицы с ярким опереньем...



Джек не выдержал и прервал рассказ.

— Воображаю, как это красиво! — воскликнул он.

— Да, сильно красиво, — подтвердил негритенок, который, пожалуй, все несколько преувеличивал, ибо видел свою страну сквозь магический кристалл разлуки, детских воспоминаний и стремления приукрашивать, присущего народам, рожденным с солнцем в крови.

— Да, сильно красиво!..

Пришпоренный вниманием нового товарища, он продолжал свое повествование.

Ночь преображала леса.

На ночлег располагались прямо в джунглях, под открытым небом, у гигантских костров, которые отпугивали свирепых хищников, и те бродили вокруг, словно опоясывая пламя рычащим кольцом. Птицы тоже беспокойно возились в ветвях, а летучие мыши, безмолвные и черные, как тьма, привлеченные ярким пламенем, молнией мелькали над костром, а утром собирались на громадном дереве: сбившись в кучу, неподвижные, они напоминали диковинные листья, высохшие и мертвые.

Ведя жизнь, полную приключений, постоянно находясь под открытым небом, юный король мужал и приобретал сноровку во всех воинских упражнениях: в том возрасте, когда другие дети еще цепляются за набедренные повязки матерей, он уже искусно владел саблей и секирой.

Король Ракк-Маду-Гезо был горд своим сыном, наследником престола. Но увы! Видимо, даже негритянскому принцу надо не только ловко владеть оружием и с первого же выстрела всаживать пулю в глаз слону — ему надо также понимать, что говорят белые в своих книгах, надо разбирать их письмо, чтобы со знанием дела продавать им золотой песок, ибо, как говаривал многоопытный Ракк-Маду своему сыну: «Белый всегда бумага в кагмане, чтобы одугачить негъа».

Можно было, разумеется, и в Дагомее отыскать достаточно знающего европейца, который обучил бы юного принца, — французские и английские флаги развевались над факториями на морском побережье и над мачтами кораблей, бросавших якорь в гаванях. Однако король и сам был в дни молодости послан своим отцом в город, который называется «Марсель» и находится далеко-далеко, на самом краю света, дабы он набрался там ума-разума, и теперь Ракк-Маду пожелал, чтобы его сын получил такое же образование, как он.

Какое отчаяние испытывал юный король при мысли, что ему придется покинуть тетю Керику, оставить свою саблю в ножнах, а карабин на стене отчего дома и уехать с «мусье Бонфисом», белым из фактории, который каждый год увозил в надежное место золотой песок, награбленный у несчастных негров!

И все же Маду покорился. Ведь в один прекрасный день он должен был стать королем, властвовать над амазонками своего отца, владеть всеми его полями, засеянными хлебными злаками и маисом, его дворцами, где было столько больших кувшинов из красной глины, в которых остывало пальмовое масло, всеми этими грудками слоновой кости, золота, сурика, кораллов. Чтобы стать хозяином таких богатств, надо было их заслужить и, если потребуется, суметь их защитить; вот почему Маду начало приходить в голову, что не так-то просто быть королем и что если у короля больше утех, чем у остальных людей, то зато у него и больше хлопот.

В ознаменование его отъезда были устроены большие народные празднества,

жертвоприношения идолам и морским божествам. Двери всех храмов были распахнуты для торжественных богослужений, народ, оставив дела, предавался молитвам, а в последнюю минуту, когда корабль уже готов был отчалить, палач привел на берег пятнадцать пленников из племени Ашанти, и их отрубленные головы, красные, сочащиеся кровью, со стуком упали в большой медный чан.

— Господи, помилуй!.. — ужаснулся Джек и натянул одеяло на голову.

По правде говоря, страшно было слушать рассказы о подобных делах, да еще рассказы их участника. Это хоть кого испугает! Чтобы слегка успокоиться, надо было сейчас же сказать себе, что ты в пансионе Морон валя, в центре Елисейских полей, а не в страшной Дагомее.

Заметив волнение своего собеседника, Маду не стал останавливаться на народных празднествах, предшествовавших его отъезду, а тотчас перешел к своему пребыванию в лицее города Марселя.

Ну и громадный же это был лицей! Сумрачные стены, унылые классы с истертыми скамьями, — вырезанные на них ножом имена воспитанников говорили о времяпрепровождении маленьких узников; преподаватели, особенно торжественные и важные оттого, что на них были черные мантии с широкими рукавами и плоские шапочки; голос классного наставника, который постоянно кричал: «А ну, тише!..» И эти низко склоненные головы, скрип перьев, монотонные, по двадцать пять раз повторяемые уроки, как будто каждый ученик в меру своих способностей торопился ухватить носившиеся в душном воздухе обрывки знаний; огромные столовые, дортуары, казарменный двор, освещенный узкими, беглыми лучами солнца, такими жалкими, вспыхивавшими утром здесь, к вечеру — там и так быстро забивавшимися в самые углы, что тому, кто хотел их ощутить, вобрать в себя, насладиться ими, приходилось прислоняться к высоким темным стенам, поглощавшим солнечный свет.

Так именно и проводил Маду перемены. Ничто ему не было мило, ничто его не интересовало. Один только барабан, возвещавший время трапез, классных занятий, подъема, отхода ко сну, заставлял быстрее биться воинственное сердце маленького короля, оживавшего при стуке его палочек. Были, правда, дни, когда воспитанников отпускали в город, но вскоре Маду лишили этих прогулок. И вот почему.

Едва «мусье Бонфис» приходил за ним, мальчик тащил его в гавань: Маду издали влекли к себе перепутанные реи и выступавшие из воды корпуса судов, выстроившихся у причала. Только здесь ему было хорошо: жадно вдыхая запах смолы и водорослей, он бродил среди выгружавшихся товаров — многие из них прибывали из его страны. Он приходил в восторг, глядя на струившееся золотистое зерно, на мешки и тюки, на которых порою встречалось знакомое клеймо.

В парходных топках разводили огонь, и, хотя суда стояли неподвижно, пар, толчками вырывавшийся на труб, уже говорил о движении, о путешествии. На большом корабле поднимали паруса, натягивали снасти, и все это манило мальчика к себе, сулило отъезд, избавление.

Он по несколько часов стоял, не шевелясь, и глядел, как бежит на запад, туда, где садится солнце, раздутый парус, напоминающий крыло чайки, либо легкий дымок, похожий на дымок сигары: казалось, они следуют за пламенеющим на небе дневным светилом, чтобы вместе с ним пропасть за горизонтом.

Маду, сидя в классе, неотступно думал о милых его сердцу кораблях. Они воплощали для него мечту о возвращении в страну солнца: одна птица, думал он, принесла его сюда, другая умчит обратно.

Одержимый этой навязчивой идеей, забросив букварь, где его глаза вместо слогов «БА, БЕ,

БИ, БО, БУ» видели лишь синеву — синеву волнующегося моря и широко распахнутого неба, — Маду в один прекрасный день удрал из лица, пробрался на один из кораблей «мусье Бонфиса», притаился на самом дне трюма, был вовремя обнаружен, опять удрал, и на сей раз так ловко, что его присутствие заметили только тогда, когда корабль находился уже в Лионском заливе. Всякого другого оставили бы на борту, но когда стало известно имя Маду, капитан в надежде на вознаграждение отвез его королевское высочество обратно в Марсель.

С тех пор Маду сделался еще несчастней: он жил под надзором, как узник; однако волю его это не сломило.

Он опять удирает и прятался на судах, собиравшихся выйти в море; его находили в глубине кочегарок, в угольных ямах, под грудями рыболовных сетей. Когда его приводили в лицей, он не оказывал сопротивления, только на лице его появлялась грустная улыбка, так что никому не хотелось его наказывать.

Наконец директор лицея не пожелал нести далее ответственность за непоседливого ученика. Отправить маленького принца домой, в Дагомею? «Мусье Бонфис» на это не отважился, опасаясь утратить расположение Ракк-Маду-Гезо, чье чисто королевское упрямство было ему хорошо известно. Пока он раздумывал, в «Семафоре» появилось объявление гимназии Моронваля. И негритенка немедленно отправили на авеню Монтеня, 25, в самый красивый квартал Парижа, где он был — прошу мне верить — встречен с распростертыми объятиями.

Маленький чернокожий наследник престола далекого королевства был настоящим кладом и живой рекламой для гимназии. Вот почему его выставляли напоказ, вывозили в свет. Моронваль бывал с ним в театре, на бегах, прогуливался по бульварам, уподобляясь тем коммерсантам, которые возят по Парижу в наемном фиакре вывеску, красноречиво рассказывающую об их лавках.

Директор появлялся с Маду в салонах, в клубах, и когда о них докладывали: «Его королевское высочество наследный принц Дагомеи и его наставник господин Моронваль», — мулат переступал порог не менее важно, чем в свое время Фенелон,<sup>[6]</sup> сопровождавший герцога Бургундского.

В течение многих месяцев разные газетенки печатали анекдоты и высказывания, которые приписывали Маду. Один из сотрудников газеты «Стандард» даже нарочно прибыл из Лондона повидать его, и они серьезно беседовали на финансовые и политические темы: о том, как принц предполагает в будущем управлять своей державой, о том, как он смотрит на парламентскую систему, на обязательное обучение и прочее. Английский листок обнародовал этот курьезный диалог, состоявший из вопросов и ответов. Расплывчатые и неясные ответы оставляли желать лучшего. Среди них все же обратил на себя внимание высказанный Маду оригинальный взгляд на свободу печати: «Каждая пища ладно кушать; не каждое слово ладно говорить...»

Все расходы гимназии Моронваля были покрыты с появлением нового воспитанника: «мусье Бонфис» без долгих разговоров платил по счетам. Вот только обучением Маду пренебрегали. Он так и не продвинулся дальше букваря и упрямо противился влиянию пресловутой методики Моронваль-Декостер, но никто по этому поводу не горевал: ведь чем хуже будет учиться юный король, тем дольше он пробудет в пансионе.

Итак, Маду сохранял свой неправильный выговор, свою полудетскую речь: лишая глаголы временных оттенков, такая речь становится безличной и напоминает примитивный язык первобытного народа, только — только выходящего из состояния животной немоты. Впрочем, Маду баловали, нежили, окружали вниманием. Других «питомцев жарких стран» принуждали развлекать его, во всем ему уступать, чему те сперва противились, ибо кожа у него была черная, как вакса, а это чуть ли не во всех африканских странах считается признаком раба.

А педагоги! Как они были снисходительны к Маду, с какими любезными улыбками взирали они на его черную шаровидную голову, хотя ее обладатель, несмотря на природную сметливость, отказывался от всех благ просвещения, ибо под этой густой, как шерсть, шевелюрой вместе с немеркнущим воспоминанием о далекой родине таилось презрение ко всей той ерунде, которую старались вбить в эту упрямую голову! В гимназии все строили планы, связанные с будущим владычеством Маду, и его окружали подобострастием и преклонением, как будто он уже был могучим владыкой и шел по Парижу под пышным балдахинном с бахромою, в сопровождении слуг с опахалами из перьев и воинов из свиты отца с пучками копий в руках.

Когда Маду станет королем...

Этими словами начинались и заканчивались все разговоры. Сразу же после коронации Маду они поедут в его страну. Лабассендр мечтал облагородить грубую музыку Дагомеи и уже видел себя в роли директора тамошней консерватории и капельмейстера королевской капеллы. Г-жа Моронваль-Декостер надеялась широко внедрить свою методику, — она уже представляла себе просторные классы, многочисленные темные циновки и сидящих на корточках маленьких учеников. А доктор Гирш уже видел в мечтах бесчисленные ряды кроваток: в них лежали дети, над которыми этот взбалмошный лекарь-самоучка проделывал опасные опыты, причем полиция не испытывала ни малейшего желания вмешиваться.

Сначала жизнь в Париже показалась юному королю очень приятной — все вокруг его просто боготворили. Ну, а потом Париж — единственный город в мире, где чужестранцы не так тоскуют. Быть может, это происходит оттого, что в его атмосфере каждый находит хоть что-то, напоминающее атмосферу родины.

Если бы еще и небо почаще улыбалось, если бы сверху без конца не струился то морозящий, то хлещущий дождь, если бы над головой не крутились вихрем плюшевые хлопья

снига, как две капли воды похожие на раскрытые коробочки с семенами созревшего хлопка; если бы солнце, разорвав легкую пелену, в которую оно постоянно куталось, грело бы как следует; если бы, наконец, Керика время от времени появлялась в проезде Двенадцати домов с колчаном за спиной, с бронзовым ружьем и с браслетами на голых руках, — Маду был бы по-настоящему счастлив.

Внезапно в его судьбе произошел крутой поворот.

Однажды «мусье Бонфис» появился в гимназии Моронваля со зловещими вестями из Дагомеи. Король Ракк — Маду-Гезо был низложен и взят в плен людьми из племени Ашанти; эти люди захватили страну и возвели на престол новую династию. Королевские войска, полки амазонок — все было разбито, разгромлено, уничтожено, одна только Керика чудом уцелела и укрылась в фактории Бонфиса; она просила передать Маду, чтобы он оставался во Франции и как зеницу ока берег свой

гри-гри.

Ведь так было начертано: если Маду не потеряет амулета, он будет править Дагомеей.

Только это и придавало мужество несчастному маленькому королю. Моронваль, который не верил в амулеты, предъявил счет — и немалый! — «мусье Бонфису». Негоциант и на сей раз оплатил его, но уведомил директора пансиона, что впредь, если он согласен и дальше держать у себя Маду, он не должен рассчитывать на скорое вознаграждение: остается надеяться на признательность и благоволение короля, когда переменчивое военное счастье поможет ему вернуть трон. Надо было выбирать между зыбкой надеждой и решительным отказом.

Моронваль решил разыграть благородство.

— Я позабочусь о ребенке, — сказал он.

Отныне мальчик уже не был его королевским высочеством!

Куда девалось былое почтение, предупредительность, внимание, прежде так охотно выказывавшиеся негритенку!.. Все злились на него за обманутые надежды, все срывали на нем дурное настроение. Он сделался заурядным воспитанником, похожим на остальных во всем, вплоть до пуговиц на мундире; его бранили, наказывали, колотили, он спал теперь в общем дортуаре, подчинялся обязательным для учеников правилам.

Мальчик ничего не понимал. Тщетно он прибежал к своим смешным проделкам, уморительным гримасам, которые раньше всех приводили в восторг, — теперь их встречали со странной холодностью.

Гораздо хуже стало, когда по прошествии нескольких триместров Моронваль, не получая больше денег, начал смотреть на Маду, как на нахлебника. Его разжаловали из воспитанников в слуги. Кстати, прежнего слугу из соображений экономии незадолго перед тем уволили, и Маду, хотя и не без сопротивления, занял его место. Когда ему впервые сунули в руки швабру и объяснили, что надо делать, он отказался подчиниться. Но Моронваль располагал неотразимыми доводами, и после взбучки ребенок смирился.

Впрочем, он готов был подметать пол, только бы не учиться грамоте.

Итак, юный король подметал пол, натирал его с редкостным усердием и необычайным упорством — в этом можно было убедиться при взгляде на гостиную Моронвалей, где все блестело. Но это отнюдь не смягчило свирепый нрав мулата: он не мог простить Маду тех разочарований, невольной причиной которых был мальчик.

Тщетно Маду всюду наводил чистоту, стараясь придать блеск запущенному жилищу, тщетно смотрел на хозяина с угодливым видом, дрожа и унижаясь, как послушный пес, — чаще всего вместо благодарности на него обрушивалась дубинка.

— Никогда доволен!.. Никогда доволен!.. — в отчаянии жаловался негритенок.

И парижское небо казалось ему еще темнее, дождь — еще назойливее, снег — еще гуще и холоднее.

О Керика, любящая и гордая тетя Керика! Где же вы? Если бы вы увидели, во что они превратили юного короля! Как жестоко с ним обращаются, как плохо его кормят, в какие лохмотья обряжают, не испытывая ни малейшей жалости к его зябнущему телу! Теперь у Маду остался всего-навсего один костюм — его ливрея: красная кургузая курточка, красный жилет, фуражка, обшитая галуном. Теперь, когда он сопровождает своего господина, он уже не идет с ним рядом как равный — нет, он плетется сзади, шагах в десяти. Но это еще не самое скверное.

Из передней он переходит в кухню, потом его посылают с большой корзиной на рынок Шайо за провизией, так как заметили, что он честен и бесхитростен.

Вот до чего довели последнего отпрыска могущественного Токодону, основоположника дагомейской династии! Ему приходится торговаться, закупая еду для гимназии Моронваля!.. Дважды в неделю можно видеть, как он поднимается в гору по длинной улице Шайо, пробираясь вдоль стен, похудевший, полубольной, дрожащий, потому что он все время мерзнет и никак не может согреться: не помогает ни изнурительный труд, который на него навалили, ни колотушки, ни пылкая ненависть к Дядьке с дубинкой, как он прозвал

Моронваля.

А ненависть эта беспредельна.

Ах, если только Маду опять станет королем!.. Сердце его трепещет от ярости при этой мысли. Стоит послушать, как он делится с Джеком планами мести:

— Когда Маду вернуться в Дагомея, он написать хорошее письмо Дядьке с дубинкой, зазвать его Дагомея и отрубить ему голова над большой медный чан; потом его кожей обтянуть большой барабан войны и пойти на Ашанти... Дэинь! Бум! Бум!.. Дзинь! Бум! Бум!

Джек видел, как во тьме, смягченной отблеском снега, сверкают маленькие глаза, точно глаза тигра, а негр между тем глухо постукивал пальцами по краю своей кровати, подражая звукам военного барабана. Маленького де Баранси обуял страх, и разговор на несколько минут оборвался. Забившись под одеяло, все еще под впечатлением того, что он сейчас услышал, новичок, казалось, различал сверкание сабли и от ужаса притаил дыхание.

Маду, взволнованному собственным рассказом, очень хотелось поговорить еще, но он решил, что его новый приятель уснул. Наконец Джек тяжело вздохнул, — такие вздохи исходят из тех безбрежных просторов, которые во сне пробегаешь в одну секунду, из самых глубин кошмара.

— Твой не спать, мусье? — тихонько спросил Маду. — Твой еще говорить вместе?..

— Да, охотно... — откликнулся Джек. — Только мы не будем больше толковать ни о вашем скверном барабане, ни о большом чане из красной меди... Это так страшно!..

Негр усмехнулся, потом добродушно сказал:

— Нет, нет, мусье... Больше не говорить Маду, теперь твой говорить... Как тебя зовут?

— Джек... Не Жак, а именно Джек... Мама придает этому большое значение.

— Она богатый, твой мама?

— Богата ли она?.. Думаю, что да, — проговорил Джек, которому, в свою очередь, хотелось ослепить юного короля. — У нас своя карета, красивый дом на бульваре, лошади, слуги и все такое... А потом, когда мама приедет со мной повидаться, вы сами увидите, до чего она красива. На улице на нее все засматриваются... У нее красивые платья, красивые кольца... Дядя говорит, что он ей ни в чем не отказывает. И верно! Когда маме вздумалось переехать в Париж, он нас сюда привез... А раньше мы жили в Туре... Вот где раздолье! Наш дом стоял возле городского парка, а гулять мы ходили на Королевскую улицу — там такие вкусные пирожные! А сколько офицеров в красивых мундирах! Ну и весело же я там жил!.. Все эти господа меня баловали, целовали. Был у меня папа Шарль и папа Леон, понимаете? Это я их только так называл, потому что мой взправдашний отец умер давным-давно, и я его никогда не видал... Сперва, когда мы только переехали в Париж, я немного скучал по деревьям и полям, но мама так любит меня, так балует, что я скоро утешился. Меня нарядили на английский лад — это теперь в большой моде, — и каждый день завивали перед тем, как мы отправлялись на прогулку в Булонский лес, вокруг озера... Но дядя сказал, что так я ничему не научусь и что меня надо отдать в пансион, и мама отвезла меня в Вожирар, к отцам иезуитам...

Тут Джек умолк.

Уже готовое сорваться с уст мальчика признание, что иезуиты не захотели оставить его у себя, ранило его самолюбие. Несмотря на свое простодушие и на то, что он, как все дети, многого не понимал, Джек чувствовал, что в этом отказе таилось что-то унижительное и для

матери и для него самого. Кроме того, рассказ, который он начал так безрассудно, напомнил ребенку о единственной серьезной заботе, которая была до сих пор в его жизни... Почему его не захотели оставить в Вожираре? Почему плакала мама и почему ректор с такой жалостью назвал его «несчастливым ребенком»?

— Скажи-ка, мусье, — внезапно заговорил негритенок, — что такое курвочка?

— Курвочка? — переспросил слегка удивленный Джек. — Не... не знаю... Может быть, курочка?

— Понимаешь, Дядька с дубинкой сказать мадам Моронваль, что твой мама — курвочка.

— Что за чепуха!.. Мама — курочка? Вы, верно, не разобрали... Мама — курочка!

При мысли, что его маму называли курочкой, курицей с перьями, крыльями, лапками, Джек громко рассмеялся, а глядя на него, расхохотался и Маду.

Этот взрыв веселья быстро развеял зловещее впечатление от недавних рассказов, и бедные, брошенные малыши, поведав друг другу свои горести, забылись безмятежным сном: они спали, приоткрыв рты, где, казалось, еще не утих смех, который их ровное сонное дыхание скоро превратило в тысячу едва различимых, но веселых звуков.

#### IV. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР В ГИМНАЗИИ МОРОНВАЛЯ

Дети — что взрослые: чужой опыт им впрок не идет.

Джек пришел в ужас от рассказа Маду-Гезо, но у него осталось только блеклое и тусклое воспоминание об этой истории: такой кажется нам ужасная буря или кровавая битва, увиденная в диораме.

Первые месяцы его жизни в гимназии были радостными, все наперебой выказывали к нему внимание и любовь, и он совсем позабыл о том, что несчастьям Маду предшествовало столь же блистательное начало.

За столом он занимал лучшее место, возле Моронваля, пил вино, ел сладкое, между тем как остальные воспитанники, едва в комнату вносили фрукты и пирожные, поднимались с мест, будто охваченные негодованием: им приходилось довольствоваться каким-то странным настоем желтоватого цвета, который готовил для них доктор Гирш; напиток этот именовался «шиповником».

Этот знаменитый ученый, финансы которого, судя по его внешнему виду, были в самом жалком состоянии, столовался в пансионе Моронваля. Он оживлял трапезы всякого рода научными сенсациями, рассказами о хирургических операциях, описаниями необыкновенных злокачественных заболеваний, на которые он натыкался, читая многочисленные ученыеopusy; разглагольствовал он обо всем этом в высшей степени красноречиво. Кроме того, он осведомлял своих сотрапезников о статистике смертности и о наиболее распространенных недугах. И если где-либо на краю света был отмечен хотя бы один случай чумы, или проказы, или слоновой болезни, он узнавал обо всем раньше газет, с мрачным удовлетворением смаковал этот факт и выразительно покачивал головой, будто говорил: «Ну, коли докатится до нас, пиши пропало!»

Впрочем, человек он был весьма любезный, и, как У соседа по столу, у него было лишь два неприятных свойства: во-первых, неловкость, объяснявшаяся близорукостью, во-вторых,

маниакальная причуда по любому поводу всыпать вам в тарелку щепотку какого-то снадобья или вливать вам в стакан несколько капель какой-то жидкости — свои лекарства он держал в крошечной шкатулке или в небольшом синем пузырьке весьма подозрительного вида. Содержимое этих сосудов часто менялось, ибо редкую неделю доктор не совершал какого-нибудь научного открытия, однако, как правило, двууглекислая сода, щелочь и мышьяк (по счастью, в самых ничтожных дозах) непременно входили в состав очередного зелья, которым он «оздоравливал» пищу.

Джек терпел эту заботливую предупредительность, не смея сказать, что щелочь кажется ему очень невкусной. Время от времени к обеду приглашали и других педагогов. Все они пили за здоровье юного де Баранси. Надо было видеть восторг, который вызывали его грация и обаяние, надо было видеть, как певец Лабассендр при любой шутке новичка откидывался на спинку стула, тряся от смеха, вытирал глаза кончиком салфетки и самозабвенно молотил кулаками по столу.

Даже сам д'Аржанюн, красавец д'Аржантон, и тот смотрел приветливее. Тусклая улыбка раздвигала его роскошные усы, холодный взгляд отсвечивавших перламутром голубых глаз с высокомерным одобрением обращался на ребенка.

Джеку все это очень льстило.

Он не понимал, он не хотел понимать, почему так выразительно пожимает плечами и подмигивает ему Маду, который сновал за спинами обедающих, усердно выполняя лакейские обязанности: через руку у него была перекинута салфетка, и он вытирал до блеска тарелки.

Кто-кто, а уж Маду знал истинную цену этим лицемерным похвалам, постиг суетность почестей, воздаваемых людьми!

Он и сам когда-то сидел на почетном месте, смаковал вино Моронваля, сдобренное снадобьем из маленького пузырька доктора Гирша. Шитый серебром мундир, которым так гордился Джек, был слишком велик ему оттого, что шили-то его для Маду.

Пример этого необыкновенного падения должен был бы предостеречь юного де Баранси от гордыни, ибо к нему относились точно так, как относились на первых порах к юному королю.

Постоянные развлечения, в которых охотно принимала участие вся гимназия, безудержное славословие и лишь время от времени уроки г-жи Моронваль, где применялась ее знаменитая система... Уроки эти были в общем не тягостны. Карлица, превосходная женщина, отличалась только одним недостатком — она необыкновенно старательно произносила даже самые обычные слова. Она говорила: «желлудок», «уагоны», «я ехала в уагоне», «мы повстречались в уагоне». Порою нельзя было понять, о чем она говорит.

А Моронваль открыто признавался, что питает особую слабость к новому воспитаннику. Пройдоха навел необходимые справки. Он досконально изучил особняк на бульваре Османа и прикидывал, сколько можно будет вытянуть денег у «дяди».

Когда г-жа де Баранси приезжала проведать Джека, а происходило это часто, она встречала самый сердечный прием и находила слушателей, которые почтительно внимали всем ее нелепым и хвастливым рассказам. Сначала г-жа Моронваль, урожденная Декостер, пыталась проявить некоторое высокомерие по отношению к столь легкомысленной особе, однако мулат быстро одернул свою супругу, и она, пойдя на известные уступки, умудрялась сочетать щепетильность порядочной женщины с корыстными интересами, причем так, что это не слишком бросалось в глаза.

— Джек!.. Джек!.. К тебе мама! — кричали ему, как только распахивались двери и в залу, где происходили свидания, направлялась разряженная Ида; в руках у нее и даже в муфте были



кульки и пакетики с пирожными, конфетами. Ее приход был настоящим праздником. Лакомились все. Джек оделял сладостями «питомцев жарких стран»; и сама г-жа де Баранси, сняв перчатку с той руки, на которой сверкало больше колец, брала причитавшуюся ей долю вкусных вещей.

Эта взбалмошная женщина была такой щедрой, деньги просто текли у нее между пальцев, и она неизменно привозила вместе со сладостями кучу мелких подарков — причудливые безделушки, игрушки, которые раздавала направо и налево, повинувшись собственной прихоти. Надо ли говорить, какими заученными похвалами, с какой шумной благодарностью встречали ее безрассудную широту? Один только Моронваль с натянутой улыбкой, в которой таились сожаление и скрытая зависть, смотрел, как на мелочи, на пустяки тратят деньги, которые могли бы принести пользу благородному человеку с возвышенным умом, но обездоленному, скажем, такому, как он.

Мысль эта ни на минуту не оставляла его, и хотя он как будто восторгался Идой, внимательно прислушивался к ее болтовне, вид у него при этом был рассеянный, словно отсутствующий: он неистово грыз ногти, снедаемый лихорадочным возбуждением человека, который вот-вот готов попросить денег в займы и злится, что вы об этом не догадываетесь.

Моронваль давно уже мечтал основать журнал, посвященный колониальным вопросам, он надеялся таким способом удовлетворить свои политические притязания, регулярно напоминая о себе соотечественникам, и — чем черт не шутит? — добиться избрания в палату депутатов. Для начала журнал представлялся ему необходимым, а там от него можно будет и избавиться.

Он часто говорил об этом со своими приятелями — неудачниками, и все они хором поддерживали его. Ах, если бы обзавестись собственным журналом!.. Столько ненаписанных манускриптов копилось в их головах, столько невыраженных, точнее, невыразимых мыслей зрело там, и они воображали, будто мысли эти станут яснее благодаря четким типографским литерам.

У Моронваля было смутное предчувствие, что мать новичка возьмет на себя расходы по изданию такого журнала, но он не хотел забежать вперед из страха пробудить в этой даме недоверие. Надо было действовать не спеша, постепенно, осторожно, с тем чтобы ее не слишком-то глубокий ум мог освоиться с новой мыслью.

Но увы! Г-жа де Баранси была легкомысленна и не шла на его уловки. Без обдуманного намерения, а лишь в силу своего простодушия, она переводила мало занимавший ее разговор на что-либо другое, слушала мулата с улыбкой, глядела на него любезно, но рассеянно, и глаза все сверкали особенно ярко потому, что ни на чем не задерживались.

«А что, если подать ей мысль самой взяться за перо?» — думал Моронваль и деликатно пытался внушить своей гостье, что между г-жой де Севинье[7] и Жорж Сайд осталось вакантное место и неплохо бы его занять. Но попробуйте что бы то ни было внушить пташке, попробуйте изъясняться с нею обиняками, когда она то и дело бьет крыльями, поднимая вокруг себя ветерок!

«Она не больно-то умна, бедняжка!» — думал директор во время таких разговоров, в которые он вносил снедавшее его лихорадочное нетерпение, между тем как она бездумно болтала. Он в ярости грыз ногти, а она щебетала, щебетала, не слушая ни того, что говорит сама, ни того, что говорят ей.

Нет, доводами рассудка такую трясогузку не прошибешь! Надо было ослепить ее, и Моронвалю это удалось.

В один прекрасный день, когда Ида царила в гостиной, взгромоздясь на всевозможные

титулы, на дворянские частицы «де», которые она прибавляла к фамилиям друзей и знакомых, словно для того, чтобы тем самым подкрепить свое благородное происхождение, г-жа Моронваль-Декостер робко сказала:

— Господин Моронваль хотел бы обратиться к вам с просьбой, но не решается...

— Да говорите, говорите же!.. — воскликнула болтливая дурочка с таким живейшим желанием услужить, что директор почувствовал сильный соблазн тотчас попросить у нее денег для издания журнала. Но, будучи человеком хитрым и осмотрительным, он предпочел действовать с осторожностью и продвигаться к цели постепенно, как охотник, выслеживающий дичь: он сам выражался так, подмигивая при этом, и глаза у него сверкали, точно у оцелота.[8] Он удовольствовался тем, что попросил г-жу де Баранси почтить своим присутствием открытый литературный вечер, который состоится в гимназии в ближайшее воскресенье.

В программе говорилось: «Вечера выразительного чтения, сопровождаемые декламацией избранных мест из наших лучших поэтов и прозаиков». Незачем прибавлять, что на первом месте среди них неизменно значились д'Аржантон и Моронваль. Короче говоря, таким путем «горе-таланты» при содействии неутомимого мастера выразительного чтения, г-жи Моронваль-Декостер, заставляли невзыскательную публику слушать себя. Приглашали друзей, попечителей воспитанников пансиона. В первое время эти скромные вечера происходили еженедельно, но после того, как Маду перестал быть наследным принцем, их устраивали все реже и реже.

И в самом деле, хотя Моронваль тушил в канделябрах свечу по уходе каждого гостя, из-за чего вечер заканчивался почти в полной темноте, хотя он на протяжении недели сушил на окнах разложенную кучками чайную гущу, темную, слипшуюся, похожую на водоросли, вынутые из родной стихии, а затем вновь пускал ее в употребление на следующих литературных вечерах, все же такие расходы были непомерными для приходившего в упадок учебного заведения. Рассчитывать на рекламу также не приходилось, ибо вечерами, в час, когда начинались литературные чтения, проезд Двенадцати домов, где одинокий фонарь горел, точно единственный глаз во лбу чудовища, не мог, разумеется, привлечь гуляющих; даже самые отважные и те никогда не заходили за решетку, перегораживавшую переулочек.

Теперь важно было придать литературным вечерам особый блеск.

Г-жа де Баранси с радостью приняла приглашение. Уже одна мысль, что она будет красоваться на положении титулованной особы в гостиной замужней дамы, а главное, присутствовать на артистическом собрании, в высшей степени льстила ей — она как бы всходила на ступеньку, возвышавшую ее над тем положением, какое она на самом деле занимала в обществе в силу своей неустроенной жизни.

Этот вечер выразительного чтения, за которым были обещаны другие, превратился в настоящий праздник. «Питомцы жарких стран» впервые стали свидетелями подобного расточительства. На акациях перед входом повесили два цветных фонаря, в передней зажгли светильник, и свыше тридцати свечей, горевших в гостиной, отражались за отсутствием зеркал на полу, который Маду по случаю приема навошил и натер так, что ярко освещенный пол не только сверкал, как лед, но и был почти таким же скользким и опасным для передвижения.

Полотер Маду превзошел самого себя. Кстати сказать, Моронваль долго колебался, раздумывая, в какой роли должен выступить на вечере негритенок.

Оставить его на положении слуги? Либо возратить ему на день титул наследного принца и прежнее величие? Это было весьма соблазнительно, но кто же тогда станет разносить подносы, докладывать о прибывших и вводить их?

Чернокожий Маду был просто неоценим, да и кто мог его заменить? У других воспитанников имелись в Париже попечители, которые, чего доброго, могли счесть такую методику воспитания слишком уж бесцеремонной. И — куда ни шло! — в конце концов решили, что на этом вечере обойдутся и без присутствия царственной особы, без его королевского высочества.

Уже в восемь часов «питомцы жарких стран» заняли указанные им места на скамейках, и золотистая головка юного де Баранеи выделялась светлым пятном на темном фоне смуглых ребячьих физиономий.

Моронваль разослал кучу приглашений в артистические и литературные кружки, разумеется, в те, куда он сам был вхож, и из парижских предместий в гимназию потянулись целые делегации «горе-талантов», подвизавшихся на ниве искусства, литературы, архитектуры.

Они прибывали целыми ватагами, окоченев и стуча зубами от холода, приезжали из недр Монпарнаса или Терн на империалах омнибусов, в потертой одежде, но исполненные достоинства, никому не известные, но с печатью гения на челе. Выйти на свет божий из того мрака, где они барахтались, их побуждало желание побывать на людях, что-либо прочесть, что-нибудь спеть — доказать хотя бы самим себе, что они еще существуют. А потом, вдохнув немного свежего воздуха, увидев клочок чистого неба над головою, ободренные иллюзией славы и успеха, они возвратятся в свою горестную юдоль, почерпнув новые силы для дальнейшего прозябания.

Они и впрямь походили на представителей прозябающей, зачаточной, недоразвитой породы живых существ, которые сильно смахивают на обитателей дна морского — обитателей этих не назовешь животными, ибо они не способны двигаться, не назовешь их и цветами, ибо они лишены аромата.

Здесь можно было встретить философов покрупнее Лейбница, но, увы, глухонемых от рождения, а посему налагавших свои доктрины жестами и нечленораздельными звуками. Попадались тут художники, снедаемые жаждой создать великое полотно, но так причудливо выгибавшие ножки обыкновенного стула и выкручивавшие корни дерева, что все их картины, казалось, изображали землетрясение или корабельный трюм во время бури. Приходили сюда и музыканты, создатели совершенно невиданных инструментов, ученые наподобие доктора Гирша, маньяки, чьи головы напоминают чердак, набитый хламом, где много всякой дребедени, но где не сыщешь ничего нужного, потому что все тут свалено в беспорядке, покрыто пылью, а также потому, что все предметы разбиты, разрознены и ни к чему не пригодны.

Все они производили самое плачевное и жалкое впечатление. И если их непомерные претензии, столь же причудливые, как их прически, если их высокомерие, их чудачества вызывали смех, то их понурый вид говорил о таких невзгодах, что вопреки всему вы чувствовали себя глубоко растроганными, замечая лихорадочный блеск этих опьяненных иллюзиями глаз, глядя на эти изможденные физиономии, на которых, погибая, оставили глубокие рубцы несбывшиеся мечты и угасшие надежды.

А рядом с ними можно было видеть и других — тех, что, найдя служение искусству слишком тяжелым, слишком неблагоприятным, слишком бесплодным, добывали средства к существованию с помощью самых диковинных занятий, не имевших ничего общего с милым их сердцу призванием: лирический поэт, к примеру, завел контору по найму мужской прислуги, скульптор стал комиссионером по продаже шампанских вин, скрипач служил в газовой компании.

Были и такие — самые недостойные, — которых кормили жены, своим трудом содержавшие мужей, умевших лишь гениально бездельничать. Они и явились с женами, и при одном взгляде на мужественные, но увядшие лица несчастных подруг этих «горе-талантов», можно

было понять, как тяжело приходится супруге «гения». Гордые тем, что им позволено сопровождать мужей, они взирали на них с материнской улыбкой, будто хотели сказать: «Вот мое детище!..» И вправду им было чем кичиться — почти все эти господа выглядели, как огурчики.

Прибавьте к этим выстроившимся, как на параде, монстрам две-три литературные мумии, салонных баснописцев, замшелых старичков из всякого рода атенеев, пританеев,[9] из Общества друзей искусства или иных обществ, которые особенно падки на такого рода сборища. Прибавьте людей и вовсе заурядных, уже совершенно безликих — господина, молчавшего с таким видом, будто он воды в рот набрал, но снискавшего себе репутацию человека глубокомысленного, потому что он читал Прудона, или другого, приведенного сюда Гиршем гостя, которого все называли «племянником Берцелиуса»:[10] ему и в самом деле нечем было гордиться, кроме разве этого родства с прославленным шведским ученым: сразу было видно, что он законченный болван; или же, наконец, комедианта

in partibus [11] по имени Делобель, который, по слухам, собирался открыть свой театр.

Чу и потом тут были, конечно, завсегдатаи: три педагога. Лабассендр, разодетый по-праздничному, то и дело издавал рыкающий звук: «Бэу! Бэу!»- так он проверял свой знаменитый бас, который должен был ему в тот вечер понадобиться. Неподалеку высился д'Аржантон, красавец д'Аржантон, причесанный, как херувим, завитой и напомаженный, в светлых перчатках — неприступный, величественный, как и подобает гению.

Стоя у входа в гостиную, Моронваль встречал приглашенных, с рассеянным видом, пожимал им руки: он был сильно обеспокоен, видя, что час уже поздний, а графиня — так здесь именовали Иду де Баранси — все еще не приехала.

Тревожное ожидание передалось всем присутствующим. Гости негромко переговаривались, рассаживались по углам. Низенькая г-жа Моронваль переходила от одной группы к другой и любезно сообщала: «Пока еще не начинаем... Ждем графиню». Она так выразительно произносила слово «графиня», что в ее устах оно звучало необыкновенно таинственно, торжественно и изысканно. Каждый, желая выказать свою осведомленность, шепотом передавал соседу: «Ждут графиню...»

Широко раскрытая фисгармония, сверкавшая всеми клавишами» как громадная челюсть, воспитанники, чинно сидевшие у стены, стоявший на возвышении столик, покрытый зеленой скатертью, зловецкий и грозный, точно гильотина на рассвете, лампа под абажуром, стакан подслащенной воды, и г-н Моронваль, затянутый в белый жилет, и г-жа Моронваль, урожденная Декостер, раскрасневшаяся от всех треволнений этого приема, и Маду-Гезо, продрогший на ветру у ворот, — все, да, все ожидало графиню.

Между тем, так как она все еще не приезжала, а в гостиной стоял сильный холод, д'Аржантон согласился прочесть свое «Кредо любви» — стихотворение, которое присутствующие знали чуть не наизусть, потому что слышали его уже раз пять или шесть.

Остановившись возле камина, он так высоко поднял голову с зачесанными назад волосами, словно читал стихи лепным украшениям на потолке. Поэт напыщенно и пошло декламировал свое не менее напыщенное и пошлое творение, делая паузы в эффектных местах, как будто ожидал, что аудитория непременно разразится восторженными кликами, которым надлежало достигнуть его слуха.

Известно, что «горе-talанты» охотно поощряют друг друга:

— Неподражаемо!..

— Божественно!..

— Поразительно!..

— Прямо Гюго, но только более современный!..

Последовала даже такая неслыханная оценка:

— Гете, исполненный сердечности!

Нимало не смутившись, прищипоренный этим безудержным славословием, поэт властным жестом простер руку и продолжал:

Ну что ж! Пускай толпа глумится надо мною, —

Как в бога веруют, я верую в любовь.

Она вошла.

Певец любви, взор которого по-прежнему был устремлен в небо, даже не заметил ее. Но она, она, несчастная, увидела его, и с этой минуты судьба ее была решена.

Прежде она видала его лишь в пальто и шляпе, одетым для улицы, а отнюдь не для Олимпа. Но тут, в смягченном абажурами свете ламп, отчего матово-бледная кожа казалась еще бледнее, д'Аржантон, в черном фраке и жемчужно-серых перчатках, верящий в любовь, как верят в бога, произвел на нее неотразимое, фатальное впечатление.

Он отвечал всем ее сокровенным желанием, всем грезам, глупой чувствительности, таящейся в глубине души подобных особ, отвечал потребности в чистой, идеальной атмосфере, которая рисуется им как некое воздаяние за жизнь, какую они ведут, отвечал тем смутным устремлениям, какие заключены для них в чудесном слове «артист», хотя слово это, как и все, что они произносят, звучит в их устах пошло и уничижительно.

Да, с первой же минуты она отдала ему всю себя без остатка, и он поселился в ее сердце таким, каким она его увидела в тот вечер, — с отброшенными назад волосами, с нафабранными и завитыми усами, с протянутой вперед вздрагивающей рукой, во всеоружии своих поэтических побрякушек. Она не замечала ни Джека, который делал ей отчаянные знаки и посылал воздушные поцелуи, ни Моронвалей, изгибавшихся перед ней в низком поклоне, ни любопытных взглядов, которыми было встречено ее появление: молодая, свежая, в элегантном бархатном платье и в шляпке для театра — светло-розовой, украшенной лентами и тюлем, ниспадавшим на шею, — она привлекала всеобщее внимание.

Но сама она видела лишь его, его одного!

И даже много времени спустя она помнила это глубокое впечатление, которое ничто не могло затмить: точно в ярком сне перед нею вновь и вновь вставал во весь рост ее великий поэт, такой, каким она в первый раз увидела его в гостиной Моронвалей, которая в тот памятный вечер показалась ей громадной, великолепной, сверкающей тысячью огней. Впоследствии он причинил ей столько горя, унижал, оскорблял ее, разбил ей жизнь, погубил даже то, что еще дороже жизни, и все же не сумел изгладить из ее памяти это ослепительное воспоминание...

— Как видите, сударыня, — произнес Моронваль с самой изысканной из своих улыбок, — ожидая вас, мы, так сказать, приступили к прелюдии... Виконт Амори д'Аржантон читал нам свое блистательное стихотворение «Кредо любви».

Виконт!.. Значит, он виконт?

Чего же еще желать?

Покраснев, как девочка, она робко обратилась к поэту:

— Продолжайте, сударь, прошу вас...

Но д'Аржантон не захотел продолжать. Приход графини погубил самое эффектное место его стихотворения, необыкновенно эффектное! А этого не прощают! Он поклонился, проговорил с насмешливой и холодной учтивостью:

— Я прочитал все, сударыня.

И смешался с толпой гостей, не проявив к Иде никакого интереса.

Сердце бедной женщины сжалось от смутной тоски. Она почувствовала, что не понравилась ему, и мысль эта была ей невыносима. Понадобилась вся нежность Джека, обрадованного тем, что он видит мать, и гордого ее успехом, вся любезность Моронваля, предупредительность окружающих, сознание, что она королева этого праздника, чтобы смягчить тягостное чувство, выразившееся у нее в пятиминутном молчании, что для такой природы было столь же необыкновенно, сколь и благотворно.

Но вот смятение, вызванное ее приходом, улеглось, и каждый занял свое место, готовясь к предстоящему выразительному чтению. Величественная Констан, приехавшая вместе с хозяйкой, поместилась на скамье в глубине гостиной, возле воспитанников. Джек устроился на почетном месте, облокотившись на кресло матери, — он оказался рядом с Моронвалем, который отечески поглаживал его локоны.

В гостиную набилось довольно много людей, они сидели на расставленных рядами стульях, как при раздаче школьных наград. Наконец, г-жа Моронваль-Декостер единолично завладела столиком, всем помостом, всем светом лампы и принялась читать этнографический этюд Моронваля о монгольских племенах.

Это было необыкновенно длинно, скучно и уныло — точь-в-точь, как те вымученные опусы, какие оглашают в различных научных обществах в сумерки, между тремя и пятью часами вечера, а члены ученых советов при этом клюют носом. Досаднее всего было то, что по милости методы Моронваль-Декостер вам не удавалось даже вздремнуть — слова падали и падали, как зарядивший надолго монотонный дождь. Против воли приходилось слушать: их словно ввинчивали вам в голову — слог за слогом, звук за звуком, и самые непонятные царапали вам ухо.

Но больше всего утомлял слушателей назидательный и повергавший в трепет вид г-жи Моронваль-Декостер, самозабвенно применявшей свою методику. Она то округляла губы в форме буквы «О», то кривила их, то растягивала, то судорожно сжимала. А там, на скамьях у самой стены, восемь ребячьих ртов в точности повторяли то, что делала она, подражали чудовищным гримасам своей наставницы, стремясь добиться того, что сия превосходная система именуется «очертанием слов». Восемь пар бесшумно двигавшихся детских челюстей производили самый невероятный эффект. Мадемуазель Констан была просто ошеломлена.

Но графиня ничего этого не видела. Она глядела на поэта, который стоял, опершись о дверной косяк, скрестив руки на груди и вперив взгляд в пространство.

Он грезил.

Казалось, он унесся мыслями куда-то далеко, парил в небесах! Высоко подняв голову, он словно прислушивался к каким-то голосам.

Время от времени взгляд его опускался долу, возвращался на землю, но ни на ком не задерживался. Незадачливая графиня ждала, почти молила, подстерегала этот блуждающий взор, но тщетно. Он безразлично скользил по лицам и ни разу не остановился на ней, словно для него кресло, в котором она сидела, было пустым. Несчастливая женщина была так обескуражена, так ошеломлена этим равнодушием, что даже забыла поздравить Моронвалья с блистательным успехом его этюда — чтение, наконец, кончилось, и это было встречено бурей аплодисментов и вздохами облегчения.

После выразительного чтения был прослушан стихотворный отрывок д'Аржантона, причем поэту аккомпанировал на фисгармонии Лабассендр. На сей раз она, клянусь вам, слушала, и эти плоские, чувствительные стихи проникали в самую глубину ее души — медлительные, трепещущие, надрывные, которым вторили тягучие звуки инструмента. Она буквально растворялась в них, затаив дыхание, замороженная, затопленная волнами гармонии.

— Чудесно! Чудесно! — твердила она, повернувшись к Моронвалю, который слушал ее с натянутой и язвительной усмешкой, как будто страдал от разлития желчи.

Когда мелодекламация закончилась, она попросила представить ее д'Аржантону.

— Какие прекрасные стихи! — пролепетала она. — Какой вы счастливец, что обладаете таким талантом!

Обыкновенно болтливая, экспансивная, сейчас она говорила едва слышно, заикаясь, подбирая слова. Поэт холодно поклонился, как будто ее восхищение оставило его совершенно равнодушным. Тогда она спросила, где можно найти его стихи.

— Их нигде нельзя найти, сударыня, — высокомерно ответил уязвленный д'Аржантон.

Сама того не желая, она задела его самое чувствительное место — оскорбленное самолюбие, и он снова отвернулся, даже не посмотрев на нее.

Но Моронваль не замедлил воспользоваться случаем.

— Бог мой! Вот до чего довели литературу!.. — воскликнул он. — Такие стихи не находят издателя... Талант, гений остаются под спудом, прозябают в неизвестности, обречены блистать в гостиных... — И, не переводя дыхания, выпалил: — Ах, если бы у нас был журнал!

— Он должен быть! — с живостью откликнулась она.

— Да, но деньги!..

— Деньги найдутся... Нельзя же допустить, чтобы подобные шедевры оставались во мраке неизвестности.

Она была возмущена и теперь, когда поэта не было рядом, изъяснялась красноречиво.

«Лиха беда начало!..» — сказал себе Моронваль.

Угадав чутьем пройдоху чувствительную струнку прелестной дамы, он заговорил с ней о д'Аржантоне, не преминув набросить на него плащ романтического и сентиментального героя, что, как он отлично видел, было в ее вкусе.

Он сделал из него современного Лару, Манфреда, наделил его возвышенным, гордым, независимым нравом, который не могли сломить суровые удары судьбы. Поэт сам зарабатывал себе на пропитание, отвергая какую бы то ни было помощь правительства.

— О, это замечательно!.. — восхищалась Ида.

Так как она бредила гербами и титулами, которыми кстати и некстати наделяла встречного и поперечного, то поспешила осведомиться:

— Ведь он родовит, не правда ли?

— Весьма родовит, сударыня... Виконт д'Аржантон, отпрыск одного из самых старинных семейств Оверни... Отец его, разоренный вероломным управителем...

И тут он сочинил для нее банальный роман, где присутствовала несчастная любовь к знатной даме и драматическая история с письмами, которые ревнивая маркиза показала мужу. Ее занимали мельчайшие подробности. А пока они шушукались вдвоем, вплотную придвинув свои кресла, тот, о ком они беседовали, делал вид, будто не замечает маневра директора. Джек, огорченный тем, что мать до такой степени чем-то поглощена, в конце концов навлек на себя ее гнев, и она то и дело обрывала его: «Джек, да сиди же спокойно!.. Джек, ты сегодня невыносим!..» Мальчик, надув губы, со слезами на глазах, разобидевшись, забился в угол гостиной.

А тем временем литературный вечер продолжался.

Теперь на возвышение взобрался один из воспитанников, маленький сенегалец, темный, как финик, и пронзительным голосом принялся декламировать стихотворение Ламартина «Молитва ребенка, пробудившегося от сна»:

Ты доб' и г'овен, бог-отец!

Тебя отец мой чтит смиенно,

И мать коенноп'ек'оненно

Взиаает на тебя, твоец.

Его своеобразное произношение убедительно доказывало, что натура смеется над всеми методами, даже над методой Моронваль-Декостер.

После этого певец Лабассендр, уступив долгим уговорам, решился «показать свою ноту», как он выражался. Он два или три раза пробовал ее, а затем, забыв всякую осторожность, рявкнул таким глубоким и оглушительным басом, что стекла гостиной и ее тонкие стены задрожали, а заваривавший чай Маду-Гезо в восторге отозвался из недр кухни ужасающим воинственным ревом.

Маду обожал шум!

Чинная программа была нарушена потешным событием. В глубокой тишине, когда некий чудака-баснописец, задавшийся целью — в чем он сам простодушно признавался-переиначить басни Лафонтена, читал стихотворение «Дервиш и Горшок с мукой», вольное переложение басни «Пьеретта и Горшок с молоком», в дальнем конце гостиной вспыхнула ссора между племянником Берцелиуса и человеком, который читал Прудона. Они обменялись оскорблениями, а потом и пощечинами. В самый разгар перепалки мимо проходил Маду, и он с огромным трудом удержал в равновесии большой поднос, нагруженный ромовыми бабами и сиропами, который проносил мимо жадных глаз «питомцев жарких стран», — ему было строго — настрого запрещено чем бы то ни было угощать воспитанников. Правда, в течение вечера



им два или три раза подносили «шиповник».

Моронваль и графиня все еще продолжали свою беседу, и красавец д'Аржантон, в конце концов заметив, что он стал предметом настойчивого внимания, выбрал позицию прямо против них и витийствовал, громко произнося пышные фразы и картинно жестикулируя с тем, чтобы все видели и слышали его.

Казалось, он был сильно разгневан. Кто же навлек на себя его немилость?

Никто в отдельности и все, вместе взятые.

Он принадлежал к разряду тех желчных, разочарованных людей, которые, ничего толком не зная, берутся обо всем судить, восстают против общества, осуждают нравы и вкусы своего времени, не забывая подчеркнуть при этом, что их не коснулось всеобщее разложение.

В эту минуту он обрушился на сочинителя басен, безобидного чиновника какого-то министерства, и с грозным видом презрительно и злобно отчитывал его:

— Молчите уж!.. Я-то вас знаю!.. Вы развращены до мозга костей... Вы унаследовали пороки прошлого века, но в вас нет и тени его обаяния.

Баснописец понуро опустил голову, подавленный и сраженный.

— Во что вы обратили честь?.. Во что вы превратили любовь?.. А ваши творения? Где они? Хороши они, ваши творения!

Тут баснописец возмутился:

— Нет уж, позвольте!..

Но тот ничего не хотел позволять. А главное, его совершенно не занимало, что думает какой-то там баснописец. Говоря с ним, он обращался не к нему, он метил дальше и выше. Ему бы хотелось, чтобы вся Франция внимала его словам, и он бы прямо высказал всю правду о ней. Он больше не верил в величие Франции... Конченная, погибшая, никчемная страна... От нее нечего больше ждать: ни веры, ни новых идей. Про себя он твердо решил: он больше не будет здесь жить, он уедет, переселится в Америку.

Разглагольствуя, поэт стал в профиль и принял картинную позу. Даже не глядя, он смутно угадывал прикованный к нему восхищенный взгляд. У него было такое чувство, какое охватывает человека вечером, в чистом поле, когда восходящая луна внезапно встает у него за спиной, гипнотизирует его своим светом и принуждает повернуться, повинувшись ее безмолвному приказу. Эти женские глаза, буквально впившиеся в д'Аржантона, создавали вокруг него какой-то ореол. Ему до такой степени хотелось казаться красивым, что он и впрямь похорошел.

Постепенно в гостиной установилась тишина, и теперь тут раздавался лишь торжественный голос д'Аржантона, требовавший внимания к себе. Ида де Баранси слушала его, забыв обо всем на свете. Когда он, не без задней мысли, упомянул о своем намерении уйти в изгнание, уехать в Америку, сердце у нее похолодело. В один миг все тридцать свечей, горевшие в гостиной Моронваля, угасли, будто ее мысли накинули на них траурный покров. Но окончательно ее сразило то, что поэт, собравшийся покинуть страну, прежде чем отправиться в путь, напустился на французских женщин, обличая их легкомыслие, их развращенность, пошлость их улыбок и продажность их любви.

Он уже не говорил, а гремел, опершись о камин, обратив лицо к толпе, не умеряя голоса и не выбирая слов.

Несчастливая графиня была настолько увлечена д'Аржантоном и так страдала от его равнодушия, что теперь относилa его речи на свой счет.

«Он знает, что я собою представляю», — думала она и все ниже опускала голову под гнетом его проклятий.

А вокруг раздавался восторженный шепот:

— Какой пыл! Он нынче в ударе!

— Он просто гений! — громко восклицал Моронваль и тут же тихо добавлял: —

Ну и фигля!

Но Ида больше не нуждалась в подстегивании. Впечатление было неотразимо.

Она влюбилась.

Доктору Гиршу, этому коллекционеру патологических случаев, наверно, было бы весьма любопытно наблюдать эту мгновенно вспыхнувшую страсть. Однако ученый медик был сейчас занят совсем другим: он тщился погасить, а вернее сказать, раздуть ссору между племянником Берцелиуса и человеком, который читал Прудона. Лабассендр также не остался в стороне. В углу гостиной все о чем-то шушукались, суетились, беспомощно разводили руками, шагали взад и вперед, даже спины людей выражали крайнюю озабоченность — словом, делались попытки к примирению, истинная цель которых состояла в том, чтобы вызвать драку между двумя людьми, которые не испытывали к тому никакой охоты. Впрочем, это никого не тревожило: такого рода перепалки, весьма нередкие на литературных вечерах в гимназии Моронваля, неизменно стихали в ту самую минуту, когда, казалось, достигали наивысшего накала. Как правило, они знаменовали собою конец никчемных сборищ, во время которых все эти неудачники один за другим облакачивались на мраморную доску камина или подходили к фисгармонии, чтобы выказать свои таланты.

Уже час назад г-жа Моронваль, смилостивившись, отослала спать Джека и двух-трех самых младших из «питомцев жарких стран». Те же ученики, что остались в гостиной, зевали, таращили глаза, подавленные всем, что видели и слышали.

Наконец все распрощались.

Бумажные фонари, растерзанные ветром, еще раскачивались у ворот. Удивительно мрачным казался в этот час переулочек: уснувшие дома, грязная мостовая, на которой даже не видно было блюстителя порядка. И только шумные группы уходивших гостей все еще что-то напевали, декламировали, о чем-то спорили, не обращая внимания на коварную ночную стужу и опускавшийся на землю сырой туман.

Выйдя на улицу, они обнаружили, что omnibusы уже не ходят. Но честная компания не пала духом. Химера с золотой чешуей освещала и словно сокращала путь, иллюзии согревали тело, и, растекаясь по пустынному Парижу, люди мужественно возвращались к невзгодам своего безвестного существования.

Искусство — великий чудесник! Оно подобно солнцу и светит не хуже настоящего. Те, кто приближается к нему, даже бедные, даже уродливые, даже блаженные, уносят с собою искорку его тепла и света. Неразумно похищенный с небес огонь горит в глазах всех незадачливых жрецов искусства, делая их порою грозными, но чаще всего смешными. И все же отблеск этого огня придает им величие и бодрость духа, вызывает в них презрение к житейским бедам, наделяет их способностью гордо страдать — то есть тем, чего лишены другие обездоленные.

## V. ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В ГИМНАЗИИ МОРОНВАЛЯ

На следующий день супруги Моронваль получили от г-жи де Баранси приглашение посетить ее в ближайший понедельник. Письмо заканчивал короткий

post scriptum, где она писала, что была бы рада видеть у себя также и господина д'Аржантона.

— Я не пойду... — весьма сухо объявил поэт, когда Моронваль протянул ему надушенное кокетливое письмецо.

Муллат вспылил. Он дал понять д'Аржантону, что друзья так себя не ведут. Да и что ему мешает принять приглашение?

— Я не обедаю у таких особ.

— Прежде всего госпожа де Баранси — вовсе не то, за что ты ее принимаешь. А потом для приятеля можно кое-чем и поступиться. Ты же знаешь, что я нуждаюсь в графине, что ее заинтересовала моя идея издавать колониальный журнал, а ты делаешь все, что можешь, чтобы мне повредить. Как хочешь, но это неблагородно.

После долгих уговоров д'Аржантон соблаговолил дать согласие.

В следующий понедельник г-н и г-жа Моронваль, поручив надвор за гимназией доктору Гиршу, отправились в особнячок на бульваре Османа, куда должен был пожаловать и поэт.

Обед был назначен на семь вечера. Д'Аржантон появился лишь в половине восьмого. Сами понимаете, что в эти полчаса Моронваль не имел никакой возможности заговорить о своем грандиозном проекте.

Ида была в тревоге.

— Как вы думаете, он придет?.. Только бы он не заболел... На вид он такой слабый!

Наконец он прибыл, завитой, с роковым выражением на лице, односложно извинился, сославшись на дела. Как всегда, он был сдержан, но менее высокомерен, чем обычно.

Особняк поразил его воображение.

Только недавно застроенный квартал; пушистый ковер, покрывавший лестницу, которая доке встречала вас цветами; на ступеньках-комнатные растения, в уютном будуаре — благоухающий куст белой сирени; походившая на приемную зубного врача гостиная с небесно-голубым потолком и деревянной золоченой панелью; мебель черного дерева с желтой обивкой; балкон, где поднимавшаяся с бульвара пыль крутилась вперемешку с мельчайшими частицами известки, долетавшими сюда с соседних построек, — все должно было произвести неотразимое впечатление на завсегда г-на Моронваля, вызвать в нем представление о роскоши, о жизни на широкую ногу.

Вид сервированного стола, внушительная осанка солнцепоклонника Огюстена и все те мелочи сервировки, благодаря которым самые плохие вина красиво отсвечивают в бокалах, а самые заурядные блюда кажутся необыкновенно вкусными, окончательно привели его в восторг. Не выражая так бурно своего удивления и удовольствия, как Моронваль, который беспрестанно восхищался и без зазрения совести льстил графине, неподкупный д'Аржантон

мало-помалу смягчился, снизошел до того, что стал улыбаться и разговаривать.

Он был неистощимый говорун, особенно когда рассказывал о себе, и никто тогда не прерывал плавного течения его речи, так как воображение у поэта было капризное и он легко терял нить мысли. Тон у него всегда был наставительный, самые пустяковые вещи он изрекал с необыкновенной важностью, его манера повествования была необыкновенно монотонной, ибо он то и дело повторял: «Я-то, я... Я-то, я...» Этими словами начинались чуть ли не все его фразы. Важнее всего для д'Аржантона было подчинить себе аудиторию, быть уверенным, что его внимательно слушают.

На беду, умение слушать не дано было графине, это было ей не по силам. Вот почему во время обеда произошло несколько досадных инцидентов. Больше всего на свете д'Аржантон любил приводить слова, сказанные им при определенных обстоятельствах и обращенные к редакторам газет либо к издателям, к директорам театров, которые упорно не желали принимать его пьесы, публиковать его прозу или стихи. То были грозные, колючие, ядовитые слова, которые испепеляли противника, сражали его наповал.

Но по вине г-жи де Баранси он никак не мог добраться до своих знаменитых слов, которые по большей части предваряло скучнейшее объяснение. Всякий раз, когда он приближался к самому патетическому месту своего повествования и торжественным голосом произносил: «И тогда я бросил ему в лицо эти уничтожающие слова...», — злополучная Ида, обуреваемая, кстати сказать, заботой о нем, прерывала его на середине фразы, нанося непоправимый урон ораторской речи:

— Пожалуйста, господин д'Аржантон, положите себе мороженого...

— Благодарствуйте, сударыня!

Поэт, нахмурившись, еще торжественнее повторял:

— И тогда я бросил ему в лицо...

— Оно вам не нравится? — простодушно спрашивала хозяйка дома.

— Чудесное мороженое, сударыня... Эти уничтожающие слова...

Но «уничтожающие слова» так запаздывали, что уже не производили должного эффекта, тем более, что чаще всего это были довольно избитые выражения: «Имеющий уши да слышит!» или «Мы еще с вами встретимся» сударь!» После чего д'Аржантон всякий раз прибавлял: «И он был посрамлен!»

Поэт, когда Ида прерывала его, бросал на нее строгий взгляд, приводивший бедняжку в отчаяние: «Что это он?.. Опять я ему не угодила!»

Раза два или три во время обеда она чуть было не расплакалась, но справлялась с собой и самым любезным тоном обращалась к гостям: «Кушайте, пожалуйста, госпожа Моронваль!.. Вы ничего не кушаете!.. Господин Моронваль! Почему вы ничего не пьете?» То была чудовищная ложь, ибо создательница метода Декостер работала своими челюстями еще исправнее, чем на вечерах выразительного чтения, и с ее волчьим аппетитом могла соперничать лишь свирепая жажда ее мужа.

После обеда перешли в гостиную — натопленную, ярко освещенную, где поданный кофе создавал атмосферу интимности. И тут мулат, уже два часа подстерегавший добычу, счел минуту подходящей и внезапно самым непринужденным тоном сказал графине:

— Я много думал о нашем деле... Это потребует меньше денег, чем я предполагал.

— Вот как! — рассеянно отозвалась она.

— Да, да!.. И если бы наша прелестная директриса согласилась уделить мне несколько мгновений для серьезной беседы...

«Директриса»! То был ловкий маневр, блестящая находка, но Моронваль напрасно старался, ибо

диект'иса, как он выговаривал это слово, его не слушала. Она не сводила глаз со своего поэта, который взад и вперед шагал по гостиной — безмолвный, задумчивый.

«О чем он грезит?» — вопрошала она себя.

А он просто помогал пищеварению.

Страдая легким катаром желудка и всегда озабоченный своим здоровьем, поэт, где бы он ни находился, поднимаясь из-за стола, с четверть часа обязательно прохаживался большими шагами по комнате. Обыкновенно над ним посмеивались, но г-же де Баранси он казался от этого еще возвышеннее; и вместо того, чтобы слушать Моронваля, она следила за тем, как опущенное долу, прорезанное суровой складкой чело поэта то скрывается в полумраке, то вновь возникает в свете ламп.

Впервые в жизни она любила по-настоящему, любила страстно, и сердце Иды так сладко замирало, что это наполняло ее неизъяснимым блаженством. Прежде она плыла по течению, послушная прихотям своей тщеславной натуры, и более или менее длительные связи, порабощавшие ее, возникали и обрывались без всякого участия ее воли.

Глупая и невежественная, легковверная и романтическая от природы, почти достигшая — тридцатилетнего возраста, — а это для женщины роковой рубеж, предвещающий перемены, — она, припомнив все когда-либо прочитанные романы, сотворила в своем воображении идеал мужчины, похожего на д'Аржантона. И теперь при взгляде на него лицо ее так преображалось, живые глаза выражали такую нежность, а улыбка — такое томление, что вспыхнувшая в ней любовь уже ни для кого не была тайной.

Видя, до какой степени г-жа де Баранен чем-то поглощена, как она притихла, Моронваль едва заметно пожал плечами и выразительно посмотрел на жену, словно хотел сказать:

«Она от него без ума».

Так оно и было; все это время она мучительно думала, как бы завоевать его расположение. Наконец ее осенило, и когда поэт, все еще шагавший по комнате, точно пантера в клетке, проходил мимо нее, она промолвила:

— Если бы господин д'Аржантон был так мил и прочитал нам свое чудесное стихотворение, которое тогда, в гимназии, имело такой успех!.. Всю неделю я только о нем я думаю... Особенно меня преследует один стих... Как в... как в... Как же это?.. Ага!..

Как в господа веруют, я верую в любовь.

— Как в бога! — поправил поэт, состроив такую ужасную гримасу, будто ему дверью прищемили палец.

Графиня, которая понятия не имела о просодии,[12] уяснила себе только одно: она опять

чем-то не угодила поэту. Беда в том, что в присутствии этого человека она уже начала испытывать то гипнотическое влияние, от которого впоследствии так и не сумела избавиться, и потому ее любовь к нему походила на раболепное и трепетное поклонение, какое испытывают японцы к своим свирепым идолам с глазами из нефрита. Рядом с ним она казалась еще глупее, чем была, она утрачивала ту живость, ту непосредственность, которая придавала ей сходство с порхающей пташкой, присущую ее ограниченному уму способность к внезапным ассоциациям и сравнениям, что сообщало ей своеобразную привлекательность.

И все-таки идол смягчился: желая показать г-же де Баранси, что он простил ее и больше не сердится на то, что она исковеркала его — стихи, д'Аржантон прервал на минуту свой моцион.

— Я почитаю вам... Вот только что? Не придумаю.

Он повернулся к Моронвалю и, по излюбленной привычке всех поэтов, которые, как правило, обращаются за советом, заранее зная, что не последуют ему, спросил:

— Что

бы мне такое прочесть?

— По-моему, — если уж тебя просят прочесть «Кредо», прочти «Кредо», — хмуро пробурчал тот.

— И то верно!.. Вы не передумали?

— Помилуйте! Вы мне доставите истинное удовольствие, — поспешила уверить его графиня.

— Отлична!.. — .сказал поэт.

Приняв торжественную позу и подняв глава к потолку, он с минуту помолчал, а затем неожиданно произнес:

Той, что содеяла мне зло...

Заметив изумление Иды, ожидавшей совсем иных слов, он продолжал еще более высокопарным тоном:

Той, что содеяла мне зло...

Графиня и Моронваль обменялись красноречивым взглядом. Без сомнения, речь шла о той самой знатной даме.

Отрывок начинался плавно, в духе традиционного послания в стихах:

На вас, сударыня, был туалет нарядный..

Затем стихотворение приобретало все более мрачную Окраску, ирония сменялась горечью, горечь — исступлением, и все это увенчивалось такими грозными строками:

Господь! Избавь меня от женщины ужасной.

Что кровь мою из сердца пьет!

Сделав вид, будто это странное стихотворение пробудило в нем тягостные воспоминания, д'Аржантон за весь вечер больше не вымолвил ни слова. Бедная Ида тоже погрузилась в задумчивость. Она размышляла о знатных дамах, которые причинили столько зла ее поэту, — в ее представлении он вращался в высшем, в самом высшем свете, в аристократических салонах Сен — Жерменского предместья, где женщины-вампиры выпивали всю кровь из его сердца, не оставив на ее долю ни капли...

— Знаешь, мой милый, — говорил Моронваль, идя под руку с д'Аржантоном по пустынным бульварам и шагая так быстро, что крошечная г-жа Моронваль с трудом поспевала за ними, — знаешь, если у меня будет свой журнал, я сделаю тебя главным редактором.

По примеру моряков, он выбрасывал за борт половину груза, чтобы спасти таким образом корабль, ибо видел, что если д'Аржантон не вмешается, он, Моронваль, ничего путного не добьется от графини, ничего, кроме легковесных слов и пустых обещаний.

Поэт не ответил. Ему было вовсе не до журнала!

Женщина эта волновала его. Если уж ты избрал себе удел лирического поэта, мученика любви, то нелегко остаться равнодушным к немому обожанию, которое льстит одновременно и тщеславию служителя муз и тщеславию записного сердцеда. С той минуты, как он увидел Иду в роскошной обстановке особняка, правда, несколько вульгарной, как и она сама, но говорящей о комфорте, изнеженности, он почувствовал, что его охватывает смутное любовное томление, и оно поколебало незыблемость его принципов.

Амори д'Аржантон был отпрыском одного из тех захудалых дворянских родов, каких немало еще во французских провинциях и чьи небольшие замки напоминают усадьбы зажиточных фермеров — только с виду они победнее да поскромнее. Три поколения разорившихся д'Аржантонов вели в полуразрушенном замке жизнь, полную всяческих лишений, жизнь мелкопоместных дворян, промышляющих охотой и занимающихся земледелием, и все же в конце концов им пришлось продать родовое владение, уехать из родных мест и отправиться в Париж, чтобы попытаться счастья.

Все их деловые начинания неизменно заканчивались неудачей, так что они совсем захирели и вот уже больше тридцати лет не прибавляли частицы «де» к своему родовому имени. Избрав литературную карьеру, Амори восстановил эту дворянскую частицу, а также титул виконта, на который он имел право. Он надеялся прославить его и в порыве честолюбия, присущего начинающим писателям, произнес самонадеянную фразу: «Настанет день, когда люди будут говорить «виконт д'Аржантон», как они говорят теперь «виконт де Шатобриан».

— Или виконт д'Арленкур![13] — подхватил Лабассендр, который, прежде чем стать певцом, был рабочим, а потому открыто ненавидел знать.

Детство у поэта было невеселое и беспросветное, омраченное невзгодами и бедностью. Вокруг он видел тревоги, слезы, постоянную заботу о деньгах — все то, от чего так быстро тускнеет взор ребенка: он никогда не играл, не улыбался. Стипендия, которую Амори получал

в лицее Людовика Великого, была большим подспорьем, и у него достало сил закончить курс, но она же прибавляла к мучительному чувству ненадежности еще и ощущение зависимости. Каникулы и свободные от занятий дни он проводил у тетки со стороны матери, превосходной женщины, которая содержала меблированные комнаты в квартале Маре. Иных развлечений он не знал. Время от времени тетушка давала ему небольшую сумму денег на покупку перчаток, ибо он уже с юности заботился о своем туалете.

Такое печальное детство оставляет горечь на всю жизнь. Лишь долгие годы счастья, когда человеку неизменно сопутствует успех, могут изгладить из памяти эти тягостные воспоминания первых лет жизни. Сколько видишь людей богатых, удачливых, обладающих немалым весом в обществе, занимающих высокое положение, которые словно бы не умеют наслаждаться тем, что им даровала судьба; в углу рта у них навеки залегла завистливая складка-след давних разочарований, а в их осанке навсегда сохранилась стыдливая робость, которую сообщает юным, еще не окрепшим телам нелепая, ветхая, — заплатанная одежда, перешитая из отцовского платья.

Да, в углах губ д'Аржантона не случайно притаилась горькая усмешка.

К двадцати семи годам он еще ничего не достиг, если не считать того, что опубликовал за собственный счет томик стихотворений, в которых касался судеб человечества. Чтобы издать книгу, он полгода питался хлебом и водой, а о ней никто и слова не сказал. Между тем он много работал, он верил в себя, проявлял силу воли, но для поэта всего этого мало, от него ждут взлетов. А у д'Аржантона не было крыльев. Он ощущал нередко тот болезненный зуд, какой испытывает человек, когда у него прорезается зуб мудрости, но и только! Его усилия били усилия бесполезные, бесплодные.

Он зарабатывал на жизнь, давая уроки. Во многом отказывая себе, он нетерпеливо ждал конца месяца, когда тетушка, доживавшая свой век в провинции, присылала ему немного денег. Все это очень мало походило на идеал, нарисованный себе Идой, на рассеянную жизнь светского поэта, который проводит время в салонах аристократического предместья столицы, избалованный успехом и любовными интрижками.

Спесивый и холодный от природы, поэт до сих пор избегал прочных связей. Между тем подходящих случаев у него было немало. Как известно, встречаются сотни женщин, которые готовы влюбиться в таких господ и клюнуть на их высокопарные фразы вроде «Я верую в любовь», точно уклейка на крючок. Но д'Аржантон смотрел на женщин только как на помеху, как на пустую трату времени. С него хватало их восторгов, а сам он как бы пребывал в эмпиреях, где любимцы муз парят, окруженные поклонением, на которое они даже не считают нужным отвечать.

Ида де Баранси была первая женщина, которая произвела на него глубокое впечатление. Сама она об этом даже не догадывалась. Всякий раз, когда ее — кстати сказать, чаще, чем следовало, — приводило в гимназию желание повидать маленького Джека и она сталкивалась с д'Аржантоном, вид у нее был самый униженный, а голое звучал все так же робко, будто молил о прощении.

А поет — даже носа\* визита на бульвар Обмана — по-прежнему ломал комедию, прикидываясь равнодушным. Но яри это» он слегка подлаживался к ребенку, приближал его к себе, наводил на разговор о матери, о ее особняке, элегантная обстановка которого и очаровывала в возмущала его, пробуждая в нем тщеславие и ревность.

Сколько раз во время уроков литературы — вы сами понимаете, как мало интересовала литература «питомцев жарких стран», — сколько раз подзывал он Джека к своему столу, чтобы порасспросить его: как поживает мама? Что она поделывает? О чем она с ним разговаривает?



Джек, весьма польщенный, отвечал на все вопросы, которые ему задавали, и даже рассказывал о том, о чем его и не спрашивали. И получалось так, что он в этих интимных беседах постоянно возвращал д'Аржантона к мысли о «милом дяде», к мысли, которая я без того терзала поэта, силившегося отогнать ее. Этот кудрявый мальчуган, говоривший нежным, вкрадчивым голоском, то и дело безжалостно твердил: «Дядя такой добрый, такой внимательный!..» Он их часто навещает, очень часто. А когда ему недосуг, он присылает большие корзины, полные вкусных фруктов; груши там до того огромные — Он и игрушки ему присылает... Ну, и Джек, понятно, любит его всей душой!

— И ваша мама, конечно, тоже его очень любит? — спрашивал д'Аржантон, продолжая что-то писать или делая вид, будто что-то пишет.

— Разумеется!.. — простодушно отвечал Джек.

Но кто мог поручиться, что это на самом деле было простодушие?

Детская душа подобна бездне. Никогда толком не знаешь, в какой мере понимают дети то, о чем говорят. В них постоянно происходит зарождение мыслей и чувств, и это таинство сопровождается внезапными озарениями, которых как будто ничто не предвещало, отрывочные представления складываются в единое целое, ибо ребенок внезапно постигает существующую между ними связь.

Возможно, нечто подобное происходило и с Джеком, но так или иначе он обнаружил, что всякий раз, когда он рассказывает своему преподавателю о «милом дяде», тот приходит в бешенство и с трудом скрывает его. Одно только можно сказать определенно: мальчик упорно возвращался к этой теме. Он терпеть не мог д'Аржантона. К той неприязни, какую он испытывал к нему с первого дня, прибавилась еще и ревность. Слишком уж много внимания уделяла его мама этому человеку. Когда он бывал дома или когда она сама его навещала, мама забрасывала его вопросами о противном учителе: хорошо ли он обращается с Джеком, не наказывал ли что-нибудь ей передать?

— Ничего не наказывал, — отвечал ребенок.

А поэт, между прочим, при всяком удобном случае просил передать поклон графине. Он даже однажды вручил Джеку переписанное им стихотворение «Кредо любви», но мальчик сперва забыл его в пансионе, а потом потерял — то ли по рассеянности, то ли умышленно.

И вот, пока эти две несхожие натуры тянулись друг к другу подобно тому, как тянутся друг к другу противоборствующие полюсы магнита, ребенок метался между ними, настороженный, недоверчивый, как будто уже подозревал, что будет зажат, стиснут и раздавлен в результате страшного неотвратимого удара, который последует, когда они наконец сойдутся.

Каждые две недели по четвергам Джека отпускали из пансиона, и он обедал у матери — иногда с ней вдвоем, иногда в компании с «милым дядей». В такие дни они бывали в концерте, в театре. Это было великим праздником не только для Джека, но и для всех «питомцев жарких стран», ибо после приобщения к семейной жизни мальчик возвращался в пансион с набитыми карманами.

В один из четвергов, придя в обычный час, Джек увидел, что стол накрыт на три персоны, сверкает хрусталем и весь уставлен цветами. Мальчик обрадовался.

«Вот хорошо!.. Значит, приехал милый дядя».

Мать поспешила ему навстречу — красивая, нарядная, с веточкой белой сирени в волосах; вокруг стояли корзины тоже с сиренью. Яркий огонь приветливо пылал в гостиной, куда она, смеясь, потащила Джека.

— Угадай, кто у нас в гостях?

— Я уже догадался! — радостно воскликнул Джек. — Милый дядя!..

По четвергам они обыкновенно разыгрывали подобные сценки, когда приезжал граф.

В гостиной сидел д'Аржантон.

На его бледном лице было еще более роковое выражение, чем всегда; он расположился на диване; фрак, широкая крахмальная манишка и белый шейный платок придавали ему величественный вид.

Враг проник в крепость. Джек был так жестоко разочарован, что с огромным трудом удержался от слез.

С минуту в комнате длилось неловкое молчание.

Но тут, к счастью, дверь с шумом и грохотом распахнулась, будто на нее обрушилась орда гуннов, и Огюстен зычным голосом объявил:

— Кушать подано, сударыня!

Джеку показалось, что этот унылый обед тянется бесконечно. Ребенок сковывал взрослых и сам чувствовал себя скованным. Ощущали ли вы когда-нибудь ту мучительную отчужденность, когда хочется исчезнуть, раствориться без следа — до такой степени чувствуешь себя лишним и никому не нужным? Если Джек говорил, его не слушали. А понять то, что говорили они, было ему не по силам.

То были какие-то полунамеки, непонятные обороты, загадочные фразы, какие употребляют, когда хотят, чтобы дети не поняли, о чем идет речь. Иногда он замечал, что мама смеется, потом краснеет и подносит рюмку к губам, чтобы скрыть краску на лице.

— Нет, нет!.. — восклицала она.

Или:

— Как знать?.. Пожалуй!.. Вы так думаете?

Эти отрывочные слова как будто не имели глубокого смысла, а между тем взрослые весело смеялись. С какой грустью вспоминал в эти минуты Джек те веселые обеды, когда он, сидя между мамой и «милым дядей», полновластно царил за столом, заставляя их смеяться или хмуриться! И вдруг, весь уйдя в воспоминания, он некстати обмолвился. Г-жа де Баранси только что предложила грушу д'Аржантону, который восторгался чудесными плодами.

— Их прислали из Тура... — сказал Джек, на первый взгляд без задней мысли. — Это все милый дядя нас балует.

Д'Аржантон, уже начавший было чистить грушу, положил ее на тарелку, и в том, как он это сделал, сквозила досада, что ему не придется полакомиться любимыми фруктами, и презрение к сопернику.

Какой ужасный взгляд кинула мать на сына! Ни разу в жизни она не смотрела на него так грозно.

Джек больше не решался ни пошевелиться, ни открыть рот, и весь вечер его не оставляло чувство обиды и неловкости.

Усевшись рядышком у камина, Ида и д'Аржантон тихо разговаривали, и их доверительный

тон свидетельствовал о возникавшей между ними близости. Он рассказывал ей о своей жизни, о беспокойном нездоровом детстве, которое прошло в мрачном старинном замке, затерянном в горах; описывал наполненные водою глубокие рвы, зубчатые башенки, бесконечные коридоры, где свистел ветер; потом поведал ей о литературных боях, о первых своих трудах, о препятствиях, на которые постоянно наталкивался его мятущийся дух, о том, что никто не способен по достоинству оценить его высокие устремления.

Говорил д'Аржантон и о тех злобных гонениях, жертвой которых он стал, о своих литературных противниках, о своих убийственных эпиграммах, которые убивали их наповал:

«И тогда я бросил ему в лицо эти уничтожающие слова...»

На сей раз она его не прерывала. Она слушала, вся устремившись к нему, опершись подбородком на руку, и на губах ее блуждала восторженная улыбка. Ида была так поглощена этой исповедью, что, даже когда поэт умолкал, она все еще как будто прислушивалась к отзвуку его слов, хотя в гостиной ничего не было слышно, кроме тиканья стенных часов да шуршанья страниц альбома, которые от нечего делать перелистывал полусонный ребенок.

Внезапно Ида вздрогнула и быстро поднялась.

— Джек, дружок! Скажи Констан, чтобы она тебя проводила в пансион. Пора!..

— Мамочка!

Джек не решился сказать, что обычно он отправлялся в пансион гораздо позднее, — он боялся огорчить мать, а главное, страшился вновь увидеть в ее красивых светлых глазах, всегда смотревших на него с такой нежностью, сердитое выражение, которое так потрясло его давеча.

В награду за послушание она порывисто прижала его к груди и расцеловала.

— Спокойной ночи, дитя мое!.. — необычайно торжественно произнес д'Аржантон, привлекая к себе мальчика, словно тоже собирался поцеловать его.

Тот подставил ему красивый лоб, обрамленный светлыми локонами.

— Спокойной ночи!

И вдруг поэт оттолкнул его, словно охваченный непобедимым отвращением, похожим на то, какое он испытал во время обеда, когда начал чистить грушу.

А ведь этим ребенком одарил Иду вовсе не «милый дядя».

— Нет, не могу!.. Не могу... — прошептал поэт и, вытирая лоб, тяжело опустился на козетку.

Джек растерянно глядел на мать, словно спрашивая: «Что я ему сделал?»

— Ступай, Джек... Отвезите его, Констан.

Пока г-жа де Баранси всячески умасливила поэта, силясь успокоить его, мальчик с тяжестью на душе возвращался в гимназию Моронваля. И в темном переулке, казавшемся еще более мрачным и узким, потому что ему не хотелось туда возвращаться, в холодном дортуаре он не переставал думать о своем преподавателе, который так удобно раскинулся на диване у мамы в гостиной, залитой ярким светом и заставленной цветами, и с завистью повторял про себя: «Ему-то хорошо!.. Интересно, сколько он там еще пробудет?..»

В возгласе д'Аржантона «Нет, не могу!..» и в том отвращении, которое отразилось на его

лице, когда он хотел поцеловать Джека, разумеется, было немало рисовки, позы, вообще свойственной этому кривляке, но все же тут присутствовало и настоящее, невыдуманное чувство.

Он испытывал ревность к ребенку, а ребенок испытывал ревность к нему. В глазах поэта мальчик воплощал прошлое Иды, он служил доказательством, и притом весьма веским, что другие мужчины любили ее до него. И от этого гордость д'Аржантона страдала.

Нельзя сказать, чтобы он так уж был увлечен графиней. Вернее, он любил в ней самого себя. Видя, как ее ясные наивные глаза отражают его приукрашенный образ, он охотно любовался ими с той же эгоистической улыбкой, с какой женщина улыбается зеркалу, в котором она кажется еще красивее. Но д'Аржантону хотелось, чтобы зеркало это не было замутнено чужим дыханием, чтобы оно никогда не отражало ничей образ, кроме его собственного. На самом деле в таинственной глубине этого живого зеркала хранилось отражение многих других мужчин, и мысль эта оскорбляла его.

И тут уж ничего нельзя было поделаться. Бедная Ида не могла изменить свое прошлое, она могла лишь сокрушенно повторять, как делают все женщины: «Отчего я так поздно встретила тебя?» Но эта жалоба не способна унять муки самой странной ревности — ревности к прошлому, особенно если в ее основе лежит невероятная гордыня.

«Она должна была предчувствовать мое появление», — думал д'Аржантон, — вот объяснение того глухого гнева, какой он испытывал при одном лишь взгляде на Джека.

Но не могла же она отречься от этого дорогого ей златокудрого прошлого, отринуть его! Однако постепенно, под влиянием поэта, стремясь избавить всех от тягостных встреч, когда каждый страдал оттого, что мешает другим, она начала все реже брать мальчика из пансиона и все реже сама появлялась в гимназии. Она уже вступала на стезю жертв, и эта жертва была не самой легкой.

Что касается особняка, кареты, всей той роскоши, к которой она привыкла, то г-жа де Баранси готова была все бросить и ждала лишь согласия д'Аржантона, чтобы дать отставку «милому дяде».

— Вот увидишь, — говорила она, — я буду тебе помощницей, я стану работать. И потом я вообще не буду для тебя обузой. Немного денег у меня останется.

Но д'Аржантон все еще не решался. Несмотря на то, что поэт казался человеком восторженным, на самом деле ум у него был холодный и трезвый. Как всякий педантичный буржуа, он превыше всего ценил свои привычки и сохранял рассудительность даже в порыве страсти.

— Нет, нет... Повременим немного... Настанет день, я разбогатею, и тогда...

Он намекал на свою старую тетушку, жившую в провинции и каждый месяц присылавшую ему денег: рано или поздно он непременно унаследует ее состояние. Ведь она уже совсем старенькая.

А в ожидании этого дня они строили воздушные замки. Они уедут в деревню, будут жить достаточно близко от столицы, чтобы греться в ее лучах, и вместе с тем достаточно далеко, чтобы не страдать от ее шумной суеты. Приобретут себе домик. Поэт давно уже решил, каким именно он будет: невысокое строение с итальянской террасой, увитой виноградом, а над входом надпись:

*Parva domus magna quiet:* «Маленький дом — великий покой». Там он станет работать. Он напишет книгу, свою книгу, настоящую книгу, подлинную книгу — «Дочь Фауста», ту самую, о

которой он толкует уже лет десять. Затем, после «Дочери Фауста», последует томик стихов — «Страстоцвет», потом сборник беспощадных сатир — «Медные струны»... В голове д'Аржантона роилось множество вакантных названий, ярлыков, заменяющих идеи, но замыслы его можно было уподобить корешкам переплетов без книг.

Издатели явятся, они вынуждены будут явиться! И тогда — богатство, слава! Быть может, его изберут в Академию, хотя Академия пришла в упадок и сильно обветшала.

— Нет, нет, это не резон, — возражала Ида. — Академиком быть необходимо!

И ей уже грезилось, будто его избрали в академики, а она, как и подобает супруге прославленного человека, сидит в самом скромном из своих платьев, забившись в уголок и трепеща от волнения.

А пока суд да дело, они по-прежнему лакомились грушами «милого дяди»-самого покладистого и самого непроницательного из «милых дядюшек».

Д'Аржантону очень нравились эти окаянные груши. Но поглощал он их, исходя злостью и скрипя зубами от бешенства — он понимал всю непорядочность своего поведения и срывал досаду на злополучной Иде, отпуская на ее счет колкие и язвительные замечания.

Так проходили недели, месяцы, не внося никаких изменений в их жизнь, если не считать заметного охлаждения между Моронвалем и его преподавателем литературы. Мулат, все еще безуспешно ожидавший, когда же графиня примет нужное ему решение относительно журнала, подозревал, что д'Аржантон против этого проекта, и уже без стеснения поносил его.

Теперь по четвергам Джека очень редко брали домой. Как-то утром, в четверг, он стоял возле одного из многочисленных окон ротонды, служившей рекреационным залом, и с грустью смотрел на широкое ярко-голубое, безоблачное весеннее небо, навевавшее думы о прогулках на вольном воздухе.

Солнце уже пригревало, на ветках сирени зазеленели почки, даже невозделанная почва маленького садика набухла соками, словно под нею журчали невидимые родники. Из переулка доносился детский крик, пенье птиц в клетках. В такое утро все отворяют окна, чтобы открыть солнцу доступ в комнаты и изгнать оттуда тени зимы — мрак, скопившийся за долгие холодные ночи, и копоть, которая застаивается в плохо проветриваемых жилищах.

Джек думал, как славно было бы в такое вот утро уйти из постылой гимназии и видеть перед глазами даль, а не высокую каменную ограду, поросшую плющом, у подножья которой кучами зеленого от плесени булыжника и сухих листьев заканчивался сад.

В эту самую минуту колокольчик над дверью зазвенел, и мальчик увидел, что вошла его мать — нарядно одетая, сияющая, порывистая, охваченная необычайным возбуждением.

Она приехала за ним, чтобы взять его с собой на прогулку в Булонский лес.

Вернутся они вечером. Они чудесно проведут время, совсем как прежде.

Надо было попросить разрешение у Моронваля, но так как г-жа де Баранси привезла с собой плату за очередную треть года, то нетрудно догадаться, что разрешение было дано немедленно.

— Как хорошо! — радостно воскликнул Джек.

Пока его мать рассказывала мулату, что д'Аржантону пришлось срочно выехать в Овернь к умирающей тетке, ребенок во весь дух кинулся через двор одеваться. По дороге ему попался Маду. Измученный, печальный, занятый уборкой дома, негритенок волочил швабры и ведра,

даже не замечая, какая стоит прекрасная погода и как благоухает воздух, как пахнут растения, набухшие весенними соками.

При взгляде на него Джека осенила шальная мысль — такие мысли вспыхивают в голове счастливого ребенка, которому хочется, чтобы все вокруг разделяли его радость.

— Мамочка, а что, если мы прихватим с собой и Маду?

На сей раз добиться разрешения было не так легко, потому что маленький король исполнял в гимназии слишком много обязанностей. Однако Джек долго упрашивал г-жу Моронваль, и добрая женщина наконец объявила, что сегодня она заменит Маду.

— Маду, Маду! — завопил Джек, устремляясь в сад. — Скорей одевайся! Ты поедешь с нами в Булонский лес, там мы и позавтракаем.

Возникло минутное замешательство. Маду остолбенел. Г-жа Декостер соображала, у кого бы взять для него приличествующий случаю мундир. Юный де Баранси прыгал от радости, а г-жа де Баранси, подобно болтливому попугаю, которого подстегивает шум, сообщала Моронвалю кучу подробностей о поездке д'Аржантона и о том, что здоровье его внушает ей опасения.

Наконец двинулись в путь.

Джек с матерью устроились в глубине открытой коляски, а Маду примостился на козлах рядом с Огюстеном; это было не слишком по-королевски, но его величество еще и не то видал.

Прогулка началась чудесно. Перед ними убегала вперед широкая улица Императрицы, где по утрам всегда так тихо и так легко дышится. Время от времени попадались гуляющие — те, что любят погреться на солнышке, пока еще не поднялась дневная суeta, пыль, шум. Гувернантки гуляли с детьми — самых маленьких несли на руках, и вид у этих крошек в длинных белых платьях был необычайно торжественный. Дети постарше, с голыми руками и коленками, весело резвились, и, ветерок трепал их длинные волосы. Мимо проносились всадники, амазонки. Эта окаймленная зелеными лужайками, тихая дорога, на чисто подметенном песчаном грунте которой отчетливо виднелись отпечатки копыт только что гарцевавших тут лошадей, напоминала не столько место для прогулок, сколько тихую аллею парка в какой-нибудь усадьбе. Такое же впечатление безмятежного покоя и роскоши производили окруженные зеленью виллы — их розовый кирпич и поголубевший в это чудесное утро шифер казались омытыми ярким весенним светом.

Джек был на седьмом небе; он обнимал мать, дергал Маду за полы мундира.

— Ты доволен, Маду?

— О! Очень доволен, мусье!

И вот они в Булонском лесу, — он уже зазеленел, кое-где распустились цветы. Попадались такие аллеи, где только верхушки деревьев были как бы осыпаны зеленью либо покраснели от живительного сока, и от этого ветви, утопавшие в лучах солнца, казались почти прозрачными. Тут росли деревья разных пород; светлая зелень свежих побегов переходила в темный цвет вечнозеленых кустарников. Твердые, съезжившиеся листья падуба, лишь недавно стряхнувшие с себя снег, задевали только еще набухавшие почками кусты сирени, яблочки и недоверчивой.

Коляска остановилась перед павильоном, тут помещался ресторан. Пока им готовили завтрак, г-жа де Баранси отправилась с детьми побродить вокруг озера. В этот утренний час ничто не нарушало его покоя, еще не наступило время долгих послеполуденных прогулок,

когда водная гладь отражает нарядные, обшитые талунном ливреи кучеров, султаны на лошадиных головах да сверканье спиц модных экипажей.

Озеро еще хранило ночную свежесть, и над ним курилась легкая дымка, заметная на свету. По нему плавали лебеди, в прозрачную воду гляделись прибрежные кусты, тень, тишина и глушь, казалось, вернули ему подлинный вид природного водоема: его поверхность морщилась, покрывалась рябью, бившие на дне роднички выталкивали наверх светлые, лопающиеся пузыри. Нет, это уже была не неподвижная гладь, точно зеркало отражающая последние моды тщеславных парижан, — озеро отважилось вновь стать лесным озером, над ним хлопали крылья, его рассекали плавники, ивы, опушенные светлой и нежной зеленью, окунали в него свои беспомощные ветви.

Какая изумительная прогулка!

А завтрак!.. Завтрак у открытого окна, когда беззаботные и оживленные гимназисты с аппетитом уплетали все, что было на столе! Пока они сидели за столом, ни на минуту не умолкал смех. Смешило их все: кусок хлеба, упавший на пол, повадки официанта. И взрывы этого простодушного веселья как бы находили отзвук в гомоне птиц на ветвях.

Но вот завтрак окончился.

— А не поехать ли нам в Зоологический сад?.. — предложила Ида.

— Как ты хорошо придумала, мамочка!.. Ведь Маду этого никогда не видал... Ему будет так интересно!

Они опять уселись в коляску и покатали по широкой аллее до самых решетчатых ворот. В Зоологическом саду было совсем пустынно, тут царил такой же нерушимый покой, такая же утренняя свежесть, как и в Булонском лесу. Но больше всего здесь прельщала детей жизнь животных, которые таились всюду, под любым кустом, следили за проходящими людьми, в несколько прыжков оказывались у загородки, просовывали сквозь прутья розовые морды и глядели — кто томно, кто лукаво: их притягивал вкусный запах свежего хлеба, который мальчишки прихватили из ресторана.

Маду, чтобы не огорчать Джека, до сих пор только делал вид, будто ему весело, но теперь он веселился по — настоящему. Чтобы распознать зверей, привезенных с его родины, он не нуждался в синих табличках, которые придают этим маленьким загонам вид перенумерованных темниц. Со смешанным чувством удовольствия и печали он глядел на кенгуру, стоявших на длинных задних лапах, таких могучих и сильных, что они походят на крылья. Видно было, что он им сочувствует: ведь они тоже на чужбине, — страдает оттого, что им отвели такое ничтожное пространство, которое они перемахивают в три прыжка, возвращаясь в свой маленький домик с торопливостью животных, привыкших к крову и понимающих, как им необходимо пристанище.

Негритенок останавливался перед тонкими, но прочными решетками, выкрашенными светлой краской, чтобы создать у животных иллюзию свободы; в эти загоны были помещены онагры, антилопы — без всякой жалости к их точеным, легким и проворным копытцам. Местами земля так облысела, склоны некоторых пригорков были покрыты такой скудной травкой, что перед глазами Маду, следившего за быстрыми движениями животных, внезапно возникали клочки выжженной солнцем земли его далекой родины.

Особую жалость вызывали в нем посаженные за решетку птицы. Страусы, казуары, которых разместили поодиночке под открытым небом и которые рядом с тропическими растениями казались — когда вы только входили в аллею — картинкой из учебника естественной истории, могли хотя бы вытянуться или, стоя на солнышке, покопаться в перемешанной с камнями свеженасыпанной земле, которую часто меняют, отчего Зоологический сад сохраняет вид

уголка живой природы. Но до чего же печальными казались попугаи ара, заключенные в длинную вольеру, которая была разделена на множество совершенно одинаковых клеток — в каждой из них имелся карликовый бассейн и насест в форме дерева, но без ветвей и зеленой листвы.

Маду смотрел на эти унылые, полутемные помещения — павильон, сооруженный для птиц, слишком высок по сравнению с небольшим двориком — и невольно думал о гимназии Моронваля. В этих своеобразных голубятнях, грязных и узких, яркое оперение птиц словно бы потускнело и взлохматилось. Все это говорило о борьбе, о битвах растерянных и обезумевших узников, которые тщетно колотились о прутья решетки из тонкого железа. И птицы пустыни, птицы безбрежных просторов, фламинго с вытянутой шеей и розовыми перьями, которые треугольными стаями носятся в воздухе между Голубым Нилом и бледным небом, длинноклювые ибисы, которые дремлют, усевшись на неподвижные сфинксы, — все они выглядели здесь на редкость буднично в окружении белых павлинов, чванливо распускавших свой хвост, и маленьких пестро окрашенных китайских уток, которые весело барахтались в крошечном озере.

Постепенно Зоологический сад наполнялся людьми.

Теперь в нем было шумно, оживленно. И вдруг в пространстве меж двух аллей перед Маду предстала странная, волшебная картина, наполнившая его душу таким необычайным восторгом, что он остолбенел и онемел, не находя слов, чтобы выразить свое изумление и восхищение.

Над молодой порослью, над решетками, почти на уровне крон высоких деревьев показались громадные головы двух слонов; помахивая хоботами, они медленно выступали, неся на своих широких спинах пеструю группу людей — женщин со светлыми зонтиками, детей в соломенных шляпах и простоволосых: их темные и золотистые головы были украшены цветными бантами. Позади слонов своей неповторимой поступью вышагивал жираф, на его длинной шее возвышалась торжественно и гордо небольшая голова; жираф тоже вез нескольких человек. И этот необычный караван медленно продвигался по круговой аллее вдоль кружева молодых ветвей. Люди смеялись, порой вскрикивали, возбужденные высотой, легким дуновением ветерка, а также смутной боязнью, которую они, побуждаемые самолюбием, старались побороть.

В ярком солнечном свете весенние платья казались сшитыми из дорогого шелка и переливались всеми цветами на фоне грубой, шероховатой кожи слонов. Наконец гигантские животные стали видны целиком: на шее у каждого из них сидел вожак, и неповоротливые, невозмутимые, тяжело нагруженные слоны шли, вытягивая хобот то вправо, то влево, — их привлекали нежные побеги деревьев и карманы гуляющих, а длинные их уши едва шевелились, когда какой-нибудь мальчишка или великовозрастная девица из простонародья, восседавшие у них на спине, со смехом слегка щекотали эти громадные уши кончиком зонта или тонким прутиком.

— Что с тобой, Маду?.. Ты весь дрожишь... Ты не заболел? — спросил Джек, взглянув на товарища.

Маду изнемогал от волнения. Но когда он узнал, что тоже может прокатиться на этих тяжеловесных животных, на лице его появилось серьезное, сосредоточенное, почти торжественное выражение.

Джек не пожелал кататься на слоне.

Он остался с матерью, которая, как ему казалось, была для такого радостного дня не слишком весела и мало смеялась. Мальчику хотелось прильнуть к ней, любоваться ею, ступать по пыли, которую поднимали ее длинные шелковые юбки, волочившиеся по земле,



как шлейф королевы. Усевшись рядышком, оба следили, как негритенок торопливо, дрожа от лихорадочного нетерпения, карабкался на спину слона.

Там он почувствовал себя как дома.

Теперь это уже был не тот заброшенный на чужбину ребенок с нелепыми манерами и потешной речью; это уже был не тот неловкий и нескладный гимназист, маленький слуга, которого глубоко унижали рабские обязанности и жестокость господина. Чувствовалось, что под его черной, обычно землистой кожей бурно пульсирует кровь, густые, как шерсть, волосы угрожающе вздыбились, а в глазах, где притаилась тоска изгнанника, загорелись гневные и властные огоньки.

Счастливым маленьким король!

Ему разрешили два-три раза проехаться по аллее.

— Еще, еще! — точно опьяненной тяжеловесной, но быстрой поступью слона, просил он, вновь и вновь проезжая мостик, переброшенный через пруд, между загонами для онагров, кенгуру, агути. Керики, Дагомея, война, охота — все это всплывало в его памяти. Он что-то бормотал на своем родном языке, и, услышав этот ласковый, щебечущий говорок маленького африканца, слон от удовольствия зажмурил глаза и радостно затрубил, зебры заржали, в смятении запрыгали антилопы, а из вольеры с заморскими птицами, освещенной теперь красноватыми лучами солнца, неслись щебетанья, крики, зовы, резкие удары клювов — словом, поднялась суматоха, какая обычно возникает в девственном лесу перед тем, как его обитатели отходят ко сну.

Но час уже был поздний: Пора было возвращаться, очнуться от волшебных грез. К тому же, едва скрылось солнце, задул холодный, пронизывающий ветер, как это часто бывает в начале весны, когда ночные заморозки сменяют уже по-летнему теплые дни.

Это дуновение зимы омрачило обратный путь продрогших детей. Коляска катила по направлению к гимназии, оставляя за собой Триумфальную арку, еще объятую пламенем заката, и чудилось, будто экипаж углубляется во тьму. Маду о чем-то грезил, сидя на козлах рядом с кучером, Джек ощущал необъяснимую тяжесть на сердце, и — что самое удивительное — молчала даже г-жа де Баранси. Однако ей нужно было что-то сказать сыну, но, видимо, сказать было трудно, и она тянула до самой последней минуты.

Наконец она легонько сжала руку мальчика.

— Послушай, милый! Я должна сообщить тебе дурную весть...

Он сразу почувствовал, что стряслась непоправимая беда, и глаза его с мольбой обратились на мать.

— Нет, не говори, не говори ничего!

Но она продолжала скороговоркой, понизив голос:

— Мне нужно уехать, уехать далеко... Я вынуждена тебя покинуть... Но я напишу... Ради бора, не плачь, мой дорогой, мне и без того тяжело!.. А потом, я ведь уезжаю ненадолго... Скоро мы опять свидимся... Да, да, скоро, обещаю тебе...

И она стала рассказывать всякие небылицы. Речь шла о каких-то деньгах, о полученном наследстве и прочих таинственных, непонятных ему вещах.

Она могла говорить еще долго, измышлять тысячи самых невероятных историй — Джек ее уже не слушал. Раздавленный, уничтоженный, он беззвучно плакал, забившись в угол

коляски, и Париж, через который они проезжали, как ему казалось, сильно переменялся с утра — его больше не освещали весенние лучи солнца, сирень больше не благоухала, город выглядел мрачным и зловещим. Все дело было в том, что теперь Джек глядел на столицу полными слез глазами, глазами ребенка, только что потерявшего мать.

## VI. ЮНЫЙ КОРОЛЬ

Спустя некоторое время после этого поспешного отъезда в гимназии было получено письмо от д'Аржантона.

Поэт сообщал своему «дражайшему директору», что со смертью тетушки положение его изменилось, и просил освободить его от обязанностей преподавателя литературы. В приписке весьма развязно было сказано, что г-жа де Баранси должна была внезапно уехать из Парижа и она поручает Джека отеческим заботам г-на Моронваля. В случае болезни ребенка писать по парижскому адресу д'Аржантона с просьбой переслать письмо по назначению.

«Отеческим заботам» Моронваля! Ну и потешался же он, верно, когда писал эту фразу! Уж он-то отлично знал мулата и представлял себе, что ожидает ребенка в пансионе, когда там станет известно, что мать Джека уехала и, стало быть, придется оставить всякую надежду что — нибудь из нее вытянуть.

Когда Моронваль получил это сухое, лаконичное и дерзкое, несмотря на внешнюю сдержанность, письмо, им овладел один из тех чудовищных приступов необузданного и слепого бешенства, которые иногда накатывали на него и, как тропическая гроза, приводили гимназию в смятение, заставляя всех трепетать от ужаса.

Уехала!

Уехала с этим прощельгой, с этим косолапым щеголем, с этим ничтожеством, лишенным ума и таланта! Она еще намывается с ним!.. И как не совестно, в ее-то годы — ведь она уже не первой молодости — так вот взять да и уехать, оставить несчастного ребенка одного в Париже, покинуть его на чужих людей!

Проливая крокодиловы слезы над участью «несчастливого ребенка», мулат при этом злобно кривил отвислые губы, словно хотел сказать; «Ну, погоди, погоди!.; Уж я позабочусь о твоём Джеке, истинно по-отечески позабочусь!»

Его выводил из себя не столько провал корыстолюбивых расчетов, не столько гибель так и не родившегося журнала и окончательный крах надежды составить себе состояние, сколько наглая, вызывающая таинственность, которой окружали свои отношения эти люди, познакомившиеся у него в доме: он сам же их и познакомил, можно сказать, свел. Он помчался на бульвар Османа, чтобы разнюхать, выяснить какие-нибудь подробности, однако и там царил та же таинственность. Констан ожидала письма от своей хозяйки. Ему удалось только выведать, что с «милым дядей» все кончено, что в особняке госпожа больше не останется, обстановку, должно быть, продадут.

— Ах, господин Моронваль! — прибавила дородная камеристка. — В недобрый час мы переступили порог вашего злосчастливого заведения.

Мулат возвратился в гимназию, убежденный, что в следующем trimestre Джека заберут или он сам вынужден будет отправить его к матери за невзнос платы. Директор, как, впрочем, и

все остальные, сделал отсюда вывод, что больше не к чему кочевряжиться с юным де Баранси и что, пожалуй, пришла пора расквитаться с мальчишкой за то глупое заискивание, которое все проявляли в обращении с ним чуть не целый год.

Началось с главного — с обеденного стола: отныне Джек уже не сидел возле директора, он был не только приравнен к прочим воспитанникам, но даже сделался жертвой, козлом отпущения для других. Никакого вина, никаких пирожных!

«Шиповник», как и всем, «шиповник» — кисло-сладкий и мутный, покрытый отвратительной пеной, точно вода во время половодья, содержащий, как, и она, немало инородных тел. А какие со всех сторон ненавидящие взгляды, какие язвительные намеки!

При нем намеренно то и дело упоминали д'Аржантона. Никакой он, мол, не поэт, просто эгоист и хвостун. А что до его знатности, то все знают ей истинную цену: пресловутые сумрачные, бесконечные коридоры, где якобы прошло его безотрадное детство, действительно существовали, да только не в старинном замке, затерянном в горах, а при жалких меблированных комнатах, которые содержала его тетушка на улице Фурси, затерявшейся среди извилистых и сырых переулков вокруг церкви св. Павла. Эта славная женщина была родом из Оверни, и все помнили, как она кричала своему племяннику, так что голос ее был слышен во всех этих пресловутых коридорах: «Амори, голубчик! Принеси-ка мне ключ от комнаты

шесть бит! (Семь бис)». И виконт приносил ключ от комнаты

шесть биш.

Злобные насмешки над поэтом, которого Джек терпеть не мог, забавляли мальчика, но что-то все же не позволяло ему смеяться и принимать участие в бурном веселье «питомцев жарких стран», которые подобострастно и с удовольствием хихикали при любой шутке Моронваля. Дело в том, что вслед за этими анекдотами о д'Аржантоне неизменно начинались намеки на «некую особу», и, хотя никто не упоминал ее имени, Джек трепетал, смутно догадываясь, о ком идет речь. По мнению сотрапезников, существовала неразрывная связь между Амори д'Аржантоном, этим незадачливым претендентом на звание великого человека, этим нелепым фатом, и той самой «некоей особой», которую ребенок обожал и чтил больше всего на свете.

Почти в каждом разговоре обязательно упоминалось герцогство де Баранси.

— А где оно, по-вашему, расположено, это герцогство? — надрывался Лабассендр. — В Турени или же в Конго?

— Так или иначе следует признать, что его отлично содержат... — подхватывал доктор Гирш, подмигивая собеседникам.

— Bravo, bravo!.. Вот именно, отлично содержат!

И все хохотали, буквально корчились от смеха.

Нередко заходила речь также и о знаменитом лорде Пимбоке, начальнике главного штаба индийской армии.

— Я его близко знал, — говорил доктор Гирш, — это он командовал полком тридцати шести папаш.

— Bravo! Тридцати шести папаш!

Джек низко опускал голову, разглядывал хлеб, не сводил глаз с тарелки; он даже не решался

плакать, он только задыхался от этих едких насмешек. Иногда он даже не понимал, о чем идет речь, но по ехидному выражению лиц почтенных педагогов, по омерзительному их смеху он догадывался, что его хотят оскорбить.

И тогда г-жа Моронваль мягко говорила:

— Джек, милый! Взгляните, что делается на кухне.

Потом она вполголоса выговаривала шутникам.

— Подумаешь! — усмехался Лабассендр. — Он же ничего не понимает.

Разумеется, бедняга многого не понимал, но первые горести давали пищу его уму, и он до изнеможения доискивался причин той злобы и презрения, которыми его окружали. Услышанные за столом скрытые намеки западали ему в душу как тягостное подозрение.

Джеку уже давно было известно, что у него нет отца, что фамилия у него ненастоящая и что у его матери нет мужа, и теперь это сделалось источником его тревожных размышлений. Он стал необыкновенно обидчив. Однажды, когда дылда Сайд обозвал его «сыном курвочки», Джек не рассмеялся, как прежде, а набросился на египтянина и так сдавил ему шею судорожно сведенными руками, что чуть было не задушил. Услышав вопли Сайда, прибежал Моронваль, и юному де Баранси впервые после поступления в гимназию довелось познакомиться с дубинкой.

С того самого дня со всеми привилегиями Джека было покончено. Отныне мулат наказывал его при всяком удобном случае: бить белого было так приятно! Теперь положение Джека отличалось от положения Маду только тем, что воспитанник де Баранси не работал на кухне. Не следует думать, что столь решительные перемены в гимназии хоть сколько-нибудь улучшили участь маленького короля. Напротив, больше, чем когда бы то ни было, он служил козлом отпущения для всех этих потерпевших крушение честолюбцев. Лабассендр то и дело награждал его пинками, доктор Гирш по-прежнему драл за уши, а «Дядька с дубинкой» заставлял жестоко расплачиваться за провал затеи с журналом.

— Никогда довольны, никогда довольны, — повторял несчастный негритенок, доведенный до отчаяния жестоким обращением своих хозяев.

Ко всем его страданиям прибавилась еще мучительная тоска по родине, она стала нестерпимой с приходом весны, с таким волнующим для него возвращением тепла и солнца, но особенно после памятного посещения Зоологического сада, — оно оживило в нем воспоминания о родных краях, и он с трепетом прислушивался к их смутному зову.

Сначала тоска этого маленького изгнанника выражалась в упрямом молчании, в том, что он теперь безропотно, даже не пытаясь бунтовать, сносил все требования и колотушки. Потом на лице Маду появилось выражение решимости и необычайного возбуждения. Когда он носился по дому и саду, исполняя свои многочисленные обязанности, могло показаться, будто он идет прямо к какой-то далекой, неведомой другим цели, и думать так заставлял его пристальный взгляд: он словно был устремлен на кого-то, кто шел впереди и властно призывал негритенка следовать за собой.

Однажды вечером, когда Маду укладывался спать, Джек услышал, как он что-то тихонько бормочет на своем странном, будто журчащем языке, и спросил:

— Ты что, Маду, поешь?

— Нет, мусье, мой не петь, а говорить

по-негтски.

И он все откровенно рассказал другу. Он решил бежать. Он уже давно это задумал, да вот только ждал солнца, чтобы привести в исполнение свой план. И теперь, когда солнышко снова сияет, Маду вернется в Дагомею и разыщет Керику. Если Джек согласен уйти с ним, они пешком доберутся до Марсея, спрячутся на каком-нибудь корабле и вместе поплывут по морю. Ничего плохого с ними не случится, ведь при нем

гри-гри; Джек стал отказываться. Как ни худо ему было, но страна Маду-Гезо не прельщала его. Страшный чан из красной меди, наполненный отрубленными головами, всплыл в его памяти. А, главное, там он окажется еще дальше от матери.

— Ладно! — спокойно сказал негр. — Ты оставайся гимназии, я — убежать один.

— А когда ты отправляешься?

— Завтра, — ответил негритенок решительным тоном и тут же закрыл глаза, чтобы поскорее заснуть, словно он хотел накопить как можно больше сил.

Следующее утро было посвящено «занятиям по методу», как выражались в гимназии. В такие дни все собирались в большой Гостиной, ибо там стояла фисгармония, необходимая для уроков выразительного чтения, которые проводила г-жа Декостер. Войдя туда, Джек заметил, что Маду безмолвно натирает пол огромной залы, и подумал, что его приятель отказался от своего плана.

Уже час или два «питомцы жарких стран» усердно двигали челюстями, запоминая «очертания слов». Внезапно дверь приоткрылась, и в нее просунулась голова Моронваля.

— Маду не здесь?

— Нет, мой друг, — ответила г-жа Моронваль-Декостер, —

я послала его на рынок за провизией.

Слово «провизия» вызвало на ребячьих лицах выражение неподдельного счастья, и все воспитанники без труда воспроизвели бы точное очертание этой вокабулы, если бы от них того потребовали. Ведь их до того скудно кормили! Джек, менее изголодавшийся, нежели остальные, сразу припомнил вчерашний разговор с негритенком — он произошел перед самым сном, и мальчик был не до конца уверен, что все это было наяву.

Директор ушел, но минуту спустя вернулся.

— Ну что? Где Маду?

— Он еще не возвращался... Просто ума не приложу, куда он делся, — ответила г-жа Моронваль уже с некоторой тревогой в голосе.

Десять часов, одиннадцать, а Маду все нет. Урок давно закончился. Обыкновенно в этот час из находившейся в полуподвальном этаже кухни, кстати сказать, тесной и жалкой, неслись запахи горячей пищи, возбуждавшей лютый аппетит гимназистов. Но в то утро не было ничего, ни овощей, ни мяса, а Маду все не появлялся.

— Уж не стряслось ли с ним чего?.. — говорила г-жа Моронваль, более терпимая, чем ее угрюмый муж, который то и дело выскакивал к воротам с дубинкой в руке, поджидая возвращения негритенка.

Наконец на всех стенных и башенных часах, на всех соседних колокольнях пробило двенадцать ударов — то был час завтрака, который делит рабочий день на две примерно равные половины. На этот веселый перезвон пустые желудки обитателей ответили

заунывным урчанием. И в то время, как на расположенных поблизости фабриках воцарялась тишина и даже в самых бедных хибарах зажглись очаги, а на них потрескивало жаркое, распространяя вокруг аппетитный запах, педагоги и ученики, не зная, как убить время, пребывали в нетерпеливом ожидании манны небесной, но манна так на них и не посыпалась.

Вообразите себе эту голодную гимназию, оставшуюся без еды, затерянную, точно утлый челн, среди поглощающих пищу людей!

Лица у «питомцев жарких стран» вытянулись, глаза полезли на лоб, и они ощущали, как вместе с голодными спазмами в них пробуждаются старые людоедские инстинкты. Около двух часов дня г-жа Моронваль-Декостер, несмотря на свой врожденный аристократизм, решила самолично пойти к колбаснику за провизией: доверить это кому-нибудь из проголодавшихся гимназистов она не отважилась, ибо они могли все уничтожить по дороге.

Когда она возвратилась, нагруженная длинными батонами и свертками в промасленной бумаге, ее встретили восторженным «ура». Лишь теперь, словно трапеза подкрепила не только их силы, но и угасшее было воображение, все принялись поверять друг другу свои домыслы и страхи в связи с загадочным исчезновением маленького короля. Сам Моронваль не верил, что это несчастный случай, — у него были самые веские резоны опасаться побега.

— Сколько ему дали денег? — спросил он.

— Пятнадцать франков, — робко ответила жена.

— Пятнадцать франков!.. Ну, тогда сомнения нет, он дал стрекача.

— Положим, с пятнадцатью-то франками до Дагомеи не доберешься, — заметил доктор.

Моронваль только покачал головой и, не мешкая, поспешил в полицейский участок заявить об исчезновении воспитанника.

Случай этот грозил ему неприятностями. Надо было любой ценой найти мальчишку, не допустить, чтобы тот попал в Марсель. Мулат побаивался возмущения «мусье Бонфиса». Ну, а потом вокруг столько злых языков! Юный король мог ведь пожаловаться на дурное обращение и опорочить пансион. Вот почему в своих показаниях комиссару полиции Моронваль особо подчеркнул, что Маду унес с собой значительную сумму денег. Но тут же, разыгрывая бескорыстие, добавил, что меньше всего его занимают деньги, главным образом его тревожат те опасности, которые подстерегают несчастного ребенка, бедного маленького короля, обездоленного изгнанника, лишившегося трона и родины.

Говоря так, этот зверь вытирал глаза. Полицейские утешали его:

— Не беспокойтесь, господин Моронваль, мы его разыщем!

Однако Моронваль очень беспокоился. Вместо того, чтобы терпеливо дожидаться результатов поисков, как ему советовал полицейский комиссар, он, не теряя времени, выступил в поход в сопровождении всех «питомцев жарких стран», в том числе нашего приятеля Джека, чтобы помочь полиции.

То были настоящие экспедиции к ближним и дальним парижским заставам. Мулат расспрашивал таможенных чиновников, описывал приметы Маду, а дети тем временем не спускали глаз с больших, начинавшихся у городской черты дорог, следя, не появится ли между пустыми повозками или шеренгами солдат черная, похожая на обезьяну фигурка маленького короля. Потом все шли в префектуру — к тому времени, когда туда поступают донесения, или же спозаранку обходили полицейские участки, когда отворяются двери камер и начинают сортировать обильный улов заброшенных ночью сетей, в которых бьются и

случайно попавшие сюда бедняги и гнусные злоумышленники.

Сколько тины поднимают эти чудовищные сети с кишасшего преступлениями дна большого города! Порою тина эта красного цвета, и, когда ее взбаламутят, оттуда поднимается приторный запах крови и преступления.

До чего нелепая мысль — водить сюда детей, чтобы они глазели на эти мерзости и с трепетом, содрогаясь от страха, прислушивались к мольбам и воплям, проклятьям и рыданиям, к диким песням — ко всей адской музыке, которую можно услышать в набитых людьми помещениях; она-то, эта тоскливая, скребущая душу музыка, и принесла полицейским участкам прозвище «скрипка»!

Такие походы директор гимназии, видимо, и именовал «приобщением воспитанников к парижской жизни».

«Питомцы жарких стран» далеко не всё понимали из того, что видели и слышали, но у них осталось мрачное впечатление. Особенно Джек, более тонкий и развитой, чем другие, возвращался из этих походов с тоской в душе, встревоженный, издерганный, напуганный приоткрывшимся ему дном столицы. И порою он со страхом думал: «А что, если там Маду?»

Но он тут же успокаивался, говоря себе, что негритенок, должно быть, уже далеко, что он во всю прыть бежит по дороге в Марсель; Джек представлял себе эту дорогу прямой, как цифра «1», в конце ее простиралось море, а на море он видел готовые к отплытию суда.

Каждый вечер, входя в дортуар, Джек с радостью замечал, что кровать его маленького друга пустует.

«Бежит, бежит юный король!..» — твердил про себя мальчик, забывая на миг собственные горести, ту необъяснимую обиду, которую нанесла ему мать, бросив его. Но вот что не переставало тревожить Джека, когда он думал о Маду: чудесная погода, установившаяся в самый день его исчезновения, вдруг испортилась. И теперь с неба низвергались то потоки дождя, то град, то даже снег. Получив короткую передышку, весна старалась собрать разбежавшиеся солнечные лучи, но это ей удавалось с великим трудом, и не успевало небо проясниться, как снова налетал ветер с дождем или мокрым снегом, так что «питомцы жарких стран» по ночам могли слышать, как под порывами холодного ветра скрипит и дребезжит их застекленный потолок, как все хрупкое строение содрогается и стонет, и не было бы ничего удивительного, если бы им снилось, будто они плывут, плывут в открытом море, как это с ними уже однажды было, и не знают, как укрыться от опасностей.

Свернувшись калачиком под одеялом, чтобы спастись от чудовищных порывов ветра, врывавшегося во все щели и со свистом гулявшего по дортуару, словно секущий направо и налево хлыст, Джек мысленно шел вслед за Маду-Гезо по его пути. То он видел негритенка свернувшимся о клубок на откосе оврага, то в лесной глуши, согнувшимся под порывами ветра или потоками проливного дождя, — короткая красная курточка не могла защитить его от ненастной погоды.

Однако действительность оказалась еще более зловещей, чем самые дурные предположения Джека.

— Нашелся!.. — завопил Моронваль, ворвавшись однажды утром в столовую, когда весь пансион усаживался завтракать. — Нашелся! Меня только что уведомили об этом ив полиции... Шляпу и трость, живо! Я иду за ним в префектуру, в арестный дом.

В нем клокотали негодование и злобная радость.

То ли подлаживаясь к своему директору, то ли стремясь воспользоваться случаем и

покричать, как они любили, «питомцы жарких стран» встретили новость дикими криками «Ура!». Джек не принимал участия в этом торжествующем реве — он сразу подумал: «Бедный Маду!»

Маду и в самом деле еще с вечера был доставлен в полицию. Там, в этой клоаке, среди злодеев и бродяг, среди человеческого отребья, погрязшего в праздности и пьянстве, среди опустившихся, обессиленных людей, лежавших вповалку на тюфяках, прямо на полу, обнаружил наследного принца Дагомеи его глубокоочтимый наставник.

— Ах, несчастный ребенок! В каком виде приходится мне... приходится мне...

Достойный Моронваль не в силах был закончить фразу, от сильного волнения у него захватило дух. И когда он обвинил шею негритенка длинными своими руками, напоминавшими жадные щупальца, сопровождавший его полицейский инспектор невольно подумал:

«Слава богу! Нашелся все-таки директор пансиона, который любит своих воспитанников».

Зато бессердечный Маду выразил полное безразличие: при виде Моронваля ни одна черточка не дрогнула на его лице, на нем нельзя было прочесть ни радости, ни горя, ни изумления, ни стыда, ни даже того священного ужаса, какой обыкновенно ему внушал мулат, хотя при создавшихся обстоятельствах ужас этот, казалось, должен был возрасти.

Он смотрел прямо перед собой невидящими глазами, тускло поблескивавшими на осунувшемся и посеревшем, будто потерявшем глянец лице. Он был в полнейшем изнеможении, и вид у него был такой устрашающий и отталкивающий, что на первый взгляд он казался даже не человеком, а просто пугалом в грязных лохмотьях. С головы до пят он был, как панцирем, покрыт грязью, она наслаивалась пластами и, подсыхая, отваливалась кусками, походившими на пыльную чешую; особенно грязны были его курчавые волосы.

Он напоминал какое-то земноводное существо, которое то плескалось в волнах, то каталось в прибрежном песке.

На нем уже не было ни башмаков, ни фуражки — своим галуном она, как видно, прельстила какого-то жулика. На Маду болтались только потертые штаны да разлезавшийся по швам красный жилет, до того грязный и вылинявший, что его первоначальный цвет проступал лишь местами.

Что же с ним все-таки стряслось?

Он один только и мог бы об этом поведать, если бы захотел говорить. Инспектору полиции было известно лишь, что сыщики, делая накануне обход Американских каменоломен, обнаружили там Маду: он лежал на печи для обжига гипса, чуть живой от голода и почти потерявший сознание от сильного печного жара. Почему он до сих пор оставался в Париже? Что помешало ему уйти?

Моронваль не стал его расспрашивать, он вообще не сказал Маду ни слова за все то время, пока они вдвоем ехали в фиакре из префектуры в гимназию.

Брошенный в угол кареты, как ненужный сверток, исхудалый, отупевший, замученный ребенок и напыжившийся, торжествующий директор лишь обменялись взглядами.

Но что это были за взгляды!

Остро отточенный, смертоносный стальной клинок скрестился в пространстве с жалким кинжалом — погнутым, сломанным, заранее обреченным на гибель.

Когда Джек увидел, как вели через сад эту фигурку в лохмотьях со страдальческим,



сморщенным, ссохшимся черным лицом, он едва узнал маленького короля.

Маду с невыразимой грустью бросил ему на ходу: «Зд'аствуй, мусье!»-и больше в тот день о нем не было разговора. Занятия, по обыкновению, шли как попало, перемены — тоже. Лишь время от времени то громче, то тише из комнаты мулата долетали приглушенные расстоянием сильные удары и жалобные стоны. Даже когда эти зловещие звуки стихали, охваченному ужасом Джеку чудилось, будто он все еще слышит их. Г-жа Моронваль, видно, тоже сильно волновалась, и, когда стоны доносились отчетливее, книга плясала у нее в руках.

К обеду директор вышел утомленный, но сияющий.

— Каков

ме'завец! — сказал он жене и доктору Гиршу. — Каков

ме'завец! .. Подумать только, до чего он меня довел!

У него и вправду был вид человека, изнемогающего от усталости.

Вечером, войдя в дортуар, Джек увидел, что соседняя кровать занята. Бедный Маду до того замучил своего наставника, что сам слег, причем до постели он не мог добраться без посторонней помощи.

Джеку так хотелось поговорить с ним, подробней расспросить его о коротком, но мучительном путешествии, но от Маду не отходили г-жа Моронваль и доктор Гирш, — они склонились над мальчиком, который, видимо, дремал, тяжело вздыхая во сне, как это обычно бывает с детьми, когда они весь день горевали и плакали.

— Вы по-прежнему полагаете, что он не болен, господин Гирш?

— Не больше, чем я, госпожа Моронваль... На людях этой породы, доложу я вам, шкура прочнее брони монитора![14]

Когда они ушли, Джек взял руку Маду — эта лежавшая поверх одеяла темная рука была шершава и горяча, как только что вынутый из печи кирпич.

— Добрый вечер, Маду!

Негритенок приоткрыл глаза и с мрачным унынием глянул на своего друга.

— Маду конец, — едва слышно прошептал он. — Маду потерял

гри-гри. Больше никогда увидеть Дагомея. Конец...

Так вот почему он не мог покинуть Париж! Спустя два часа после его побега из гимназии, когда он искал в одном из пригородов выход из столицы, пятнадцать франков, с которыми его отправили на рынок, и висевшая у него на шее ладанка перекочевали — причем он сам даже не заметил как — в карман одного из тех околачивающихся возле застав проходимцев, для кого хороша любая добыча: подобно хищным птицам, они накидываются на все, что блестит.

Маду сразу перестал думать о Марселе, о кораблях, о морском путешествии, хорошо зная, что без своего

гри-гри ему нипочем не добраться до Дагомеи. Он тут же повернул назад и целую неделю, днем и ночью, бродил по трущобам Парижа в поисках своего амулета. Боясь, что его схватят и снова отправят к Моронвалю, он вел ту ночную, тревожную, скрытную жизнь, какую ведут в

Париже те подозрительные люди, что промышляют воровством и убийством. Он ночевал в недостроенных домах, на пустырях, в сточных трубах, под мостами, где свистит ветер, за оградами театров, под столами, где раздают даровую похлебку.

Маленький, темнокожий, он незаметно проникал всюду, и всюду кишела какая-то жизнь. Порок слегка прикасался к нему, как мерзкая ночная птица прикасается своими липкими бесшумными крылами. Воры делились с ним хлебом, ибо и воры бывают иногда сердобольны. Он был свидетелем ночных дележей и пирушек, которые устраивали убийцы в подвалах домов, безмятежно спал рядом с бандитом. Но что ему было до них? Он искал свой талисман и проходил мимо всех этих мерзостей, даже не замечая их.

В необъятных парижских трущобах маленький король чувствовал себя так же спокойно, как в дагомейских лесах, куда Керика брала его с собой на охоту и где они располагались лагерем: разбуженный ночью ревом слонов и бегемотов, он видел, как под слабо освещенными гигантскими деревьями вокруг бивуака бродят чудовищные тени хищников, а в листве, совсем рядом, проползают змеи. Но Париж и его чудовища, пожалуй, еще грознее всех лесов Африки, и негритенок испытал бы непреодолимый страх, если бы он больше замечал и больше понимал. По счастью, все его мысли были заняты поисками амулета, и тут, как во время охоты в далекой Дагомее, он верил, что Керика сумеет защитить его...

— Маду конец!

В тот вечер маленький король ничего больше не сказал — так он был обессилен, — и его сосед уснул, не разузнав подробностей.

Среди ночи Джек внезапно проснулся. Маду смеялся, пел и быстро-быстро разговаривал сам с собой на родном языке. У него начинался бред.

Утром спешно послали за доктором Гиршем, и тот объявил, что Маду серьезно болен.

— Ого, какой менинго-энцефалит! Просто прелесть! — возбужденно говорил он, потирая руки, и желтые его пальцы блестели, как кегли. Очки сверкали. Видно было, что он в восторге.

Страшный был человек этот доктор Гирш! Голова его была нашпигована отрывочными сведениями из ученых трудов, всякого рода утопиями и доктринами, но он был ленив, неспособен к усидчивому труду и до того разбрасывался, что с трудом запомнил несколько медицинских прописей и прикрывал свое дремучее невежество ворохом путаных представлений об индийской, китайской и халдейской медицине. Гирш верил даже в магию, и когда в его власти ненароком оказывалась человеческая жизнь, он прибегал к заговорам от порчи, к сомнительным и опасным рецептам знахарок.

Г-жа Моронваль настаивала на том, что следует пригласить настоящего врача в помощь этому полоумному лекарю, но директор, менее чувствительный, а главное, не расположенный идти на расходы, которые, возможно, никто ему не возместит, решил, что и доктор Гирш вполне справится с лечением «этой макаки», и предал — беднягу Маду в его руки.

Не желая, чтобы кто-либо вмешивался в лечение Маду, горе-медик сослался на осложнение, которое будто бы могло сделать болезнь заразной, и приказал перенести кровать негритенка в самый дальний угол сада, в помещение, служившее кладовой: там был камин, и, как все строения бывшей фотографии для лошадей, оно было застеклено.

Целую неделю он невозбранно испытывал на своей беспомощной жертве зелья, бывшие в ходу у наиболее диких народов, и, сколько хотел, мучил ребенка; Маду все сносил с покорностью больной собачонки. Когда доктор Гирш, нагруженный небрежно закупоренными склянками и коробочками с различными остропахнувшими порошками, которые он самолично приготовлял, входил в «кладовку» и тщательно прикрывал дверь, все ловили себя на мысли:

«Что-то он еще станет с ним делать?»

И «питомцы жарких стран», для которых любой врач — всегда слегка шаман и знахарь, завидев его, покачивали головами и закатывали глаза.

Из-за мнимой опасности заразы им воспретили приближаться к кладовой, и она превратилась для них в какой-то таинственный закут, расположенный в глубине сада, — закут мрачный, загадочный и грозный, где словно готовилось какое-то событие, еще более таинственное и ужасное, чем снадобья доктора Гирша.

Джеку все же очень хотелось повидать своего друга Маду, проникнуть за плотно закрытую дверь, которую неустанно стерегли. Мальчик долго выжидал и, наконец, улучив минуту, когда Гирш, видимо, забывший приготовить какое-то лекарство, устремился в переулочек, он вместе с долговязым Саидом пробрался в так называемый лазарет.

То был полусклад, полусарай, где держат садовые инструменты, цветочную рассаду, боящиеся холода растения. Железная койка Маду стояла на земляном полу. В углах виднелись желтые глиняные горшки, вставленные один в другой, обломки решетчатых загоронок, потрескавшиеся стекла красивого голубого оттенка, того оттенка, какой придает небу многослойная атмосфера Земли. Увядшие стебли и огромные связки сухих корней довершали эту унылую картину, а в камине, точно зябкое и недолговечное тропическое растение, вздрагивало пламя, наполняя эту оранжерею удушливой, нагоняющей дремоту жарой.

Маду не спал. Его скорбное маленькое личико, еще больше осунувшееся и поблекшее, хранило все то же выражение полного безразличия ко всему. Черные руки судорожно вцепились в одеяло. И в этой беспомощности, в этой отрешенности от всего, что его окружало, было нечто от бессловесной покорности зверька. Мальчик повернулся к стене, словно между побеленными известкой камнями открывались видимые только ему пути и каждая трещина ветхого строения вдруг превратилась в ослепительно яркий просвет, открывающий путь в страну, ведомую только ему.

Джек приблизился к кровати.

— Маду, это я!.. Мусье Джек.

Больной посмотрел на него отсутствующим взглядом и ничего не ответил — он уже не понимал французского языка. Все «методы» на свете были бы тут бессильны. Природа вновь отвоевывала маленького дикаря у цивилизации. И в бреду, когда человек уже не принадлежит себе, когда инстинкт стирает все, что раньше отпечаталось в памяти, Маду говорил лишь на дагомейском на — речи». Джек едва слышно сказал ему еще несколько слов, а Сайд — он был постарше — уже отошел к двери, объятый тревогой и страхом, ощутив холод, который распространяют вокруг себя огромные крылья смерти, когда она медленно, точно парящая птица, опускается на омраченное чело умирающего. Внезапно Маду испустил долгий вздох. Мальчики взглянули друг на друга.

— По-моему, он заснул... — пробормотал побелевший Сайд.

Джек, тоже сильно взволнованный, ответил шепотом:

— Да, ты прав, он заснул... Пойдем отсюда.

И они стремительно вышли, покинув своего товарища во власти зловещей тьмы, — она окутывала его и казалась особенно пугающей в этом причудливом закуте, куда проникал зеленоватый, непередаваемого оттенка свет, какой бывает в глубине сада в сумеречный час.

Спустилась ночь. Уходя, мальчики притворили за собою дверь, и в безмолвной, темной, как конура, кладовой пылает теперь только пламя очага, его блики забираются во все углы, точно кого-то ищут, но не находят. Пламя на миг освещает сваленные одна на другую оконные рамы, заглядывает в цветочные горшки, карабкается по старым решеткам, приставленным к стене, беспокойно мечется из стороны в сторону, но по-прежнему ничего не обнаруживает, ровно ничего. Вот оно скользит по железной койке, по короткой красной куртке, рукава которой спокойно вытянулись, как будто отдыхают. Однако, видимо, и тут никого нет, ибо пламя продолжает бегать по потолку, по двери, оно бесцельно блуждает, вздрагивает и, наконец, — усталое, обессиленное, обескураженное, — поняв, что уже никому не нужно, что тут уже некого согреть, прячется в золу и угасает так же, как угас маленький, всегда дрожавший от холода король, который так любил огонь!

...Бедный Маду!

Судьба словно продолжала издеваться над ним даже после смерти. Директор гимназии долго размышлял, хоронить негритенка как слугу или же как наследника королевского престола. Соображения экономии вступили в столкновение с возможностью рекламы и с тщеславием. Оно-то и взяло верх. После длительных колебаний Моронваль сказал себе, что скупиться не стоит и, коль скоро маленький король при жизни принес меньше выгоды, чем от него ожидали, то будет справедливо извлечь все, что можно, из его смерти.

И Маду устроили пышные похороны.

Все газеты опубликовали биографию юного наследника дагомейского престола, биографию, увы, столь же короткую, как и его жизнь, но зато обрамленную длинным панегириком во славу гимназии Моронваля и ее директора. Бесподобная метода Декостер, обширные познания врача, лечившего принца крови, благоприятные для здоровья условия, созданные в этом учебном заведении, — ничто не было упущено, а самым трогательным во всех этих славословиях было их единодушие: статьи слово в слово повторяли одна другую.

И вот в один из майских дней Париж, который, несмотря на бесчисленные свои занятия и лихорадочную озабоченность, зорко следит за тем, что в нем происходит, увидел, как вдоль бульваров движется пышный и причудливый погребальный кортеж. Четыре маленьких чернокожих гимназиста поддерживали кисти шнуров, ниспадавшие с катафалка первого разряда. За ними желтокожий гимназист в феске — наш приятель Сайд — нес на бархатной подушечке какие-то фантастические ордена, якобы знаки королевского достоинства. Следом за ним двигался мулат в белом шейном платке, Джек и прочие «питомцы жарких стран». Процессию замыкали учителя, знакомые, все «горе-talанты». Их собралось видимо-невидимо, и они уныло плелись нестройной толпой. И сколько же тут было сгорбленных спин, поблекших лиц, исхлестанных судьбой, которая, точно неизгладимый след своей пятерни, оставила на их щеках глубокие морщины! Сколько угасших взоров, облысевших голов с печатью мечты на челе, сколько истрепанных пальто, истоптанных башмаков, утраченных надежд, неосуществленных стремлений!.. Все они печально брели, словно стесняясь яркого света дня, и мрачный этот кортеж как нельзя более подходил для проводов маленького, лишеного трона короля\* Разве все эти злополучные мечтатели не претендовали на воображаемое королевство, которого им так и не суждено было дожидаться?..

Где, кроме Парижа, можно еще видеть подобное похоронное шествие г Короля Дагомеи провожают на кладбище отщепенцы, люди богемы!

И словно для того, чтобы сделать эту скорбную церемонию еще более печальной, непрерывно лил дождь, мелкий, частый, холодный, какой-то скрипучий дождь — казалось, будто стужа фатально и яростно преследует маленького короля вплоть до самой могилы. Увы, вплоть до самой могилы, ибо речь, которую Моронваль произнес над опущенным в яму

гробом, состоявшая из пустых и равнодушных общих фраз, из выпретенных, но лишенных чувства, а потому ледяных слов, не могла, конечно, согреть тебя, мой бедный Маду! Мулат разглагольствовал о добродетелях, о выдающемся уме усопшего, о том, каким образцовым монархом он мог бы стать в один прекрасный день, и закончил надгробную речь избитой фразой, какую обычно произносят в подобных обстоятельствах.

— То был человек! — сказал он высокопарно.

То был человек!

Всякому, кто знал этого малыша с обезьяньим личиком, вызывавшего к себе сочувствие и симпатию, этого ребенка, отставшего в физическом и умственном развитии в результате оупляющего рабства, слова Моронваля должны были показаться кощунственными и издевательскими.

И все же смерть Маду вызвала не только фальшивые слезы, не только притворные сожаления, — был у его гроба и друг, который испытывал подлинное волнение, искреннее горе. Смерть товарища произвела на Джека неизгладимое впечатление, и эта крошечная черная физиономия, такая сумрачная и скорбная, которую он мельком увидел в темной кладовой, вот уже вторые сутки неотступно стояла у него перед глазами. Сейчас к этому печальному воспоминанию примешивалось тягостное чувство от мрачной церемонии похорон и ощущение, что сам он тоже глубоко несчастен. Теперь, когда негра уже не было на свете, Джек предчувствовал, что именно на нем станет директор срывать свой гнев, ибо у всех остальных «питомцев жарких стран», даже самых заброшенных, были все же попечители, которые хоть изредка навещали их и воспротивились бы слишком уж грубому обращению с ними. А он был покинут и отлично это понимал. Мама ему больше не писала, и никто в гимназии не знал, где она. Ах, если бы ему это было известно! Он бы со всех ног кинулся к ней, поведал бы о своих бедах, нашел бы у нее приют!

Вот о чем думал Джек, плетясь по бесконечной, грязной дороге, ведущей от кладбища. Лабассендр и доктор Гирш шагали впереди, громко беседуя. И вдруг мальчик услышал...

— Бьюсь об заклад, что она в Париже, — сказал Лабассендр.

Джек непроизвольно наострил уши.

— Я видел, как она позавчера шла по бульвару.

— А он?

— Ну, надо полагать, что они возвратились вместе.

«Она», «он» — это звучало весьма туманно, и все-таки Джек ощутил такое же волнение, как в те минуты, когда за столом велись мучительные для него разговоры. И в самом деле, минуту спустя два отчетливо прозвучавших имени окончательно убедили его в том, что он не ошибся.

Стало быть, мама в Париже, в одном с ним городе, и даже не приехала его поцеловать!

«А что, если я сам к ней пойду?» — внезапно подумал мальчик.

Путь от кладбища Пер-Лашез до авеню Монтеня не близкий, и всю дорогу Джека неотвязно преследовала одна мысль: воспользоваться тем, что все идут, не соблюдая порядка» и сбежать! В самом деле, от стройной процессии не осталось и следа; теперь, когда желаемый эффект был достигнут, когда представление окончилось, домой возвращались, как попало, и утомленные, занятые своими разговорами люди не заботились о том, какое они производят впечатление.

Моронваль, окруженный педагогами и приятелями, возглавлял свое воинство. Время от времени он оборачивался и, глядя на дылду Сайда, который, в свою очередь, возглавлял колонну гимназистов, жестом подавал команду: «Вперед!». Египтянин, подражая директору, в точности повторял его жест и, глядя на мальчиков, которые, стараясь не отставать, с трудом передвигали ноги, молча командовал: «Вперед! Вперед!». Тогда отставшие, напрягая последние силы, бегом догоняли шедших впереди. Только Джек, делая вид, что он вконец изнемог, плелся все медленнее.

— Вперед! — возглашал Моронваль.

— Вперед! Вперед! — подхватывал египтянин.

У самых Елисейских полей Сайд в последний раз оглянулся и замахал своими длинными руками, но тут же уронил их и замер — растерянный, ошеломленный.

На этот раз исчез Джек.

## VII. НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПАРИЖА

Сперва он заставлял себя идти шагом. Ему не хотелось походить на человека, спасающегося бегством.

Напротив, он шел неторопливо, как будто прогуливался, но держал ухо востро и чуть что готов был пуститься наутек. Но по мере того, как он приближался к бульвару Османа, ему непреодолимо хотелось бежать, и он, сам того не желая, шел все быстрее — ему не терпелось попасть домой, и вместе с тем его терзало мучительное беспокойство.

Что-то он найдет там, на бульваре? Может быть, дом на замке. А если Гирш и Лабассендр обознались, и мама не приехала? Что тогда будет? После побега возвратиться в гимназию было немыслимо. Даже если бы ему это и пришло в голову, то одно воспоминание о глухих ударах и душераздирающих столах, доносившихся несколько часов подряд из комнаты, где мулат заперся с Маду, наполнило бы его страхом и заставило отказаться от своего намерения.

«Она здесь!» Как обрадовался мальчик, издалека увидев, что все окна в доме распахнуты, а ворота открыты, как бывало, когда его мама готовилась выехать в город! Он устремился вперед, чтобы не пропустить карету. Но как только он вбежал в переднюю, его поразила непривычная суматоха в доме.

Здесь было очень шумно и полно чужих людей.

Из подъезда выносили мебель. Кресла, диваны с обивкой мягких цветов, которые создавали такой уют в слабо освещенном будуаре, здесь, при ярком дневном свете, были явно не на месте. Зеркало, обрамленное гирляндой из амуров, опиралось о холодную каменную стену у самого входа, а вокруг вперемежку были свалены жардиньерки с увядшими цветами, снятые с окон портьеры, небольшая люстра из горного хрусталя... Разряженные дамы сновали вверх и вниз по лестнице, и по ковру, заглушавшему стук их каблучков, тяжело ступали грубые башмаки носильщиков, стаскивавших мебель вниз.

Джек, ошеломленный этим зрелищем, смешался с толпой и поднялся наверх. Он едва узнавал их квартиру, до такой степени изменился привычный вид комнат: в них царил беспорядок, совсем еще новая мебель была сдвинута с мест, разрознена, одна вещь стояла тут, другая там. Посторонние люди выдвигали пустые ящики, легонько постукивали по

деревянными крышками сундуков, по кожаной обивке стульев, нагло разглядывали все в лорнет, и порою, проходя мимо фортепьяно, какая-нибудь богато одетая дама, не останавливаясь и даже не снимая перчаток, ударяла по клавишам. Мальчику казалось, будто все это дурной сон: шумная толпа наводнила их дом, он никого тут не знает и неприкаянно бродит, точно чужой.

А мама? Где же она?

Он хотел было пройти в гостиную, но там было полно, все что-то разглядывали в глубине комнаты. Их спины мешали ребенку разобраться, что происходит, он только слышал, как выкрикивают какие-то цифры, а потом до его ушей долетали резкие короткие удары молотка по столу.

— Детская кроватка под балдахином, золоченая, со стеганым тюфячком!..

И вдруг мимо Джека проплыла кроватка, которую ему подарил «милый дядя» и в которой он видел столько чудесных снов: теперь ее уносили чьи-то большие темные лапы. Ему хотелось крикнуть: «Это же моя кроватка, зачем вы ее уносите?..» Но он не посмел и в полной растерянности, бесцельно переходил из комнаты в комнату, разыскивая мать в этом перевернутом вверх дном жилище, где все окна и двери были распахнуты и куда свободно проникал с бульвара шум и беспощадный свет. Внезапно он почувствовал, что на его плечо легла чья-то рука.

— Как, господин Джек? Почему вы не в пансионе?

Это была Констан, камеристка его матери, но Констан, расфуфыренная в пух и прах, в шляпке с розовыми лентами, придававшей ей сходство с билетершей в театре, вся красная, напыжившаяся от сознания собственной важности.

— А мама где? — спросил ребенок почти шепотом, и в голосе его слышалось такое волнение и беспокойство, что толстуха пожалела его.

— Вашей мамы тут нет, голубчик.

— А где же она?.. Что тут происходит?.. Что тут делают все эти люди?

— Они пришли на распродажу. Но чего мы тут стоим? Пойдемте лучше в кухню, господин Джек. Там и поболтаем без помехи.

В полуподвале собралось целое общество: Огюстен, кухарка-пикардийка, слуги из соседних домов. Все сидели за тем же самым засаленным столом, за которым однажды вечером была решена участь Джека, и бутылка шампанского переходила из рук в руки. Появление мальчика произвело огромное впечатление, его окружили, стали ласково расспрашивать — ведь слуги, в сущности, жалели покладистую хозяйку, которая сквозь пальцы смотрела на все их проделки. Джек побаивался, что его, чего доброго, отведут в гимназию, и благо разумно умолчал о побеге; он сказал, что ему разрешили уйти, а он решил узнать про маму.

— Ее тут нет, господин Джек, — повторила Констан осторожно. — Я не знаю, должна ли я...

— И вдруг в порыве откровенности прибавила: — Э, куда ни шло! Какое мы имеем право скрывать от ребенка, где его мать?

И тут она рассказала Джеку, что ее госпожа поселилась в окрестностях Парижа, в селении Этьоль. Чтобы удержать название в памяти, ребенок несколько раз повторил про себя: «Этьоль... Этьоль...»

— А далеко это? — спросил он с деланной небрежностью.

— Да уж не меньше восьми миль, — отозвался Огюстен.

Но пикардийка, которая когда-то жила неподалеку от Корбейля, заявила, что он ошибается. Потом долго спорили, по какой дороге идти в Этьоль, и Джек жадно вслушивался, ибо он уже твердо решил, что проделает это длинное путешествие пешком. Идти надо было через Берси, Шарантон, Вильнёв-Сен-Жорж; там следовало повернуть направо и, оставив в стороне Лионскую дорогу, двигаться на Корбейль, вдоль Сены, мимо Сенарского леса, до самого Этьоля.

— Да, да... — говорила Констан. — Госпожа де Баранси живет возле самого леса... Такой славный домик с латинской надписью на двери!

Джек наострил уши, стараясь удержать в памяти все эти названия, и в первую очередь название того места, через которое он должен был пройти, выйдя из Парижа, — «Берси» — и того, куда он направлялся, — «Этьоль». Они казались ему двумя светящимися точками, между которыми пролегал долгий, мрачный и полный опасностей путь.

Расстояние его не страшило. «Я буду идти всю ночь, — решил он. — Хоть я еще и маленький, но до утра как-нибудь одолею эти восемь миль». А вслух сказал:

— Ну, я пошел... Пора в гимназию...

Ему хотелось еще кое о чем спросить, и вопрос этот жег ему губы. Неужели д'Аржантон тоже в Этьоле? Неужто и там между ним и матерью будет этот противный человек?.. Но у него не хватило духа спросить об этом камеристку. Многого еще не понимая, он смутно чувствовал, что прикоснется к тому, что было самым недостойным в жизни его матери, и промолчал.

— Ну что ж, прощайте, господин Джек!

Служанки расцеловали его, кучер изо всех сил стиснул ему руку, и мальчик вновь оказался в передней. Аукцион закончился, все, толкая друг друга, устремились к выходу: оценщик уходил вместе с помощником, грузчики — овернцы, переругиваясь, выносили мебель. Уже не задерживаясь среди мерзости запустения, воцарившейся в этом гнезде, в этом жилище авантюристки, где он надеялся найти приют и которое растащили теперь по частям в разные концы города, покинутый, очутившийся на улице ребенок пустился в далекий путь, чтобы разыскать единственную свою защитницу.

Берси!

Джек припомнил, что он уже был там совсем недавно, когда они вместе с Моронвалем разыскивали Маду. Дорога туда простая, нужно только дойти до Сены, а потом двигаться вдоль берега, вверх по реке. Это, конечно, далеко, очень далеко! Но боязнь опять попасть в руки мулата гнала его вперед. Он поминутно чего-то пугался и все время ускорял шаги. То ему чудилась широкополая шляпа Моронваля и ее тень, пробежавшая по стене, то ему мерещилось, будто кто-то гонится за ним и вот-вот настигнет. Испытующие взгляды блюстителей порядка повергали его в трепет. В многоголосом шуме столицы, в стуке катившихся экипажей, в разговорах прохожих, в прерывистом дыхании громадного неутомимого города он, казалось, все время слышал тысячу раз повторенный крик: «Держи его!.. Держи его!..» Чтобы избавиться от наваждения, он спустился по откосу и во всю прыть побежал по узкой и чистой улице вдоль самой воды.

День угасал. Взбухшая, желтая от частых дождей река тяжело и глухо ударяла о мостовые быки, где блестели большие железные кольца. Подул ветер и словно разогнал последние лучи заката. Вокруг царил суеда, неизменно сопутствующая в Париже тому часу, когда угасает наполненный торопливой деятельностью день. Женщины шли от плотомоен, нагруженные узлами мокрого белья, и вся их одежда была в темных пятнах от воды, которая



быстро пропитывает дешевые ткани. Рыболовы возвращались восвояси с удочками и корзинками и задевали ими лошадей, которых гнали с водопоя. Землекопы толпились у будок, где им платят за работу. И все те, кого кормит река, — матросы, сутулые грузчики в шерстяных шапках с толстой прокладкой — куда-то шли вдоль берега, и тут же, вперемежку с ними, сновали люди совсем иного пошиба, подозрительные и страшные, речные бродяги, мелкие жулики, ищущие поживы на берегу, «пираты» Сены, способные вытащить вас из воды за пятнадцать франков и снова швырнуть туда за сто су. Время от времени кто-нибудь из них оборачивался и смотрел вслед мальчику в школьной форме, который куда-то бежал сломя голову и казался особенно крошечным на фоне грандиозного пейзажа, открывающегося с берегов Сены.

На каждом шагу вид берега менялся. Тут земля была совсем черная, и длинные, прогибающиеся доски соединяли набережную с огромными угольными баржами. Немного дальше нога скользила по коже плодов; свежий запах, напоминавший аромат фруктового сада, смешивался с запахом тины; из-под наполовину откиннутого брезента, покрывавшего каждую из многочисленных барок, стоявших на якоре, выглядывали груды румяных, словно только что снятых с дерева яблок.

А то вдруг вам начинало представляться, будто вы в морском порту: всюду лежали кучи всякого рода товаров, у причала стояли пароходы с короткими трубами — казалось, они вот-вот задымят. Приятно пахло смолой, каменным углем, безбрежным простором. Потом берега сдвигались, раскидистые деревья купами росли на самом берегу, их старые корни купались в воде, можно было подумать, что вы находитесь в двадцати милях от Парижа или чудом перенеслись на три века назад.

Город, если смотреть на него с этой низины, приобретал необычный вид. Дома сливались со своим отражением в воде и от этого выглядели выше, издалека создавалось впечатление, будто прохожих на улице больше, будто идут они не порознь, а группами, будто на парапет набережной и на перила мостов облакачиваются в ленивой позе не одинокие мечтатели, а целые шеренги зевак. Можно было подумать, что со всех концов Парижа сюда собрались праздные, тоскующие, отчаявшиеся люди и молча созерцают эту водную поверхность, изменчивую, как сновидение, и в то же время безнадежно однообразную, как самая безотрадная жизнь. Какую же загадку скрывает в себе быстротекущая река? Почему столько обездоленных неотрывно смотрят на нее с таким унынием или тупой покорностью, как будто она властно манит их к себе?.. Когда Джек останавливался, чтобы перевести дух, ему вдруг, словно в кошмаре, начинало мерещиться, будто эти остановившиеся глаза выслеживают его, впиваются ему в спину, и он во весь дух мчался дальше.

Между тем приближалась ночь.

Проемы под арками мостов казались черными пропастями, берег мало-помалу пустел и освещался теперь смутными бликами, какие исходят от воды даже в темноте. Домов на набережной уже не было видно, вырисовывалась только ломаная линия кровель, труб, колоколен — их тусклые очертания темнели в зыбком свете. Вечернее небо сливалось с поднимавшимся над рекой белесым туманом, образуя широкую, чуть поблескивающую полосу, и на ее фоне загоравшиеся уличные фонари и огни проезжавших карет мерцали синеватыми пятнами.

Джек и не заметил, как уходивший в гору бечевник раздвинулся, и теперь он уже шагал по широкой набережной, которая едва возвышалась над водою и была ограждена вереницей каменных тумб. Газовые фонари освещали тяжелые телеги, въезжавшие в тяжелые ворота складов, где с шумом перекатывались бочки. Из-под навесов, из погребов, от тысяч бочек, стоявших рядами прямо на набережной, шел запах бродившего вина, смешанный с терпким и затхлым запахом сырого дерева.

Мальчик достиг Берси. Но тут его самого настигла ночь. Сгоряча Джек этого не заметил.

Шумная, залитая ярким светом набережная, широкая в этом месте, как рейд. Сена, отбрасывающая на берега целое море многократно отраженных в ее водах огней, — все заставило его позабыть, что час уже поздний. А главное, его детское воображение, возбужденное лихорадочным бегством, было почти парализовано страхом, что ему не выйти за городскую заставу. Он считал, что все полицейские посты уже предупреждены о его побеге. И все его помыслы были этим поглощены.

Но вот он без малейшего труда миновал шлагбаум, и ни один таможенник не обратил внимания на маленького беглеца в гимназическом мундире. А когда Джек по совету Огюстена пошел от Сены налево и углубился в длинную улицу, на которой мигали все более редкие фонари, он вдруг почувствовал, будто на его плечи навалился окружающий мрак, и ночная стужа проникла до самого его сердца, так что зубы его застучали, как от озноба. Пока он находился в городе, в толпе, он ужасно боялся, боялся, что его узнают и схватят. Теперь им тоже владел страх, но то был страх совсем иной: то была безотчетная тревога, которую еще усиливали мертвая тишина и безлюдье.

А между тем он ведь шел еще не полями. По обе стороны улицы тянулись дома. По мере того как мальчик продвигался вперед, строения попадались все реже, а в промежутках виднелись длинные дощатые заборы, большие лесные склады, покосившиеся навесы. Постепенно дома становились все ниже. Длинные и приземистые заводские здания тянулись своими высокими трубами к аспидному небу. Поодаль, между двумя лачугами, одиноко высился громадный семиэтажный дом, фасад его был буквально усеян окнами, а другие стены были глухие и темные; затерянный среди пустырей, дом казался мрачным и нелепым. Эта громадина представляла собой как бы последнее усилие города, который в изнеможении угасал, а дальше тянулись уже одни только жалкие лачуги, наполовину ушедшие в землю. Улица, казалось, тоже умирала, — на ней не было больше ни тротуаров, ни тумб по бокам, вместо двух сточных канавок теперь виднелась только одна — посередине. Словом, улица походила сейчас на большую дорогу, которая, перерезая селение, служит на протяжении нескольких десятков метров его «главной улицей».

Было всего только восемь часов вечера, но эта бесконечная, теряющаяся во тьме дорога была тиха и почти пустынна. Редкие прохожие бесшумно перешагивали через лужи. Можно было пройти совсем рядом и не заметить, что молчаливые тени скользят вдоль заборов, спеша куда-то по каким-то своим, непонятным делам. Время от времени с опустевших заводских дворов долетал протяжный собачий лай, и от этого окутанные мраком просторы казались еще необъятнее, а тишина — еще грознее.

Джеку было страшно. С каждым шагом он все дальше уходил от Парижа, от его шума, от его огней, все глубже погружался в ночь, в безмолвие. И тут он как раз подошел к последней хибаре — к винному погребку. Лавчонка была еще освещена и отбрасывала на дорогу яркую полосу, показавшуюся ребенку границей обитаемого мира.

За ней начиналось неведомое царство тьмы.

Мальчик долго не решался войти в погребок.

«А что, если я все же войду и спрошу у них дорогу?» — подумал он, заглядывая в дверь лавчонки. На беду, в кармане у него не было ни единого су... Хозяин храпел за стойкой. Вокруг колченогого столика, поставив на него локти, сидели двое мужчин и женщина, пили вино и негромко переговаривались. Мальчик толкнул полуоткрытую дверь, она заскрипела, все подняли головы и уставились на непрошеного гостя. Лица у них были мрачные, испитые, страшные — однажды Джек уже видел такие лица в полицейском участке, когда разыскивали Маду. Самой ужасной показалась ему женщина в красной кофте и с сеткой на волосах.

— А этому что еще нужно? — слышался хриплый голос.

Один мужчина уже приподнялся, но Джек в страхе попятился и разом перемахнул через полосу света на дороге. Вслед ему хлынул поток ругательств, и дверь с шумом захлопнулась. Мальчик очертя голову кинулся в зловещую тьму, неожиданно ставшую для него прибежищем. Он мчался со всех ног и остановился, только когда добежал до открытой равнины.

Справа и слева убегали поля, они тянулись до самого горизонта.

Новые низенькие домики, где жили огородники, белели небольшими кубиками в непроглядном мраке, только они и нарушали однообразие темного пейзажа. А там, вдали, Париж еще жил своей ночной жизнью, жизнью огромного города. Это было понятно даже отсюда: часть небосклона светилась, точно зарево, напоминавшее отблеск громадной кузни. Находясь в окрестностях Парижа, мы из любого места узнаете столицу по этому венцу света, которым она окружена, — так некоторые небесные светила окутывает ослепительная оболочка, возникающая при их движении.

Мальчик замер на месте в полной растерянности.

Он впервые в такой поздний час был на пустынной дороге, и к тому же один. С самого утра он ничего не ел, не пил, и его мучила жажда, страшная жажда. Только сейчас он начал понимать, на какой опасный, рискованный шаг он отважился. А вдруг он сбился с пути, идет совсем не в ту сторону, где лежит этот волшебный край, Этьоль, такой желанный, но такой далекий? И, если даже он идет куда надо, достанет ли у него сил дойти?

И тут он подумал, что, пожалуй, лучше всего улечься в канаву возле самой дороги и проспать там до рассвета. Он уже было направился туда, но вдруг услышал, что совсем рядом кто-то тяжело и хрипло дышит. В канаве, привалившись к груде камней, лежал человек. На фоне едва белевшего щебня он походил на развороченную кучу лохмотьев.

Джек застыл, окаменел. Ноги у него дрожали и подкашивались, он не в силах был сделать ни шага.

Он уже совсем обезумел от страха, и вдруг это неведомое чудище закопошилось, заохало, задергалось во сне.

Ребенку мгновенно припомнились налитые кровью глаза женщины в красной кофте и лица злоумышленников, кравшихся вдоль заборов. Он представил себе, что у того, который спит тут, наверно, такая же мерзкая физиономия. Дрожа от страха, он ждал, что вот сейчас приоткроются жуткие глаза, бродяга, храпевший в придорожной грязи, выставив вперед грубые башмаки, проснется и встанет во весь свой огромный рост.

В окружающем мраке Джеку мерещились страшные видения. Они ползали по дну канав, преграждали ему дорогу. Ему чудилось, что стоит только протянуть руку вправо или влево, и он обязательно наткнется на кого-нибудь из этих призраков. Если бы проходимец, который свалился прямо на груду камней, чтобы проспать после попойки или преступления, внезапно поднялся и накинута на Джека, у мальчика не хватило бы сил даже крикнуть...

Вдруг на дороге замелькал свет, слышались голоса, и Джек вышел из оцепенения. Какой-то офицер спешил к себе в форт, в один из тех небольших фортов, что разбросаны близ Парижа. Рядом с ним шагал денщик с фонарем — ночь была темная, и он, должно быть, вышел встретить своего начальника.

— Добрый вечер, господа! — дрогнувшим от волнения голосом еле слышно пробормотал ребенок.

Солдат посветил фонарем в ту сторону, где слышался голосок.

— Неподходящее время ты выбрал для прогулки, дружок, — сказал офицер. — Далекое тебе?

— Нет, сударь, недалеко, совсем близко... — ответил Джек; он боялся признаться в побеге.

— Ну что ж, часть пути пройдем вместе... Я иду в Шарантон. Какая удача! Он сможет целый час шагать рядом с этими бравыми вояками, стараясь идти с ними в ногу. Веселый свет фонаря прогонял тьму, которая там, куда не доходили его лучи, казалась еще более непроницаемой и пугающей. В довершение всего Джек убедился теперь, что идет по верной дороге, — его спутники то и дело упоминали названия тех мест, о которых говорил Огюстен.

— Ну, вот мы и пришли, — внезапно сказал офицер, останавливаясь. — Спокойной ночи, малыш!.. Но только уж больше не пускайся так поздно один в такой дальний путь. Окрестности Парижа не очень-то надежны.

Военные со своим чудесным фонарем свернули в какую-то улочку, и Джек опять остался в одиночестве — в самом начале длинной улицы, тянувшейся через весь Шарантон.

Его глазам предстали такие же фонари, как в Верен, такие же кабачки, где орали пьяные песни и откуда доносился шум перебранки, казавшейся особенно громкой на улицах спящего городка. На церковной колокольне пробило девять ударов. Колокольня стояла на косогоре, а позади шли дома и сады. Потом он оказался на набережной, прошел по мосту, — оттого, что вокруг царил кромешный мрак, казалось, что он висит над бездной. Мальчику захотелось остановиться, постоять с минуту, опершись на перила, но пьяные песни, только что долетавшие из кабачков, теперь уже слышались на улицах, приближались. Джека снова обуял страх, и он побежал, чтобы побыстрее очутиться за городом, где тоже было страшно, но зато не так опасно.

Здесь все было не так, как в ближних окрестностях Парижа, где поля перемежаются с заводами и фабриками. Теперь он шел мимо ферм, мимо хлевов, откуда доносился шорох соломы и теплый запах шерсти и навоза. Потом дорога стала шире, по бокам опять потянулись бесконечные канавы, через определенные промежутки виднелись груды щебня, низкие столбы, которые помогают усталому путнику отсчитывать расстояние.

Скованная тишиной равнина, где ничего, ровно ничего не движется, создает у мальчика впечатление, будто все вокруг объято глубоким сном, и он со страхом ждет, что рядом вновь послышится усталый храп, подобный тому, который так напугал его недавно возле кучи камней. Даже негромкий стук собственных шагов наполняет его трепетом, и он то и дело оглядывается... Зарево Парижа все еще освещает горизонт. Издалека доносится скрип колес, звон колокольчика. «Подождем!» — говорит себе Джек. Но мимо никто не едет, и невидимая повозка, колеса которой жалобно скрипят, удаляется во тьму, потом как будто снова возвращается, шум колес то замолкает, то звучит громче, словно повозка блуждает по извилистой, петляющей дороге и никак не может вырваться на простор.

Джек идет вперед, все вперед... Кто это притаился там, у поворота?.. — Человек? Нет, кажется, двое, трое... Это просто деревья, высокие тополя, листва их трепещет, но они не склоняют своих гордых вершин. А дальше вязы, старые французские вязы, густолиственные, с громадными, узловатыми и кривыми стволами. Ребенок шагает среди буйной природы, захваченный великим таинством весенней ночи, когда чудится, будто слышишь, как прорастает трава, лопаются почки и растрескивается земля, давая выход набухающим в ней сокам. И эти необъяснимые звуки страшат его.

«А не запеть ли мне для храбрости?»

Вглядываясь в окружающий мрак, мальчик вспоминает колыбельную песенку, которую поют в

Туренн. Этой песней мать убаюкивала его в спальне, когда уже был потушен свет:

Я в башмачках красивых.

Мой дорогой малыш.

Напев трепетал в холодном воздухе. У всякого сердце переполнилось бы жалостью, если бы он услышал, как поет перепуганный ребенок, идя по широкой темной дороге. Песенка эта для него — как туго натянутая и звенящая путеводная нить...

Но внезапно она оборвалась.

К Джеку приближалось что-то страшное, на него катилась какая-то лавина чернее тьмы, точно из самых недр ночи надвигался мрак, грозя поглотить его.

Мальчик не успел еще ничего увидеть, ничего разглядеть, он только услышал гул.

Сперва до него донеслись крики, нечленораздельные вопли, походившие и на рыдание и на рев. Потом раздались глухие удары, перемежавшиеся как бы с шумом сильного ливня, грозы, и шум этот все приближался, наплывал из мрака. И вдруг вся окрестность огласилась бешеным ревом. Быки, это быки! Целое стадо, зажатое придорожными канавами, мчится на маленького Джека, животные задевают его, толкают. Он ощущает на своем лице влажное дыхание, вырывающееся из их ноздрей, сильные хвосты больно хлещут его, от широких крупов поднимается пар, в воздухе стоит запах хлева, принесенный стремительно бегущими животными. Бычье стадо проносится, как ураган, под присмотром двух огромных псов и двух верзил, то ли погонщиков, то ли мясников, — они бегут за норовистыми, свирепыми быками, подгоняя их ударами дубинок и громкими окриками.

Остолбеневший от ужаса ребенок долго стоит не двигаясь. Он не решается идти дальше. Эти быки пронесли мимо, а что, если вслед за ними появятся другие? Куда деваться? Как поступить?.. Идти прямо через поля?.. Но он заблудится, там еще темнее. Он плачет, падает на колени, — хоть бы умереть! Стук приближающегося экипажа, два светящихся фонаря, которые загораются на дороге, как два дружеских глаза, внезапно возвращают его к жизни. Страх, что экипаж проедет мимо, придает ему смелости, и он кричит:

— Сударь!.. Сударь!..

Кабриолет останавливается, из-под откидного верха показывается большой картуз с наушниками, он наклоняется, чтобы разглядеть, кому принадлежит этот слабый голосок, идущий словно от самой земли. — Я так устал! — говорит Джек, дрожа, как в ознобе.- Подвезите меня!

Большой картуз колеблется и ничего не отвечает, но тут из глубины кабриолета на помощь мальчику приходит женский голос:

— Ах, бедняжка!.. Да посади же его!

-. Тебе куда? — спрашивает картуз.

Джек медлит с ответом. Как все беглецы, опасаящиеся погони, он старательно скрывает, куда он идет.

— В Вильнёв-Сен-Жорж, — отвечает он наугад.

— Ладно, садись!

И вот он уже в экипаже, укрытый добротным пледом. Он сидит между плотным господином и дебелой дамой, которые при свете фонаря с любопытством разглядывают маленького гимназиста, подобранного на дороге. Господи! Куда он идет так поздно, совсем один? Джека так и подмывает во всем признаться. Они такие милые люди! Но нет, очень страшно опять попасть в лапы к Моронвалю. И он придумывает целую историю... Мама его очень больна, она в деревне, у друзей... Ему сообщили об этом вечером, и он тут же отправился в путь, пешком — у него не хватило терпения дождаться утреннего поезда.

— Мне это понятно, — говорит дама.

С виду она такая добрая и простодушная! Картуз с наушниками тоже все понимает. Однако он все-таки пускается в проникнутые здравым смыслом рассуждения о том, что ребенку небезопасно ходить одному по дорогам в столь поздний час. Мало ли что может случиться! И картуз не спеша, назидательным тоном — ведь ему — то тепло и удобно в экипаже! — начинает перечислять своему юному спутнику все, что может ему грозить в пути, затем спрашивает, в какой части Вильнёв проживают знакомые его матери.

— В самом конце, — не задумываясь, отвечает Джек. — Последний дом справа.

Хорошо еще, что вокруг темно и никто в экипаже не замечает, как он покраснел. К сожалению, расспросы еще не окончены. Муж и жена на редкость болтливы и любопытны, они так словоохотливы, что уже через пять минут можно узнать всю их подноготную. Они торгуют сукном, их лавка — на улице Бурдонне, каждую субботу они уезжают за город, там у них прехорошенький домик, в деревне так хорошо дышится, особенно после тяжелого воздуха в лавке, где стоит удушливая пыль. Впрочем, нечего бога гневить: торговля приносит немалый доход, скоро они смогут уйти от дел и навсегда поселиться в Суази-суз-Этьоль, где так уютно и где так много зелени.

— А что, это местечко далеко от Этьоля? — вздрогнув, спрашивает Джек..

— Да нет!.. От нас рукой подать. — Отвечая, большой картуз для порядка вытягивает кнутом свою лошадку.

Какая обида!

Стало быть, не солги он, признайся, что идет в Этьоль, он мог бы весь оставшийся путь проехать в этом чудесном экипаже, который катится себе и катится в полосе движущегося вместе с ним мирного света. Он бы и дальше нежился на уютном сиденье, удобно вытянув свои бедные окоченевшие ноги, дремал бы под теплой шалью женщины, которая то и дело спрашивает, хорошо ли ему, не замерз ли он... А картуз с наушниками, тот даже один раз откупорил флакон и дал ему чего-то глотнуть для поднятия духа.

Эх, набраться бы смелости и сказать им прямо: «Все это неправда... Я солгал... Мне в Вильнёв-Сен — Жорж делать нечего... Мне гораздо дальше, туда же, куда и вам». Но он навлек бы на себя тем самым презрение этих добрых, открытых людей, вышел бы у них из доверия... Нет, уж лучше снова оказаться на этой ужасной дороге, где они из жалости подобрали его. И все-таки, услышав, что они приближаются к Вильнёв, мальчик не выдержал и зарыдал.

— Не плачь, дружок, — успокаивала его дама. — Может, твоя мама не так серьезно больна. Увидит сыночка — и сразу полегчает.

У последнего дома экипаж остановился.

— Тут, — пробормотал взволнованный Джек.

Женщина обняла его, ее муж стиснул ему руку и помог спуститься на землю.

— Завидую тебе, что ты уже добрался... А нам еще добрых четыре мили.

Увы! Ему оставалось пройти те же самые четыре мили.

Ужас!

Мальчик подошел к решетчатой ограде и сделал вид, будто собирается дернуть колокольчик.

— Спокойной ночи! — крикнули ему новые друзья.

— Спокойной ночи! — ответил он сдавленным от слез голосом.

Экипаж, свернув с Лионского шоссе, взял вправо и стал удаляться по обсаженной деревьями дороге; фонари его отбрасывали на темную равнину светящийся круг.

Джеку пришла в голову безрассудная мысль: попытаться догнать этот светящийся круг и бежать за ним, под его защитой. Собрав в порыве отчаяния все свои силы, он во весь дух устремился за экипажем, но после короткого отдыха ноги его ослабели и подкашивались, а глаза на свету отвыкли от темноты, и теперь он совсем ничего не различал в кромешном мраке.

Через несколько шагов он вынужден был остановиться, опять попытался бежать и в конце концов, обессилев, упал на землю, рыдая и обливаясь слезами, а гостеприимный экипаж между тем мирно катил по дороге, и сидевшие в нем люди даже не подозревали, что там, сзади, остался охваченный глубоким, безнадежным отчаянием ребенок.

И вот он лежит на обочине. Ему холодно, от земли тянет сыростью. Неважно! Усталость ваяла верх. Вокруг пустынные, бесконечные поля. Ветер дует и дует, как всегда над открытым, безбрежным пространством, будь то на море или на суше. Мало-помалу дыхание равнины, шелест трав, шорох листвы, все вздохи и звуки ночи сливаются, укачивают ребенка, успокаивают его и навевают глубокий сон.

Внезапно он просыпается от ужасающего грохота. Что еще? С трудом разлепив глаза, Джек видит, как по насыпи, в нескольких метрах от него, с ревом и свистом движется ужасный зверь, чудовищный дракон с огромными выпученными, налитыми кровью глазами и какими-то не то рогами, не то черными кольцами, которые закручиваются у него над головой, разбрасывая снопы искр. Чудовище мчится в ночи, оно похоже на хвост исполинской кометы, с немыслимым шумом и треском рассекающей воздух. В тех местах, где оно проносится, завеса тьмы как бы распаивается, разрывается и возникает то столб, то кула деревьев. Затем врата мрака вновь смыкаются, и только когда видение уже далеко, когда можно различить лишь красный огонек, мальчика осеняет, что это был ночной курьерский поезд.

Который час? Где он находится? Сколько времени проспал? Этого он не знает, но только сон не пошел ему на пользу. Он совсем ооченел, руки и ноги не гнутся, сердце сжимается от тоски. Во сне он видел Маду... Как страшно становится человеку, когда кошмар, казалось, рассеявшийся при пробуждении, вновь всплывает в памяти, мучительный, как явь! Когда сырость пронизала все тело спавшего Джека, ему привиделось, будто он покоится там, на кладбище, рядом с маленьким королем. Мальчика до сих пор знобит от этой холодной, затхлой могилы. Перед ним еще стоит лицо Маду, он ощущает прикосновение его высохшего, заледеневшего тела. Чтобы освободиться от наваждения, он поднимается. На ночном ветру дорога подсохла, затвердела, и шаги его звучат так гулко, как будто он не один, как будто сзади шагает еще кто-то. Маду следует за ним по пятам...

И снова — бешеный бег.

Джек идет в темноте, в мертвой тишине. Он идет спящей деревяней, проходит мимо квадратной колокольни, и она внезапно обрушивает ему на голову тяжелые, протяжные, гудящие удары. Бьет два часа. Другая деревяня — три часа. А он идет, идет. Голова у него кружится, подошвы горят. Но он все шагает. Остановиваться нельзя, ведь тогда снова может вернуться его кошмар, этот ужасный кошмар, который уже понемногу рассеивается. Время от времени ему встречаются накрытые брезентом возы, они еле движутся, словно во сне, — дремлют на ходу лошади, клюет носом возница.

Изнемогая от усталости, ребенок спрашивает:

— Далеко до Этьоля?

В ответ ему что-то бурчат.

Но скоро у мальчика появится попутчик: еще один путник готовится в дорогу, и о его появлении возвещают крик петухов и громкое кваканье лягушек на берегу реки. Это рассвет, рассвет, который уже брезжит за тучами, но еще, видно, не знает, какой ему избрать путь. По многим признакам ребенок угадывает его приближение и вместе со всей природой разделяет тревожное ожидание нового дня.

Внезапно прямо перед ним, в той стороне, где расположен желанный Этьоль, в котором, как ему сказали, живет его мама, да, именно в той части горизонта, небосклон будто приходит в движение, словно приподнимают тяжелый покров. Сперва возникает светлая полоска, белесая черта, отделяющая темное небо от земли, пока еще совсем тусклая. Мало-помалу полоса ширится, слабо светясь, — так только еще разгорающееся пламя рвется на волю, тянется вверх. Джек идет на свет, идет в каком-то исступлении, и оно удесятеряет его силы. Внутренний голос твердит ему, что там мама и там конец этой ужасной ночи.

Теперь уж весь небосвод распахнут. Кажется, будто огромное, ясное око, омытое слезами, глядит на идущего ребенка, глядит ласково и растроганно. «Я иду, иду!» — хочется крикнуть ему в ответ на этот светлый, благословенный призыв. Дорога понемногу белеет и больше уже не страшит его. И какая чудесная это дорога — ни канав, ни булыжника! Верно, по ней ездят одни только роскошные кареты богачей. По обе стороны тянутся, купаясь в росе и в первых лучах зари, пышные усадьбы. Они будто кичатся великолепными подъездами, уже зазеленевшими газонами, полукруглыми аллеями, куда, скользя по песку, убегает ночная тьма.

Меж белых домов и растущих шпалерами деревьев видны виноградники, зеленые лужайки сбегают по откосам к самой реке, она тоже выступает из тьмы и отливает разными цветами: темно-голубым, нежно-зеленым, розовым.

А небо все светлеет и светлеет, близится восход.

Воссияй, животворная заря! Пошли немного тепла и силы измученному ребенку, стирающему к тебе руки, воскреси в нем надежду! «До Этьоля далеко?» — спрашивает Джек у землекопов, которые, не совсем еще проснувшись, молча шагают группами с котомками за плечами.

Нет, до Этьоля недалеко: надо идти напрямик вдоль леса.

Лес между тем просыпается. Огромная зеленая завеса, протянувшаяся у самой дороги, вся трепещет. Всюду, начиная от зарослей шиповника и кончая вековыми дубами, раздается чириканье, воркованье, щебетанье. Ветви колышутся, сгибаются от быстрых взмахов, от хлопанья крыльев, тени бегут, ночные птицы, бесшумно и тяжело рассекая воздух,



укрываются в своих таинственных убежищах, а в это самое время нежный жаворонок, раскинув крылья, взлетает над равниной и, заливаясь звонкой трелью, первый прорезает в воздухе ту незримую черту, где в погожие летние дни безмятежный покой неба приглушает все звуки, поднимающиеся с земли.

Ребенок уже не идет, он волочит ноги. Ему попадается какая-то старуха в лохмотьях, со злобным лицом, она тащит на веревке козу. Он опять спрашивает:

— Далеко до Этьоля?

Старуха свирепо смотрит на него и тычет рукою, указывая на узкую и крутую каменистую тропку, которая ведет к лесной опушке. Забывая об усталости, мальчик продолжает брести. Солнце уже греет довольно сильно, заря превратилась в ослепительный сноп лучей. Джек чувствует, что он близок к цели. Он идет, согнувшись, пошатываясь, спотыкаясь о камни, — камни с шумом скатываются вниз, но все же он идет.

Наконец, одолев подъем, он различает колокольню, она возвышается над крышами домов, которые жмутся друг к другу среди густой зелени. А ну, еще одно усилие! Надо добраться туда. Но силы ему изменяют.

Он ложится прямо на дорогу, приподнимается и снова падает. Сквозь слипающиеся веки он различает совсем рядом маленький дом, увитый диким виноградом, цветущими глициниями, шиповником; ползучие растения тянутся до самой голубятни, до самой верхушки розовой башенки, сложенной из нового кирпича. Над входом, затененным уже распутившейся сиренью, тянется надпись, выведенная золотыми буквами:

*Parva domus, magna quies*

Чудесный мирный дом, омытый золотистым солнечным светом! Ставни и двери еще заперты, однако там уже не спят, оттуда доносится свежий, веселый женский голос. Кто-то поет:

Я в башмачках красивых,

Мой дорогой малыш.

Этот голос и эта песня!.. Не во сне ли это чудится Джеку? Но тут створки решетчатых ставен со стуком распахиваются, и в окне показывается женщина в белом пеньюаре. Волосы ее собраны узлом, а в глазах еще притаились остатки сна.

Я в башмачках красивых.

Привет, моя любовь!

— Мапочка!.. Мапочка... — слабым голосом зовет Джек.

Женщина, ослепленная восходящим солнцем, растерянно умолкает, озирается, первое

время ничего не может понять. И вдруг замечает на дороге изможденного малыша — грязного, оборванного, еле живого.

Из ее груди вырывается вопль:

— Джек!

И вот она уже рядом с ним. Всем жаром своего сердца мать отогревает полумертвого ребенка, впавшего в оцепенение от всех ужасов, тревог, от холода и мрака минувшей ночи.

## VIII. PARVA DOMUS, MAGNA QUIES

— Нет, нет, дорогой Джек, нет, милое дитя мое, не бойся, больше ты не возвратишься в эту окаянную гимназию... Бить моего ребенка! Они посмели бить моего ребенка!.. Ты очень хорошо поступил, что сбежал... Этот дрянной мулат поднял на тебя руку! Стало быть, он не знает, что знатное происхождение, не говоря уже о цвете кожи, дает тебе право как следует отделать его палкой? Надо было сказать ему: «У моей мамы мулаты в слугах ходили». Полно! Да не гляди на меня так печально своими глазищами! Говорю тебе: ты туда больше не возвратишься. Прежде всего я не хочу разлучаться с тобой. Я тебе так уютно обставлю комнатку! Ты сам увидишь, до чего приятно жить в деревне. У нас тут свои животные и птицы — куры, кролики, коза, ослик. Прямо Ноев ковчег... Господи! Что же это я? Я ведь еще не покормила кур... Твой приход меня так взбудоражил... Когда я увидела тебя там, на дороге, да еще в таком ужасном виде... Ну, спи, отдохни еще немного. Я разбужу тебя к обеду. Выпей только холодного бульона. Знаешь, что сказал доктор Риваль? Чтобы окрепнуть, тебе нужны сон и еда... Что, вкусный бульон у тетушки Аршамбо? А? Бедный ты мой малыш! Подумать только! Я спала, а ты один брел по дорогам! Ужас какой... Слышишь, куры зовут меня? Ну, я пошла... Спи спокойно.

И она упорхнула, воздушная, счастливая, как всегда прелестная, хотя и несколько загоревшая на свежем воздухе и слишком уж разряженная — ее будто бы простой деревенский костюм из грубого полотна был пышно отделан черным бархатом, а со шляпы из итальянской соломы свисали цветы. Она ребячилась, она играла в поселянку.

Джеку не спалось. Продолжительный отдых после прихода в Этьоль, ванна, бульон тетушки Аршамбо и прежде всего поразительная приспособляемость юной природы, ее гибкость и выносливость победили сильную усталость. Он посматривал вокруг, наслаждаясь уютом мирного жилища.

Ничто тут не походило на роскошь, царившую в особняке на бульваре Османа, где все было словно простегано, подбито ватой, приглушено. Джек лежал в большой комнате, обтянутой светлым ситцем и обставленной мебелью в стиле Людовика XVI-белой с серым, без всякой позолоты. Снаружи — безмятежное деревенское приволье, шелест ветвей, царапающих стекла окон, да воркование голубей на кровле. С птичьего двора долетал голос его матери: «Цып, цып!»- и кудахтанье кур, всегда поднимающих возню вокруг пригоршни овса.

Джек наслаждался этим легким и каким-то уютным гомоном, замиравшим в тишине, которая стояла вокруг. Он чувствовал себя отдохнувшим и счастливым. Одно только его тревожило: портрет д'Аржантона, висевший напротив, над кроватью. Поэт был изображен в картинной, горделивой позе, в руке он держал полуоткрытую книгу, блеклые глаза смотрели сурово.

Мальчик думал: «Где же он? Где живет?.. Почему его не видно?» В конце концов Джеку стало не по себе от этого неподвижного взгляда, который сверлил его, точно невысказанный вопрос

или укор. Он встал и пошел разыскивать мать.

Она кормила птиц и вся ушла в это занятие, с изысканной беспомощностью отставив в сторону мизинец по локоть затянутой в перчатку руки и подобрав сбоку платье, так что видны были нижняя полосатая юбка и ботинки на высоких каблуках. Тетушка Аршамбо потешалась над неловкостью парижской дамы и одновременно приводила в порядок клетку кроликов. Тетушка Аршамбо была женой лесника, она приходила убирать и стряпать в «Ольшаник» — так называли в округе дом, где поселилась мать Джека, потому что в конце сада разрослась ольховая рощица.

Крестьянка пришла в восторг, когда Джек появился на птичьем дворе.

— Господи Иисусе! Какой у вас славный сынишка!..

— Правда, тетушка Аршамбо!.. А что я вам говорила?

— Да уж, ничего не скажешь! Только они больше на мамашу смахивают, чем на отца, право... Добрый день, миленький! Позвольте вас поцеловать!

Старая черноглазая дикарка, не долго думая, прижалась к щеке ребенка своей загубелой щекой, пропахшей капустой, которой она кормила кроликов. При слове «отец» Джек поднял голову.

— Ну, раз уж тебе не спится, пойдем осматривать дом... — предложила мать, — ей быстро надоедало любое занятие.

Она разгладила оборки платья и повела мальчика знакомиться со своеобразным жилищем, расположенным на расстоянии ружейного выстрела от селения. Дом этот воплощал мечту о комфорте и уединении, которую лелеют поэты, но осуществляют чаще всего лавочники.

Особнячок был перестроен из старинного охотничьего домика, некогда относившегося к службам одного из тех обширных замков эпохи Людовика XV, каких немало в этих краях, однако в результате дробления феодальных земель он был отчужден и оказался за пределами барских владений. К замшелым каменным стенам теперь — примыкала новая башенка с вышкой и флюгером над нею; башенка-то и придавала дому обличье подновленной дворянской усадьбы. Они осмотрели также конюшни, сараи, фруктовый сад — громадный фруктовый сад, выходивший к Сенарскому лесу. Затем поднялись на башенку. Винтовая лестница, освещенная узкими оконцами с разноцветными стеклами, вела в круглую залу с четырьмя стрельчатыми окнами, где стоял круглый диван, обитый алжирской тканью. Некоторые вещи представляли художественную ценность: потемневшие от времени дубовые лари, венецианское зеркало, старинная обивка и высокое деревянное резное кресло времен Генриха II, возвышавшееся перед внушительным письменным столом, на котором валялись бумаги.

Отсюда, с высоты, глазам со всех сторон открывался восхитительный пейзаж — лес, долина, река, причем из каждого окна вид был другой. Взгляд то упирался в завесу зеленой листвы, то терялся по ту стороны Сены в безбрежной, прозрачной и светлой дали.

— Здесь он творит! — благоговейно сказала мать и замерла на пороге.

Джеку не надо было спрашивать, о ком она говорит с таким почтением.

Вполголоса, как будто она находилась в святилище, г-жа де Баранси продолжала, не глядя на сына:

— Сейчас он в отъезде... Вернется через несколько дней. Я напишу ему, что ты у нас. Он будет очень доволен, понимаешь? Несмотря на свой суровый вид, он чудесный человек и

очень тебя любит... И ты, ты тоже должен очень любить его, милый мой малыш... Не то я буду очень несчастна, мне будет трудно с вами обоими.

Говоря это, она смотрела на портрет д'Аржантона, висевший на стене, в глубине комнаты, портрет, писанный красками, — он-то и был воспроизведен на фотографическом снимке в спальне. Изображения поэта висели во всех комнатах, не считая бюста из флорентийской бронзы, который красовался на лужайке перед входом в сад. Замечательно, что никаких других портретов в доме не было.

— Джек, дорогой! Ты обещаешь мне полюбить его?.. — повторяла несчастная сумасбродка, не сводя глаз с сурового лица на портрете.

Мальчик потупился и через силу произнес:

— Обещаю.

Она прикрыла дверь, и они спустились по лестнице, не промолвив больше ни слова.

Это было единственное облачко в тот незабвенный день.

Как хорошо им было сидеть вдвоем в просторной, украшенной фаянсом столовой, где густой дымящийся суп из капусты казался просто барской причудой! Слышно было, что в кухне тетушка Аршамбо спешно моет посуду. Вокруг дома, точно таинственный страж, бродила тишина — чудесная деревенская тишина. Джек глядел на мать и никак не мог наглядеться. Она тоже находила, что он похорошел, вырос, что он довольно крепок для своих одиннадцати лет. За едой они то и дело целовались, словно влюбленные.

Вечером к ним пришли гости. Папаша Аршамбо, как всегда, явился за своей женой: они жили далеко, в лесу. Его усадили в столовой.

— Ну, папаша Аршамбо, выпейте стаканчик за здоровье моего мальчика!.. Ведь правда, он у меня хорошенький? Вы будете иногда брать его с собой в лес, чтобы он мог там порезвиться?

— Отчего же нет, госпожа д'Аржантон?

Поднимая стакан с вином, этот рыжий загорелый великан, гроза окрестных браконьеров, переводил справа налево свой взгляд, который ночные засады под укрытием кустов и ветвей сделали таким острым и быстрым, что он уже не мог на чем-либо подолгу задерживаться.

Нашему приятелю Джеку стало как-то не по себе, когда его мать назвали госпожой д'Аржантон. Но так как он имел весьма смутное представление о человеческом достоинстве и о жизненных правилах, то с детской непосредственностью начал думать совсем о других вещах, о том, что лесник пообещал взять его на охоту за белкой. Тот подтвердил свое обещание перед уходом, после чего свистнул двух собак, шумно дышавших под столом, и нахлобучил на свои курчавые волосы форменную фуражку лесника, состоящего на государственной службе.

Супруги Аршамбо удалились, и почти тотчас же послышался стук экипажа, с трудом поднимавшегося по крутой каменистой дороге.

— А, это, должно быть, господин Риваль! Узнаю его лошадку, она всегда плетется шагом. Это вы, доктор?

— Я, госпожа д'Аржантон.

То был этьольский лекарь. Возвращаясь к себе после визитов, он заехал проведать своего

юного пациента, у которого уже побывал утром.

— Так и есть! Я же говорил вам, что это всего лишь сильная усталость... Здравствуй, дружок!

Джек глядел на широкое, красное лицо доктора, обрамленное белой растрепанной гривой, на невысокую приземистую фигуру этого сутулившегося человека в длинном, чуть не до пят сюртуке. Человек этот на ходу слегка раскачивался, ибо двадцать лет провел на море, в должности судового хирурга.

До чего ж у него был открытый и добродушный вид!

Эх! Какие тут славные люди, и каким счастливым чувствуешь себя в простой деревенской среде, вдали от страшного мулата и от гимназии Моронваля!

Когда доктор отклонялся, они задвинули тяжелые дверные засовы. Тьма возвела вокруг стен молчаливый барьер, и мать с сыном поднялись в спальню.

Пока Джек засыпал, она начала строчить своему д'Аржантону длинное-предлинное письмо, чтобы сообщить о приходе сына и попытаться разжалобить его рассказом о неустроенной судьбе ребенка, который теперь спокойно и мирно посапывал за пологом кровати.

Она немного успокоилась лишь два дня спустя, получив из Оверни ответ поэта.

Хотя в письме не было недостатка в укорах и прозрачных намеках на материнскую слабость и строптивый нрав мальчика, оно оказалось менее страшным, чем можно было ожидать. В сущности, д'Аржантон и сам уже задумывался над тем, что воспитание в гимназии Моронваля потребует слишком больших расходов. Осуждая Джека за своеволие, он соглашался, что большой беды во всем этом нет, ибо учебное заведение пришло в полный упадок (разумеется, после того, как он его покинул!). А заботу о судьбе мальчика он берет на себя. По возвращении домой, через неделю, он подумает, как тут быть.

Больше уже никогда — ни в детстве, ни в юные годы — на долю Джека не выпадали такие счастливые, такие радостные дни, как в ту памятную неделю. Мама все время была с ним, а потом — лес, птичий двор, коза! По десять раз на день он взбегал по лестнице за Идой, всюду ходил за ней по пятам, вторил ее звонкому смеху, часто не понимая, почему она смеется, — словом, был на Седьмом небе, ибо жизнь его была соткана из множества чудесных мелочей, о которых даже не расскажешь.

Потом новое письмо и:

— Завтра он приезжает.

Хотя д'Аржантон уже знал, что ему предстоит встретиться с Джеком, и даже склонен был проявить доброту и терпимость, на душе у Иды было беспокойно, и она хотела как можно лучше подготовить эту встречу. Она поехала в экипаже на станцию Эври, куда должен был прибыть поэт, и не взяла с собой мальчика. Перед отъездом она смущенно поучала сына. При этом у обоих было тяжело на душе, как будто они были сообщники и совершили что-то недозволенное.

— Ты побудь в саду, понимаешь?.. Не кидайся ему навстречу... Жди, пока я тебя позову.

Какое испытание для Джека!

В ожидании он целый час бродил по саду, наблюдая за узкой, каменистой дорогой, пока не услышал приближающийся скрип колес.

Тогда он пустился наутек и спрятался за кустами смородины. Они вошли в дом, и до

мальчика донесся

его голос, суровый, тусклый, и голос матери, еще более кроткий, чем обыкновенно:

— Да, друг мой... Нет, друг мой...

Наконец увитое зеленью окно башенки распахнулось.

— Джек, скорее!.. Тебе можно войти.

На лестнице его сердечко бешено колотилось, не столько от быстрого подъема, сколько от страха. Переступив порог, он вдруг почувствовал, что плохо подготовлен к столь важному свиданию: его привело в трепет бледное лицо поэта на темном фоне резного кресла, обескуражило смятение матери, которая даже не протянула руку помощи своему оробевшему сыну.

Все же он пролепетал: «Здравствуйте» — и замер в ожидании.

На сей раз нравоучительная речь была короткой, почти благосклонной: поэту было приятно, что мальчик стоял перед ним в позе обвиняемого, к тому же он был в восторге, что с его «дражайшим директором» сыграли такую славную шутку.

— Джек! — назидательно закончил он. — Надо стать серьезным, надо трудиться. Жизнь не роман. Я охотно верю в твое раскаяние, и если ты будешь вести себя хорошо, я, разумеется, полюблю тебя, и мы все трое будем счастливы. Вот что я хочу предложить: ив того времени, которое я посвящаю подвижническому труду на поприще искусства, я каждый день стану урывать час или два на твое воспитание и обучение. Если ты согласен трудиться, я берусь превратить тебя, строптивного и ветреного ребенка, в такого же закаленного для жизненных битв человека, каков я сам.

— Слышишь, Джек? — спросила мать, сильно обеспокоенная молчанием сына. — Ты, надеюсь, понимаешь, какую великую жертву готов принести ради тебя наш друг?

— Да, мамочка... — пробормотал Джек.

— Погодите, Шарлотта, — вмешался д'Аржантон. — Надо сначала узнать, по душе ли мальчику мое предложение. Я, понятно, никого не принуждаю.

— Ну так как, Джек?

Джек оторопел, услышав, что его маму называли Шарлоттой; он не знал, что сказать, и так долго придумывал подходящие и достаточно красноречивые слова, которые соответствовали бы такому великодушию, что в конце концов похоронил свою благодарность под гробовым молчанием. Поняв это, мать поспешно толкнула его в объятия поэта, а тот запечатлел на лбу ребенка театральный — звонкий и холодный — поцелуй и при этом сделал вид, будто подавил невольное отвращение.

— Ах, дорогой мой! Как ты великодушен, как ты добр!.. — лепетала несчастная женщина.

А мальчик, которому жестом разрешили уйти, кубарем скатился по лестнице, чтобы никто не разгадал его истинных чувств.

Говоря по правде, неожиданное появление Джека в доме внесло некоторое оживление в монотонную жизнь поэта. Первые радости уже миновали, ему довольно быстро наскучила жизнь вдвоем с Идой, которую он окрестил Шарлоттой в честь известной героини Гете,<sup>[15]</sup> а также потому, что стремился стереть даже самое воспоминание об Иде де Баранси и ее прошлом. В ее обществе он чувствовал себя так, словно был один — настолько этот

доморощенный деспот поработил ограниченную, безвольную и слабую женщину.

Она, как попугай, повторяла его слова, проникалась его мыслями, уснащала свою неумолчную болтовню его излюбленными парадоксами, безбожно перевирая их. Мало-помалу они превратились как бы в двуединое существо, и такое слияние, которое при благоприятных обстоятельствах может стать идеалом счастья, сделалось настоящей пыткой для д'Аржантона: забияка и спорщик, он любил препирательства, и постоянное безропотное одобрение уже не доставляло ему никакого удовольствия.

И вот теперь он опять сможет кому-то досаждать, выговаривать, кого-то муштровать! А ведь д'Аржантон был в большей мере классным наставником, нежели поэтом. Стремясь успокоить свой болезненный зуд, этот вечно священнодействующий фигляр приступил к воспитанию Джека с торжественной пунктуальностью и методичностью, какую он неизменно вносил в самые незначительные свои поступки.

На следующее утро, проснувшись у себя в комнатке, мальчик увидел, что под раму зеркала просунут лист бумаги, исписанный четким, красивым почерком д'Аржантона. Сверху крупными буквами было начертано:

## РАСПОРЯДОК ДНЯ

Это был не просто план занятий, а распорядок всей жизни. День был разделен на многочисленные клеточки, расписан по часам: «В шесть — подъем. От шести до семи — завтрак. От семи до восьми — повторение пройденного. От восьми до девяти...» И так до самой ночи.

Дни, расписанные подобным образом, напоминали окна, наглухо закрытые жалюзи, узкие просветы которых пропускают ровно столько воздуха, чтобы не задохнуться, и столько света, чтобы различать окружающие предметы. Такого рода расписания соблюдают обычно недолго, но д'Аржантон был придирчиво строг и не терпел расхлябанности, а в довершение всего бывший педагог гимназии Моронваля питал необычайное пристрастие к своей системе и не собирался от нее отступать.

Система заключалась в том, что он набивал голову начинающего самыми разнообразными познаниями ив латыни, греческого и немецкого языка, алгебры и геометрии, анатомии, грамматики и прочими, уже более элементарными сведениями, без которых невозможно обойтись. А уж разобраться во всей этой мешанине, понять, как и что, все расставить по местам должен был ученик.

Сама по себе эта система, может быть, и превосходна, но то ли она была слишком сложна для ребенка, то ли у преподавателя не хватило умения на практике приложить свою теорию, только Джеку пользы она не принесла. А ведь он был достаточно развит для своего возраста и, хотя до сих пор учили его бестолково, был гораздо сообразительнее, чем другие дети в одиннадцать лет. На беду, у него не было необходимых знаний и навыков, и это еще больше мешало ему учиться по той сложной и громоздкой системе, которую ему навязывал новый наставник. А главное, его повергал в трепет величественный вид д'Аржантона. Кроме того, его отвлекала, будоражила окружающая природа, — она занимала все мысли мальчика.

Внезапно очутившись после затхлого, тесного двора гимназии Моронваля, после отвратительного переулка Двенадцати домов на лоне природы, он был захвачен, буквально заморожен ее очарованием и непрерывным общением с нею.

Когда в чудесные послеполуденные часы он сидел в башенке, напротив обложенного книгами учителя, уткнувшись носом в толстую тетрадь, строчки плясали у него перед глазами, и его охватывало безрассудное желание — удрать, махнуть рукой на расписание и вместо уроков резвиться на воле, не помня себя от счастья.

В открытые окна вливались ароматы цветущего мая, лес катил свои зеленеющие валы, и Джек, позабыв про занятия, следил за птичками, порхавшими с ветки на ветку, или за белкой, рыжим пятном мелькавшей в темной зелени высокого орешника. Что за наказание склонять слово «роза» сперва на латыни, а затем на других языках, в то время как на лесной опушке переливается нежным цветом живой шиповник! Он только об одном и думал: как бы очутиться на воздухе, погреться на солнышке...

— Да он круглый идиот! — выходил из себя д'Аржантон, когда на все его вопросы, на все доводы Джек отвечал с таким растерянным видом, словно он только что свалился с верхушки дерева, которое перед тем разглядывал, или с легкого облака, уплывавшего на запад.

Особенно тупым Джек казался д'Аржантону потому, что он был не по годам высок, а суровость поэта приводила лишь к одному: мальчик еще больше терялся, и сколько он ни напрягал свою перегруженную память, все было тщетно.

Через месяц учитель заявил, что он отстывает, ибо только даром тратит драгоценное время, урывая его у серьезных занятий. На самом же деле он и сам был рад освободиться от обременительных пут своего «железного» расписания, которое связывало и тяготило его, пожалуй, не меньше, чем ученика. Ида, она же Шарлотта, не стала оспаривать утверждение д'Аржантона, что Джек — неспособный, бестолковый ребенок: она предпочла согласиться с этим, лишь бы избавиться от мучительных сцен, вспышек гнева и слез, которыми неизменно заканчивались тягостные для всех уроки.

Превыше всего она ставила собственный покой и любила, чтобы все вокруг нее были довольны. Ум у нее был столь ограниченный, кругозор столь узкий, что ее занимал только сегодняшний день, и она отказалась бы от самого блестящего будущего, если бы за него пришлось заплатить ценой нынешнего спокойствия.

Судите сами, как радовался Джек, не видя больше перед глазами ненавистный распорядок дня: «В шесть часов — подъем. От шести до семи — завтрак. От семи до восьми...» и так далее. Ему казалось, будто дни стали бесконечными и вместе с тем не такими томительными. Уже по одному тому, как застенчиво целовала его мать и каким ненатуральным голосом говорила с ним в присутствии поэта, Джек чувствовал, что в доме он всем мешает, и с утра до вечера где-то пропадал, совершенно забывая о времени, как это свойственно детям и гулякам.

У него появился закадычный друг — лесник и закадычная подруга — лесная глушь. Уходил он спозаранку и появлялся в домике Аршамбо в ту самую минуту, когда жена лесника, перед тем как идти к «парижанам», кормила муженька завтраком в чистенькой и веселой горнице, оклеенной светло-зелеными обоями, на которых один и тот же охотник сто раз кряду подстерегал одного и того же удиравшего кролика. Затем они шли на псарню, где содержались породистые собаки. Псы визжали, лаяли, подпрыгивали, кидались на решетку и просовывали между прутьев свои короткие, удлиненные или срезанные морды с торчащими вверх либо опущенными книзу лохматыми ушами. Когда же их выпускали на волю, вся вта собачья рать мгновенно разбегалась во все концы двора, бурно радуясь свободе. И как они резвились, какую естественность движений обретали они, вырвавшись из тесной псарни с ее опостылевшими мисками и соломенными подстилками! Каких только тут не было пород! Пятнистые датские доги, которых так легко дрессировать и укрощать; низенькие, приземистые таксы, словно созданные для того, чтобы пожирать пространство — их вытянутое в беге тело будто сливается с ним; необузданные грифоны с нависающей на глаза длинной шерстью, шелковистой, бархатистой, которую так и хочется погладить; африканские борзые, слишком крупные и изнеженные для охоты, и, наконец, борзые, у которых родословная не уместается на листе бумаги. Папаша Аршамбо содержал в строгости своих воспитанников, надевал на них ошейники с шипами, укрощал хлыстом или же сурово и пристально глядел им прямо в глаза, а это так неотразимо действует на иных животных, что



они тут же подчиняются, ложатся на землю и униженно подползают на животе, дрожа от страха. Порою, глядя на какого-нибудь непослушного пса, Джек думал: «А вот этому никак не дается система!» И ему так хотелось взять беднягу с собою в лес, чтобы тот вместе с ним беззаботно побегал на вольном воздухе, ибо сам он ощущал после подобных прогулок необыкновенную радость жизни.

До чего счастлив и горд был наш приятель Джек, когда он вместе с папашей Аршамбо обходил лес и шагал рядом с этим грозным, наводившим страх на всю округу человеком, которому висевшее на ремне ружье придавало столь воинственный вид! Мальчик учился смотреть на лес его глазами и видеть особенный, живой, густо населенный лес, недоступный непосвященным. В этом царстве непуганых зверей никто не прятался в листве, никто боязливо не скрывался в густой траве, — здесь открывалась картина спокойной жизни животных, которые невозбранно занимались своими делами или резвились... Самка фазана, окруженная выводком птенцов, выискивает в муравейниках у подножия деревьев белеющие муравьиные яйца, мелкие, как бисер, и клюет их. Тонконогие косули с удивленными глазами пощипывают нежные побеги и одним прыжком перемахивают просеку, не столько из боязни, сколько играючи. А на лесной опушке, готовясь наведаться на ближние поля и огороды, снуют зайцы, кролики, куропатки.

За сквозной завесой из тонких веток и цветущего боярышника, с которого свисали целые букеты ослепительно белых душистых цветов, в теин высоких деревьев металась, ползали, летали живые существа. Лесник заглядывал в норы, отыскивал выводки, истреблял вредных животных — гадюк, сорок, белок, лесных мышей, кротов. Ему платили за каждую голову или хвост этих мелких хищников определенную сумму, и раз в полгода он относил в Корбейль, в супрефектуру, целую коллекцию пыльных, высохших шкурок, которые он складывал в мешок. Хорошо бы набить такой мешок и головами браконьеров, а главное, тех, кто рубит лес! Папаша Аршамбо любил свои деревья еще больше животных. Вместо убитой косули появится другая, погибнет фазан, а весной народится тысяча других. Но дерево растет медленно!

И как же он пестовал их, сразу же замечая малейшую болезнь! Особенно жалел он о еловой роще, на которую напали древоточцы. Древоточцы — это маленькие червячки, которые мириадами появляются неведь откуда. Сомкнутыми рядами они накидываются на самое крепкое, красивое и здоровое дерево. Борьба с этим грозным нашествием помогает смола: дерево собирает все силы и, не жалея смолы — своих жизненных соков, которые, стекая по коре, уносят у него частицу жизни, — пытается сопротивляться врагу. Потоки смолы низвергаются на древоточца и личинки, которые он откладывает в волокнах коры, но ель изнемогает, высыхает в этой, почти всегда бесполезной, борьбе. Джек сочувствовал бедным елям, он с волнением следил за тем, как по их коре стекала смола — этот душистый пот, эти тяжелые слезы дерева, похожие на чистый янтарь, который сверкает на солнце. Порою ели удавалось спастись от гибели, но чаще всего она сохла и умирала, и наступал день, когда колосс, в могучих ветвях которого еще недавно пели птицы, — порхали пчелы, звучал хор всех живых существ, что находят там приют, и веял ветерок, — когда колосс начинал походить на дерево, пораженное молнией, и в конце концов падал, а наверху, среди колышущихся вершин, оставался зияющий провал.

У буков был другой враг — нечто вроде долгоносика. Крошечные алые насекомые кишели на дереве; каждый лист был источен ими, испещрен ярко-красными точками. Издали эта часть леса, ее листва, до срока тронутая осенним багрянцем, отмеченная преждевременным увяданием, казалась здоровой, но то было ложное впечатление — так болезненный румянец окрашивает щеки чахоточного юноши. Папаша Аршамбо разглядывал деревья, печально покачивая головой, словно отчаявшийся врач, который видит перед собою неизлечимо больных.

Во время таких совместных прогулок лесник и мальчик не обменивались ни единым словом,

замерзшие могучей симфонией леса. В ветвях различных деревьев ветер свистел и жаловался по-разному. В сосняке гудел и роптал морской прибой. Березы и осины дребезжали; их ветви оставались почти недвижимыми, а листья щелкали с каким-то металлическим звуком. С берегов лесных омутов, каких немало было в той стороне, долетал мягкий шелест, шуршанье камышей, которые наклоняли друг к другу длинные, мягкие, как атлас, наконечники. И все это смешивалось со скрипучим смехом серого дятла, со стуком клювов зеленых дятлов, с печальным кукованием кукушек, со всеми смутными звуками, какие слышатся в лесу, который тянется во все стороны на четыре-пять миль. Этот разноголосый шум нравился Джеку, он постоянно звучал в его ушах.

Блуждая целыми днями по лесу вместе с лесником, мальчик приобрел врагов. На опушке гнездились целые племена браконьеров, — папаша Аршамбо неусыпно следил за ними, не давал им спуска, и они смертельно ненавидели его. Лицемерные и трусливые, они при встрече с лесником ломали шапки и кланялись даже мальчику, но когда Джек возвращался домой, грозили ему кулаками. Особенно усердствовала высокая старуха, которую все называли теткой Сале, она даже снилась мальчику по ночам! У нее было высохшее лицо с правильными чертами, кожа, как у старой индианки, напоминавшая красноватый песок в каменоломне,[16] тонкие губы, впалый рот. Когда, распроставшись с лесником, Джек на закате возвращался в Ольшаник, он всякий раз встречал ее — старая воронка сидела на откосе оврага с вязанкой хвороста и походила на того сказочного Никодема, которым страшат детей: он будто бы сидит на луне, загораживая свет своим бесовским силуэтом. Она, не шевелясь, ждала, пока Джек, старавшийся не ускорять шаги, пройдет мимо, а потом протяжно кричала ему вслед с теми вульгарными интонациями, какие свойственны уроженцам Иль-де-Франс:

— Эй ты, слушай!.. Чего это ты так улепетываешь?.. Я тебя все одно приметил!.. Погоди, вот я тебе нос — то серпом обточу!..

Потом она вскакивала, замахивалась серпом и делала вид, что вот-вот кинется вдогонку за мальчиком: ей нравилось пугать его, как она сама выражалась, «задавать ему жару». Джеку чудились шаги преследующей его по пятам старухи, он слышал, как волочится по земле ее вязанка. Прибегал он домой, запыхавшись, с трудом переводя дух. Но все эти страхи только придавали лесу еще больше романтичности, они прибавляли к его величию нечто таинственное — притягательную силу опасности.

Возвращаясь с прогулок, Джек обычно заставлял мать в кухне, где она, понизив голос, беседовала с женой лесника. Над домом висела гнетущая тишина, только в столовой размеренно качался маятник больших часов. Мальчик целовал мать, а она прикладывала палец к губам:

— Тсс!.. Молчи!.. Он наверху...

Он творит.

Джек усаживался на стул в углу кухни и забавлялся, глядя на кошку, выгибавшую спину на солнце, или на бюст поэта, который отбрасывал величественную тень на лужайку. Как всякий ребенок, которому хочется пошуметь именно тогда, когда шуметь не разрешают, он нечаянно что-нибудь опрокидывал, сдвигал с места стол, задевал за гири часов — словом, все время вертелся, вскакивал, снова садился, не зная, к чему бы приложить свою энергию.

— Да уймись ты!.. — накидывалась на него Шарлотта.

Тетущка Аршамбо накрывала на стол, соблюдая величайшую осторожность: она неуклюже передвигалась на цыпочках, с трудом удерживаясь на толстых косолапых ногах, с усилием сгибала широкую спину, причем плечи ее ходили ходуном. Неловкая, неповоротливая, она выбивалась из сил, лишь бы не потревожить «барина, который работает».

Да, он работал.

Было слышно, как у себя наверху, в башенке, он расхаживает мерными шагами, предаваясь мечтам или томясь от скуки, гремит стулом, двигает стол. Он приступил к своей «Дочери Фауста» и весь день проводил взаперти, корпя над этой поэмой, название которой он невзначай когда-то обронил. Но, кроме названия, в поэме до сих пор не было ни единой строки. А ведь теперь у него было все, о чем он постоянно мечтал: досуг, деревенская природа, уединение, чудесный кабинет для работы. Когда ему наскучивал вид леса, отбрасывавшего зеленый отблеск на стекла, ему достаточно было немного повернуть кресло, и глазам его предстал бесконечный голубой простор самых разных оттенков — река, небо, дали. Запахи леса и свежесть воды вливались к нему прямо в окна, а шум ветра в ветвях и набегавший ропот волн, далекие гудки парохода — все только подчеркивало величавое спокойствие окружающей природы. Ничто его не беспокоило, ничто не отвлекало, только над головой по кровле расхаживали голуби, оглашая воздух воркованием, таким же томным, как повороты их шеи с переливчатым оперением.

— Господи! До чего же тут хорошо работается! — восклицал поэт.

Он хватал перо, раскрывал чернильницу. И — ничего, ни строчки! Бумага оставалась белой, на ней не рождалось ни единого слова, ибо слова не рождались в его голове, и заранее обозначенные главы — страсть придумывать заглавия неотступно преследовала его — уныло чернели на страницах, как перенумерованные вехи на поле, забытом пахарем. Ему тут было слишком уютно, вокруг было слишком много поэзии, и у поэта перехватывало дыхание от достигнутого благополучия, о котором он некогда так мечтал.

Вы только подумайте! Жить в охотничьем домике времен Людовика XV, на опушке леса, в чудесном краю, в Этьоле, который как бы хранит воспоминание о г-же де Помпадур,<sup>[17]</sup> о ее розовых лентах и бриллиантовых пряжках! Обладать всем необходимым для того, чтобы стать поэтом, великим поэтом, — очаровательной любовницей, которой так подходит романтическое имя Шарлотты, креслом эпохи Генриха II, предназначенным для подвижнического, упорного труда, белой козочкой по имени Дальти, которая сопровождает вас на прогулке, и, наконец, старинными стенными часами с циферблатом из эмали: они точно созданы для того, чтобы отмерять время нынешних счастливых дней и вызывать своим нежным мелодичным звоном, будто долетающим из глубины столетий, печальные образы исчезнувших времен!

Пожалуй, всего этого было даже много, слишком много! И злополучный виршеплет чувствовал себя здесь столь же бесплодным, столь же далеким от вдохновения, как в ту пору, когда после целого дня, заполненного унылыми уроками, он вечером запирался у себя, в жалких меблированных комнатах.

Он подолгу, часами курил трубку, валялся на диване, бесцельно простаивал у окна, томился...

Но как только на лестнице раздавались шаги Шарлотты, он с сосредоточенным видом, наморщив лоб и устремив глаза в пространство, садился за стол, причем взгляд у него был такой отсутствующий, что могло показаться, будто он грезит.

— Войдите! — кричал он, услышав робкий стук в дверь.

Она входила — свежая, веселая, в платье с короткими рукавами, позволявшими видеть ее красивые руки, до такой степени похожая на опереточную поселянку, что даже рисовая пудра на ее лице смахивала на муку, которая во все стороны разлетается от мельницы в комической опере.

— Я пришла повидать моего поэта, — произносила она, переступая порог.

Вместо «поэт» она выговаривала «пувт», и это выводило его из себя.

— Ну, как? Подвигается?.. Ты доволен?..

— Доволен?.. Разве тот, кто посвятил себя литературе, атому адскому труду, требующему непрерывного напряжения ума, может быть когда-нибудь доволен?

Он распался, в голосе его звучал сарказм.

— Конечно, мой друг... Я только хотела узнать, как твоя «Дочь Фауста»...

— Что узнать? Ты говоришь — «Дочь Фауста»... А известно ли тебе, сколько лет Гете трудился над своим «Фаустом»?.. Десять лет!.. И притом он поддерживал постоянное общение с артистическим миром, с миром ученых. Он не был обречен, подобно мне, на духовное одиночество, на этот худший вид одиночества, ибо оно ведет к бездействию, к созерцательности, к полному оскудению мысли.

Бедная женщина молча слушала. Д'Аржантон изо дня в день твердил одно и то же, и в конце концов она поняла, что скрытые в его словах упреки относятся к ней. В тоне, каким поэт произносил все эти фразы, звучало: «И уж, разумеется, не ты, дура несчастная, можешь заменить недостающую мне среду, то столкновение умов, которое высекает искру...» Он и в самом деле находил ее глупой и томился в ее обществе не меньше, чем когда оставался один.

Хотя он сам себе в этом не признавался, Ида пленила его прежде всего тем, что она была окружена поклонением и роскошью: ведь когда он познакомился с Идой, она жила в особняке на бульваре Османа, у нее были слуги, свой выезд, и все «горе-talанты» смертельно завидовали, что у него такая любовница. Теперь же, когда она принадлежала ему, и только ему, когда он переделал ее по своему образу и подобию, даже перекрестил, она потеряла в его глазах добрую половину очарования. А ведь она была очень красива и еще похорошела на свежем воздухе, от которого расцвела ее пышная красота. Но какая радость обладать хорошенькой любовницей, если нельзя даже пройти с ней под руку на людях? А потом, она решительно ничего не смыслила в поэзии, ее куда больше занимали пересуды деревенских кумушек. Словом, в ней не было ничего такого, что помогло бы воспарить этому бесталанному поэту, что развеяло бы то безмерное уныние, в которое его повергли уединение и безделье.

Надо было видеть, как нетерпеливо поджидал он по утрам почтальона, доставлявшего три-четыре газеты, на которые он подписался, как торопливо разрывал разноцветные бандероли, будто рассчитывал встретить в газетных колонках новость, относящуюся к нему, — скажем, критический разбор пьесы, которая существовала лишь в проекте, либо отзыв о книге, которую он еще только собирался написать. И он прочитывал газеты, не пропуская ни строчки, вплоть до фамилии типографа. Он всегда находил там пищу для раздражения и тему для пошлых и однообразных сетований во время завтрака.

Другим, небось, везет! Их пьесы ставят на сцене, а что это за пьесы! Их книги печатают, а что это за книги! А вот у него ничего не получается, решительно ничего. Досаднее всего, что ведь сюжеты носятся в воздухе, любой может их подхватить и развить так, что те, кого издают раньше, сводят на нет труды всех остальных. Не проходит недели, чтобы у него не крали какой-нибудь мысли.

— Знаешь, Шарлотта, вчера во Французском театре<sup>[18]</sup> играли новую комедию, ее автор — Эмиль Ожье... Сюжет совсем такой, как в моих «Яблоках Аталанты».

— Но ведь это низость!.. Он украл у тебя «Яблоки Аталанты»! Я ему напишу, я напишу этому господину Ложье! — возмущалась бедная Шарлотта.

А он горестно замечал:

— Вот что значит покинуть Париж... Всякий так и норовит занять твое место.

Похоже было на то, будто он укоряет ее в этом, словно не он мечтал всю жизнь свить себе уютное гнездышко на лоне природы. Как и все озлобленные неудачники, он негодовал на несправедливость публики, на продажность критики, но выражал все это в бесстрастных фразах и с присущим ему педантизмом.

Во время таких словно пропитанных желчью трапез Джек не произносил ни звука и старался сидеть как можно тише, будто хотел, чтобы о нем забыли, чтобы и он не стал жертвой дурного расположения поэта. Чем раздражительнее делался д'Аржантон, тем сильнее росла в нем глухая антипатия к ребенку, и по тому, как дрожали его руки, когда он наливал мальчику немного вина, как он хмуро глядел на него, тот понимал, что в душе врага кипит ненависть, которая ждет только повода, чтобы излиться.

## IX. ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ БЕЛИЗЕРА

Однажды после обеда, когда д'Аржантон и Шарлотта уехали в Корбейль, движимые стремлением к перемене мест, которое обычно одолевает бездельников, Джек, остававшийся дома с теткой Аршамбо, не смог пойти в лес из-за того, что надвигалась сильная гроза. Небо, июльское небо, затянутое тяжелыми облаками, казалось свинцовым от низко нависавших черных туч с медно-красными краями, откуда неслись глухие раскаты, и безмолвная, потемневшая, сразу опустевшая долина будто замерла в неподвижном ожидании, как всегда перед резкой переменной погоды.

Жена лесника устала от того, что Джек без толку кружился вокруг нее, и, взглянув на небо, сказала:

— А знаете, барчук, дождя-то все нет. Пока он не хлынул, сбегайте нарвите травы для кроликов.

Мальчик пришел в восторг, что для него нашлось какое-то дело, схватил корзину и бросился во всю прыть вниз по тропке, что вела от Ольшаника к дороге на Корбейль. Там он стал усердно рвать на откосах канав цветущий тимьян и тощую травку, какой охотно лакомятся кролики.

Насколько хватал глаз, большая дорога убежала вперед — белая, покрытая мягкой, как вата, тонкой горячей пылью, которая одевала серой пеленою густую листву больших вязов и всю лесную опушку. Дорога эта была пустынна — ни прохожего, ни повозки, — и от стоявшей на ней тишины казалась бесконечной. Приближавшиеся раскаты грома подстегивали Джека и заставляли быстрее рвать траву в придорожных канавах. Вдруг он услышал совсем рядом мужской голос, пронзительно и монотонно выкрикивавший:

— Шляпы! Шляпы! Шляпы!..

А затем тоном ниже:

— Панамы! Панамы! Панамы!..

Это был бродячий торговец, который обходил села и деревни с товаром на спине. За плечами у него была прилажена, точно шарманка, громадная корзина, набитая обыкновенными соломенными шляпами, насаженными одна на другую и высоко

выступавшими над его головой. Он шел с трудом, он еле двигался, неуклюже расставляя кривые ноги, обутые в большие желтые башмаки, — видно было, что он жестоко страдает.

Обращали ли вы внимание, какое печальное зрелище являет собою одинокий путник на большой дороге?

Никто не знает, куда бредет этот неведомый путник, пошлет ли ему случай кров, какой-нибудь овин или крытое гумно, где он сможет заночевать. Кажется, будто усталость от пройденного пути тяжелым грузом давит на его плечи, будто его гнетет неуверенность, ибо он не знает, что готовят ему неизведанные дали. Для крестьянина такой прохожий #9632;- всегда чужак, он подозрительно косится на бродягу, провожает его глазами до околицы и успокаивается лишь тогда, когда фигура незнакомца, который в его представлении непременно злодей, снова вынырнет на шоссе на дороге, — ведь за нею наблюдают бравые жандармы.

«Шляпы! Шляпы! Шляпы!»

Для кого он тут кричал, горемыка? Поблизости не видно было никакого жилья. Уж не для этих ли каменных придорожных столбов? Или для взъерошенных птиц, напуганных приближением грозы и нашедших приют в листве вязов?

Все еще продолжая кричать, он опустился на груды камней и отер рукавом пот со лба. Находившийся по другую сторону дороги Джек разглядывал уродливое лицо торговца — землистое, печальное, с лишенными ресниц, часто моргавшими глазами, с толстогубым, бесформенным ртом, с рыжеватой бородкой, с редкими и острыми, как у волка, зубами. Но больше всего поражала при взгляде на эту физиономию, по которой нельзя было догадаться, стар или молод ее обладатель, печать глубокого страдания, безмолвная жалоба бесцветных глаз и тяжелого рта. Это топорное, безобразное лицо, казалось, принадлежало чудом уцелевшему существу доисторической эпохи. Несчастный, без сомнения, знал, как он уродлив, — заметив, что ребенок смотрит на него не без тревожного изумления, он приветливо улыбнулся. Однако улыбка не украсила его, напротив, вокруг рта и глаз появилась сеточка мелких морщин, отчего лицо сразу стало измятым: улыбка не разглаживает лица бедняков, она только придает им еще больше сходства с маской страдания. И все же, когда незнакомец рассмеялся, он показался Джеку таким добрым, что мальчик сразу успокоился и опять принялся рвать траву.

Внезапно совсем рядом послышался удар грома, от которого задрожали и небо и земля. Налетел ветер, пыль закружилась, зашелестела листва.

Бродячий торговец поднялся, с беспокойством поглядел на тучи, потом, повернувшись к Джеку, который, услышав гром, тоже выпрямился, спросил, далеко ли до селения.

— За четверть часа, пожалуй, доберетесь, — ответил мальчик.

— Ах ты господи, вот незадача] — огорчился разносчик. — Нипочем мне не дойти до дождя. Все шляпы промокнут. Вон их сколько, разве все укроешь брезентом!

У этого человека был такой убитый вид, что Джек поддался великодушному порыву; надо сказать, что после своих ночных странствий он глубоко сочувствовал тем, кто бродит по большим дорогам.

— Эй, купец! Купец!.. — крикнул он вслед незнакомцу, который уже удалялся, ковыляя на плохо слушавшихся его, кривых, точно виноградные лозы, ногах. — Наш дом совсем рядом. Зайдите. Кстати, и шляпы от дождя спрячете.

Бедняга не заставил себя упрашивать. Его летний товар так легко портился!

И вот они уже быстро карабкаются по каменистой тропке, убегая от преследующей их по пятам грозы. Бродячий торговец торопился, как мог, и тяжело дышал от усилий. Он осторожно ступал то на носок, то на пятку и всякий раз поднимал ноги с таким видом, будто шел по раскаленным углям.

— Больно? — спросил Джек.

— Эх, это вечная моя беда!.. Башмаки жмут. У меня, видите ли, ноги больно здоровы, никак подходящей обуви не подберешь. А ведь хожу я с утра до ночи. Можете себе представить, каково мне? Ну, уж коли я разбогатею, то непременно закажу себе пару башмаков по мерке.

Он шел, обливаясь потом, жалобно охая, подпрыгивая на каждом бугорке, и по привычке то и дело заунывно выкрикивал: «Шляпы! Шляпы! Шляпы!»

Кое-как добрались до Ольшаника. Разносчик пристроил в прихожей корзину со шляпами и униженно переминался с ноги на ногу. Джек настойчиво уговаривал его пройти в столовую.

— Входите, входите! Вам непременно нужно выпить стаканчик вина и чего-нибудь поесть.

Тот долго не соглашался, отнекивался. Но в конце концов сдался и сказал, добродушно улыбаясь:

— Ну, будь по-вашему, милый барин! Видно, довольно артачиться. Я, правда, малость перекусил в Дравейле, да ведь сами знаете: как выйдешь из-за стола, еще пуще есть хочется.

Как всякая крестьянка, да к тому еще жена лесника, тетушка Аршамбо испытывала священный ужас перед бродягами. С недовольной гримасой она все же поставила на стол большой кувшин вина и положила каравай хлеба.

— И ветчины отрежьте! — решительно сказал Джек.

— Вы же знаете, барин не любит, когда берут его ветчину, — проворчала тетушка Аршамбо.

Поэт и в самом деле был чревоугодник, и в кладовой всегда лежал запас его любимых закусок.

— Ладно, ладно, несите! — приказал Джек: ему нравилось изображать из себя хозяина дома.

Добрая женщина послушалась, но удалилась на кухню гордо, не скрывая своего неудовольствия. Не переставая благодарить Джека, бродячий торговец с завидным аппетитом уписывал ветчину. Мальчик подливал ему вина и с интересом поглядывал, как тот отрезает громадные ломти хлеба и потом не без труда, как — то боком, пропихивает их в рот.

— Ну как, вкусно?

— Еще бы не вкусно!

Дождь барабанил по стеклам, бушевала гроза. Мальчик и его гость мирно беседовали, радуясь, что в такую погоду они сидят в уютной комнате. Торговец рассказывал, что его зовут Белизер и что в семье он старший. Он живет в Париже, на улице Жюиф, с отцом, тремя братьями и четырьмя сестрами. Все они плетут соломенные шляпы для лета, а к зиме шьют фуражки. Часть товара они продают в предместьях столицы, остальное отвозят в провинцию, где и сбывают его, переходя с места на место.

— И далеко вам приходится заходить? — любопытствовал Джек.

— До самого Нанта. Там живет одна из моих сестер... Я иду через Монтаржи, Орлеан, Турень, Анжу.

— Это, наверно, очень утомительно! Ведь вам так тяжело передвигаться.

— Что поделаешь... Я только вечером немного прихожу в себя, когда скидываю эти чертовы башмаки. Но всю радость мне отравляет мысль, что утром их опять придется надеть.

— А почему вместо вас братья не ходят?

— Они еще малы, да и папаша, старый Белизер, нипочем их не отпустит. Он без них соскучится. Вот я — это дело другое.

Видимо, он не находил ничего противоестественного в том, что братьев любят больше, чем его. Печально уставившись на свои огромные желтые башмаки, которые во многих местах вздулись от шишек и наростов на его вечно стиснутых ногах, Белизер прибавил:

— Эх, если бы я мог заказать себе пару башмаков по мерке!..

Гроза между тем усиливалась. Дождь, ветер, гром сливались в ужасающем шуме. Собеседники не могли расслышать друг друга. Белизер молча продолжал свою трапезу, как вдруг в дверь громко постучали. Стук возобновился. Джек побледнел.

— Ах ты господи! — вырвалось у него. — Это они!

Вернулись д'Аржантон и Шарлотта. Они собирались приехать к ночи, но, опасаясь грозы, поспешили домой, рассчитывая успеть до дождя. Однако по дороге они угодили под ливень, и поэт был вне себя от ярости, — он боялся схватить простуду.

— Скорее, скорее, Лолотта!.. Пусть в столовой затопят.

— Хорошо, мой друг.

Они стряхивали верхнюю одежду, с которой струилась вода, раскрывали зонты и расставляли их на каменных плитах, и тут д'Аржантон в ивумлении обнаружил громадную корзину с соломенными шляпами. — Это еще что такое? — спросил он.

Ах, если бы Джек мог исчезнуть, провалиться сквозь землю вместе со своим на редкость неуместным гостем и накрытым столом! Впрочем, он все равно уже не успел бы, как как поэт вошел в столовую и, обведя ее холодным взглядом, понял все. Мальчик пролепетал несколько слов, пытаясь что-то объяснить, оправдаться... Но тот его не слушал.

— Иди сюда, Шарлотта, полюбуйся! Ты меня не предупредила, что у господина Джека нынче гости. У него сегодня прием, Он угощает своих друзей.

— Ах, Джек, Джек!.. — укоризненно проговорила мать.

— Не браните его, мадам, — попробовал вмешаться Белизер. — Это все я...

Разъяренный д'Аржантон распахнул дверь и горделивым жестом указал несчастному на дверь.

- А вы будьте любезны замолчать и поскорее убраться отсюда! Проходимец!.. Не то я мигом упрячу вас за решетку — там вас живо отучат забираться в чужие дома.

Белизера жизнь бродячего торговца приучила ко всяким унижениям, и он не вымолвил ни слова, приладил на спине корзину, печально поглядел на стекла, по которым бежали струйки дождя, бросил признательный взгляд на Джека, согнулся, чтобы отвесить низкий-низкий



поклон, и, не разгибая спины, вышел за порог, сразу попав под дождь, который забарабанил по его панамам, как крупный град. Даже оказавшись за дверью, он не выпрямился. И в такой позе он удалялся, будто подставляя спину жестоким ударам судьбы, бешенству стихий. Поливаемый дождем, он машинально затынул заунывным голосом:

— Шляпы! Шляпы! Шляпы!

В столовой наступила тишина. Жена лесника растапливала сухими виноградными лозами камин с большим колпаком, на который Шарлотта повесила промокшую одежду поэта, а сам д'Аржантон без сюртука шагал по комнате, торжественный и величавый, весь во власти глухой ярости.

Внезапно, проходя мимо стола, он увидел окорок, свой окорок, в котором нож бродячего торговца, голодного как волк, проделал глубокие впадины, зияющие отверстия, похожие на пещеры в прибрежных скалах, какие выдалбливают морские волны в часы прилива.

Он побелел.

Нужно иметь в виду, что окорок в доме был так же священен, как вино поэта, как его баночка с горчицей, как его минеральная вода!

— Ого! А я и внимания не обратил... Оказывается, тут шел пир горой... Как? И окорок?

— Они посмели взять окорок? — возмутилась Шарлотта, ошеломленная подобной дерзостью.

Тут вмешалась жена лесника:

— Вот беда! Говорила я, что барин рассерчает, что не надо давать ветчину всякому бродяге... Да ведь он у нас еще несмышлениш! Мал он еще!

Теперь, когда порыв великодушия у Джека прошел, когда перед его глазами уже не стояло морщинистое лицо, освещенное доброй, трогательной улыбкой, мальчик сам ужаснулся тому, что натворил. Взволнованный, дрожащий, он пролепетал:

— Простите!..

Ах, вот как! Теперь он просит прощения!

Уязвленный до глубины души, возмущенный тем, что посягнули на его любимую ветчину, д'Аржантон перестал сдерживаться и открыто выказал все свое раздражение; лицо его перекошилось от ненависти к ребенку, который был живым воплощением загадочного и сомнительного прошлого женщины, которую поэт все-таки по-своему любил, хотя ни в грош не ставил.

Не помня себя от гнева (что с ним случилось не так уж часто), он схватил Джека за шиворот, встряхнул и даже слегка приподнял его, будто желая показать этому голенастому подростку, что тот рядом с ним щенок.

— Как ты посмел дотронуться до ветчины? По какому праву?.. Ты отлично знал, что она тебе не принадлежит. Да и вообще здесь тебе ничто не принадлежит. Кровать, на которой ты спишь, хлеб, который ты ешь, — всем этим ты обязан моей доброте, все это ты имеешь по моей милости. И теперь я вижу, что напрасно я с тобой так добр. В сущности, что я о тебе знаю? Кто ты? Откуда взялся? Бывают минуты, когда твои дурные инстинкты, сказавшиеся уже в таком раннем возрасте, заставляют меня подозревать, что у тебя ужасная наследственность...

Он запнулся, заметив, что Шарлотта делает ему отчаянные знаки, указывая на тетку Аршамбо, которая внимательно и вместе с тем недоумевающе смотрела на него своими черными глазами. В этих краях все считали их мужем и женой, а Джека — сыном г-жи д'Аржантон от первого брака.

С трудом сдерживая поток брани, которая готова была сорваться у него с языка, задыхаясь от бешенства, нелепый, взъерошенный, весь в поту, точно взмыленная лошадь, запряженная в омнибус, от боков которой поднимается пар, поэт кинулся наверх, в свою комнату, и что есть силы хлопнул дверь. Джек был сражен безутешным отчаянием матери, которая ломала свои красивые руки и уже не в первый раз вопрошала бога, что она сделала, за что он ее так карает. Подобными жалобами она неизменно раздражалась в трудные минуты жизни. Как всегда, ее вопрос остался без ответа. Но, видно, она и впрямь сильно провинилась перед господом богом, коль скоро небу было угодно, чтобы она без памяти влюбилась в такого ничтожного человека и слепо доверилась ему.

Словно для того, чтобы окончательно повергнуть поэта в черную меланхолию, к снедавшей его скуке и тоскливому одиночеству прибавился еще и недуг. Как у всех, кто долго терпел нужду, у д'Аржантона было неважное пищеварение. Кроме того, он был человек изнеженный, мнительный и, как принято выражаться, постоянно нянчился с собой, — в Ольшанике, где все домашние стояли на страже его покоя, это не составляло труда. А главное, болезнь была удобным предлогом, на нее можно было сослаться, чтобы объяснить, почему мозг его так бесплоден, почему он часами валяется на диване и пребывает в полнейшей апатии. Отныне пресловутое выражение: «Он работает... Барин работает»-было заменено другим: «У барина припадок». Этим расплывчатым понятием он окрестил свое постоянное недомогание, которое отнюдь не мешало ему по нескольку раз в день подходить к шкафчику, отрезать толстые ломти свежего хлеба, которые он густо намазывал сливочным сырком и съедал с такой жадностью, что за ушами трещало. В остальном же у него были все симптомы больного: расслабленная походка, дурное расположение духа, постоянная придиричивость.

Добрая Шарлотта жалела его, ходила за ним, холила его. Каждой женщине по душе роль сиделки, но у нее это качество еще усилилось благодаря глупой чувствительности: с тех пор как она решила, что поэт тяжело болен, он стал ей еще дороже. И чего только она не придумывала, лишь бы развлечь больного, облегчить его страдания! Она подкладывала под скатерть шерстяное одеяло, чтобы приглушить стук тарелок и серебра, изобрела целую систему подушек для жесткой спинки деревянного кресла времен Генриха II. Не были забыты и всякие мелочи — фланельки, отвары, согревающие средства, которые усыпляют мнимых больных и расслабляют их до такой степени, что они даже начинают говорить вполголоса. Правда, бедная Шарлотта в порыве бурной веселости, которая иногда еще нападала на нее, разом сводила на нет все свои добродетели сестры милосердия: она вдруг начинала болтать, размахивать руками и сконфуженно умолкала лишь тогда, когда взбешенный поэт умолял ее: «Да помолчи... Ты меня утомляешь...»

Недуг д'Аржантона привел в дом доктора Риваля, который теперь регулярно посещал больного. Этого доброго врача подстерегали на каждом повороте дороги в любое время дня его бесчисленные пациенты, разбросанные на десять миль вокруг. Он входил с приветливой улыбкой на веселом румяном лице, с венчиком белых вьющихся шелковистых волос вокруг головы. Карманы его долгополого сюртука оттопыривались от книжек, которые он постоянно читал в дороге, независимо от того, ехал он в экипаже или шел пешком. Шарлотта с озабоченным видом встречала его в коридоре:

— Ах, доктор, наконец-то! Если б вы знали, в каком состоянии наш бедный поэт!

— Пустяки! Не тревожьтесь, ему надо немного развлечься...

И в самом деле д'Аржантон, который здоровался с доктором еле слышным, жалобным

голосом, так радовался появлению свежего человека, чей приход нарушал монотонное течение его жизни, что мигом забывал о своем недуге и принимался рассуждать о политике, о литературе, поражая воображение милого доктора рассказами о парижской жизни, о выдающихся людях, с которыми он якобы был знаком, о том, как он бросал им в лицо уничтожающие слова. Наивный и простодушный доктор не имел никаких оснований сомневаться в правдивости своего собеседника, тем более, что тот, даже хвастаясь и привирая, трезво обдумывал свои речи. Притом старик Риваль не мог похвастаться наблюдательностью.

Он с удовольствием бывал в этом доме, находил, что поэт умен и своеобразен, что его жена хороша собой, а ребенок просто прелесть. Но будь он человеком более проницательным, он давно бы понял, какие непрочные узы связывают этих людей, он догадался бы, что зыбкое благополучие семьи висит на волоске.

В дневные часы, продев поводья своей лошади в кольцо возле ворот, добряк подолгу просиживал у парижан, потягивая грог, который Шарлотта самолично приготавливала для него, и рассказывая о своем путешествии в Индокитай на «Байонезе». Джек, устроившись в уголке, ловил каждое слово: им владела свойственная всем детям жажда приключений, от которой жизнь — увы! — довольно быстро излечивает людей, ибо она всех стрижет под одну гребенку и что ни день убивает мечты.

— Джек! — резко говорил д'Аржантон, указывая на дверь.

Но тогда вмешивался доктор:

— Оставьте его. Это такое удовольствие, когда вокруг тебя дети! Удивительный у этих шельмецов нюх. Бьюсь об заклад, что и ваш с первого взгляда догадался, что я дедушка и без памяти люблю малышей.

И он принимался рассказывать о своей внучке Сесиль, которая была двумя годами моложе Джека. А когда он начинал перечислять ее достоинства, то остановить его было еще труднее, чем во время рассказа о путешествиях.

— Почему бы вам когда-нибудь не привезти девочку к нам, доктор? — говорила Шарлотта. — Дети славно повеселились бы вдвоем.

— Э, нет, сударыня! Бабушка не согласится. Она никому не доверит малютку, а сама никуда не выходит с той поры, как у нас случилась беда.

Беда, о которой часто упоминал старик Риваль, разразилась несколько лет назад: дочь доктора и ее муж умерли в год своей свадьбы, вскоре после рождения Сесили. Смерть молодой четы была окружена покровом тайны. Беседуя с д'Аржантоном и Шарлоттой, доктор неизменно ограничивался одними и теми же словами: «С той поры, как у нас случилась беда...», — а тетушка Аршамбо, которой была известна эта печальная история, отвечала уклончиво и неопределенно:

— Да уж, такое горе, такое горе! Эти люди немало пережили!..

В это трудно было поверить, глядя на веселого, оживленного доктора, а в Ольшанике он всегда был таким. Возможно, тут оказывал свое действие приготовленный Шарлоттой грог — попадись этот чертовски крепкий напиток на глаза г-же Риваль, она бы тут же его разбавила водой. Так или иначе, добряк не скучал у парижан. Бывало, он уже поднимался и говорил: «Ну, я поехал в Ри, оттуда в Тижри и в Морсан...», — но потом снова возвращался к начатой беседе и продолжал ее до тех пор, пока его лошадка не начинала нетерпеливо колотить копытами у ворот. Тогда он устремлялся к дверям, наскоро прощался с поэтом, а Шарлотте, беспокоившейся о здоровье д'Аржантона, давал одно и то же наставление: «Постарайтесь

его развлечь!»

Легко сказать — развлечь!

Но как это сделать? Она, кажется, перепробовала все. Часами они придумывали, что бы такое приготовить на обед, или уезжали в кабриолете в лес, прихватив с собой обильный завтрак, сачок для ловли бабочек и целые связки газет и книг.

А он все скучал.

Купили лодку, но лучше от этого не стало. Они вынуждены были теперь подолгу оставаться с глазу на глаз посреди Сены, а это было невыносимо, потому что им уже давно не о чем было говорить друг с другом. И они уныло забрасывали в реку удочки, чтобы хоть как-то занять себя и оправдать постоянно царившее молчание тем, что их будто бы обрекает на безмолвие рыбная ловля. Довольно скоро лодка оказалась на причале в прибрежных тростниках и постепенно наполнилась водой и опавшими листьями.

Потом наступила пора удивительных прихотей: поэт задумал чинить каменную ограду, подновить башенку, возвести наружную лестницу и итальянскую террасу, о которой давно мечтал, — ее окаймляла вереница низеньких столбиков, они поддерживали проволочную сетку, увитую диким виноградом. Но и на вожденной террасе он скучал по-прежнему.

Однажды, когда он пригласил настройщика, чтобы поправить клавесин, на котором иногда наигрывал польки, этот мастер, чудака и выдумщик, предложил установить на кровле дома золотую арфу — большой открытый ящик высотой в пять футов, где натянуты струны неравной длины: от малейшего порыва ветра они станут дрожать, издавая жалобные мелодичные звуки. Д'Аржантон с восторгом согласился. Но едва эту махину водрузили на крышу, началось что-то ужасное. Стоило подуть ветерку, и слышались какие-то стоны, душераздирающие завывания, жалобные вопли: у-у-у-у!.. Джеку, лежавшему в постели, становилось жутко, он натягивал на голову одеяло, чтобы больше не слышать этих звуков. Золотая арфа нагоняла такую тоску, что можно было с ума сойти. «До чего она мне осточертела!.. Довольно! Довольно!»-выходил из себя поэт.

Пришлось разобрать весь механизм, отнести золотую арфу в дальний угол сада и зарыть в землю чтобы струны больше не звучали. Но даже под землей она все еще звенела. В конце концов струны оборвали, арфу растоптали, закидали камнями, как бешеную собаку, которая не хочет издыхать.

Не зная, что бы еще придумать, как развлечь несчастного поэта, который от безделья готов был биться головой о стену, Шарлотта пришла к великодушному решению: «Пожалуй, надо пригласить кого-либо из его друзей».

То была большая жертва с ее стороны, потому что ей хотелось, чтобы поэт принадлежал только ей, ей одной. Но когда она сообщила д'Аржантону, что его приедут проведать Лабассендр и доктор Гирш, он так просиял, что это вознаградило ее за самоотверженность. Он давно уже мечтал о том, как славно было бы, если бы кто —нибудь взял да и приехал к ним в гости, но заговорить об этом не осмеливался после всех своих высокопарных рацей, что нет большего счастья, чем жизнь вдвоем.

Несколько дней спустя Джек, возвращаясь домой к обеду, еще издали услышал непривычный шум: на террасе раздавался смех, звон бокалов, а в просторной кухне, помещавшейся в нижнем этаже, передвигали кастрюли и кололи дрова. Подойдя к дому, он узнал голоса и знакомые интонации своих бывших учителей из гимназии Моронваля и голос д'Аржантона, но уже не тот невыразительный и хнычущий, каким он говорил в последнее время, а совсем другой — возбужденный шумным спором. Мальчику стало страшно при мысли, что он опять встретится с людьми, с которыми была связана самая тяжелая пора в его жизни, и, трепеща

от волнения, он проскользнул в сад, решив просидеть там до самого обеда.

— Господа! Не угодно ли к столу? — появившись на террасе, пригласила Шарлотта.

Свежая, оживленная, в большом белом переднике с нагрудником до самого подбородка, она походила на заправскую хозяйку дома, которая, если потребуется, засучит кружевные рукавчики и ловко примется за дело.

Все охотно перешли в столовую. Оба педагога довольно приветливо поздоровались с Джеком. Веселая компания уселась за стол и накинулась на вкусные деревенские кушанья, которые готовят так быстро, что они еще хранят привкус душистых трав и дыма очага.

Сквозь распахнутые двери, выходившие на лужайку, был виден сад, за которым начинался лес. Призывные крики куропаток, щебетанье засыпавших птиц долетали до ушей обедающих, а на стеклах вспыхивали последние косые лучи пламеневшего солнца.

— Черт побери, дети мои! До чего ж у вас тут

хорошо! — вскричал Лабассендр, когда, воздав должное вкусному супу, все снова почувствовали желание поговорить.

— Мы здесь очень счастливы, — заявил д'Аржантон, пожимая руку Шарлотте, которая стала казаться ему гораздо красивее и пленительнее с той минуты, как он любовался ею не один.

И он принялся расписывать их счастливую жизнь.

Он говорил о прогулках в лесу, о катании на лодке, об остановках в старинных харчевнях на берегу реки, в бывших постоянных дворах, где перила на внутренних лестницах из кованого железа, а в каменный фасад вбиты два больших заржавленных кольца для почтовых лошадей. Рассказывал о долгих послеобеденных часах, которые он посвящал труду в тихие летние дни, о прохладных осенних вечерах, когда так приятно посидеть у камина, где потрескивают сухие корни и ветки, а языки пламени тянутся вверх.

В эту минуту он и сам готов был поверить тому, что говорил, и ей тоже казалось, будто их жизнь в самом деле похожа на идиллию, будто они не изнывали от тоски, не погибали от смертной скуки. Гости слушали, и на их лицах было удивительно сложное выражение: доброжелательство и восторг были неотделимы от зависти; глаза смотрели необыкновенно приветливо, а на губах блуждала бледная и горькая улыбка, выдававшая скрытую досаду.

— Да, тебе повезло! — заговорил Лабассендр. — Вот, скажем, завтра, в это самое время, вы опять будете сидеть за этим столом и обедать, а я буду утолять голод в захудалой кухмистерской, где нечем дышать, где все — самый воздух, запотевшие окна, кушанья — пропитано паром, кухонными запахами, чадом.

— Скажи спасибо, если хоть так удастся пообедать! — пробормотал доктор Гирш.

Д'Аржантон воскликнул в порыве, великодушия:

— А что вам мешает погостить у нас? Места в доме хватит, в погребе всего довольно...

— Конечно! — подхватила Шарлотта. — Оставайтесь!.. Вот славно!.. Побродим по окрестностям...

— А Опера? — вырвалось у Лабассендра, который ежедневно был занят на репетициях.

— Ну, а вы, господин Гирш, вы-то ведь не поете в Опере?

— Если б вы знали, как это заманчиво, графиня! Сейчас дел у меня немного. Все мои пациенты за городом.

Пациенты доктора Гирша — за городом! Потеха! Однако никто даже не улыбнулся: «горе-talанты» никогда не мешали друг другу хвастаться — так уж было заведено!

— Ну решайся! — настаивал д'Аржантон. — Ты окажешь мне этим услугу. Я тут все прихварываю, а ты бы мог мне дать полезные советы.

— Ну, тогда дело другое... Я ведь уж тебе говорил: Ривалю не разобратъся в твоей болезни. А я берусь за месяц поставить тебя на ноги.

— Позволь, а гимназия? А Моронваль? — воскликнул Лабассендр, взбешенный тем, что не он, а другой будет наслаждаться жизнью.

— А шут с ней! Осточертели мне и гимназия, и сам Моронваль, и внаменитая метода Декостер!..

Тут доктор Гирш, обеспечивший себе на некоторое время кров и пропитание, разразился жалобами и принялся поносить учебное заведение, которое его до сих пор кормило: Моронваль — пройдоха, он уже давно на мели и никому ни гроша не платит. Все оттуда бегут, гибель Маду сильно ему повредила.

Другие не захотели отстать от Гирша и не оставили на Моронвале живого места. Дошли до того, что стали хвалить Джека за побег: оказывается, мулат пришел в такую ярость, что у него разлилась желчь.

Оседлав своего конька, три приятеля уже не могли остановиться и весь вечер только и занимались тем, что «перемывали косточки», как они сами выражались.

Лабассендр злословил по поводу премьеров Оперы, жалких позеров без голоса и таланта. Он прохаживался насчет своего директора, который якобы намеренно заставлял его прозябать, поручая ему второстепенные роли. А почему? Да потому, что в театре известны его политические взгляды, потому, что там знают: прежде он был рабочим, он вышел из народа и любит народ.

— Ну да! Я люблю народ! — восклицал певец, все сильнее возбуждаясь и — колот» по столу своими кулачищами. — Что из того? Им-то какое дело? Разве от этого у меня хуже голос? Бас как будто остался при мне... Судите сами, дети мои.

И он брал свое знаменитое нижнее «до», старательно тянул его, наслаждался и упивался мощностью своего голоса.

Затем наступил черед д'Аржантона. Этот «перемывал косточки» педантично, размеренно; казалось, он безжалостно и резко постукивает ими. От него всем досталось на орехи — директорам театров и книгоиздателям, писателям и читателям. Пока Шарлотта с помощью Джека приготавливала кофе, три сплетника, поставив локти на стол, позабыв про восхитительный летний вечер, сладострастно брызгали слюной, как удавы, переваривающие пищу.

Появление доктора Риваля внесло еще большее оживление. Обрадовавшись веселой компании, этот славный человек охотно подсел к столу.

— Теперь вы убедились, госпожа д'Аржантон, что наш больной нуждался только в развлечении?

Глаза доктора Гирша, скрытые выпуклыми стеклами очков, засверкали.

— Я расхожусь с вами во мнении, доктор, — сказал он решительным тоном и, подперев подбородок ладонью, приготовился к бою.

Старик Риваль с некоторым изумлением взглянул на этого странного субъекта — неопрятного, в белом шейном платке, с выбритыми щеками и лысой головой. Гирш видел краешком левого глаза, и для того чтобы не выпускать собеседника из поля зрения, ему приходилось изгибаться и поворачиваться в профиль.

— Простите, сударь, вы врач? — осведомился Риваль.

Д'Аржантон избавил приятеля от необходимости сказать неправду.

— Доктор Гирш... Доктор Риваль... — представил он их друг другу.

Они раскланялись, как дуэлянты перед поединком, которые скрещивают взгляды, прежде чем скрестить шпаги. Простодушный Риваль сперва подумал, что перед ним знаменитый парижский врач, талантливый чудака, и держался весьма скромно. Но очень скоро он заметил, что в голове этого сумасброда полная неразбериха. Тогда он тоже повысил голос, чтобы дать достойный отпор язвительному и пренебрежительному тону доктора Гирша, так раздражавшего его, что у Риваля стали пылать уши, и без того красные от природы.

— Я позволю себе заметить, любезный собрат...

— Нет уж, простите, любезный собрат...

Ни дать, ни взять — сцена из Мольера, с латынью и прочей тарабарщиной! Разница заключалась, пожалуй, только в том, что во времена Мольера неизвестны были такого рода недоучки и всезнайки, как доктор Гирш, их породил наш девятнадцатый век — лихорадочный, беспокойный, чересчур богатый идеями.

Спор разгорелся вокруг болезни д'Аржантона. Любопытно было наблюдать за курьезной сменой чувств, отражавшихся на лице поэта: он то возмущался тем, что доктор Риваль говорит о нем чуть ли не как о мнимом больном, то болезненно морщился, когда доктор Гирш начинал перечислять тяжелые и опасные недуги, которыми он якобы страдает.

— Покончим с бесплодными спорами, — внезапно объявил доктор Гирш, вскакивая с места.

— Дайте мне лист бумаги и карандаш... Отлично! Сейчас при помощи плессиметра я нарисую, вернее сказать, срисую пораженные болезнью органы нашего бедного друга.

Он выхватил из кармана своего широкого жилета маленькую самшитовую пластинку, которую именуют плессиметром.

— Подойди, — сказал он побледневшему д'Аржантону.

Распахнув его сюртук, Гирш приложил к груди поэта бумажный лист и стал водить поверху плессиметром, выстукивая больного и вычерчивая на бумаге какие-то линии. Затем расстелил на столе лист, покрытый иероглифами и похожий на географическую карту, нарисованную ребенком.

— А теперь будьте все судьями, — начал доктор Гирш. — Перед вами печень нашего друга, в точности воспроизведенная с натуры. Скажите прямо: разве она похожа на здоровую печень? Вот где должна быть ее граница, и вот где она оказалась... Заметьте, что ее гигантские размеры наносят ущерб соседним органам. Вы только подумайте, какой возник вокруг беспорядок из-за этого, какие ужасные нарушения...

Несколькими взмахами карандаша он начертил на бумаге зигзагообразные линии, обозначавшие пресловутые нарушения.

— Какой ужас! — пробормотал д'Аржантон, с удрученным видом глядя на бумагу, и его побледневшее лицо приобрело желтоватый оттенок.

Глаза Шарлотты наполнились слезами.

— И вы этому поверили?.. — взорвался старик Риваль. — Да это не медицина, а дичь какая-то! Над вами потешаются.

— Нет, позвольте, любезный собрат...

Но старик уже ничего не слушал: в тот день он выпил грога больше, чем обычно, и потому между медиками началась ожесточенная схватка.

Стоя друг против друга и размахивая кулаками, оно наперебой выкрикивали имена врачей, названия греческих, латинских, скандинавских, индусских, китайских, кохинхинских ученых трудов. Гирш забивал противника длинными цитатами, точность которых никто не мог бы установить, до того они странно звучали. Папаша Риваль не оставался в долгу: он оглушал противника своим зычным голосом, сыпал энергичными и цветистыми словечками и, не утруждая себя доводами, нередко заменял их угрозами выкинуть своего противника «за борт».

Ни Джека, ни Шарлотту не пугала эта яростная перебранка: в гимназии Моронваля им доводилось слышать кое-что похлеще. Лабассендр, раздосадованный тем, что ему не удастся вставить ни единого слова, вышел на террасу и, мечтательно опершись на перила, пробовал свой оглушительный бас, будя в лесу задремавшее эхо.

Все вокруг пришло в волнение. В листве захлопали крылья, павлины в соседних владениях, пугливые, легко раздражающиеся павлины, отозвались тревожными криками, какие они испускают в летние дни, когда близится гроза. В ближних лачугах проснулись крестьяне. Старуха Сале и ее муж с любопытством поглядывали на ярко освещенные окна парижан, а луна между тем озаряла белый фасад, на котором золотыми буквами был выведен девиз:

*Parva domus, magna quies* — маленький дом, великий покой.

## Х. СЕСИЛЬ

— Куда это вы собрались в такую рань? — спросил доктор Гирш у Шарлотты, с ленивым видом выходя из своей комнаты..

Она была нарядно одета и держала в руке молитвенник, рядом с ней шел Джек, которого опять обрядили в излюбленный костюм лорда Пимбока, перешитый ради торжественного случая, но все же короткий.

— Мы идем к обедне, мой друг. Нынче я раздаю благословенный хлеб.[19] Разве д'Аржантон вам не говорил?.. Поторопитесь... Сегодня все должны быть в церкви.

Было пятнадцатое августа, праздник Успения. Польщенная оказанной ей честью, г-жа д'Аржантон вошла в церковь с последним ударом колокола и вместе с сыном уселась на отведенную ей скамью, неподалеку от алтаря. Церковь была празднично убрана, ярко освещена, залита солнцем, украшена цветами. Дети из хора, певчие были в белых отутюженных стихарях. Перед аналоем на простом неструганом столе золотыми столбиками высились благословенные хлебцы, притягивая к себе восторженные взгляды прихожан. Среди них выделялись лесничие в парадных зеленых мундирах, с охотничьими, ножами на



боку и карабинами у ноги: они тоже пришли послушать торжественное богослужение — на радость местным браконьерам и тем, кто ворует лес.

Надо полагать, сама Ида де Баранси немало бы изумилась, если бы год назад ей сказали, что в один прекрасный день она будет восседать в сельской церкви, вблизи алтаря, под именем виконтессы д'Аржантон, и богатый, но строгий наряд, скромно опущенные, уставленные в молитвенник глаза, — все придаст ей облик замужней дамы, пользующейся уважением.

Новая роль забавляла ее. Она следила, чтобы Джек не шалил, благоговейно переворачивала страницы молитвенника, а когда опускалась на колени, то в шелесте ее шелковых юбок как будто слышалось что-то назидательное.

Подошло время собирать пожертвования. Церковный привратник, вооруженный алебардой, пришел за Джеком и, наклонившись к уху виконтессы, осведомился, какую ей угодно назвать девочку, чтобы та вместе с ее сыном собирала деньги в кошель. Шарлотта на минуту задумалась. Она почти никого не знала в этой празднично разодетой толпе прихожанок, сменивших будничные чепцы и закрытые передники на отделанные цветами шляпки и парижские кринолины. Тогда привратник сам указал ей на внучку доктора Риваля, хорошенькую девочку, сидевшую рядом с пожилой дамой в трауре на другой стороне.

Дети двинулись вслед за величественной алебардой, своим мерным стуком как бы отмечавшей их шаги. Сесиль несла бархатный кошель, с трудом помещавшийся в ее ручке, а Джек держал высокую украшенную атласом, искусственными цветами и серебряной канителью свечу. Оба они были очаровательны — он в своем английском костюме, в котором казался выше ростом, она в простеньком платьице; ее матово-бледное личико, освещенное жемчужно-серыми глазами, обрамляли косы. В церкви плавал запах благословенного хлеба, смешанный с запахом ладана, и детям он казался дыханием воскресного дня, неотделимым от праздника. Сесиль с милой улыбкой принимала пожертвования. Лицо у Джека было серьезное. Крошечная, теплая и мягкая ручка в белой шелковой перчатке, трепетавшая в его руке, точно вынутый из лесного гнезда птенчик, была такая трогательная! Чувствовал ли он уже тогда, что эта ручка станет для него позднее дружеской рукой, что все самое лучшее в его жизни будет связано с Сесиль?..

Они медленно проходили между скамьями.

— До чего славная парочка! — проговорила жена лесника, когда они поравнялись с ней, и тихо, так тихо, чтобы ее никто не услышал, прибавила: — Бедная малютка! Она будет еще краше матери... Только бы и с ней не случилось такой же беды!

Пожертвования были собраны, и Джек возвратился на место, но ему казалось, будто он все еще чувствует прелесть прикосновения нежной ручки, которую только что слегка сжимал. Однако радости этого дня для него еще не кончились. Когда все вышли из храма на маленькую, запруженную людьми площадь, где каски пожарных и ружья лесников сверкали на солнце среди пестрых нарядов, г-жа Риваль подошла к г-же д'Аржантон и попросила разрешения взять к ним Джека: он у них позавтракает и погостит до вечера, поиграет с девочкой. Шарлотта покраснела от удовольствия, потуже затянула бант на шее сына, взбила его красивые кудри и поцеловала:

— Будь умником!

Дети опять взяли за руки и так быстро зашагали вперед, что г-жа Риваль едва поспевала за ними.

Начиная с этого дня, когда Джека не было дома и кто — нибудь спрашивал: «Где он?» — больше уже не отвечали: «В лесу», — а с полной уверенностью говорили: «Он у

Ривалей».

Доктор жил на самом краю селения, в противоположной от Ольшаника стороне. Его домик с антресолями походил на соседние крестьянские дома и отличался от них, пожалуй, лишь прибитой возле двери дощечкой с надписью: «Ночной колокольчик». Потемневшие стены и глухие ставни придавали ему еще более ветхий вид. Сравнительно недавние, но не доведенные до конца переделки указывали на то, что дом в свое время собирались подновить, но неожиданная катастрофа помешала старому жилищу навести на себя некоторый лоск. Так, над входом навес из цинка все еще ожидал, чтобы его застеклили, а пока что отбрасывал на головы тех, кто звонил в дверь, треугольную тень — точно призрачный венец. А в правой части небольшого двора, обсаженного деревьями, начали возводить флигелек, но работу прервали, построив только нижний этаж, в котором зияли прямоугольные провалы окон и дверей.

В самый разгар перестроек с этими славными людьми случилась беда, и они, повинувшись суеверному чувству, которое поймут все, кто любит, приостановили, забросили работы.

С тех пор прошло восемь лет. Но за восемь лет ничего не переменилось, и хотя все в округе давно привыкли к этой картине, все же недостроенный флигелек придавал всему жилищу унылый вид: так человек, упавший духом и утративший ко всему интерес, ничего не доводит до конца, как бы говоря себе: «К чему все это?» Сад, в... который попадали, пройдя через беленный известкой крытый проход, раскинул за домом — трепещущую завесу зелени; он тоже пришел в совершенное запустение. Аллеи заросли травой, широкие листья растений-паразитов покрывали дно бассейна с давно заглохшим водометом.

Такая же печать скорби лежала на обитателях дома. Сама г-жа Риваль, уже восемь лет носившая траур по дочери и не позволявшая себе надеть белый чепец, и маленькая Сесиль, на личике которой лежало выражение серьезности и грусти, так не подходившее к ее возрасту, даже старая служанка, прожившая у этих добрых людей чуть ли не тридцать лет и горевавшая вместе с ними, — все они сгибались под гнетом глубоко запрятанной безмолвной печали.

Один лишь доктор представлял исключение. Постоянные поездки, пребывание на свежем воздухе, все, что отвлекает в дороге, а возможно, и философия человека, который часто сталкивается со смертью, помогли ему сохранить природные наклонности, открытый нрав, живой и веселый.

Стоило г-же Риваль взглянуть на Сесиль, которая с каждым днем все больше походила на мать, — а девочка постоянно была у нее на глазах, — и она еще острее ощущала горечь невозвратимой утраты; доктор, напротив, радовался, что малютка, подрастая, все больше заменяет ему умершую дочь. Когда он после целого дня утомительных поездок оставался после обеда вдвоем с внучкой, пока жена его хлопотала по хозяйству, на него находили приступы бурного веселья, и он громко распевал морские песни, умолкая только под укоряющим взглядом г-жи Риваль, казалось, говорившим: «Вспомни!» Можно было подумать, будто он чувствует себя виновным в том, что на них свалилось такое ужасное горе.

От этого безмолвного скорбного упрека старик сразу впадал в уныние, притихал и, ничего не отвечая, перебирал косы внучки.

Так вот и проходило печальное детство Сесиль. Девочка почти не отлучалась из дому, проводила все время в саду или в большой комнате, заставленной шкафчиками и заваленной пучками высушенных трав и корней: она именовалась «аптекой». Сюда выходила дверь постоянно запертой комнаты безвременно погибшей молодой женщины, которую в доме до сих пор оплакивали. В той комнате все напоминало о ее короткой жизни: о детских играх, о занятиях, о нарядах, которые она любила, о вере, которую исповедовала. Тут хранились ее

книги, в шкафу были развешаны платья, на стене виднелась картина, изображавшая причастие, — словом, целое собрание уже пожелтевших реликвий. Мать входила сюда одна, охваченная благоговением; ее горе с годами не уменьшалось, хотя время уже наложило безжалостные следы на все эти недолговечные предметы.

Малютка Сесиль часто останавливалась в задумчивости возле этой двери, наглухо запертой, точно вход в склеп. Впрочем, она вообще была мечтательна. В школу она не ходила, ее оберегали от общения с другими детьми-в таком одиночестве не было ничего хорошего. Эта маленькая девочка страдала от недостатка движений. Ей не хватало бурных проявлений жизнерадостности, беспричинных криков, беготни, возни, прыжков — словом, всего того, что забавляет детей, когда их не сковывают взрослые, которые так падки на замечания и насмешки.

— Ее нужно развлекать... — не раз говорил Риваль жене. — Вот мальчуган д'Аржантонов — он такой славный, почти ровесник Сесиль, и уж он-то не проболтается!..

— Так-то оно так! Но что они за люди? Откуда взялись? Их тут никто не знает... — высказывала сомнение недоверчивая г-жа Риваль.

— Милейшие люди, душа моя! Муж, правда, оригинал, но сама понимаешь, он человек искусства!.. Жена умом не отличается, но хорошая женщина. Ну, а уж за их порядочность я ручаюсь.

Г-жа Риваль только покачивала головой. Она не была убеждена в проницательности своего супруга.

— Ну, знаешь, уж ты...

И она только вздыхала, укоризненно глядя на него.

Старый доктор виновато опускал голову; Но все же не отступался.

— Берегись! I-говорил он. — Девочка скучает; Как бы она у нас не заболела. Да и чего ты боишься? Джек — ребенок, Сесиль — тоже. Что тут может быть?

Наконец бабушка уступила, и Джек сделался товарищем Сесиль.

Для него наступила совсем новая жизнь. Сперва он приходил редко, потом-чаще, затем-каждый день. Г-жа Риваль быстро привязалась к атому милому мальчику, скромному и нежному, которого угнетало безразличие домашних, подобно тому, как Сесиль угнетало царившее в доме уныние. Добрая женщина поняла, что мальчик заброшен: у него вечно не хватало пуговиц на куртке, и во всякое время дня он был свободен — не посещал школу и не готовил уроков.

— Стало быть, ты не ходишь в школу, голубчик?

— Нет, сударыня. — И тут же он прибавлял, ибо в сердце ребенка нередко таятся настоящие россыпи деликатности: — Со мной мама занимается.

Забавно было бы поглядеть, как справилась бы с этим делом злополучная Шарлотта, у которой были птичьи мозги! Впрочем, большой наблюдательности не требовалось, чтобы догадаться, что родители совсем не заботятся о мальчике.

— Просто уму непостижимо, — говорила г-жа Риваль мужу, — как это они разрешают ребенку с утра до вечера слоняться без дела.

— Что ты от них хочешь? — отвечал доктор, стремясь выгородить своих друзей. — Он как

будто не хочет учиться, а может, способности у него неважные. Мальчик, видно, туповат.

— Ну да, туповат! Скажи лучше, что его отчим не жалует... Дети от первого брака всегда в загоне!

В доме доктора Джек обрел настоящих друзей. Сесиль в нем души не чаяла, не могла дня без него прожить. В хорошую погоду они играли в саду, в дурную — шли в аптеку. Там безотлучно находилась г-жа Риваль. В Этьоле фармацевта не было, и она собственноручно изготовляла по рецептам мужа простые лекарства — болеутоляющее питье, порошки, отвары. Добрая женщина уже двадцать лет кряду занималась этим и приобрела большой опыт, так что в отсутствие доктора многие обращались за советом прямо к ней. Дети любили сидеть в аптеке. Они по слогам разбирали выведенные на пузырьках из матового стекла диковинные латинские надписи, вроде

*sirupus gummi*[20] или, вооружась ножницами, нарезали этикетки, клеили пакетики: Джек, как всякий мальчик, делал это неуклюже, Сесиль трудилась тщательно и серьезно. Видно было, что девочка, когда вырастет, станет умелой, усидчивой и трудолюбивой женщиной. Она брала пример с бабушки. Старушка ведала аптекой, переписывала рецепты, отмечала в книге сделанные за день доктором визиты, напоминала забывчивым пациентам об уплате.

— Где же ты нынче побывал?.. — спрашивала она мужа, когда он возвращался домой.

Риваль забывал по дороге половину своих визитов, а порою намеренно умалчивал о некоторых из них, потому что был не только крайне рассеян, но и очень добр. Кое-кто из пациентов не оплачивал его счета по двадцать лет. Если бы не жена, в делах доктора царила бы полная неразбериха. Она мягко выговаривала ему, следила за тем, чтобы он не пил слишком много грога, постоянно заботилась о его одежде. А в последнее время, когда он уходил из дому, уже и Сесиль с озабоченным видом говорила: «Подойди ко мне, дедушка, я погляжу, все ли у тебя на месте!»

Доброта этого человека была поистине необыкновенна!

О ней говорил его простодушный и ясный, как у ребенка, взгляд, но при этом лишенный даже того лукавства, какое присуще детям. Хотя он немало поездил по свету, повидал много людей и стран, профессия помогла ему сохранить душевную чистоту. Он не верил ни во что дурное, во всем-и в людях и в животных-видел только хорошее и потому проявлял к ним терпимость. Так, не желая утомлять своего коня, старого товарища, который верой и правдой служил ему двадцать лет, доктор перед каждым косогором, перед любым пригорком, или просто заметив, что животное волочит ногу, вылезал из кабриолета и с непокрытой головой шагал по солнцу, на ветру или под дождем, держа в руке повод, а лошадка невозмутимо шла за ним следом.

Лошадь и ее хозяин отлично понимали друг друга. Она знала, что доктор нередко задерживается у больных, никак не может закончить визит, и, застоявшись у ворот, начинала позвякивать удилами. А то, бывало, в часы завтрака или обеда внезапно останавливалась посреди дороги и упрямо поворачивала домой.

— А ведь ты права! — удивлялся Риваль.

И они быстро возвращались к себе или начинали препираться.

— Ох, и Надоела же ты мне! — незлобно ворчал доктор. — Экое упрямое животное! Говорят тебе, мне надо посетить еще одного больного! Возвращайся без меня, если уж тебе не терпится.

Сердито пыхтя, он спешил к больному, а лошадь, не менее упрямая, чем хозяин, невозмутимо сворачивала к дому, таща облегченный экипаж, в котором лежали только книги

да газеты. Встречая ее на дороге, крестьяне говорили:

— Смотри-ка! Господин Риваль опять, должно быть, повздорил со своей скотинкой.

Отныне самой большой радостью для доктора было брать с собой в поездки по окрестностям Этьоля обоих детей. Кабриолет у него был поместительный, все трое удобно устраивались в нем. Глядя на смеющиеся рожицы сидевших рядом детей, славный старик чувствовал, что скорбь, угнетавшая его в стенах дома, постепенно улетучивается. Величавая красота природы смягчает, убаюкивает, усыпляет страдания, а тут еще общество детей, в котором доктор и сам веселился, как ребенок. Но больше всех радовался Джек: впервые в жизни он видел столько лугов, виноградников, озер и рек.

— А ну, угадай, что там посеяно?.. — спрашивала Сесиль, показывая на зеленые колышущиеся поля, отлого спускавшиеся к Сене. — Ячмень? Пшеница? Рожь?

Джек постоянно ошибался. И как же веселилась девочка, как она смеялась!

— Ты только подумай, дедушка! Он решил, что это рожь...

И она учила его различать округлый колос пшеницы от зубчатого колоса ячменя, узнавать подрагивающие Кисти овса, розовую дятлину, лиловую люцерну, отливающие золотом поля мака, все эти стелющиеся ковром луговые травы, которые с приходом осени будут скошены и сметаны в стога, а стога все так же будут выситься среди кажущихся бескрайними полей.

Во всех домах, куда приезжал доктор, детей принимали радушно.

Останавливались они, скажем, на ферме, и пока Риваль взбирался по деревянной лестнице к больному, Сесиль и Джека вели на птичий двор полюбоваться на цыплят и утят, при них вынимали хлеб из печи, доили коров перед хлевом, а то брали их с собой на мельницу, каких много разбросано на реках Орж, Йер и Эссоне: позеленевшие мостики и покрывшиеся плесенью высокие стены, сложенные из плохо пригнанных камней, придают этим мельницам сходство со старинными укрепленными замками, до времени обветшавшими.

Когда детям надоедало осматривать большие белые помещения, где дрожали пол и стены, поднимая мучную пыль, они уходили к реке и часами смотрели, как лопасти мельничного колеса бьют по воде, как вода бурлит возле плотины. Потом шли к запруде, где спокойная, затененная корявыми ивами водная гладь служила своеобразным птичьим двором для множества весело плескавшихся уток.

В крестьянских домах на болезнь смотрят по-особому, не так, как в городе. Она не меняет привычного хода вещей, не останавливает его. Скотина уходит и возвращается в положенные часы. Если заболел муж, его место заступает жена, и у нее нет времени ни посидеть возле него, ни выразить свою тревогу, ни поплакать. Земля не ждет, не ждет и скотина. Крестьянка работает целый день. Вечером она валится от усталости и забывается тяжелым сном. Захворавший крестьянин лежит наверху, а под ним скрипит мельничный жернов или режут быки, он — как раненый, упавший на поле боя. С ним некогда возиться. Самое большее, что можно сделать, — это оттащить его в сторонку, прислонить к дереву или устроить на откосе оврага, а битва между тем продолжается, требует напряжения всех сил... Вокруг молотят пшеницу, веют зерно, петухи орут как оглашенные. Работа кипит без передышки, без остановки, а глава семьи, повернувшись лицом к стене, покорный, безмолвный и суровый, ждет, что сулит ему надвигающаяся ночь или брезжущая в окне заря — выздоровление или смерть.

Вот почему в домах, куда попадали дети, они не замечали горя. К тому же их баловали, как могли. Для них всегда находилась лепешка, лошадь кормили отборным овсом, а г-же Риваль посылали корзину фруктов.

Доктора все любили, — ведь он был так добр, так мало пекся о своей выгоде! Крестьяне в нем души не чаяли, хотя не прочь были и надуть.

— Святой человек, — говорили о нем в деревнях. — А ведь захоти, давно бы стал богачом!

Но при этом они норовили не заплатить доктору, а при его нраве это было куда как просто! Когда, осмотрев больного, он выходил на улицу, его окружала шумная и требовательная толпа. Верно, ни одну колесницу властителя, объезжавшего свои владения, не осаждали так настойчиво, как скромный кабриолет доктора.

— Господин Риваль! Что ж мне дочке-то давать?

— Неужели моему несчастному мужику ничем помочь нельзя, господин Риваль?

— А что с порошком-то делать? Глотать или присыпать болячку? Может, еще маленько дадите? А то он у меня к концу подошел.

Доктор никому не отказывал: у одного смотрел язык, у другого щупал пульс, направо и налево раздавал пакетики с порошками, хинную настойку — словом, все, что было у него с собой, и, наконец, обобранный, выпотрошенный, выжатый, как лимон, узжал. Вслед ему неслись изъявления благодарности, добрые пожелания, славные землепашцы прочувствованно восклицали: «Достойный человек!»- и тут же, утерев слезы умиления, хитро подмигивали, словно говоря: «Ну и простак!» Хорошо еще, если все заканчивалось только этим, а то нередко в последнюю минуту появлялся какой-нибудь малолетний гонец в деревянных башмаках и умолял доктора «что есть духу» поспешить к больному, до которого надо было добираться добрых четыре мили.

Наконец пускались в обратный путь, и какое чудесное, какое умиротворяющее чувство испытывали они, когда возвращались домой на закате и проезжали то по лесным дорогам, над которыми деревья протягивали длинные ветви, то по проселочным, где проносились ласточки, играли ребятишки, брели стада! Сена, отливавшая синевой в той стороне, откуда подступала тьма, на западе струилась жидким золотом. В лучах заходящего солнца вырисовывались рожицы стройных деревьев с гладкими стволами и густой, как у пальм, кроной, белые дома громоздились на склоне холма, и вдруг начинало казаться, что перед глазами восточный пейзаж, будто уже виденный однажды во сне и походивший на один из тех городов древней Иудеи, что изображены на картинках, где святое семейство идет вечерней порой по дороге.

— Совсем как Назарет, — говорила Сесиль, вспоминая эти картинки на евангельские сюжеты.

Дети негромко болтали, рассказывали друг другу разные истории, а кабриолет между тем катился, будто торопясь к ужину. Ужинать почти всегда оставался и Джек.

Во время таких совместных поездок доктор пришел к заключению, что мальчик восприимчив и даже умен, хотя это не сразу можно распознать, и то небольшое, чему его учили, не пропало для него даром. Добрый и великодушный старик скоро понял, что бедный ребенок совсем заброшен, и решил хоть как-то восполнить то, чего недоставало мальчику. И он завел обычай ежедневно, после второго завтрака, уделять час для занятий с Джеком, жертвуя для этого своим отдыхом. Те, кто привык отдыхать после трапезы, поймут, сколько силы воли и самоотверженности потребовало от него такое решение.

Джек ревностно принялся за дело. В доме Ривалей, где все спокойно и с любовью трудились, заниматься было одно удовольствие. Сесиль почти всегда присутствовала на уроках, внимательно слушала, как ее друг отвечает учителю, и не сводила с его лица своих добрых и умных глаз, словно хотела ему помочь. Зато как радовалась она, как гордилась, когда после

завтрака дедушка клал на стол тетрадь Джека, раскрывал ее и, проверив выполненный урок, с довольным и несколько удивленным видом приговаривал: «Просто отлично!»

Дома Джек ничего не говорил об этих занятиях. Он мечтал, что когда-нибудь с торжеством докажет матери, что ее поэт ошибся, когда с таким непогрешимым видом изрек свой жестокий приговор. Эту маленькую тайну тем легче было сохранить, что обитатели

Parva domus все меньше и меньше занимались ребенком. Он уходил и возвращался, когда хотел, никому не говорил, куда идет, приходил домой только к обеду или ужину и устраивался в самом конце стола, за который с каждым днем садилось все больше приглашенных.

Чтобы скрасить одиночество и возродить привычную атмосферу пустопорожней суеты, которую он именовал «духовной средою», д'Аржантон распахнул двери своего дома перед «горе-talантами». Между тем поэт вовсе не любил швырять свое добро на ветер, он был очень скуп: всякий раз, когда Шарлотта робко говорила ему: «Друг мой! У меня вышли все деньги», — он с нарочитым удивлением произносил: «Как, уже?»-и на его лице появлялась недовольная гримаса. Однако тщеславие брало в нем верх, стремление поразить своим благополучием, разыграть роль хлебосольного хозяина на зависть неудачникам оказывалось сильнее трезвых подсчетов.

В кругу «горе-талантов» было уже известно, что там, на лоне природы, в чудесном местечке, можно всегда сытно пообедать, а в случае чего, если, допустим, опоздаешь на поезд, и заночевать. В парижских пивных то и дело раздавался клич:

— Кто нынче собирается к д'Аржантону?

С трудом наскребя деньги на билет, орава неудачников как снег на голову сваливалась на поэта.

Шарлотта сбивалась с ног.

— Тетушка Аршамбо, к нам опять гости! Скорее нарежьте кролика, нет-двух!.. Приготовьте омлет, два омлета, а еще лучше — три, только поскорее!

— Господи помилуй! Ну и рожи! — пугалась жена лесника.

И правда, в доме появлялись все новые и новые люди — бородатые, патлатые, бог знает как одетые.

Д'Аржантон с неизменным удовольствием водил своих гостей по дому, обращая их внимание на то, как он все здесь красиво устроил. Затем седобородые бездомные бродяги толпами устремлялись по тропинкам к берегу реки или в лес и при этом выкидывали разные коленца и весело ржали, точно старые клячи, которых пустили на подножный корм.

На фоне лучеварной природы их вытертые цилиндры, поношенные темные сюртуки, изможденные лица, на которые зависть и все невзгоды парижской жизни наложили неизгладимую печать, казались особенно отталкивающими, поблекшими и увядшими. Потом вся компания собиралась за столом, который весь день так и стоял, накрытым: не было времени даже стряхнуть крошки — одна трапеза следовала за другой. Засиживались допоздна — пили, закусывали, спорили, курили.

Дом стал походить на пивную в лесу.

Д'Аржантон был на седьмом небе. Наконец-то он снова мог без конца пережевывать свою извечную поэму, по десять раз излагать одни и те же замыслы, по любому поводу повторять: «Я-то, я... Я-то, я...» И при этом у него был вид барина, которому здесь все принадлежит: и самый дом, и вино, и прочее. Шарлотта также чувствовала себя счастливой. Ее

переменчивому нраву и наклонностям к богемной жизни как нельзя больше подходила эта постоянная суета и мелькание новых лиц. Ею любовались, за ней ухаживали, и, храня верность своей любви, она умела выказывать ровно столько кокетства, чтобы слегка расшевелить поэта и заставить его больше ценить свое счастье.

По воскресеньям она принимала жен неудачников. Самоотверженные женщины всю неделю работали, выбиваясь из сил, и время от времени мужа в награду брали их с собою за город. Перед этими кое-как одетыми женщинами Шарлотта разыгрывала владительницу замка, говорила им «голубушка» и красовалась в пеньюарах, какие носили во времена Людовика XV.

Но самыми частыми гостями в Ольшанике были все же Лабассендр и доктор Гирш. Гирш, сперва задержавшийся только на несколько дней, теперь жил тут безвыездно уже несколько месяцев и чувствовал себя как дома. Он встречал гостей, нимало не смущаясь, носил белье поэта, надевал его шляпу, засовывая под подкладку чуть ли не целую десть бумаги, ибо голова у этого фантазера была совсем крошечная, такая крошечная, что, глядя на него, вы невольно спрашивали себя, как он умудрился нафаршировать ее таким количеством обрывочных сведений, и уже не удивлялись, что в этой голове царит такая неразбериха.

Хотя д'Аржантон знал цену Гиршу, он уже не мог обходиться без него. Этот горе-медик терпеливо выслушивал нескончаемые жалобы мнимого больного. Правда, поэт не очень-то доверял его медицинским познаниям и опасался следовать его советам, но самое присутствие Гирша действовало на него благотворно.

— Это я поставил его на ноги!.. — с апломбом заявлял Гирш.

И авторитет доктора Риваля в доме д'Аржантона сильно поколебался.

День шел за днем, месяц — за месяцем. Сперва осень окутала

Parva domus унылыми туманами, потом снег скрыл щипец его кровли, затем апрельский дождь с градом звонко барабанил по шиферной крыше, и вот уже новая весна и гроздь распустившейся сирени. А в доме ничто не переменилось. У поэта возникло несколько новых замыслов, он обнаружил у себя еще несколько несуществующих болезней, а безотлучно состоявший при его особе Гирш придумал им мудреные названия. Шарлотта была все так же хороша собой, чувствительна и пуста. Джек сильно вытянулся и усердно занимался. За десять месяцев без пресловутой системы и распорядка дня он сделал необыкновенные успехи и знал теперь больше, чем иные школьники в его возрасте.

— Вот чего мы добились с ним в один год, — с гордостью объявил однажды Риваль д'Аржантону. — Теперь пошлите его в лицей, — ручаюсь, что из малого выйдет толк.

— Ах, доктор, доктор, какой же вы добрый! — воскликнула Шарлотта.

Ей было немного стыдно, ибо самая забота постороннего человека о мальчике уже заключала в себе скрытый упрек матери, равнодушной к сыну. Д'Аржантон холодно выслушал доктора и заявил, что он еще поглядит, поразмыслит, потому что обучение в лицее имеет серьезные недостатки. Оставшись наедине с Шарлоттой, он дал волю своей досаде:

— А этот еще чего лезет! Каждый знает свои обязанности. Уж не вздумал ли он меня поучать? Занимался бы лучше своими делами, лекаришка несчастный!

Однако самолюбие д'Аржантона было сильно задето. Начиная с этого дня он не раз говорил с важным видом:

— А ведь он прав, этот эскулап, пора мне заняться мальчиком.



И, увы, он занялся им!

— Поди-ка сюда, шалун! — окликнул однажды Джека певец Лабассендр, который прогуливался по саду с Гиршем и д'Аржантоном и о чем-то с ними шептался.

Мальчик подошел слегка смущенный, — обычно ни Поэт, ни его друзья к нему не обращались.

— Кто это соорудил... бэу! бэу!.. западню для белок, там, на высоком ореховом дереве? Бэу! Бэу! В глубине сада?

Джек побледнел, ожидая нахлобучки, но лгать он не умел и потому ответил:

— Я.

Сесиль хотелось иметь живую белку, и он смастерил ловушку, хитроумно перепутав железную проволоку и приладив ее среди ветвей: пока что белка не попала в западню, но вполне могла туда угодить.

— И ты сделал это сам, без всякого образца?

Мальчик робко ответил:

— Да, господин Лабассендр, без всякого образца.

— Невероятно... просто невероятно! — повторял тучный певец, поворачиваясь к своим спутникам. — Мальчишка — прирожденный механик. У него руки мастера. Что ни говорите, а это дар, природный дар.

— Вот, вот... Именно дар! — подхватил поэт, высокомерно вскинув голову.

Доктор Гирш напыщенно произнес:

— Все дело в этом... Дар!

Не обращая больше внимания на Джека, все трое продолжали гулять по аллее сада — сосредоточенно, медленно, сопровождая свою речь величественными жестами и останавливаясь, когда кто-нибудь из них собирался сообщить что-либо значительное.

Вечером, после обеда, на террасе разгорелся спор.

— Да, графиня, — говорил Лабассендр, обращаясь к Шарлотте с таким видом, точно хотел убедить ее в истине, уже ясной для остальных. — Человек будущего — это рабочий. Дворянство отжило свой век, буржуазия через несколько лет тоже сойдет со сцены. Теперь черед работника. Можете сколько угодно презирать его мозолистые руки и священную блузу! Лет через двадцать блузник будет править миром.

— Он совершенно прав, — с важностью подтвердил д'Аржантон.

А доктор Гирш энергично закивал своей крошечной головой.

Странное дело! Джек, который еще с гимназии при\* вык к тирадам певца на социальные темы и никогда не прислушивался к ним, находя, что они скучны, в тот вечер, внимая Лабассендру, ощущал какую-то смутную тревогу, как будто понимал, какой цели служат эти путанные речи и кому они готовят удар.

Лабассендр рисовал светлую картину жизни рабочих.

— Замечательная жизнь, независимая, гордая! Подумать только, какой я был глупец, что отказался от нее! Ах, если бы можно было вернуть прошлое!

И Лабассендр начал рассказывать о том, как он работал кузнецом на заводе в Эндре. Тогда его звали Рудик, а сценическое имя Лабассендр он произвел из названия места, где родился, — Ла Басс-Эндр, — бретонского городка на берегу Луары. Он вспоминал незабываемые часы, которые проводил у раскаленного горна, голый по пояс, часы, когда он мерными ударами ковал железо вместе с товарищами, умелыми мастерами.

— Пойдите! — вскричал он. — Вы знаете, каким успехом пользуюсь я на оперной сцене!

— Ну еще бы! — подтвердил доктор Гирш не моргнув глазом.

— Вы знаете, сколько я получил золотых венков, табакерок, медалей! Так вот, все эти дорогие моему сердцу сувениры не могут идти ни в какое сравнение с этим.

Закатав до плеча рукав сорочки на своей огромной волосатой руке, напоминавшей медвежью лапу, певец показал всем большую сине-красную татуировку, изображавшую два скрещенных кузнечных молота в обрамлении дубовых листьев; вокруг вязью шла надпись: «Труд и свобода». Издали татуировка эта походила на синяк-неизгладимый след увесистого кулака. Незадачливый певец утаил, однако, что татуировка, победно противостоявшая всевозможным кислотам и мазям, изрядно отравляла его жизнь в театре: она не позволяла ему участвовать в операх «Немая из Портичи»[21] или «Геркуланум», где герои, уроженцы солнечного юга, играя мускулами на голых руках, распахивают на груди, груди победителя, расходящиеся плащи.

Поняв, что ему не свести эту татуировку, Лабассендр начал хвастливо выставлять ее напоказ, точно знамя...

Он проклинал директора театра, который нарочно приехал из Нанта на их завод, чтобы послушать, как он пел на благотворительном концерте, устроенном в пользу изувеченного машиной рабочего. Он проклинал несравненное нижнее «до», которым природа наградила его. Ведь если б его не сбили с пути истинного, он был бы, как и его брат, старшим мастером, работал бы в кузнечном цехе в Эндре и жил бы припеваючи: получал бы хорошее жалованье, имел бы казенную квартиру с отоплением и освещением и был бы обеспечен на старости лет.

— Разумеется, разумеется, все это замечательно, — робко заговорила Шарлотта, — но какое же надо иметь здоровье, чтобы выносить такую жизнь! Я сама слышала, как вы говорили, что это тяжелое, очень тяжелое ремесло.

— Да, тяжелое, но разве для какого-нибудь мозгляка. Но тут дело совсем иное, тот, о ком идет речь, крепкого сложения.

— Отменного сложения, — изрек доктор Гирш. — За это я ручаюсь.

Ну, а уж если он за что-нибудь ручался, можно было не беспокоиться.

Однако Шарлотта попробовала возражать. Ведь не у всех одинаковые склонности. Бывают люди утонченные, аристократические натуры, и некоторые профессии им не подходят.

Тут д'Аржантон в ярости вскочил с места.

— Все женщины друг друга стоят! — заорал он. — Она вот умоляет меня подумать о будущем мальчишки, и бог свидетель, что это не доставляет мне никакого удовольствия, потому что это — весьма жалкое существо! Но все же я делаю, что могу, мне помогают друзья, и вот теперь мне, видимо, намекают, что лучше б уж я не вмешивался.

— Я совсем не то хотела сказать, — оправдывалась Шарлотта, приходя в отчаяние оттого, что разгневала своего повелителя.

— Конечно, не то!.. — подхватили Лабассендр и Гирш.

Почувствовав поддержку, видя, что за нее заступаются, несчастная женщина дала волю слезам, как забитый ребенок, который рэшается заплакать, лишь когда ощущает чье-либо покровительство. Джек убежал. Это было свыше его сил: видеть, как плачет мама, и при этом не схватить за горло человека, который злобно ее терзает!

Этот разговор больше не повторялся. Но ребенку казалось, что мать теперь как-то по-другому относится к нему. Она подолгу смотрела на него, целовала чаще, чем прежде, удерживала возле себя, обнимала и так крепко прижимала к груди, как обнимают перед скорой разлукой. Мальчика все это беспокоило тем сильнее, что д'Аржантон как-то сказал при нем Ривалю с желчной усмешкой, от которой приподнялись его пышные усы:

— О вашем ученике, доктор, проявляют заботу... На днях вы услышите новости... Полагаю, вы останетесь довольны.

После этого разговора доктор возвратился домой в приподнятом настроении.

— Вот видишь, — сказал он жене, — вот видишь! Как хорошо, что я открыл им глаза!

Г-жа Риваль с сомнением покачала головой.

— Кто знает?.. Не доверяю я этому мертвому взгляду: он не сулит мальчику ничего хорошего. Когда твоя участь зависит от врага, уж лучше бы он сидел сложа руки и ничего не предпринимал.

Джек придерживался того же мнения.

## XI. ЖИЗНЬ — НЕ РОМАН

Однажды, в воскресное утро, вскоре после прибытия десятичасового поезда, который доставил из Парижа Лабассендра и шумную орду неудачников, Джек, подстерегавший белку возле своей пресловутой вападни, услышал, что его кличет мать.

Голос доносился из рабочего кабинета д'Аржантона, из этой торжественной обители, откуда низвергались громы и молнии и долетали бестолковые замечания, где засел постоянно следивший за ним угрюмый враг. То ли его насторожил дрогнувший голос матери, то ли внутреннее чутье, сильно развитое у нервных натур, что-то под\* сказало Джеку, но только он тотчас подумал: «Сегодня!..» — не трепетом стал подниматься по винтовой лестнице.

Он уже больше десяти месяцев не был здесь, и за это время в святилище произошло немало перемен. Прежнее величие, как показалось ему, несколько поблекло. Выцветшие на солнце и пропитавшиеся табачным дымом обои, продавленный алжирский диван, потрескавшаяся крышка дубового стола, грязная чернильница, заржавевшие перья — все тут было обшарпано и замызгано, как в дешевых кафе, где бездельники по целым дням ведут пустопорожние разговоры.

Одно только кресло времен Генриха II гордо возвышалось среди обломков бывшего величия. На нем и восседал д'Аржантон в ожидании Джека, а Лабассендр и доктор Гирш стояли по бокам, точно судебные заседатели. Дежурные посетители — племянник Берцелиуса да еще

два-три седобородых субъекта — красовались на диване в облаках табачного дыма.

Джек в один миг разглядел судилище, судью, свидетелей и мать. Она стояла поодаль, у открытого окна, и, казалось, пристально смотрела на далекие поля, будто не желала видеть всего, что происходит, не желала принимать в этом никакого участия.

— Приблизься, отрок, — произнес поэт, в котором его кресло из старого дуба подчас рождало тяготение к «высокому стилю», — приблизься!

Голос его, несмотря на торжественность интонаций, звучал так сухо, так бесчеловечно, что казалось, будто это вещает само резное кресло времен Генриха II.

— Я уже не раз говорил тебе, Джек, что жизнь — не роман! Ты и сам мог в этом убедиться, видя, как я страдаю, как я бесстрашно сражаюсь в первых рядах на поприще литературы, не жалея ни времени, ни сил, порою изнемогая, но все же не сдаваясь, и упорно, вопреки злой судьбе, веду бой, великий бой! Теперь твой черед выйти на ристалище. Ты уже мужчина.

Бедному ребенку было всего лишь двенадцать лет!

— Ты уже мужчина. И теперь тебе следует доказать нам, что ты мужчина не только по годам и по росту, но и по духу.

Я тебе позволил целый год развивать на лоне природы мышцы и ум. Некоторые обвиняли меня в том, будто я не забочусь о тебе. О рутинеры!.. Напротив, я наблюдал за тобой, изучал тебя, ни на минуту не спускал с тебя глаз. И благодаря этому неустанному и кропотливому труду, а главное, благодаря той непогрешимой методе наблюдения, которой — льщу себя надеждой — я обладаю, я тебя познал. Я увидел, каковы твои природные склонности и способности, твой нрав. Я понял, в каком направлении следует действовать, дабы это лучше всего отвечало твоим интересам, и, изложив свои соображения твоей матери, предпринял кое-какие шаги.

Тут д'Аржантон прервал свою назидательную речь, чтобы выслушать поздравления Лабассендра и доктора Гирша. Тем временем племянник Берцелиуса и прочие сосредоточенно и молча курили свои длинные трубки, покачивая головами, точно китайские болванчики, и ограничивались тем, что с надутым и важным видом повторяли:

— Хорошо сказано!.. Хорошо сказано!..

Растерявшийся мальчик силился хоть что-нибудь понять в этом запутанном, витиеватом наборе звонких фраз, которые носились где-то высоко над его головой, словно грозовая туча. И он спрашивал себя: «Что же сейчас обрушится на мою голову?»

Шарлотта по-прежнему смотрела в окно, козырьком приложив ладонь ко лбу, словно что-то высматривала вдали.

— Перейдем к делу! — внезапно выпрямившись в кресле, изрек поэт высокомерным тоном, который полоснул Джека, как удар хлыста. — Письмо, которое ты сейчас выслушаешь, скажет тебе больше, чем все объяснения. Прочти, Лабассендр!

Торжественный, как письмоводитель военно-полевого суда, певец достал из кармана плохо склеенное письмо, какие посылают крестьяне или новобранцы, и, несколько раз издав рыкающий звук, прочел:

«Литейное производство в Эьдре

(департамент Нижней Луары)

Любезный брат! Как я уже сообщал тебе в последнем письме, я говорил с директором о молодом человеке, сыне твоего друга, и хотя этот молодой человек еще слишком молод и не совсем подходит в ученики, директор позволил мне взять его. Жить и столоваться он будет у нас. Обещаю тебе сделать из него в четыре года хорошего работника. Все у нас тут здоровы. Моя жена и Зинаида желают тебе всех благ, и Нантец тоже, и я тоже.

Старший мастер сборочного цеха

Рудик»

— Слышишь, Джек? — снова заговорил д'Аржантон с загоревшимся взором, выбрасывая руку вперед. — Через четыре года ты станешь хорошим работником, то есть займешь прекрасное, завидное положение на этой порабощенной земле. Через четыре года ты станешь священной особой — хорошим работником.

Джек отлично все слышал. Он будет «хорошим работником». Но чего-то он все же не постигал и судорожно старался понять.

В Париже мальчику случалось видеть рабочих. Жили они и в переулке Двенадцати домов, а возле самой гимназии находилась фабрика, где изготавливали фонари, и нередко он наблюдал, как около шести вечера она выбрасывала на улицу толпу людей в промасленных блузах с темными, мозолистыми, обезображенными тяжелой работой руками.

Сперва его поразила мысль, что он будет ходить в блузе. Ему пришло на память, каким пренебрежительным тоном говорила тогда мать: «Это рабочие, блузники», — как старательно она обходила их на улице, опасаясь испачкать свое платье. Напыщенные тирады Лабассендра о важнейшей роли рабочего в девятнадцатом веке не вязались с этими смутными воспоминаниями, придавали им иную окраску. Но одно Джек понял ясно — и это было горше всего: он должен будет уехать, расстаться с лесом, с его деревьями, зеленые вершины которых видны были ему сейчас, с семьей Ривалей, наконец, с мамой, которую он с такими муками вновь обрел и которую так горячо любил.

Господи, и почему она все стоит у окна и так равнодушно слушает, что тут говорится? Между тем она уже утратила кажущееся спокойствие. Судорожная дрожь сотрясала все ее тело, ладонь, которую она держала у лба, опустилась на самые глаза, точно для того, чтобы скрыть слезы. Как видно, она заметила что-то очень печальное там, вдали, на горизонте, куда прячется солнце, куда уходят мечты, где тают иллюзии, нежность и любовь.

— Значит, мне надо будет уехать? — спросил мальчик упавшим голосом, почти без выражения, словно высказывал вслух мысль, единственную мысль, поглощавшую его.

При этом простодушном вопросе все члены судилища переглянулись с презрительным состраданием. Но возле окна послышались рыдания.

— Через неделю и отправимся, дружище, — быстро сказал Лабассендр. — Я уже давно не видал брата. Кстати, это подходящий случай, чтобы снова погреться в огне моей старой кузни, черт возьми!

При этих словах он засучил рукава и напряг мускулы на своих громадных, волосатых, татуированных руках.

— Он неподражаем! — заявил доктор Гирш.

Д'Аржантон, не спускавший глаз с Иды, всхлипывавшей у окна, грозно нахмурил брови.

— Можешь удалиться, Джек, — сказал он мальчику. — Через неделю ты уедешь.

Огорошенный и ошеломленный, Джек спустился с лестницы, беззвучно повторяя: «Через неделю! Через неделю!» Калитка на улицу была отперта. И он, как был, без шапки, через всю деревню помчался к своим друзьям. В дверях он столкнулся с доктором, который куда-то уходил, и в двух словах рассказал ему о том, что произошло утром.

Риваль вышел из себя.

— Рабочий! Они хотят сделать из тебя рабочего! И это, по их мнению, забота о твоём будущем? Постой, постой! Я сейчас сам поговорю с твоим отчимом.

Те, кто видел, как они шли через Этьоль, как добрый доктор что-то громко выкрикивал, размахивая руками, как Джек, запыхавшись, без шапки, спешил за ним, говорили друг другу:

— Должно быть, в Ольшанике кто-то захворал.

Между тем все там были здоровы. Когда доктор вошел, уже садились за стол: как всюду, где люди не знают, чем себя занять, в доме д'Аржантона норовили пораньше приняться за завтрак; к тому же требовательный желудок хозяина не выносил голода.

Слышались взрывы хохота, и даже Шарлотта, спускаясь по лестнице из своей комнаты, что-то напевала.

— Я хотел бы сказать вам несколько слов, господин д'Аржантон, — сказал старый доктор, и губы у него дрогнули.

Поэт подкрутил свои густые усы.

— Прекрасно, господин Риваль, присаживайтесь. Вам поставят прибор, и мы потолкуем с вами за завтраком.

— Благодарю покорно! Я не голоден. К тому же то, что я намерен сказать вам и госпоже д'Аржантон, — он поклонился вошедшей Шарлотте, — это не для посторонних.

— Я догадываюсь, что привело вас сюда, — сказал д'Аржантон. Ему вовсе не хотелось говорить с доктором наедине. — Это по поводу Джека, не так ли?

— Совершенно верно, по поводу Джека.

— В таком случае вы можете говорить здесь. Все присутствующие знают, о чем идет речь. Смеею надеяться, мои поступки достаточно благородны и бескорыстны, а потому мне незачем таиться.

— Однако, друг мой... — осмелилась заметить Шарлотта, которую это объяснение на людях пугало по разным причинам.

— Можете говорить, доктор, — холодно повторил д'Аржантон.

Подойдя вплотную к столу, Риваль заговорил:

— Джек только что сказал мне, что вы решили отдать его в обучение на железоделательный завод в Эндре. Неужели вы это серьезно?

— Вполне серьезно, дражайший доктор.

— Остерегитесь, мальчик не приспособлен к столь тяжкому ремеслу, — продолжал Риваль, сдерживая себя. — Как раз сейчас он быстро растет, а вы намерены ввергнуть его в чуждую стихию, поместить в непривычную обстановку. Вы ставите на карту его здоровье, его жизнь. Он не выдержит такой жизни. Он недостаточно крепок.

— Э, позвольте, любезный собрат!.. — напыжившись, перебил его доктор Гирш.

Риваль только передернул плечами и продолжал, даже не посмотрев в его сторону:

— Прислушайтесь к моим словам, сударыня. — Он намеренно обращался к Шарлотте, которую этот призыв к ее полузаглушаемому материнскому чувству привел в замешательство. — Повторяю: ваш сын не выдержит такой жизни. Вы ведь знаете его лучше других, вы ему мать. Вам известно, какая у него тонкая и хрупкая натура, как быстро он устает. А я ведь говорю пока только о непосильном для него физическом труде. Но неужели вы не понимаете, что такой способный ребенок, уже достаточно развитой и подготовленный для умственного труда, будет жестоко страдать, когда вы его насильно оторвете от книг и обречете его ум на полное бездействие?

— Вы заблуждаетесь, доктор, — заявил д'Аржантон, теряя терпение. — Я знаю Джека, как никто. Я пытался заставить его учиться. Но он пригоден только к физическому труду. Только на этом пути он чего-нибудь добьется, и нигде больше. И вот, когда я предоставляю ему случай применить свои способности, когда я даю ему в руки отличное ремесло, господин Джек вместо того, чтобы поблагодарить меня, идет жаловаться, ищет покровителей за пределами своего дома, у посторонних.

Джек попытался было возразить. Но доктор избавил его от этой необходимости.

— А он и не жаловался. Он только осведомил меня о вашем решении. И я сказал ему то, что повторю сейчас в вашем присутствии: «Джек, дитя мое! Постарайся воспротивиться этому. Кинься на шею родителям — матери, которая тебя любит, ее мужу, который должен тебя любить из любви к ней. Умоляй, заклинай их. Спроси, в чем ты перед ними провинился, почему они хотят тебя унижить, почему отступаются от тебя».

— Доктор! — завопил Лабассендр, с такой силой ударив по столу, что тот закачался. — Рабочий инструмент не унижает человека, он его облагораживает. Рабочий инструмент возродит мир. В десять лет Иисус Христос уже отлично владел рубанком.

— А ведь это верно, — пробормотала Шарлотта, тотчас же вообразив, как ее Джек, наряженный маленьким Иисусом, держа в руке маленький рубанок, будет идти в процессии в праздник Тела господня.

— Не позволяйте себе забивать голову всякой чепухой, сударыня! — вне себя крикнул доктор. — Если вы сделаете своего сына рабочим, то навсегда отдалите его от себя. Даже если вы пошлете его на край света, он и тогда будет жить в вашей памяти, в вашем сердце, ибо существуют разные средства общения, которые преодолевают самые далекие расстояния, но социальные различия навсегда обрывают все связи. Вот увидите, вот увидите! Наступит день, и вы станете краснеть за него, вам покажется, что у него заскорузлые руки, грубая речь и совсем не такие чувства, как у вас, наступит день, когда он станет держаться с вами, со своей матерью, как с чужой ему женщиной, стоящей рангом выше, и тогда он покажется вам не только приниженным, но и опустившимся.

Джек забился в уголок за буфетом и до сих пор внимательно слушал, не проронив ни слова, но вдруг разволновался при мысли, что между ним и матерью возможно такое охлаждение.

Он шагнул на середину комнаты и твердым, решительным тоном объявил:

— Я не хочу быть рабочим.

— Джек!.. — в ужасе прошептала Шарлотта.

На сей раз заговорил д'Аржантон:

— Вот оно что! Ты, значит, не хочешь быть рабочим? Поглядите на этого господина, — он со мной не согласен! Стало быть, ты не хочешь быть рабочим? Ну, а есть ты хочешь, не так ли? И одеваться хочешь, и спать, и гулять? Так вот, я заявляю тебе, что ты мне осточертел, негодный мальчишка, паразит! И если ты не хочешь трудиться, то и я не желаю, чтобы ты и дальше измывался надо мною!

Он внезапно умолк и, подавив слепое бешенство, сказал своим обычным ледяным тоном:

— Ступайте в свою комнату. Я обдумую, как мне следует поступить.

— Позвольте мне, дорогой д'Аржантон, посоветовать, как вам следует поступить...

Но Джек так и не услышал конца фразы доктора Риваля: д'Аржантон жестом удалил его.

В комнату мальчика долетал только неясный шум спора — так долетают издали звуки отдельных инструментов большого оркестра. Он различал голоса, узнавал их все, но они перебивали, заглушали друг друга и сливались в нестройный гул, из которого вырывались обрывки фраз:

— Вы солгали!

— Господа!.. Господа!..

— Жизнь не роман.

— Священная блуза!.. Бэу! Бэу!

Наконец, уже на пороге, раздался громовой голос старика Риваля:

— Пусть меня повесят, если моя нога еще когда-нибудь ступит в ваш дом.

Затем дверь захлопнулась, и в столовой воцарилась глубокая тишина, нарушаемая лишь стуком ножей и вилок, пришедших в движение.

Они завтракали.

«Вы хотите его унижить, отступить от него». Мальчик запомнил эти слова, и внутренний голос подсказывал ему, что именно к этому и стремился его враг.

Так нет же, нет, тысячу раз нет! Он не желает быть рабочим.

Отворилась дверь. Вошла его мать.

Она много плакала, плакала настоящими слезами, — от таких слез остаются морщины. Впервые на лице этой хорошенькой женщины проступили черты матери, матери скорбящей и измученной.

— Выслушай, меня, Джек, — начала она, пытаясь придать своему голосу строгость. — Я должна серьезно с тобой поговорить. Ты только что очень меня огорчил, открыто восстав против своих настоящих друзей и отказавшись от того пути, какой они для тебя избрали. Я хорошо знаю, что та новая жизнь...

Говоря, она избегала взгляда мальчика, в котором было столько горя и укоризны, взгляда такого жгучего и страдальческого, что она не могла его вынести.

— ...что та новая жизнь, к которой мы тебя готовим, сильно отличается от той, какую ты вел до сих пор. Не скрою, в первую минуту я и сама испугалась, но ведь ты слышал весь разговор, правда? Положение рабочего теперь уже вовсе не то, каким оно было прежде,



совсем-совсем не то! Ты отлично знаешь, что наш век — это век рабочих. Буржуазия отжила свое, дворянство тоже. Хотя, впрочем, дворянство... Ну, а потом, разве не проще всего в твоём возрасте послушно следовать советам людей, которые тебя любят и у которых есть жизненный опыт?

Рыдания мальчика прервали её речь.

— Значит, ты прогоняешь меня, ты тоже меня прогоняешь?

Тут уж мать не выдержала. Она обняла его и прижала к груди.

— Я прогоняю тебя? Как ты можешь так думать? Разве это мыслимо? Ну, успокойся, не дрожи, не убивайся так. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Будь дело только во мне, мы бы никогда не расстались. Надо быть разумным, надо думать и о будущем... Увы! Оно у нас довольно мрачное.

Со свойственным ей многословием, какое она позволяла себе, когда поблизости не было её повелителя, Шарлотта попыталась объяснить Джеку, насколько ложным и шатким было их положение, прибегая для этого ко всякого рода недомолвкам и умолчаниям.

— Видишь ли, дружок, ты ещё очень мал и многого тебе не понять. Наступит день, когда ты станешь постарше, и я открою тебе тайну твоего рождения. Это настоящий роман, мой дорогой! Наступит день, и я назову тебе имя твоего отца, и ты узнаешь, жертвами какого неслыханного и рокового стечения обстоятельств стали ты и твоя мама. Но уже сегодня ты должен знать, должен хорошенько понять, что у нас с тобой ничего нет, бедное дитя мое, что мы всецело зависим от... от

него. Как же я могу воспротивиться твоему отъезду, особенно если я знаю, что он добивается этого в твоих же интересах? Я не могу ничего от него требовать. Он и так уже немало для нас сделал. А потом, ведь он и сам не очень богат, а эта ужасная литературная карьера до того разорительна! Он не может взять на себя расходы по твоему воспитанию. Как мне примирить вас? Надо же принять какое-то решение! Ах, если бы я сама могла поехать в Эндре вместо тебя! Подумай: ведь тебя хотят обучить ремеслу. Разве ты не будешь испытывать гордость, когда почувствуешь, что ни от кого не зависишь, что сам зарабатываешь себе на хлеб, что ты сам себе господин?

В глазах мальчика вспыхнуло пламя, и она поняла, что удар достиг цели. Едва слышно, тем ласковым, проникающим в душу голосом, какой бывает лишь у матерей, она прошептала:

— Сделай это для меня, Джек! Хорошо? Научись зарабатывать деньги на жизнь, и как можно скорее. Как знать, может, мне самой когда-нибудь придется обратиться за помощью к тебе, как к моему единственному другу и защитнику.

Верила ли она в то, что говорит? Было ли то предчувствие, когда завеса грядущего внезапно разрывается, давая возможность человеку увидеть свою судьбу во всей её неприглядности? Или же она говорила, не слишком вдумываясь, подхваченная вихрем слов, в порыве свойственной ей сентиментальности?

Так или иначе, но то был лучший способ покорить благородное сердце мальчика. Эффект был мгновенный. Мысль, что мама, возможно, будет нуждаться в нём, что, работая, он сможет прийти ей на помощь, заставила его внезапно решиться.

Он заглянул ей в глаза.

— Поклянись, что ты всегда будешь меня любить, что ты не станешь стыдиться моих черных от копоти рук.

— Буду ли я любить тебя, Джек?..

Вместо ответа она осыпала его ласками, скрывая под пылкими поцелуями свое смятение и угрызения совести, ибо с этой минуты злосчастная мать начала испытывать угрызения совести, и они терзали ее потом всю жизнь: каждый раз при мысли о сыне ей казалось, будто кинжал вонзается в ее сердце.

А он, точно догадавшись, сколько под этими поцелуями таится стыда, неуверенности и страха, высвободился из ее объятий и кинулся к лестнице.

— Пойдем, мама, спустимся вниз, я скажу ему, что согласен.

«Горе-talанты» еще не встали из-за стола. Всех поразили торжественный и решительный вид мальчика.

— Простите меня, пожалуйста, — сказал он д'Аржантону. — Я был неправ, когда отказывался ехать на завод. Теперь я согласен и благодарю вас.

— Вот это другой разговор, Джек! — напыщенно произнес поэт. — Я не сомневался, что по здоровом размышлении ты к этому придешь... Я рад, что ты открыто признаешь бескорыстие моих побуждений. Поблагодари нашего друга Лабассендра — ведь это он устроил твою судьбу. Это он широко распахнул перед тобой двери в грядущее!

Певец протянул свою громадную лапу, и рука мальчика утонула в ней.

— По рукам, старина! — воскликнул он, подчеркнуто обращаясь к Джеку так, словно они были двумя старыми товарищами и работали рядом в одном и том же цеху.

Начиная с этой минуты и вплоть до отъезда, Лабассендр неизменно обращался к мальчику в таком же грубовато-фамильярном тоне, каким говорят между собой рабочие, связанные узами товарищества.

Всю оставшуюся неделю Джек бродил по лесу, по окрестным полям. Ему было грустно, но главным образом его мучила тревога, беспокойство. Мысль об ответственности, которую он возложил на свои плечи, порою придавала его красивому лицу несвойственное ему выражение. На лбу, между бровей, залегла складка, что в таком возрасте говорит о крайнем напряжении воли. Теперь, пожалуй, он и впрямь походил на «старину Джека». Он обходил все свои любимые уголки, — так взрослые медленным шагом обходят памятные с детства места.

Старуха Сале могла теперь сколько угодно грозить ему издали, устремляться за ним в погоню, — «старина Джек» ее уже не боялся, у него теперь достало бы сил даже отнять у нее вязанку дров.

Особенно его огорчало то, что ему не позволили пойти к Ривалям попрощаться с Сесиль.

— Видишь ли, Джек, после той сцены, что произошла между д'Аржантоном и господином Ривалем, это, пожалуй, неудобно, — повторяла Шарлотта в ответ на мольбы сына.

Наконец, уже накануне отъезда, упоенный своим торжеством, поэт милостиво разрешил мальчику проститься с друзьями. Джек попал к ним под вечер. В передней никого не было. Никого не было и в аптеке, даже ставни там были плотно прикрыты. Только из библиотеки пробивался лучик света: библиотекой именовался просторный чердак, заваленный словарями, атласами, книгами по медицине и большими томами с красными корешками из коллекции Панкука.[22]

Доктор был там, он складывал книги в ящик.

— А, пришел, наконец! — сказал он мальчику. — Я был уверен, что ты не уедешь, не попрощавшись со мной. Они, конечно, тебя не пускали? Тут есть доля и моей вины. Я был слишком резок. Мне за это попало от жены... Кстати, знаешь, она вчера уехала с внучкой. Я отправил их на месяц в Пиренеи погостить у моей сестры. Девочка что-то прихворнула. Я, не подумавши, сгоряча взял да и сказал ей о твоём отъезде... Ох, уж эти дети!.. Мы-то думаем, что они ничего не смыслят, а они подчас убиваются пуще взрослых.

Он разговаривал теперь с Джеком, как с мужчиной, а «старина Джек», узнав, что подружка захворала из — за него и что он так и уедет, не повидавшись с нею, готов был расплакаться, как ребенок.

Мальчик глядел на валявшиеся повсюду книги, на просторную печальную комнату, слабо освещенную единственной свечой, стоявшей в углу стола, рядом с грогом и бутылкой водки, — доктор, пользуясь отсутствием жены, вернулся к своим морским привычкам. Глаза его блестели, и добряк возбужденно рылся в книгах, сдувал с них пыль: он опустошил целый угол своей библиотеки и набивал книгами открытый ящик, стоявший у его ног.

— Знаешь, что я тут делаю, дружок?

— Нет, господин Риваль.

— Отбираю для тебя книги, добрые старые издания, ты увезешь их с собой и станешь читать, слышишь? Будешь их читать, как только выдастся свободная минута. Запомни хорошенько, мальчик: книги — наши верные друзья. К ним обращаешься в самое трудное время. Можешь быть уверен, они всегда тебе помогут. Про себя скажу, что если бы не книги, я бы не вынес обрушившемся на нас беды, меня бы давно не было на свете. Взгляни на этот ящик, дружок. Тут целая гора книг... Сейчас ты еще не все поймешь. Но это неважно, все равно читай. Даже те книги, смысл которых для тебя будет не совсем понятен, разовьют твой ум. Обещай же, что ты их прочтешь.

— Обещаю, господин Риваль.

— Ну... ящик полон. Сможешь донести? Нет, тяжело. Я пришлю его к тебе завтра. Ну, а теперь простимся!

Милый доктор, сжав голову мальчика своими большими руками, несколько раз крепко поцеловал его.

— Это и за меня и за Сесиль, — прибавил он со своей доброй улыбкой.

Уходя, Джек слышал, как Риваль, затворяя за ним дверь, бормочет: «Несчастный ребенок!.. Несчастный ребенок!..»

Совсем, как в Вожираре, у отцов иезуитов! Но только теперь он уже знал, почему его жалеют.

На следующий день в связи с отъездом Джека в Ольшанике царила суматоха.

В повозку, остановившуюся у ворот, укладывали багаж. Лабассендр был в каком-то экзотическом наряде, будто он отправлялся в далекую экспедицию, куда-нибудь в пампасы: высокие, чуть не до колен гетры, куртка из зеленого бархата, сомбреро, кожаная сумка на перевязи. Он расхаживал взад и вперед; его бас непрерывно гудел. У поэта вид был торжественный и сияющий: торжественный, ибо он считал, что выполняет важную человеколюбивую миссию, сияющий — оттого, что отъезд Джека наполнял его радостью. Шарлотта без конца целовала сына, проверяла, все ли он взял с собой.

Да, он взял с собой все, что нужно. Пожалуй, он даже выглядел слишком нарядно для будущего рабочего: на нем был все тот же праздничный костюм, в котором он собирал

пожертвования в церкви. Как все быстро растущие дети, он был обречен годы отрочества ходить в неудобном, узком и коротком платье.

— Уж вы о нем позаботьтесь, господин Лабассендр!

— Как о своем голосе, сударыня!

— Джек!

— Мама!

Они обнялись в последний раз. Шарлотта рыдала. Мальчик не показывал своего волнения. Мысль, что он будет трудиться ради матери, придавала сил «старине Джеку». На повороте он обернулся, чтобы еще раз увидеть и сохранить в памяти лес, дом, обнесенный оградой сад и лицо матери, которая улыбалась ему сквозь слезы.

— Пиши нам почаще, Джек! — крикнула она.

Поэт торжественно изрек:

— Помни, Джек: жизнь — не роман.

Разумеется, жизнь — не роман, но для этого негодяя она была такой, как в романе.

Достаточно было только поглядеть на то, как он стоял на пороге маленького, украшенного девизом дома, опираясь на плечо своей Шарлотты: он красовался посреди роз, которыми был увит фасад, в эффектной позе и до такой степени был преисполнен себялюбия и самодовольства, что, забыв о своей ненависти, посылал на прощанье рукой отеческое благословение ребенку, которого только что выгнал из дому.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I. ЭНДРЕ

Певец выпрямился во весь рост в лодке — он вместе с Джеком переправлялся через Луару, чуть выше Пембёфа, — и, раскинув руки, точно желая обнять реку, высокопарно воскликнул:

— Посмотри сюда, старина! Ну разве не красота?

И хотя в пафосе актера было много деланного, а потому смешного, но пейзаж, открывшийся их глазам, в самом деле был восхитителен.

Было около четырех часов дня. Июльское солнце, походившее на расплавленное серебро, расстилало на речной ряби свой лучезарный, сияющий шлейф. От этого в воздухе висело трепещущее отражение, как бы световая дымка, и в ней жизнь реки, деятельная, но молчаливая, возникала и исчезала, как мираж. Едва различимые высокие паруса, которые в этом слепящем свете казались золотистыми, проплывали, пронеслись вдалеке. Это шли из Нуармутье большие барки, до самых бортов груженные белой солью, сверкавшей тысячью блесков. У экипажей был необыкновенно живописный вид: мужчины в больших треугольных шляпах бретонских солеваров, женщины в пышных, готовых, казалось, взлететь, чепцах,

ослепительная белизна которых могла поспорить со сверкающей каменной солью. Затем двигались каботажные суда, напоминавшие плавучие ломовые телеги; на их палубах громоздились мешки с зерном, стояли винные бочки. Буксиры тащили бесконечные вереницы барок, а то вдруг проплывало какое — нибудь нантское трехмачтовое судно, возвращавшееся в свой родной порт с другого конца света после двухлетнего отсутствия: оно неторопливо, почти торжественно поднималось вверх по реке, безмолвное и сосредоточенное от встречи с вновь обретенной родиной и овеянное таинственной поэзией дальних стран. Несмотря на июльский зной, свежее дуновение проносилось над этой великолепной, как декорация, картиной. Ветер дул с моря, неся с собой свежесть и приволье открытых просторов, позволяя угадывать, что чуть дальше, за пределами этих стиснутых берегами волнующихся вод, которые постепенно уже утрачивали безмятежное спокойствие пресной воды, раскинулся зеленый безбрежный океан, пенятся валы, бушуют штормы.

— А Эндре? Где же это? — спросил Джек.

— Там. Вон на том острове, прямо против нас.

Сквозь серебристый туман, окутывавший остров, Джек смутно различал шеренги могучих тополей и высоких труб, откуда поднимался густой черный дым; он медленно расплывался и висел над островом, пятная небо. До его ушей доносился оглушительный грохот, удары молотов по железу и по жести, глухой шум, какие-то звенящие звуки, и все это гулко прокатывалось над водой. Но особенно поразило мальчика продолжительное, непрекращающееся сиплое шипение, как будто то был не остров, а гигантский пароход, который стал на якорь, но все еще глухо ворчит, вращая колесами, содрогаясь, но не двигаясь с места.

Лодка медленно, очень медленно приближалась к берегу, ибо по реке ходили волны и плыть было нелегко. Теперь Джек уже отчетливо видел длинные приземистые здания с темными стенами — они тянулись во все стороны с унылым однообразием. На берегу, насколько хватал глаз, вытянулись в ряд огромные выкрашенные суриком котлы, ярко-красный цвет придавал им что-то фантастическое. Военные транспортные суда и паровые баркасы, выстроившись у причала, ждали, пока на них погрузят эти котлы с помощью громадного крана, установленного поблизости и походившего издали на исполинскую виселицу.

У подножия этой виселицы стоял человек и глядел на подплывавшую лодку.

— Это Рудик, — сказал певец и своим громовым басом так оглушительно крикнул «ура», что оно покрыло даже адский шум завода.

— Это ты, меньшей?

— А кто же еще, черт побери?.. Разве есть еще у кого под луною такой бас?

Лодка пристала к берегу. Братья кинулись навстречу друг другу и крепко обнялись.

Они были похожи. Только Рудик был гораздо старше и не было у него той дородности, которую очень скоро приобретают певцы, постоянно развивая свой голос, от чего расширяется грудная клетка. В отличие от младшего брата, носившего раздвоенную бородку, он был гладко выбрит; у него было лицо бретонца, смуглое, выдубленное морским ветром, точно высеченное из скалы; из-под вылинявшего синего шерстяного берета, какой носят моряки, глядели маленькие зоркие глаза, ставшие особенно острыми потому, что он всю жизнь занимался сборкой мелких частей в механизмах.

— Ну как все твои поживают? — спросил Лабассендр. — Как Кларисса, Зинаида и другие?

— Все, слава богу, здоровы! Ага, это и есть наш новый ученик? Славный паренек... Только с

виду-то не больно силен.

— Он силен, как бык, мой милый. Так считают самые выдающиеся медики Парижа.

— Тем лучше, ведь ремесло у нас тяжелое. Если угодно, пойдёмте, не мешкая, к директору.

И они двинулись по аллее, обсаженной чудесными деревьями, которая вскоре перешла в улицу небольшого городка; по обе ее стороны выстроились чистенькие белые дома, как две капли воды похожие один на другой. Тут жили заводские служащие, мастера, наиболее опытные рабочие. Другие жили на противоположном берегу, в Монтани или в Ла Басс-Эндр.

В этот час здесь было тихо: вся жизнь и движение сосредоточились на заводе, и если бы не белье, сушившееся в окнах, не горшки с цветами на подоконниках, если бы не крик ребенка, раздававшийся по временам, или скрип колыбели, доносившийся из полуоткрытой двери, то могло бы показаться, что на этой улице никто не живет.

— Ага, флаг уже спущен, — заметил певец, когда они подошли к заводским воротам. — Немало он мне доставил неприятных минут, этот чертов флаг.

И он пояснил «старине Джеку», что через пять минут после начала рабочего дня флаг на мачте у заводских ворот опускается, возвещая, что проход закрыт. Беда, коли опоздаешь: тебе запишут прогул, а после третьего раза уволят.

Пока Лабассендр вдавался во все эти объяснения, его брат столкнулся с заводским сторожем, и тот разрешил им пройти. Вокруг стоял ужасающий гул, что-то храпело, свистело, скрежетало, эти душераздирающие звуки перемежались друг с другом, ни на минуту не затихая и будя эхо в громадных пролетах цехов с островерхими кровлями, расположенных на отлогом склоне, пересеченном множеством рельсовых путей.

Целый город из железа.

Шаги звенели на металлических плитах, врезанных прямо в землю. Приходилось идти посреди нагромождения железных брусьев, чугунных болванок, слитков меди, мимо длинных верениц пришедших в негодность орудий, которые привезли, чтобы переплавить их на чугун. Заржавевшие снаружи, черные внутри, они как будто еще дымились от пороха; эти одряхлевшие властелины огня вскоре сами должны были погибнуть в огне.

На ходу Рудик называл цеха:

— Тут — сборочный... Там — цех больших, а подальше — малых токарных станков. А здесь — котельный цех, кузницы, литейный двор...

Он вынужден был кричать — такой повсюду стоял оглушительный шум.

Ошеломленный Джек смотрел с изумлением: двери цехов все почти были раскрыты из-за жары, и ему были видны мелькающие руки, покрытые копотью лица, вертящиеся станки — все это происходило точно во мраке пещеры, глубоко и непроглядном, освещавшемся время от времени красными вспышками и отблесками.

Оттуда вырывались клубы пара, запахи угля, обожженной глины и раскаленного железа, оттуда вылетала неуловимая черная пыль, едкая, опаляющая, отливавшая на солнце металлическим блеском, блеском каменного угля, который, как известно, можно превратить в алмаз. И весь этот циклопический труд приобретал какой-то судорожный, торопливый, лихорадочный ритм из-за того, что земля и самый воздух, казалось, то и дело сотрясались, содрогались, как будто от бешеных усилий гигантского зверя, которого держали в заточении в подземельях завода, и он извергал сквозь зияющие трубы свое жгучее и смрадное дыхание, все вокруг наполняя стонами. Из боязни показаться совсем уж простаком, Джек не отважился

спросить, кто же производит этот шум, который еще издали так поразил его.

Внезапно они оказались перед старинным замком времен Лиги,[23] мрачным, с двумя внушительными башнями по бокам его кирпичные стены, потемневшие от заводской копоти, утратили прежний цвет.

— Вот и заводское управление, — объявил Рудик и, повернувшись к брату, спросил: — Ты тоже зайдешь?

— А то как же! Я не прочь повидать хозяина, пусть он убедится, что все его мрачные пророчества не сбылись и дела мои идут шикарно!

Он щеголял своей бархатной курткой, желтыми башмаками и дорожной сумкой на ремне. Рудик ничего не сказал, но видно было, что ему не по себе.

Они вошли в низкий сводчатый проход и очутились в старинном здании. Тут была целая анфилада небольших, плохо освещенных, неправильной формы комнат, и в каждой, не поднимая головы, что-то строчили конторщики. В последней комнате за письменным столом у высокого окна сидел суровый и холодный на вид человек.

— А, это вы, папаша Рудик!

— Я самый, господин директор. Осмелюсь представить вам нового ученика и поблагодарить...

— Вот он каков, этот маленький кудесник! Здравствуй, голубчик! Так, значит, у тебя призвание к механике? Ну что ж, превосходно. — Он внимательнее посмотрел на мальчика и сказал: — Послушайте, Рудик, а ведь он выглядит не очень-то крепким. Он ничем не болен?

— Нет, господин директор. Напротив, меня уверили, что он обладает недюжинной силой.

— Вот именно, недюжинной! — подхватил Лабассендр, делая шаг вперед.

Заметив удивленный взгляд директора, он счел нужным напомнить, что шесть лет назад покинул завод, стал петь в Нантском театре, а оттуда переехал в Париж и теперь поет в Опере.

— Я вас хорошо помню, — равнодушно сказал директор и поднялся, словно желая оборвать разговор. — Возьмите под свою опеку этого ученика, папаша Рудик, и постарайтесь, чтобы из него вышел хороший работник. Полагаюсь на вас.

Раздраженный тем, что задуманный эффект не удался, певец вышел от директора весьма сконфуженный. Рудик ненадолго задержался в кабинете и негромко обменялся несколькими словами со своим начальником. После этого все трое покинули старинное здание, причем каждый был чем-то огорчен. Джек все пытался понять, что скрывается под фразой: «Он не очень-то крепок», — которую все произносили при взгляде на него; Лабассендр никак не мог забыть пережитое унижение; мастер, казалось, тоже был чем-то озабочен.

Когда они вышли, Лабассендр спросил у брата:

— Он тебе что-то обидное сказал? Кажется, он стал еще злее, чем прежде.

Рудик только печально покачал головой.

— Да нет! Мы говорили о Шарло, сыне нашей бедной сестры. Малый очень огорчает нас.

— Нантец огорчает вас? — удивился певец. — А что такое?

— Дело в том, что после смерти матери он стал просто лоботрясом: играет в карты, пьет, влезает в долги. А ведь он неплохо зарабатывает в чертежной мастерской. Второго такого чертежника в Эндре не сыщешь. Да что толку? Все в карты просаживает. Видать, эта страсть сильнее его! Кто только в это дело ни вмешивался: и директор, и я сам, и жена моя — ничего не выходит. Он слезу пускает, раскаивается, клянется, что больше не будет, но вот получка — и все побоку! Уезжает в Нант, и снова за карты! Я уж не раз покрывал его проигрыши. Но теперь довольно, больше не стану. Сам знаешь, у меня семья, да и Зинаида выросла, надо о ней позаботиться. Бедная девочка! Подумать только, я собирался ее выдать за двоюродного брата, за этого прощелыгу! То — то она была бы с ним счастлива! Кстати, она сама не пожелала: хоть он и хорош собой, да и сердцеед, каких мало. Эх, видать, у женщин больше здравого смысла, чем у нашего брата!.. Так-то вот. Теперь мы надумали выпроводить его отсюда, чтобы отвести от плохой компании. И директор как раз — говорил мне, что подыскал ему местечко в Гериньи, в Ньевре. Не знаю только, согласится ли Нантец туда поехать. У него тут, видно, какая-то зазноба завелась, она-то его и держит. Послушай, меньшей, надо бы тебе с ним вечером потолковать. Может, он тебя послушает.

— Ладно, я за него возьмусь, не бойся! — сказал Лабассендр с важностью.

Они спускались по окованным железом заводским переходам. Рабочий день кончился, и переходы были запружены толпой людей разного возраста и профессий: блузы и куртки рабочих пестрели попеременно с сюртуками чертежников и мундирами надсмотрщиков.

Джека поразило, как чинно выходят люди с заводского двора. Он невольно сравнил эту толпу, с шумной толпой, которая заполняет тротуары Парижа, когда рабочие расходятся из мастерских. Там они скорее напоминают школьников, разбегающихся после уроков. А здесь сказывались порядок и дисциплина, словно на борту военного корабля.

Клубы горячего пара плавали над головами люден — клубы, которые ветер с моря еще не успел рассеять, и они, точно тяжелое облако, висели в неподвижном небе погожего июльского вечера. Из затихших цехов выходил запах кузни. Пар со свистом полз по канавкам, у людей со лба градом катился пот, а пыхтение, которое еще недавно удивило Джека, прекратилось, и теперь вновь слышалось дыхание двух тысяч рабочих, смертельно уставших от непосильного труда.

Многие в толпе сразу же узнали Лабассендра.

— Гляди-ка: младший Рудик! Ну, как поживаешь?

Его окружили, крепко пожимали руки и говорили тем, кто не знал его:

— Это брат Рудика, он загребает сто тысяч франков в год только тем, что горло дерет!

Всем хотелось поглазеть на него: бывший кузнец, как многие думали, составивший себе состояние, сделался на заводе живой легендой, и после его отъезда не один молодой рабочий пробовал петь, проверяя, не таится ли, часом, и в его гортани знаменитая «нота», которая сулит миллионы.

Окруженный всеобщим восхищением, которое в значительной мере относилось к его театральному наряду, певец шагал с высоко поднятой головой, громко разговаривал, раскатисто хохотал и, поглядывая на окна домов, откуда выглядывали оживленные лица женщин, на двери кабачков и харчевен, которых видимо-невидимо в этой части Эндре, он то и дело восклицал: «Здорово, папаша! Добрый вечер, тетушка!» Они проходили мимо расставленных прямо под открытым небом лотков, на которых бродячие торговцы раскладывают свой товар: блузы, башмаки, шляпы, шейные платки — словом, все те дешевые вещи, которые продают возле солдатских лагерей, казарм, фабрик.



Когда Джек проходил этим торговым рядом, ему показалось, будто он видит знакомое улыбающееся лицо, словно кто-то проталкивается к нему. Но то было мелькнувшее, как молния, видение: его тут же унес с собой изменчивый людской поток, который растекается по большому рабочему поселку и достигает противоположного берега реки: людей перевозили туда длинные, быстроходные лодки; их было так много и они были так набиты, как будто здесь переправлялась целая армия.

Вечер спускался на этот взбудораженный, гудящий человеческий муравейник. Солнце садилось на горизонте. Ветер крепчал и раскачивал верхушки тополей, напоминавшие кроны пальм. Поистине грандиозное зрелище являл собою этот остров тружеников, для которых наступило наконец время отдыха и которым возвращали природу, пусть даже на одну только ночь. Дым постепенно рассеивался, и между зданиями заводских цехов показывалась густая зелень. Слышно было, как волны ударяют о берег. Ласточки с негромким щебетанием носились над самой поверхностью воды и кружили возле громадных котлов, стоявших вдоль причала.

Жилище Рудиков было первым в длинном ряду новых домов, выстроившихся наподобие казарменных на широкой улице за старинным замком. Молодая женщина стояла на крылечке, куда вело несколько ступенек, и, наклонив голову, слушала высокого молодца, прислонившегося к стене и что-то взволнованно ей говорившего. Сперва Джек решил, что это дочь Рудика, но тут старый мастер сказал певцу:

— Смотри! Опять жена отчитывает племянника.

Мальчик вспомнил, как Лабассендр по дороге рассказывал ему, что брат его несколько лет назад вторично женился. Молодая женщина, высокая, стройная, была хороша собой. На ее мягком лице лежала печать слабости и беспомощности; подобно женщинам, у которых слишком пышные волосы, она слегка выгибала шею. Не в пример большинству бретенок она была с непокрытой головой; легкая юбка и черный изящный фартучек придавали ей сходство скорее с женой чиновника, нежели с крестьянкой или работницей.

— Ну, как ты ее находишь? — спросил Рудик брата, подталкивая его локтем и сияя от гордости.

— Поздравляю тебя, дружище! Со времени свадьбы она еще похорошела.

Молодые люди между тем так увлеклись разговором, что ничего не видели и не слышали.

Певец шагнул вперед, плавным движением руки снял сомбреро и оглушительно запел на всю улицу:

Привет тебе, приют священный

Привет тебе, приют невинный...[24]

— Гляди-ка: дядюшка! — воскликнул, оборачиваясь, тот, кого называли Нантцем.

Все стали здороваться и обниматься. Потом Рудик представил нового ученика. Нантец смерил его пренебрежительным взглядом, а г-жа Рудик ласково сказала:

— Надеюсь, тебе будет у нас хорошо, дружок.

Затем все вошли в комнату.

Стол был накрыт за домом, в сожженном солнцем садике, где все растения высохли, овощи перезрели, цветы пошли в семена. Такие же садики, отделенные один от другого решетчатой загородкой, тянулись вдоль небольшого рукава Луары, который играл в здешних местах роль Бьевры:[25] на прибрежной траве было разложено белье, здесь же сушились сети, в воде мокла конопля; в эту же речушку попадали и отбросы из расположенных здесь рабочих жилищ.

— А где же Зинаида? — спросил Лабассендр, усаживаясь за стол, поставленный в увитой зеленью беседке.

— Начнем пока есть суп, — ответил Рудик, — она тем временем подойдет. Дочка поденно работает в замке. Да, брат, она у нас заправская портниха.

— Она обшивает директора? — воскликнул Лабассендр, который до сих пор не забыл оказанного ему приема. — Воображаю, как ей там приятно! Спесивый, чванный человек!

И он принялся честить директора, а ему вторил Нантец, у которого были свои основания питать злобу к директору. Дядя и племянник вообще были из одного теста: оба находились на той грани, которая отделяет искусного ремесленника от человека искусства, природа отпустила им ровно столько таланта, чтобы можно было выделяться в своей среде, но почти полное отсутствие образования, дурные привычки и наклонности мешали им подняться над этой средой. В Европе встречаются такого рода социальные метисы, едва ли не самые опасные и злополучные представители человеческого рода, завистливые, злобные, наделенные бесплодным честолюбием.

— Вы ошибаетесь. Напротив, он превосходный человек, — возражал папаша Рудик, защищая своего начальника, которого он любил и уважал. — Правда, он бывает крут, как только дело дойдет до дисциплины. Но когда у тебя под началом две тысячи рабочих, нужна твердая рука. Иначе каши не сваришь. Правда, Кларисса?

Он все время искал поддержки у жены, потому что ему приходилось вести спор с двумя завзятыми болтунами, а сам он был отнюдь не красноречив. Но Кларисса занималась обедом, а ее замедленные движения и блуждающий взгляд говорили о том, что она чем-то скована, поглощена и что все ее душевные силы заняты внутренней борьбой.

По счастью, на помощь Рудикю подоспело подкрепление, и подкрепление внушительное. Зинаида, низенькая толстушка, прибежала вся красная, запыхавшаяся и тут же устремила в самую гущу схватки. Ее-то уж никак нельзя было назвать красивой. Плотная, коротконогая, почти совсем без талии, она походила на отца. Белый герандский чепец, напоминавший сплюснутую диадему, недлинная юбка, схваченная на бедрах шнурком, небольшая шаль, спущенная с плеч, — все это делало ее фигуру еще шире и мощнее. Положительно, она смахивала на шкаф. Густые, почти сросшиеся брови и квадратный подбородок этой бойкой девушки говорили об энергии, силе и твердой воле, что делало ее полной противоположностью мачехе, лицо которой выражало мягкость и беспомощность.

Даже не отвязав больших ножниц, висевших у ее пояса, точно сабля, и не сняв передника, утыканного булавками, иголками и, словно панцирь, облежавшего ее отважную грудь, она уселась возле Джека и тут же ринулась в бой. Краснобайство певца и чертежника ее не очень пугало. Она говорила все, что ей хотелось сказать, простецким тоном славной женщины, говорила без обиняков, напрямик. Но, когда она обращалась к двоюродному брату, ее голос звучал гневно, а глаза сверкали.

Нантец притворялся, будто ничего не замечает, улыбался, отделялся шуточками, которые, однако, не смешили Зинаиду.

— А я-то собирался их поженить! — полушутя, полусерьезно сокрушался папаша Рудик,

прислушиваясь к тому, как они препираются.

— Это не я отказался, — смеясь сказал Нантец, глядя на кузину.

— Я не захотела, — сердито заявила юная бретонка, сдвинув свои грозные брови и не опуская глаз. — И очень рада. Судя по тому, как все складывается, мне бы теперь, верно, пришлось утопиться с горя, что я вышла замуж за вас, мой распрекрасный кузен!

Это было сказано таким тоном, что «распрекрасный кузен» на минуту даже растерялся.

Кларисса тоже сильно смутилась, и ее затуманенный слезами взгляд с мольбой устремился на падчерицу.

— Послушай, Шарло, — начал Рудик, чтобы переменить разговор, — вот тебе доказательство, что наш директор — прекрасный человек. Он подыскал тебе превосходное место на заводе Гериньи и поручил мне сообщить тебе об этом.

Наступило короткое молчание. Нантец не спешил с ответом. Рудик настаивал:

— Заметь, парень, что там у тебя будут гораздо лучше условия, чем тут, и что... и что...

Он беспомощно глядел на брата, на жену, на дочь, как бы надеясь с их помощью закончить фразу.

— И что лучше самому уйти добром, а не ждать, пока тебя выгонят. Верно, дядюшка? — резко спросил Нантец. — Так вот, пусть лучше меня выгонят, если я им не нужен, но только я не хочу, чтоб со мной обращались, как с каким-то рукосуем, которому для виду дают прибавку, а на деле хотят от него избавиться.

— А ведь он прав, черт возьми! — заорал Лабассендр, стукнув кулаком по столу.

Разгорелся спор. Рудик несколько раз бросался в атаку, однако Нантец держался стойко. Зинаида молчала и не спускала глаз с мачехи, которая то и дело выходила из-за стола, хотя в этом не было никакой нужды.

— А вы, матушка? — спросила она, наконец. — Вы тоже считаете, что Шарло надо поехать в Гериньи?

— Ну да, ну да!.. — поспешила отозваться Кларисса. — Мне кажется, он должен согласиться.

Нантец поднялся мрачный, раздраженный.

— Хорошо, — буркнул он, — раз уж все так хотят, чтобы я убрался, не о чем больше и говорить. Через неделю я отсюда уеду. Вот и весь сказ.

Спускалась ночь, принесли лампу. Соседние садики тоже осветились, отовсюду долетали взрывы смеха, стук тарелок, — люди незатейливо веселились на открытом воздухе, точно в пригородном кабачке.

Лабассендр воспользовался наступившим молчанием и принялся разглагольствовать, припомнив обрывки различных учений, о которых много говорили в гимназии Моронваля и в которых шла речь о правах рабочего, о судьбах народа, о тирании капитала. Он произвел большое впечатление; бывшие товарищи, пришедшие посидеть часок с певцом, восторгались его краснобайством. Лабассендру уже не мешал провинциальный выговор, он говорил гладко, но это делало еще более явной банальность его речей.

Все эти люди в рабочей одежде, с темными, усталыми лицами, которых, одного за другим,

Рудик приглашал присесть, устраивались за столом в самых непринужденных позах, наливали полные стаканы вина, залпом осушали их и отдувались, вытирая рот рукавом; они ни на минуту не выпускали стакана из одной руки, а трубки — из другой. Даже в среде неудачников Джек никогда не видал таких манер, а крепкие словечки, то и дело раздававшиеся за столом, резали ему ухо своей неприкрытой грубостью. Да и говорили-то они между собой не так, как другие люди, — у них был в ходу свой жаргон, который казался мальчику низменным и безобразным. Паровую машину называли «паровиком», старших мастеров — «буферами», нерадивых работников — «рукосуями».

Джек смотрел на рабочих, сменявших друг друга за столом — никто не обращал внимания на приходивших и уходивших, — и внезапно его охватила глубокая тоска.

«Таким же стану и я!» — со страхом подумал он.

В тот же вечер Рудик представил его старшему мастеру кузнечного цеха, которого звали Лебескан, — под его началом предстояло работать Джеку. Лебескан, заросший волосами циклоп, борода у которого начиналась чуть ли не от самых глаз, недовольно поморщился, заметив, что его будущий ученик одет барчуком, что у него слишком тонкие кисти и белые руки. В тринадцать лет Джек все еще смахивал на девочку. Его золотистые, хотя и коротко остриженные, волосы были красиво уложены и, казалось, еще хранили следы прикосновений ласковых материнских рук. Присущая ему утонченность и изысканность, его врожденное изящество, которое так раздражало д'Аржантона, особенно чувствовались в этой простецкой среде.

Лебескан нашел, что мальчик уж больно тщедушный, совсем «хлипкий».

— Да нет, он просто устал с дороги, а потом барское платье придает ему такой вид, — вступился за Джека добрый Рудик и, обратившись к жене, прибавил: — Кларисса! Надо бы поискать для нашего ученика рабочие штаны да блузу... Постой! Знаешь что, жена? Отведи-ка ты его наверх, к нему в комнатку. Он валится от усталости, а ведь завтра ему подниматься в пять утра. Слышишь, малый? Ровно в пять я тебя разбужу.

— Хорошо, господин Рудик.

Перед уходом Джеку пришлось еще прощаться с Лабассендром, который обязательно хотел выпить стаканчик в его честь.

— За твоё здоровье, старина Джек, за здоровье рабочего человека! Повторяю, дети мои: в тот день, когда вы этого захотите, вы станете властителями мира.

— Ого! До властителей мира нам еще далеко, — с улыбкой проговорил Рудик. — Вот если бы обзавестись на старости лет собственным домиком да несколькими арпанами! [26] земли поблизости от моря, тогда больше и мечтать не о чем.

Они продолжали рассуждать, а Джек в сопровождении обеих женщин вошел в дом. Дом был небольшой. В нижнем этаже — две комнаты, одна из них именовалась «залой», в ней красовалось кресло да несколько больших раковин на камине; наверху тоже были две комнаты. Стены часто белили, кровати были большие, с пологом из старого ситца в розовых и бледно-голубых разводах и с бахромой. В горнице Зинаиды кроаать по старинному бретонскому обычаю была врезана в стену, как шкаф. Резной дубовый шкаф, окованный железом, и развешанные на стенах картинки из священной истории вперемежку с четками из слоновой кости, из ракушек, из американских зерен довершали убранство. Стоявшая в углу ширма в крупных цветах скрывала лесенку, которая вела на антресоли — шаткую, ходившую ходуном каморку, где должен был жить ученик.

— Вот моя спальня, — сказала Зинаида. — А ты, голубчик, будешь наверху, прямо над моей

головой. Пусть это тебя не смущает, ходи себе, хоть танцуй: я сплю как убитая.

Ему дали в руки большой зажженный фонарь, он пожелал женщинам спокойной ночи и взобрался на антресоли, попросту чердачок, который так раскалялся от солнца, что даже в этот ночной час стены еще хранили дневной жар, и тут было невыносимо душно. Узенькое слуховое оконце выходило прямо на крышу и пропускало мало воздуха. Слов нет, после дортуара в гимназии Моронваля «старину Джека» трудно было удивить любым, самым неприглядным жильем, но там по крайней мере он был не один, а с товарищами легче сносить любые невзгоды. Тут же не было ни Маду — бедняги Маду! — ни кого-либо другого. И теперь он был в полном одиночестве в этой мансарде; из ее окошка было видно лишь небо, она терялась в его синеве, словно челн в открытом море.

Мальчик смотрел на покатый потолок, о который он уже ударился головой, на лубочную картинку, приколотую к стене четырьмя булавками, потом оглядел лежавший на постели костюм, приготовленный для него к завтрашнему дню: широкие холщовые синие штаны, которые у рабочих называются просто «портками», и блузу, крепко прошитую в плечах, чтобы она не разорвалась в пройме при резком движении рук. В брошенной на одеяло одежде, казалось, было что-то усталое, беспомощное, словно изнуренный человек без сил повалился на кровать, раскинув руки и ноги.

Джек невольно подумал: «Это я. Вот каким я теперь буду!» Ему было грустно видеть свой прообраз, а из сада между тем долетал неясный шум беседы захмелевших гостей, из нижней комнаты доносился оживленный спор между Зинаидой и мачехой.

Трудно было различить, что говорит девушка, у которой был низкий и глухой, как у мужчины, голос. У г-жи Рудик голос был нежный и певучий, и сейчас в нем звенели слезы.

— Да пусть он едет, господи, пусть едет! — говорила она с такой горячностью, какой от нее по внешнему виду трудно было ожидать.

И тут голос Зинаиды, до этого звучавший сурово и твердо, смягчился. Потом обе женщины расцеловались.

А в беседке тем временем Лабассендр затянул один из тех старинных чувствительных романсов, которые так нравятся рабочим:

К берегам французским

Тихо мы плывем.

Все хором подхватили медленный припев:

Да, да.

Плывем и поем!

Для нас

Ветер стих как раз.

Джек почувствовал, что он находится в незнакомом мире, где — он это предвидел — ему ничего не добиться.

Ему было страшно, он смутно понимал, что между ним и окружающими его теперь людьми — огромное расстояние, глубокая пропасть, и нет мостов, чтобы перейти через нее. Только мысль о матери поддерживала и утешала его.

Мама!

Он думал о ней, глядя на усеянное звездами небо, которые тысячью золотистых точек отражались на синем четырехугольнике его оконца. Внезапно из глубины маленького домика, который наконец-то погрузился в сон и тишину, до мальчика донесся протяжный вздох. В этом прозвучавшем совсем рядом вздохе еще слышались слезы, и Джек понял, что г-жа Рудик тоже плакала у своего окна и что этой чудесной ночью рядом с его болью не затихала еще чья-то боль.

## II. ТИСКИ

Посреди кузнечного цеха, огромного крытого пролета, величественного, как храм, куда дневной свет падает яркими желтыми полосами и где темные углы внезапно озаряются вспышками огня, огромная железная махина, укрепленная на полу, разевает свои хищные челюсти — они все время в движении, они хватают и сжимают раскаленный докрасна металл, который куют молотами, рассыпающими вокруг дождь искр. Это — тиски.

Для начала ученика прежде всего ставят к тискам.[27] Тут, поворачивая тяжелый винт с резьбой, что уже само по себе требует большей силы, чем та, какой обладает ребенок, он мало-помалу знакомится с инструментами цеха, с тем, как куют и обрабатывают железо.

Джек во власти тисков! Если бы я десять лет кряду подыскивал иное выражение, я и тогда не придумал бы ничего лучшего, чтобы передать тот страх, ту смертельную тоску, то ощущение удушья, какими наполняет мальчика все, что теперь окружает его.

Прежде всего шум, адский, оглушительный шум, который производят триста молотов, разом опускающихся на наковальни, свист узких ремней, скрип вращающихся блоков и гул, рождаемый тяжело работающими людьми: триста голых по пояс мужчин, у которых натужно вздымается грудь, подбадривают друг друга хриплыми возгласами, совсем не похожими на человеческие; все они в каком-то опьянении силой, когда кажется, что вот-вот лопнут мышцы, остановится дыхание. Вагонетки, груженные раскаленным металлом, в разных направлениях катятся по рельсам, проложенным прямо в цеху. Воздуходувки лихорадочно работают вокруг горнов, вздувая зарево огня и словно питая пламя жаром человеческих тел. Все вокруг скрежещет, грохочет, звенит, воет, лает. Кажется, будто ты попал в грозный храм свирепого и неумолимого идола. На стенах висят инструменты, напоминающие орудия пытки, — крючья, клещи, щипцы. С потолка свисают тяжелые цепи. И все тут твердое, прочное, громадное, грубое. А в дальнем углу окутанный густым, таинственным мраком, гигантский пестовой молот, мощностью в тридцать тонн, медленно скользит между двумя чугунными опорами, — он окружен почтительным поклонением всего цеха, словно глянцево-черный Ваал этого капища, посвященного божествам силы. Когда кумир возглашает, раздается глухой, сильный шум, от него сотрясаются стены, потолок, пол, а в воздухе вихрем крутятся железные опилки и пыль.

Джек подавлен. Он молча выполняет то, что ему велено, а вокруг тисков, держа в руках полосы железа с раскаленным концом, снуют полуголые люди, потные, волосатые,

согбенные, скрюченные: из-за невыносимой жары, в которой им приходится работать, они как будто и сами приобретают податливость расплавленного железа, размяченного пламенем, и бурлящего металла. Ах, если бы эта взбалмошная Шарлотта могла, чудом преодолев расстояние, собственными глазами увидеть сына, своего Джека, среди этого кишящего, как муравейник, скопища людей, увидеть его осунувшееся, мертвенно-бледное, залитое потом лицо, его худые руки с засученными по локоть рукавами, впалую, слишком белую грудь, выглядывающую сквозь распахнутую рубаху, его красные веки и горло, воспаленное от плавающей в воздухе едкой пыли, — какую бы она почувствовала жалость и какие мучительные угрызения совести!

В цеху уж так заведено — у каждого своя кличка, и Джека из-за его худобы прозвали «Ацтек». Этот похожий на херувима золотоволосый мальчик мало-помалу превращался в фабричного подростка — в юное существо, живущее почти без воздуха, измотанное, задыхающееся, лицо которого до времени стареет, а тело чахнет.

— Эй, Ацтек, поддай жару, парень! Закручивай винт! Да посильнее! Ну же, черт побери!

Это орет Лебескан — «буфер», его громовой голос слышен даже в этом дьявольском грохоте. Черный великан, которому Рудик доверил начальное обучение Джека, по временам останавливается, чтобы дать мальчику совет, показать, как держат молот. Учитель груб, ученик неуклюж. Учитель презирает слабость подростка, тот боится силы учителя. Джек делает все, что ему приказывают, из последних сил закручивает винт тисков. Руки у него сплошь в волдырях и ссадинах, его бросает в жар, ему хочется плакать. Минутами ему начинает казаться, что он уже не живет. Ему мерещится, будто он частица непонятного механизма, один из инструментов, что-то вроде маленькой, лишенной сознания и воли шестеренки: она вертится и скрежещет вместе со всей сложной системой зубчатых колес, которую приводит в движение таинственная, незримая сила. Теперь-то он ее уже знает, он восхищается ею и боится ее. Имя этой силе — пар!

Да, это пар перепутал под потолком цеха все приводные ремни, которые ползут вверх, опускаются вниз, перекрещиваются и соединяются со шкивами, молотами, кузнечными мехами! Это пар приводит в движение пестовой молот и громадные строгальные станки, на которых самое твердое железо превращается в стружку, тонкую, как нить, закрученную, завитую, как локон. Это он озаряет углы кузни снопами огня, это он распределяет силы и труд во всех частях цеха. Это рожденный им глухой шум и его мерное содрогание так потрясли мальчика в день приезда, и теперь ему чудится, будто он и живет-то лишь по милости пара, будто пар похитил у него живую душу и превратил его в нечто столь же послушное, как те мертвые машины, которые он, пар, приводит в движение.

Какая ужасная жизнь, особенно после двух привольных лет, которые Джек провел на чистом воздухе в Ольшанике!

Каждый день, в пять утра, папаша Рудик будил его: «Эй, малый!» Голос мастера разносился по всему дому, сбитому из досок. Оба торопливо завтракали. Присев у края стола, выпивали по стаканчику вина, которое им подавала красавица Кларисса, даже не успевшая снять ночной чепчик. А затем — в путь, на завод, где уже гудел колокол — уныло, неумолимо, протяжно. «До-о-он, до-о-он, до-о-он...» — как будто ему нужно было разбудить не только остров Эндре, но и всю округу, воды, небо, порт Пембеф и порт Сен-Назер. Всюду слышался шум шагов, поднималась толчея — на улицах, во дворах, у входа в мастерские. Истекали предусмотренные заводским распорядком десять минут, флаг опускался, возвещая опоздавшим, что заводские ворота для них закрыты. В первый раз у них вычитали из жалованья, во второй раз временно отстраняли от работы, а в третий — увольняли.

Уж на что обременительный и жестокий распорядок дня придумал д'Аржантон, но и он перед этим померк!

Джек очень боялся «пропустить флаг» и потому чаще всего приходил к заводским воротам задолго до первого удара колокола. Но все-таки однажды, месяца через два — через три после поступления на завод, недоброжелательство других учеников едва не помешало ему вовремя прийти на работу. В то утро с моря дул сильный ветер, весело гулявший над островом и окружавшими его просторами. И как раз в ту минуту, когда мальчик подходил к цеху, порыв ветра сорвал с него фуражку и унес ее.

— Держи! Держи! — завопил бедняга, устремляясь за нею в погоню вниз по гористой улице.

Но тут какой-то проходивший мимо ученик поддел фуражку ногой, и она отлетела еще дальше. Другой последовал его примеру, потом-третий. Это превратилось в потеху для всех, кроме Джека, который из последних сил бежал под улюлюканье, под крики: «Ату его!.. Ату его!..»-под взрывы хохота, с трудом удерживаясь, чтобы не расплакаться, ибо он ясно чувствовал, сколько злобы на него таилось в этой грубой шутке. Тем временем колокол отбивал последние удары. Мальчику пришлось махнуть на все рукой и поскорей вернуться. Он был убит. Ведь фуражка не дешево стоит! Надо будет написать матери, попросить у нее денег. А вдруг письмо попадет на глаза д'Аржантону! Особенно его приводила в отчаяние злоба, которую питали к нему, — она проявлялась в каждой мелочи. Есть люди, которые нуждаются в нежности, как растения в тепле; Джек принадлежал к их числу. И он спрашивал себя с душевной болью: «За что? Что я им сделал?»

Когда Джек, запыхавшись, подошел к еще открытым заводским воротам, он услышал за собой шаркающие шаги и хриплое дыхание, и почти тотчас же чья-то большая рука опустилась на его плечо. Обернувшись, мальчик увидел какое-то рыжее чудище. Незнакомец улыбался, отчего все лицо у него пошло мелкой рябью морщинок, и протягивал подобранную им фуражку. Уже во второй раз после своего приезда в Эндре Джек видел эту славную улыбку и чем-то знакомое лицо. Но где же он прежде встречал этого человека? Ах да, черт побери! На дороге в Корбейль! Ведь это же тот самый бродячий торговец, убежавший тогда от грозы с ворохом шляп на спине!.. Но в ту минуту ему уже некогда было возобновлять знакомство. Сторож, спускавший флаг, крикнул:

— Эй, Ацтек!.. Поторопись!

Мальчик успел схватить злополучную фуражку и поблагодарить Белизера; тот захромал по улице.

В этот день, стоя у тисков, Джек уже не чувствовал себя таким заброшенным, таким одиноким. Перед глазами у него была живописная дорога в Корбейль — она вилась прямо по кузнечному цеху, окруженная парками, зелеными лужайками, по ней катил кабриолет доктора Риваля, возвращавшегося вечером домой мимо леса. Свежесть лугов, о которых он грезил, и реки, которую он себе представлял здесь, в этом аду, наполняла его лихорадочной дрожью, мальчика кидало то в жар, то в холод. Выйдя с заводского двора, Джек по всему Эндре искал Белизера, но бродячий торговец исчез. Не появился он ни на следующий день, ни позднее. Постепенно эта уродливая физиономия, которая напоминала мальчику такую чудесную пору, изгладилась из его памяти, но происходило это медленно, с таким же трудом, с каким шагал по дорогам торговец. И опять наступило одиночество...

В цеху его невзлюбили. Всякое скопище людей нуждается в козле отпущения, в существе, над которым зло издеваются, на ком срывают раздражение, вызванное усталостью. В кузнечном цеху эта незавидная роль пришлось на долю Джека. Другие ученики — почти все родом из Эндре, сыновья или младшие братья местных рабочих — всегда могли найти себе защиту, и их не трогали. Охотнее всего преследуют слабых, безответных, ни в чем не повинных, зная, что это пройдет безнаказанно. А за Джека некому было вступить. Старший мастер, найдя, что ученик слишком уж «хлипкий», перестал обращать на него внимание, и Джек превратился в мишень для жестоких выходок мастеровых. В самом деле, зачем он



вообще сюда явился, этот тщедушный парижанин, который и говорит-то не так, как другие, и, обращаясь к товарищам, то и дело вставляет: «Да, сударь... Спасибо, сударь...»? Им все уши прожужжали каким-то там его призванием к механике. А на поверку оказалось, что Ацтек ни черта в ней не смыслит. Даже заклепки сделать не умеет. И вскоре от презрения мастеровые перешли к холодной жестокости: так грубая сила мстит утонченной слабости. Не проходило дня, чтобы ему не устроили какую-нибудь каверзу. Больше всех свирепствовали ученики. Однажды кто-то из них протянул ему брусок железа с раскаленным, но уже потемневшим концом: «Держи, Ацтек!» Мальчик неделю провалялся в больнице! Я уже не говорю о грубых, неуклюжих шуточках окружавших его людей, которые привыкли ворочать громадные тяжести и потому не отдавали себе отчета в силе своих дружеских тумачков...

Лишь по воскресеньям Джек немного приходил в себя и отвлекался. Он вытаскивал из ящика одну из книг доктора Риваля и шел с нею на берег Луары. Там, на косе, далеко врезавшейся в воду, стояла старая, наполовину разрушенная башня, которую все называли башней святого Эрмелана; она походила на древнюю сторожевую вышку времен норманнских набегов.

Он устраивался у подножия этой башни, в расселине утеса, клал на колени раскрытую книгу и, как очарованный, глядел на расстилавшуюся перед ним реку, на плещущие волны. В воздухе разносился колокольный звон со всех окрестных церквей, возвещая воскресный отдых и покой. По речной глади скользили суда, далеко-далеко, в разных местах, с визгом и смехом купались дети.

Мальчик читал, но некоторые книги доктора Риваля были слишком трудны для него. Чтобы понять их, ему не хватало знаний, развития; они оставляли в его душе хорошие семена, которые могли прорасти лишь много позднее. Джек откладывал книгу и мечтал, прислушиваясь к плеску воды, набегавшей на камни, к мерному рокоту волн. В эти минуты он был далеко, очень далеко и от завода и от работы, он мысленно был с матерью и со своей маленькой подружкой, он вспоминал другие воскресные дни, когда он был так нарядно одет и так счастлив, ему мерещились площадь перед церковью после обедни, прогулки по окрестностям Этьоля с разряженной Шарлоттой, просторная аптека, где он играл вместе с Сесиль, и белый ее передничек, словно ясная детская улыбка, озаряющая все вокруг.

На несколько часов он забывал обо всем и был счастлив. Но пришла осень с холодными, бесконечными дождями и резким ветром, и Джеку пришлось прекратить прогулки к башне святого Эрмелана. Теперь он проводил воскресные дни в доме Рудика.

Кротость мальчика подкупала этих людей. Все они были очень добры к нему. Зинаида — та просто была от него без ума, по-матерински заботилась о нем, чинила его белье — трудно было даже предположить такое усердие в этой с виду неповоротливой толстушке. В замке, куда девушка ходила на поденную работу, она, не умолкая, рассказывала об ученике. Папаша Рудик, хотя и презирал Джека за слабосилие и отсутствие рабочей смекалки, все же соглашался:

— Что ни говори, а он малый славный.

Мастер считал только, что Джек слишком уж много читает, и порою со смехом спрашивал у него, кем он собирается стать — школьным учителем или священником. Но хоть он и подшучивал над мальчиком, чувствовалось, что он питает некоторое уважение к своему образованному ученику. Происходило это потому, что сам папаша Рудик, помимо своей профессии, мало что знал; он читал, писал, как недоучка, что несколько смущало его с тех пор, как он стал мастером и женился на Клариссе.

Г-жа Рудик была дочерью артиллериста. Эта недурно воспитанная провинциальная барышня выросла в многодетной и небогатой семье, в которой каждому приходилось трудиться и проявлять бережливость. Вынужденная выйти замуж за человека, который мало подходил ей

по возрасту и по образованию, она тем не менее до сих пор питала к мужу спокойную и слегка покровительственную привязанность. Он же боготворил свою жену и был влюблен в нее, как бывают влюблены только в двадцать лет, он был готов лечь поперек ручья, лишь бы она не промочила ножек. Он любовался ею и с полным основанием находил, что ни у кого из мастеров нет такой хорошенькой и такой кокетливой жены: почти все его товарищи были женаты на плотных бретонках, которые уделяли больше времени хозяйству, нежели своим чепцам.

Клариссе были свойственны навыки и умение девушки из небогатого дома, привыкшей своими руками вносить во все известную элегантность. После замужества она жила почти в полной праздности, зато — только благодаря своим ловким рукам — она красиво одевалась и красиво причесывалась, что особенно отличало ее от местных жительниц, походивших на монахинь, потому что они прятали волосы под плотными полотняными повязками и носили юбки, с прямыми складками, уродовавшими фигуру.

В доме Рудиков на всем лежал отпечаток некоторой изысканности. На окнах, как во всех бретонских домах, висели длинные кисейные занавески, зато мебель, которой было немного, сверкала чистотой, а на подоконнике стоял горшок базилика или красных левкоев. И когда вечером Рудик возвращался с завода, он всякий раз испытывал радостное чувство при взгляде на свой чистенький домик и на свою празднично одетую жену. Он не задумывался над тем, отчего Кларисса и в будни сидит сложа руки, как в воскресенье, отчего, приготовив обед, она мечтательно смотрит вдаль, сидя у окна, вместо того чтобы приняться за шитье, как поступает хорошая хозяйка, которой не хватает дня, чтобы управиться с домашними делами.

В простоте душевной Рудик воображал, что жена прихорашивается для него, а в Эндре его все так любили, что ни у кого не хватало духа вывести его из заблуждения и объяснить, что всеми мыслями, всеми чувствами Клариссы завладел другой.

Много ли было правды в этих домыслах?

Те, кто любил посудачить на пороге своего дома, и те, кто с немислимой быстротой разносил сплетни по маленькому городку, неизменно соединяли имя г-жи Рудик с именем Нантца.

Если кумушки болтали и неспроста, то в оправдание Клариссы надо сказать, что она была знакома с Нантцем еще до замужества. Он вместе с будущим ее мужем приходил в дом ее отца, и если бы племянник, высокий и кудрявый красавец, посватался вместо дядюшки, ему бы, разумеется, отдали предпочтение. Но кудрявому красавцу это в голову не приходило. Он только тогда соблаговолил заметить, что Кларисса прелестна, изящна и хороша собой, когда она стала его тетушкой, юной тетушкой, с которой он сразу же усвоил приветливый и слегка насмешливый тон, особенно когда охотно посмеивался над их и в самом деле странным родством, ибо племянник был даже несколько старше своей новой тетки.

Что же произошло дальше?

Жизнь под одной крышей и дозволенная родством близость, долгие вечерние разговоры вдвоем, когда папаша Рудик дремал за столом, а Зинаида допоздна засиживалась в замке, спешно заканчивая какой-нибудь наряд, — могло ли все это пройти даром для этих молодых красивых людей, тянувшихся друг к другу? Могли ли они устоять перед соблазном? Вряд ли. Казалось, они были созданы один для другого. Безвольной Клариссе так хотелось опереться на крепкое и сильное плечо своего пригожего племянника!

Однако все это были только догадки, а полной уверенности ни у кого не было. К тому же за виновными, а вернее, за обвиняемыми, неотступно следило недреманное око Зинаиды, которая давно уже наблюдала за тем, как в ее родном доме зреет измена.

Вся во власти подозрений, Зинаида находила способы, чтобы разом прервать свидания мачехи и кузена, — : она возвращалась в неурочный час и вызывающе смотрела им прямо в лицо. Устав за целый день, она все же усаживалась вечером с вязаньем в руках между развязным Нантцем и поглощенной своими мечтами Клариссой, которая, уставившись в пространство невидящими глазами и томно уронив руки, могла просидеть всю ночь, слушая рассказы пригожего чертежника.

Можно сказать, что настоящим мужем Клариссы, подозрительным и ревнивым, была Зинаида, а не доверчивый до слепоты старый Рудик. Представляете себе этого мужа в юбке, со способностью предчувствовать и предвидеть, какой обладают только женщины?

Вот почему между Зинаидой и Нантцем шла ни на минуту не затихавшая борьба. Их беспрестанные стычки и словесные баталии скрывали глухую ярость и тайную вражду. Папаша Рудик посмеивался над обоими усматривая в этих перепалках остаток былой привязанности и неосознанной влюбленности, какая нередко бывает между двоюродными братом и сестрой, но Кларисса, слушая их язвительные речи, бледнела: эта неспособная к борьбе, слабая женщина трепетала перед роковой неизбежностью греха.

Сейчас Зинаида торжествовала. Она так ловко действовала в замке, что директор, которому никак не удавалось отправить Нантца в Гериньи, послал его вместо этого в Сен-Назер с поручением от завода — тот должен был изучить новые образцы паровых машин, которые устанавливали на трансатлантических пароходах. Шарло предстояло несколько месяцев снимать чертежи и делать наброски. Кларисса не сердилась на падчерицу, хотя и понимала, кто добился этого отъезда, — она даже испытывала некоторое облегчение. Г-жа Рудик принадлежала к числу тех кокетливых женщин, чей томный взгляд, казалось, просит: «Защитите меня!» И Зинаида, как видит читатель, превосходно справилась с этим делом.

Джек довольно быстро догадался, что двух женщин связывает некая тайна. Он любил их обеих почти одинаково. Ему очень нравилась всегда веселая, мужественная и открытая Зинаида, а Кларисса, нарядная, женственная, очаровывала его взгляд, с детства привыкший к изящному. Он даже находил в ней некоторое сходство со своей матерью. Правда, у Иды, как говорится, была душа нараспашку, она была живая, порывистая, говорливая, а Кларисса — задумчивая и молчаливая — принадлежала к числу женщин, которые могут целый день просидеть на одном месте, хотя в мечтах витают бог знает где. Черты лица у них тоже были разные, другая поступь, другой цвет волос. И тем не менее в чем-то они были похожи. То было совсем особенное сходство, — его вдруг находишь в запахе духов, в знакомой складке платья, в мелочи туалета, а может быть, тут было что-то еще менее уловимое, доступное только придирчивому анализу тонкого знатока человеческой души.

В обществе Клариссы и Зинаиды мальчик чувствовал себя проще, чем когда дома был Рудик; они опекали Джека с тем душевным благородством, с тем тонким чутьем, какое в рабочей среде присуще больше матерям и женам, нежели отцам и мужьям. Иногда, по воскресеньям он читал им теперь вслух, — ненастная погода не позволяла ему уходить на реку.

Это происходило в «зале» нижнего этажа, большой комнате, где на стенах висели морские карты и дешевая олеография с видом Неаполя, где всюду лежали громадные раковины, окаменевшие губки, маленькие высохшие морские коньки — все те диковинные вещицы, которые всегда можно встретить в скромных жилищах приморских городов. Кружевные салфеточки ручной работы на мебели, диван и кресло, обитое утрехтским бархатом, дополняли эту скромную роскошь. Папаша Рудик больше всего любил кресло. Приготовившись слушать чтение, он удобно устраивался в этом кресле. Кларисса занимала свое обычное место возле окна и сидела неподвижно в позе, выражавшей грусть и ожидание, а Зинаида, которая ради домашних дел даже пропускала церковную службу, пользовалась воскресным днем, когда она была свободна от поденной работы, для того, чтобы штопать белье и одежду родных, синий рабочий костюм Джека.

Мальчик спускался из своей мансарды, прихватив одну из книг доктора Риваля, и приступал к чтению.

С первых же строк старый мастер начинал усиленно моргать, потом таращил глаза и, наконец, утомленный бесплодными усилиями, совсем закрывал их.

Его самого приводила в отчаяние непобедимая сонливость, которая нападала на него, едва только он предавался безделью, принимая непривычное для него сидячее положение. Сонливость эта еще усиливалась потому, что окаянное кресло было чертовски мягкое. Рудик было неловко перед женой, и время от времени, делая вид, будто он вовсе не спит, а внимательно слушает, бедняга бормотал, словно во сне.

Он неизменно произносил, причем довольно неразборчиво, одно слово: «Удивительно!..» Он произносил его невпопад, в самых обычных местах, после чего становилось совершенно ясно, что он решительно ничего не воспринял.

Надо признаться, что книги, которыми доктор Риваль набил ящик нашего приятеля Джека, были не очень увлекательны и не очень доступны пониманию. Переложения из древних поэтов, «Письма» Сенеки,[28] «Жизнеописания» Плутарха, томики Данте, Вергилия, Гомера, несколько книг по истории — и все. Часто мальчик читал, сам ничего не понимая, но настойчиво продолжал чтение, памятуя о том, что он дал слово старику Ривалю; его не оставляла мысль, что книги не позволят ему опуститься до уровня окружавших его людей. Он читал усердно, с жаром и благоговением, продолжая надеяться, что меж темных строк когда-нибудь блеснет свет, он читал так же истово, как благочестивая женщина повторяет слова мессы на непонятном ей латинском языке.

Самой любимой книгой, которую он читал особенно часто, был «Ад» Данте. Описание всех этих ужасных мук волновало Джека. В его детском воображении круги ада переплетались со зрелищем, которое каждый день было у него перед глазами. Полуголые люди, бушующее пламя, громадные изложницы для чугуна, куда расплавленный металл устремлялся кроваво-красной рекою, — все это виделось ему в строфах поэта, а жалобные вздохи пара, скрежет исполинских пил, глухие удары пестового молота, раздававшиеся в озаренных пламенем цехах, и впрямь делали их похожими в представлении мальчика на круги Дантова ада.

Однажды в воскресенье Джек читал постоянным своим слушателям отрывок из книги любимого поэта. Папаша Рудик, как всегда, задремал после первых же слов, сохраняя на лице добродушную заинтересованную улыбку, которая позволяла ему время от времени произносить, не пробуждаясь: «Удивительно!» Обе женщины, напротив, очень внимательно слушали чтение, хотя каждая из них испытывала при этом особое чувство.

То был эпизод, посвященный Франческе да Римини:

...Тот страждет высшей мукой. Кто радостные помнит времен. В несчастье...[29]

Пока ученик читал, Кларисса с трепетом все ниже опускала голову. Зинаида, нахмутив брови и неестественно выпрямившись, сидела на стуле и яростно орудовала иглой.

Величавая поэзия, звучащая в тиши скромного рабочего жилища, казалось, парила высоко-высоко над чувствами, повседневными делами и интересами живущих тут людей, и все же, прозвучав здесь, она возбуждала в них множество мыслей, трогала сердца и, подобно грозной молнии, несла в себе опасный электрический заряд, диковинный и прихотливый.

Слезы струились по щекам г-жи Рудик, когда она внимала истории этой любви. Не замечая, что мачеха плачет, Зинаида, когда кончилось чтение, заговорила первая.

— Дурная, бесстыжая женщина! — возмущалась она. — Как она смеет так рассказывать о своем преступлении! Точно похваляется им!

— Это верно, она виновата, — отозвалась Кларисса, — но и очень несчастна.

— Нашли несчастную!.. Не говорите так, матушка... Можно подумать, будто вам жаль эту Франческу, которая полюбила брата своего мужа.

— Так-то оно так, дочка! Но ведь она полюбила его еще до замужества, а ее силком выдали за немилого.

— Силком ли нет ли, раз уж вышла, то должна хранить верность. В книжке сказано, что он был старик. Ну, а коли так, его еще больше уважать надо было, а не вести себя так, чтобы в городе над ним потешались. Право, старик хорошо сделал, что убил обоих. Поделом!

Она говорила грозно, яростно, сверкая глазами, в ее словах слышалась негодующая дочерняя любовь и женская гордость, в них слышалась беспощадная непримиримость молодости, которая судит о жизни по тому идеалу, какой она себе составила, еще ничего не зная о ней, ничего не предвидя.

Кларисса промолчала. Она отодвинула занавеску и посмотрела на улицу. Рудик, не совсем еще проснувшись, приоткрыл один глаз и пробормотал:

«Удивительно!» Джек, глядя в книгу, размышлял над прочитанным и дивился, почему разгорелся такой бурный спор. Итак, бессмертная легенда о любви и прелюбодеянии, прочитанная пять веков спустя ребенком, который смутно понимал ее смысл, нашла неожиданный отзвук в скромной, даже невежественной среде. В том-то и заключается истинное величие, истинное могущество поэтов: повествуя о судьбах одного человека, они обращаются ко всем людям: с кажущимся бесстрашием их гений прослеживает путь всех идущих по дороге жизни — так луна в чудесные вечера появляется на небе, как будто бы не в одном месте, а всюду, сопровождает своим мягким светом, точно дружеским взглядом, всех одиноких путников, всех тех, что бредут по дороге, и освещает им путь, не торопясь и не уставая.

— Ну, уж на сей раз я уверен, что это он!.. — вдруг выпалил Джек и вскочил со стула.

На узенькой улочке, застроенной домами рабочих, перед самыми окнами промелькнула чья-то тень, и тут же послышался хорошо знакомый ученику возглас:

— Шляпы! Шляпы! Шляпы!

Мальчик опрометью выбежал на улицу, но Кларисса опередила его. На пороге она столкнулась с ним — вся пунцовая, она засовывала в карман измятое письмо.

Бродячий торговец был уже далеко, несмотря на то, что так же сильно прихрамывал и тащил на спине огромный ворох фуражек, непромокаемых матросских шапок, мягких войлочных шляп; он в три погибели сгибался под бременем этой ноши, ибо его зимний товар был куда тяжелее летнего. Он уже сворачивал за угол.

— Эй! Белизер!.. — крикнул Джек.

Тот оглянулся, и лицо его осветила добрая, приветливая улыбка.

— Я был уверен, что это вы. Значит, вы и здесь бываете, Белизер?

— Да, господин Джек. Отец хотел, чтобы я пожил в Нанте, из-за сестры, у нее муж хворает. Вот я и остался. Мне всюду приходится бывать — и в Шатне и в Ла Басс-Эндр. Тут много

заводов, и торговля идет недурно. Но больше всего я продаю в Эндре. А, кроме того, у меня бывают поручения в Нант и Сен-Назер, — прибавил он, подмигнув и поглядев в сторону дома Рудиков, неподалеку от которого они стояли и беседовали.

В общем, Белизер был доволен жизнью. Он отсылал все деньги в Париж старику и младшим братьям. Болезнь зятя тоже немало ему стоила, но если делаешь свое дело, то все устраивается. Вот только эти чертовы башмаки...

— Все так же жмут? — спросил мальчик.

— Все так же... Чтобы избавиться от мук, мне бы надо было заказать себе пару башмаков по ноге, по мерке, да это слишком дорого, это могут себе позволить богачи.

Поговорив о своих делах, Белизер не без колебания спросил:

— А что с вами-то приключилось, господин Джек? С чего это вы рабочим заделались? Какой же там у вас был славный домик!

Ученик не знал, что ответить. Он покраснел, глядя на свою рабочую блузу, хотя в то воскресное утро она была совсем чистая, на свои черные от копоти руки. Заметив его смущение, бродячий торговец переменил разговор:

— Знатная была там ветчина, правда? А как поживает та красивая дама, такая ласковая на вид? Это наверно, ваша матушка? Вы на нее похожи.

Джек так обрадовался, что заговорили о его матери! Он готов был простоять на улице до вечера, беседуя о ней, но у Белизера не было времени. Ему только что вручили письмо, и его надо спешно доставить. Он опять подмигнул, посмотрев на то же окно... Ему пора уходить.

Они обменялись крепким рукопожатием, и бродячий торговец захромал дальше, согнувшись под тяжестью своего груза, болезненно морщась и поднимая ноги, точно слепая на один глаз лошадь. Джек провожал его растроганным взглядом, как будто мысленным взором видел лесную дорогу в Корбейль, — она уходила в даль, белея от пыли, а по ней усталым шагом брел этот Агасфер в обличье бродячего торговца.

Г-жа Рудик, бледная, как полотно, поджидала Джека у двери.

— Джек! Что он тебе сказал? — еле слышно спросила она, и губы у нее дрогнули.

Мальчик ответил, что он познакомился с разносчиком еще в Этьоле, а сейчас беседовал с ним о своих родных.

У Клариссы вырвался вздох облегчения. Но весь вечер она была задумчивее, чем обычно, и понуро сидела на своем стуле, еще ниже склонив голову. Казалось, к грузу ее пышных золотистых волос прибавился еще и гнет жестоких угрызений совести.

### III. МАШИНЫ

«Поместье Ольшаник, близ Этьоля.

Я недовольна тобою, милое дитя мое. Г-н Рудик недавно прислал своему брату длинное письмо, где говорится о тебе; он с большой похвалой отзывается о твоём добром нраве и хорошем воспитании, но тут же прибавляет, что за целый год, который ты провел в Эндре, ты

не выказал никаких успехов, и ему сдается, что ты не способен к их ремеслу. Ты сам понимаешь, как это нас огорчило. Если уж ты, обладая призванием к механике, которое обнаружили в тебе опытные люди, так мало преуспел, стало быть, ты плохо работаешь, и эта нерадивость нас просто изумляет и удручает.

Наши друзья возмущены этим, и я с горечью выслушиваю каждый день самые дурные отзывы о моем сыне. Г-н Рудик сообщает также, что воздух в цеху для тебя вреден, ты сильно кашляешь, так худ и бледен, что на тебя жалко смотреть и тебе не решаются поручить какую-нибудь работу, так как при малейшем усилии с тебя градом льет пот. Просто не могу понять, откуда такая слабость у мальчика, которого все без исключения считали крепким. Разумеется, мне и в голову не придет утверждать, как это делают другие, что под всем этим кроется лень, а главное, желание вызвать жалость у окружающих, которое так часто возникает у детей. Я-то ведь знаю своего Джека, знаю, что он не способен на обман. Думаю только, что он бывает неосторожен, выходит по вечерам без шапки, забывает закрывать у себя окно и не надевает шейный платок, который я ему послала. Напрасно ты так поступаешь, мой мальчик. Прежде всего следует заботиться о своем здоровье. Помни, что тебе понадобится много сил, чтобы добиться цели. У здорового любая работа спорится.

Я признаю, что работа у тебя не слишком приятная, — куда веселее гулять с лесником, но ты помнишь, что говорил тебе г-н д'Аржантон: «Жизнь не роман». Уж он — то это хорошо знает, наш бедный, наш дорогой друг! Жизнь у него не из легких, а его профессия, если разобраться, пожалуй, потруднее твоей.

Если бы ты только знал, какая низкая зависть окружает этого великого поэта, какие каверзы строят ему! Все страшатся его гения, стараются помешать ему проявить себя. Представь себе, что они с ним сделали недавно во Французском театре! Приняли пьесу, а она, как две капли воды, похожа на его «Дочь Фауста», о которой ты, конечно, слышал от нас. Естественно, у него похитили не самую пьесу, потому что она еще не написана, но ее главную мысль и название. Кого прикажешь подозревать? Вокруг него верные друзья, пекущиеся о его будущем. Уж мы подумали, не тетка ли это Аршамбо: она постоянно подслушивает и подглядывает в замочные скважины своими рысьими глазами. Но как ей было запомнить план пьесы, да еще пересказать его заинтересованным лицам, если она с грехом пополам изъясняется по-французски!

Как бы то ни было, наш друг был сильно расстроен этой новой неудачей. Вначале у него бывало по три припадка в день. Должна сказать, что г-н Гирш выказал в этих обстоятельствах необыкновенную преданность. Поостое счастье, что он оказался рядом, а то ведь доктор Риваль продолжает на нас сердиться. Понимаешь, он ни разу даже не заехал справиться о здоровье нашего бедного больного! В связи с этим, мой дорогой сын, я должна сказать тебе вот что: нам стало известно, что ты состоишь в оживленной переписке с доктором и маленькой Сесиль и вот я хочу предупредить тебя, что г-н д'Аржантон смотрит на это неодобрительно. Возможно, г-н Риваль и прекрасный человек, но он рутинер и ретроград, и он не побоялся в нашем присутствии отговаривать тебя от того, в чем заключается твое настоящее призвание. А потом, видишь ли, дитя мое: вообще следует общаться с людьми своего круга, с собратьями по профессии, держаться по возможности своей среды. В противном случае человек рискует пасть духом, предаться неосуществимым мечтам, а это путь к тому, чтобы стать неудачником.

Теперь о твоей дружбе с Сесиль. Г-н д'Аржантон считает — а я всецело разделяю его мнение, — что это — ребячество, которое хорошо до поры до времени, в противном случае оно может осложнить жизнь, ослабить волю, совратить с правильного, прямого пути. Ты поступишь благоразумно, если прервешь эту дружбу, которая ничего хорошего тебе не принесла и, быть может, имеет некоторое касательство к тому необъяснимому охлаждению, какое ты выказываешь к добровольно выбранной тобою профессии, на первых порах вызывавшей у тебя восторг. Надеюсь, ты понимаешь, дорогой мой мальчик, что все это я

говору, желая тебе только добра. Не забывай, что тебе скоро минет пятнадцать лет, что в руках у тебя превосходное ремесло, что дорога в будущее открыта перед тобой. Опровергни же предсказания тех, кто твердил» будто ты ничего в жизни не добьешься.

Твоя любящая мать Шарлотта.

Postscriptum. Десять часов вечера. Мой дорогой! Мужчины только что поднялись наверх. Хочу воспользоваться этим, пожелать тебе спокойной ночи и сказать еще несколько, слов, которые я сказала бы, будь ты здесь, возле меня. Не унывай, Джек, а главное, не упорствуй. Ты ведь знаешь, какой он. Добр, но неумолим. Он решил, что ты будешь рабочим, и тебе придется подчиниться. Что бы ты ни говорил, все будет бесполезно. Так он решил и от своего не отступится. Прав ли он? Я уж и сама не знаю. От всего, что тут говорится, у меня голова идет кругом. Одно только я знаю твердо — ты не должен болеть! Прошу тебя, дорогой: береги себя. Когда выходишь вечером, одевайся теплее. У вас там, на острове, вероятно, сыро. Остерегайся тумана. И потом, если тебе что понадобится, пиши мне на адрес Аршамбо... Шоколад у тебя еще есть? Ведь ты всегда гдызешь его по утрам в постели... Для того, чтобы ты полакомился, я каждый месяц откладываю небольшую сумму из тех денег, что мне выдаются на наряды. Вообрази: ради тебя я стала бережливой! Старайся же работать лучше. Чаще думай о том, что наступит день и, быть может, довольно скоро, когда у твоей мамы не будет иной поддержки, кроме тебя.

Если бы ты только знал, как мне иногда бывает грустно, когда я думаю о будущем! Я уж не говорю о том, что туг и теперь не особенно весело-особенно после той неприятности. Да, бывают дни, когда я совсем не чувствую себя счастливой. Но только ты ведь знаешь, какая я, — долго кручиниться не умею. Только что плакала, и вот уже смеюсь, сама не зная, как это у меня выходит! Впрочем, вправе ли я жаловаться? Он человек нервный, как все люди искусства, но никто даже вообразить себе не может, сколько благородства и величия таится в глубине его души. Прощай, милый! Мое письмо тетушка Аршамбо по дороге домой отнесет на почту. Бось, нам придется распротиться с этой славной женщиной. Г-н д'Аржантон остерегается ее. Он предполагает, что ее подкупили враги и что она крадет сюжеты его книг и пьес. Говорят, что такие случаи бывали. Обнимаю и люблю тебя, мой дорогой Джек..... Все эти точки — поцелуи, которые я посылаю тебе».

Вчитываясь в страницы этого длинного письма, Джек ясно различал два лица: лицо диктующего д Аржантона с наставительным выражением, а затем лицо матери, освободившейся от опеки и мысленно обнимающей, осыпающей его ласками из своего далека. До чего же ее угнетали, бедняжку! Как подавляли ее общительную натуру! Дети охотно облакают свои мысли в образы. Когда Джек читал письмо, ему казалось, что Ида — для него она неизменно оставалась Идой — заключена в башенку

Parva domus и делает ему отчаянные знаки, зовет на помощь как своего избавителя.

Да, он станет работать, он переломит себя, сделается хорошим работником, будет много и упорно трудиться и зарабатывать на жизнь — и все для того, чтобы вырвать мать из рук тирана! Прежде всего он спрятал все свои книги — и поэтов, и историков, и философов — в ящик доктора Риваля и из боязни поддаться искушению заколотил его. Он отказался от чтения. Он не хотел отвлекаться, он решил беречь свои силы и сосредоточить все свои помыслы на том, чтобы достичь цели, которую ему указывала мать.

— Ты прав, голубчик, — сказал ему Рудик. — Книги только забивают голову всякой ерундой. И от работы отвлекают. В нашем деле особой учености не требуется. Раз уж ты твердо решил обучиться ремеслу, вот что я тебе предложу. У меня сейчас как раз сверхурочная работа, я выполняю ее по вечерам и даже по воскресеньям. Если хочешь, я буду брать тебя с собой: между делом я обучу тебя обрабатывать железо. Терпения у меня, пожалуй, побольше, чем у Лебескана, — может, тебе со мной больше повезет.



С этого дня они так и делали. Сразу после обеда мастер, которому была поручена особая работа, брал с собой мальчика на опустевший завод — темный, притихший, будто собиравшийся с силами для завтрашнего трудового дня. Маленькая лампа, стоявшая на краю станка, освещала только то место, где работал папаша Рудик. А весь цех был погружен в таинственный полумрак, как это бывает в лунную ночь, когда видны только очертания предметов. Время от времени по стенам, где висели инструменты, пробегали блики и полосы света. Длинными вереницами тянулись токарные станки. Перекрещивавшиеся приводные ремни и канаты замерли без движения, барабаны и маховички не вращались, металлические стружки и железные опилки возле станков хрустели на каждом шагу под ногами, словно напоминая, что работа окончена.

Низко склонившись, весь уйдя в работу, папаша Рудик ловко действовал своими точными инструментами, то и дело поглядывая на хронометрическую стрелку. В тишине слышалось только гудение токарного станка, приводимого в движение педалями, да шипение воды, капля за каплей падавшей на стремительно вертевшуюся шестерню. Стоя рядом с мастером, Джек усердно обтачивал кусок металла, он старался изо всех сил, пытаясь войти во вкус ремесла. Но у него положительно не было к этому никакого призвания.

— Худо дело, голубчик, — говорил ему папаша Рудик. — Не чувствуешь ты руками напильника.

Ученик делал все, что было возможно, не разрешая себе ни минуты отдыха. Иной раз в воскресенье мастер водил его по заводу, подробно объяснял ему устройство всех этих могучих машин и станков, названия которых казались мальчику такими же дикими и непонятными, как и их внешний вид.

«Расточный станок для обработки отверстий в цапфе кривошипов».

«Станки для углубления желобков в головках шатуна».

Мастер во всех подробностях увлеченно объяснял Джеку назначение всех этих зубчатых колес, пил, громадных гаек, пытался заразить его своим восторгом перед тем, как удивительно прилажены, пригнаны одна к другой тысячи отдельных частей, составляющих единое целое. Но из всех объяснений Джек удержал в памяти лишь одно устрашающее название какого-то ужасного бурава, и ему мерещилось, будто невидимый хирург сверлит ему череп этим длинным скрежещущим сверлом. Он все еще не мог побороть свой ужас перед этими бездушными, свирепыми, беспощадными силами, во власть которым его отдали. Приводимые в движение паром, они казались ему злобными зверями, они подстерегали его всюду, чтобы схватить, растерзать, разорвать на части.

Неподвижные и застывшие, они выглядели еще грознее: одни все еще разевали пасти и скалили клыки, другие, будто уже насытившись, втянули свои железные когти и смертоносные бивни. Но один раз Джеку довелось стать очевидцем волнующего зрелища, которое лучше, чем все слова папаши Рудика, позволило ему понять, сколько красоты и величия заключено в машинах.

На заводе недавно изготовили великолепную паровую машину мощностью в тысячу лошадиных сил для канонерки. Она уже давно стояла в глубине сборочного цеха, окруженная рабочими, законченная, собранная. Но еще не вполне выверенная. Джек, проходя мимо, издали смотрел на нее в окно — подходить близко никому, кроме наладчиков, не разрешалось. Готовую машину должны были сразу же отправить в Сен — Назер. Самое удивительное, самое необычайное заключалось в том, что, невзирая на громадный вес и сложнейшее устройство машины, инженеры завода в Эндре задумали погрузить ее на судно целиком, в собранном виде, — могучие подъемные сооружения позволяли им осуществить эту дерзкую попытку. Каждый день говорили: «Это произойдет завтра...», — но всякий раз в

последнюю минуту оказывалось: что-то еще надо было проверить, что-то исправить, улучшить. Наконец машина была готова. Отдали распоряжение погрузить ее на судно.

Это был праздник для Эндре. В час дня все цеха закрылись, дома и улицы опустели. Мужчины, женщины, дети, все обитатели острова хотели собственными глазами увидеть, как машину выкатят из сборочного цеха, доставят к берегу Луары, а потом погрузят на корабль, который отвезет ее к месту назначения. Задолго до того, как отперли большие ворота, толпа собралась неподалеку от цеха. Все были в приподнятом настроении, громко разговаривали, шумно выражали нетерпение. Наконец ворота распахнулись, и все увидели, как из сумрачного цеха медленно, тяжело, на движущейся платформе выползает темная масса. Платформу, вместе с которой должны были погрузить машину, толкали по рельсам приводимые в движение паром полиспасты.

Когда мощная, величавая громада появилась на свету, сверкая своими металлическими частями, ее встретили громкими кликами.

На минуту она остановилась, будто переводя дух и позволяя людям полюбоваться, как она сияет под лучами солнца. Среди двух тысяч заводских рабочих не было, пожалуй, ни одного, который в меру своих сил и способностей не участвовал бы в рождении этой чудо — машины. Но каждый трудился в одиночку, сам по себе, почти вслепую — так в ходе сражения отдельный солдат, затерянный в шуме и сумятице боя, стреляет прямо перед собой и не может судить о том попали его пули в цель или нет и что они значили для исхода битвы, ибо его окутывает слепящий, багровый дым, который все застилает вокруг.

И вот теперь они наконец увидели свою машину — всю, в законченном виде, собранную на отдельных частей. И их переполняла гордость. В одну минуту ее окружили, ее приветствовали победными возгласами и взрывами веселья. Рабочие любовались ею со знанием дела, поглаживали ее большими загрубелыми руками, ласково обращались к ней на своем простом языке: «Ну, как живешь, старуха?» Литейщики с гордостью показывали на огромные бронзовые винты и приговаривали: «Это мы их отливали». Кузнецы отвечали: «Мы ковали железо, тут немало и нашего пота!» А котельщики и клепальщики с полным правом расхваливали громадный, выкрашенный суриком котел, напоминавший боевого слона. Рабочие расхваливали добротность машины, а инженеры, чертежники и наладчики гордились ее формой, устройством. Наш приятель Джек и тот приговаривал, поглядывая на свои руки: «Ах, негодница! Немало я из — за тебя нажил волдырей!»

Чтобы заставить расступиться эту фанатичную толпу, ликовавшую, точно индусы на празднестве в честь Джагернаута,<sup>[30]</sup> пришлось даже употребить силу — в противном случае свирепый идол мог бы раздавить людей на своем пути. Со всех сторон спешили надсмотрщики, тумакми расчищая дорогу, и вскоре вокруг машины осталось всего человек триста — то были самые сильные рабочие, собранные из всех цехов. Вооружась деревянными брусьями или обвившись прочными цепями, они ждали только сигнала, чтобы сдвинуть чудовищную громаду с места.

— Готовы, ребята? Эй, взяли!

Послышались задорные, веселые звуки дудочки, и машина медленно заскользила по рельсам, сверкая всеми своими медными, бронзовыми и стальными частями, а ее шатуны, балансиры, поршни зазвенели и застучали. Верхушку машины, точно недавно оконченный памятник, который только что покинули рабочие, украсили охапкой зелени, и листва увенчивала труд человека, как ласковая улыбка природы. По рельсам медленно, с трудом ползла вперед металлическая громада, а над нею вздымался и опадал зеленый султан, колыхаясь на каждом шагу и чуть слышно шелестя в прозрачном воздухе. По обе стороны, как почетный эскорт, шли директор, инспектора, ученики, рабочие и не сводили глаз с машины, а неутомимая дудочка вела их к реке, где у причала дымил паровой баркас, готовый

к отплытию.

И вот ее подвели под кран, громадный паровой кран завода Эндре, самый мощный рычаг на свете. Два человека поднялись на платформу, которой вместе с машиной предстояло оторваться от земли, стальные канаты уже были пропущены над зеленым султаном сквозь чудовищных размеров кольцо, выкованное из цельного куска металла. Пар свистит, дудочка поет еще залиvistее, еще веселее, еще призывнее, стрела крана опускается, точно длинная птичья шея, хватает машину своим изогнутым клювом и медленно-медленно, подрагивая, приподнимает ее в воздух. И вот она уже висит над толпой, над заводом, над всем Эндре. Каждый может смотреть на нее, любоваться ею, сколько его душе угодно. Она будто парит в золотистых лучах солнца, словно прощается с многочисленными цехами, которые вдохнули в нее жизнь, даровали ей движение, даже голос и которых она никогда больше не увидит. А рабочие, глядя на нее, испытывают то чувство удовлетворения, какое наполняет людей, когда работа завершена, то непередаваемое и дивное волнение, способное в одну минуту вознаградить за тяжкие усилия целого года и заставить сердца быстрее забиться от гордого сознания, что все трудности преодолены.

— Да, вот это вещь!.. — бормочет старый Рудик.

Мастер стоит, засучив рукава и все еще дрожа от напряжения, он тоже катил машину, но вид у него торжественный, и он вытирает глаза, в которых от восторга выступили слезы. Дудочка по-прежнему посвистывает, воодушевляя людей. Но тут кран начинает поворачиваться, и стрела его опускается к реке, чтобы поставить машину на нетерпеливо пыхтящий баркас.

Внезапно раздается глухой хруст, а вслед за ним ужасный, отчаянный вопль, отзывающийся болью во всех сердцах. По тому смятению, которое охватывает всех, люди догадываются, что смерть, смерть непредвиденная, мгновенная, расчищает себе путь властной и свирепой рукой. С минуту длится неопиcуемый хаос и ужас. Что же произошло? При спуске одна из цепей натянулась, и рабочего, стоявшего на платформе, придавило к металлическому корпусу машины. «Живей, живей, ребята, задний ход!» Тщетно спешат, тщетно силятся вырвать несчастного из лап жестокого зверя, — г все кончено. Люди поднимают головы, потрясают в воздухе кулаками, грозя и проклиная. Женщины с воплями прикрывают глаза платками, кружевом чепцов, чтобы не видеть изуродованных останков, которые укладывают на носилки. Человека раздробило, перерезало надвое. Фонтан крови обагрил стальные и медные части машины, даже зеленый ее султан. Умолкла дудочка, стихли крики. Среди мрачной тишины машина завершает свой путь, а тем временем в сторону городка удаляется горестный кортеж — мужчины с носилками, женщины в слезах.

Теперь у людей в глазах страх. Их детище стало грозным. Машина получила крещение кровью и обрушила свою мощь на тех, кто ей даровал эту мощь. И потому у всех из груди вырывается вздох облегчения, когда чудовище опускается на палубу парового баркаса. Баркас глубже уходит в воду, и от него к берегу бегут высокие волны. Как будто сама река встрепенулась и воскликнула: «До чего ж тяжела!» О да, очень тяжела! Рабочие, вздрогнув, переглядываются.

Наконец, машина на месте, а рядом с нею вал гребного винта и котлы. С нее поспешили стереть брызги крови, и она опять заблестела, как раньше, но теперь она уже не кажется неподвижной и бесстрастной. Чудится, будто она живая, будто она вооружена. Она гордо высится на палубе уносящего ее судна, и мнится, будто это она сама приводит его в движение. Она торопится к морю, точно ей не терпится поглощать уголь, пожирать пространство и помахивать не тем зеленым султаном, что украшает ее сейчас, а султаном дымным. И сейчас она так величава, что рабочие Эндре, забыв о ее преступлении, провожают ее в путь оглушительным прощальным «ура» и следят за ней влюбленными глазами... Плыви же, машина, совершай свой путь по свету!

Следуй прямо и неуклонно начертанной тебе дорогой! Не страшись ветров, морских волн и бурь! Люди даровали тебе такую силу, что тебе ничто не страшно. Но именно потому, что ты сильна, не проявляй злобы. Сдерживай свою грозную мощь, которую ты выказала на прощанье. Направляй корабль без гнева, а главное, береги человеческую жизнь, если ты хочешь принести славу заводу Эндре!

В тот вечер во всех концах острова слышались взрывы смеха и веселья — везде пировали. Хотя несчастный случай, происшедший днем, немного охладил восторги, тем не менее во всех домах хотели отметить долгожданный праздник. Это уже не был будничным, трудовой Эндре, где люди едва переводили дух от усталости и, насилу дождавшись вечера, засыпали тяжелым сном. Всюду, даже в сумрачном замке, звучали песни, слышался звон стаканов, освещенные окна отражались в водах Луары множеством огоньков, которые перемежались с отражением мерцавших звезд. У Рудиков за длинным столом собрались многочисленные друзья, лучшие мастера и рабочие цеха. Сперва поговорили о несчастном случае. У погибшего остались малые дети, работать они еще не могут, и директор посулил вдове пособие... Потом всеми помыслами вновь завладела машина. Стали припоминать разные случаи, трудности, связанные с работой над нею. Заросший волосами исполин Лебескан рассказывал, как сопротивлялся им металл, сколько пришлось помучиться кузнецам:

— Вижу: со сваркой не ладится... А ну, говорю я ребятам, взялись как следует! Берите с меня пример, орлы, да поживее!

Он вошел в раж. Молотил кулаками по столу, так что тот ходил ходуном. Глаза его сверкали, словно в них отражался огонь кузни. Остальные одобрительно покачивали головами. Джек в первый раз с интересом прислушивался: он был новичком среди этих ветеранов. Нетрудно догадаться, что при воспоминании о тяжких трудах у всех сразу же пересыхало в горле и, чтобы утолить жажду, приходилось осушать стакан за стаканом. Потом запели. Этим неизменно кончаются все пирушки, когда на них достаточно людей, чтобы затянуть хором: «К берегам французским...» Джек, подтягивая охрипшим голосам, повторял вместе с другими:

Да, да.

Плывем и поем.

Если бы обитатели Ольшаника увидели его в тот вечер, они бы, верно, остались довольны. С обветренным на воздухе и потемневшим от жара кузницы лицом, с мозолями на руках, он сидел среди рабочих, от которых уже почти ничем не отличался, и вместе с ними подхватывал незамысловатый припев. С виду он ничем не выделялся из этой среды. Это заметил и Лебескан — он сказал папаше Рудику:

— В добрый час!.. Ученик-то твой становится похож на человека... Не отстает от других, черт поberi!

#### IV. ПРИДАНОЕ ЗИНАИДЫ

На заводе Джек часто слышал, как рабочие зубоскалили и прохаживались насчет четы Рудиков. Связь Клариссы с Нантцем уже ни для кого не составляла секрета. Отдалив их друга от друга, директор, сам того не подозревая, сделал скандал только более явным, а падение женщины неотвратимым. Пока племянник оставался в Эндре, Клариссе еще как-то удавалось противиться домогательствам красавца чертежника: ее удерживала от соблазна добропорядочность рабочей среды, уважение к семейному очагу, здесь их родство с Нантцем ощущалось сильнее и придавало греху совсем уж отвратительный характер. Но с тех пор, как

он переехал в Сен-Назер, где директор намеренно месяц за месяцем задерживал его, все изменилось. Они написали друг другу, потом свиделись.

От Сен-Назера до Ла Басс-Эндр всего два часа, а Ла Басс-Эндр отделяет от Эндре только рукав Луары. Нантец, не подчинявшийся на «Трансатлантических судах» железному распорядку, царившему на завод, уходил, когда вздумается. Кларисса часто переправлялась через реку под тем предлогом, что ей нужно закупить провизию, которой на острове не достать. Они сняли комнату подальше от этих мест, на постоялом дворе, у большой дороги. В Эндре все знали об их связи, о ней уже говорили открыто, и, когда Кларисса шла по главной улице к пристани—это бывало в рабочие часы, когда завод уже наполнял грохотом все вокруг и опущенный над ним флаг позволял ей не бояться внезапного появления мужа, — она замечала усмешку в глазах встречавшихся ей мужчин, служащих или надсмотрщиков, которые кланялись ей с дерзкой фамильярностью. За полуоткрытыми дверями домов, за занавесками, чуть сдвинутыми, чтобы светлее было делать домашнюю работу — шить или гладить, она угадывала враждебные лица, подстерегавшие ее глаза. Проходя, она слышала, как за дверями шепчут: «Пошла к нему!.. Пошла!..»

Да, это было сильнее ее, и она шла к нему! Шла, провожаемая всеобщим презрением, замирая от стыда и страха, опустив глаза. На висках у нее выступал пот, лицо пылало, и его не мог остудить даже свежий ветер с Луары. И все же она шла. Недаром говорят: в тихом омуте черти водятся!

Джек все это знал. Давно уже миновало то время, когда он вместе с маленьким Маду ломал себе голову, стараясь понять, что такое «курвочка». Завод быстро «просвещает» детей, он портит их. Рабочие, не стесняясь его присутствием, называли вещи своими именами: чтобы не путать двух братьев Рудик, одного именовали «Рудик-певец», а другого—«Рудик-рогач», и при этом все ухмылялись, ибо в народе не считают зазорным потешаться над такими вещами. Таков уж наш старинный галльский нрав!

Но Джек — Джек не смеялся. Ему было жаль злосчастливого мужа, такого простодушного, любящего и слепого. Ему было жаль и ее, эту безвольную женщину, слабость которой проявлялась даже в том, как она причесывалась, как бессильно роняла руки; да, он жалел эту молчаливую мечтательницу — у нее был такой вид, точно она просила пощады. Ему хотелось подойти к ней и сказать: «Берегитесь!.. За вами шпионят... За вами следят». Эх, если бы он мог схватить за шиворот этого курчавого верзилу Нантца, оттащить в угол, встряхнуть как следует и крикнуть: «Как вам не стыдно! Ступайте прочь!.. Оставьте в покое эту женщину!»

Но особенно возмущало мальчика, что его друг Белизер был причастен к этой мерзкой истории. Странствуя по дорогам со своим товаром, бродячий торговец сделался хромоногим гонцом для двух любовников, щедрых, как все люди в их положении. Уже не раз ученик замечал, как Белизер незаметно засовывал письмо в карман фартука г-жи Рудик, за что тут же получал несколько монеток. Джека сильно коробило, что его приятель замешан в этой отвратительной измене, и с некоторых пор он старался избегать его, а случайно встретившись, уже не останавливался поболтать. Тщетно Белизер изображал на своем лице самую любезную улыбку, тщетно пытался вспоминать о красивой даме и о вкусной ветчине, — чары больше не действовали.

— Здравствуйтесь, здравствуйтесь! — бормотал Джек. — Потолкуем в другой раз... Мне сегодня некогда.

И убежал, а бродячий торговец раскрывал рот от изумления.

Белизеру и в голову не приходило, в чем причина этой холодности. Он до такой степени ничего не понимал, что в один прекрасный день, не застав Клариссу, которой должен был передать срочное послание, отправился к заводским воротам, дождался выхода ученика и с

таинственным видом сунул ему в руки письмо.

— Это для госпожи Рудик... Тсс!.. Ей лично.

Взглянув на синий конверт, запечатанный каплей воска, Джек сразу узнал почерк Нантца. Сидит, верно, на постоялом дворе и поджидает ее.

— Ну нет! — вспыхнул ученик и вернул письмо. — За такие поручения я не берусь, да и на вашем месте я бы лучше торговал шляпами, а в эти дела не совался.

Белизер растерянно уставился на него.

— Признайтесь, — продолжал Джек, — вам хорошо известно, о чем пишется в письмах, которые вы передаете! Вы это знаете не хуже меня, не хуже других. По — вашему, красиво обманывать такого славного человека?

Землистое лицо бродячего торговца стало багровым.

— Не заслужил я таких слов, господин Джек! Я в жизни никого не обманывал, вам это скажет всякий, кто знает Белизера. Мне вручают письма для передачи, и я их передаю. Что ж тут такого? Я на этом малость подрабатываю, а у нас такая громадная семья, что я не вправе отказываться... Посудите сами! Старик уже не работает, малышей надо воспитывать, а тут еще муж сестры захворал. Не так все это просто, доложу я вам! И деньги не легко даются... Сколько уж я занимаюсь торговлей, а все никак не могу справиться себе пару башмаков по мерке, так вот и хожу по дорогам в этих, а они так жмут, что просто мочи нет! Если б я обманывал людей, то уж наверняка был бы куда богаче.

Он был так глубоко убежден в своей порядочности, и при этом у него был такой обиженный вид, что подозревать его в неискренности было просто невыносимо. Джек все же попробовал объяснить Белизеру, в чем его вина. Напрасный труд! Он на этом малость подрабатывает... Малышей-то кормить надо... Старик уже не работает... Эти доводы казались Белизеру неопровержимыми, и других он не искал. Было очевидно, что он понимает порядочность совсем не так, как Джек. Он и впрямь был человеком порядочным, как бывают порядочными простые люди, не вдаваясь в разные тонкости и оттенки: среди простонародья утонченность натуры и излишняя щепетильность встречаются в виде исключения, подобно тому как по прихоти почвы или ветра среди полевых растений вырастает редкий цветок.

«Но ведь теперь я и сам принадлежу к простонародью», — подумал Джек, посмотрев на свою блузу. И при этой мысли слезы навернулись на его глаза. Он пожал руку Белизеру и ушел, не сказав ни слова.

В том, что папаша Рудик даже не подозревал, что творится в его доме, не было ничего удивительного: он целыми днями пропадал в цеху, его окружали славные люди, которые уважали его слепую доверчивость, сотканную из любви и простодушия. Но Зинаида? О чем думала Зинаида? Разве ее здесь уже не было? Или Аргус лишился зрения?

Зинаида была на месте, напротив, она проводила дома больше времени, чем прежде, ибо уже целый месяц не ходила на поденную работу. И ее зоркие, лукавые глаза были широко раскрыты, в них появился какой-то особый блеск и необычайная живость, они говорили на своем языке, — когда человек счастлив, у него даже глаза как будто говорят: «Зинаида выходит замуж». Нет, они не просто говорили, они кричали: «Зинаида выходит замуж!.. У Зинаиды есть суженый!»

И, право же, он красив, этот бригадир с таможни! Как ловко сидит на нем зеленый мундир, усики у него воинственно топорщатся, а кепи с галуном лихо сдвинуто на ухо! Нантский порт велик, и таможенников там достаточно, но такого, как Манжен, больше не сыскать. Он

единственный в своем роде, и достанется он в мужа Зинаиде. Правда, ей, а вернее — папаше Рудик, это обойдется недешево — в семь тысяч франков в звонкой монете и кредитных билетах; мастер по грошику скопил их за двадцать лет. Семь тысяч франков! Бригадир ни за что не соглашался взять меньше. Только при этом условии он готов был признать, что у Зинаиды правильные черты лица и осиная талия, готов был отдать ей предпочтение перед всеми гризетками Нанта и смазливymi работницами солеварен с острова Нуармутье и из Бур-де-Батца, которые, являясь с солью в таможню, наперебой строили ему глазки. Папаша Рудик считал, что жених запросил слишком много. Все его сбережения уйдут на это. А что будет с Клариссой, коли он помрет? А если у них родятся дети? В этих обстоятельствах жена его выказала необыкновенное благородство.

— О чем тут думать! — говорила она. — Ты еще не стар, сможешь работать долго. Успеем отложить на черный день. Пусть получает своего бригадира. Ты же видишь: она от него без ума.

Влюбленная Кларисса угадывала, понимала чувства других.

С тех пор как у Зинаиды появилась надежда стать г-жой Манжен, на всю жизнь соединить свою судьбу с неотразимым бригадиром, она не могла ни есть, ни пить. Всегда такая рассудительная, она вдруг стала задумчивой и мечтательной. По целым часам сидела она теперь перед зеркалом, разглядывая себя и прихорашиваясь, но потом вдруг показывала самой себе язык в комическом отчаянии. Бедная девушка не обманывалась на собственный счет.

— Я знаю, что я дурнушка, — шептала она, — и что господин Манжен женится на мне не ради моих прекрасных глаз. Но это пустяки. Пусть только женится! А уж там я добьюсь, чтобы он меня полюбил.

Милая толстушка вскидывала голову с самоуверенной улыбкой, ибо только она одна знала, сколько нежности, терпения и беззаветной любви найдет в ней тот, кому она отдаст свое сердце. Неотступная мысль об этом браке, страх, как бы что не помешало свадьбе, радостная уверенность, появившаяся у нее, когда дело было наконец решено и день назначен, — все это притупило ее настороженность и подозрительность. Притом Нантец не жил больше в Эндре. Да и Кларисса выказала столько доброты по отношению к ней, что Зинаида мало-помалу забыла о своих опасениях. Что с нее взять! Даже самая преданная дочь — прежде всего женщина. Нередко, когда она была занята шитьем своего приданого, — она собственными руками шила подвенечное платье, — она вдруг поддавалась порыву благодарности, оставляла наперсток и ножницы и, отодвигая куски белой ткани, кидалась на шею мачехе:

— Матушка!.. Матушка!

Зинаида целовала ее, прижимала к своей груди, что было отнюдь не безопасно, так как в корсаже девушки появлялось все больше и больше иголок и булавок по мере того, как пышным цветом расцветало ее швейное искусство. Она не замечала ни бледности Клариссы, ни ее смятения. Она не чувствовала, как лихорадочно пылают белые руки молодой женщины в ее прохладных девичьих руках. Не замечала она также, что Кларисса часто и надолго отлучается из дому, не слышала разговоров, которые велись на главной улице Эндре. Она видела и слышала только то, что касалось ее собственного счастья, она жила в радостном возбуждении, в опьяняющем ожидании.

Первое оглашение уже состоялось, свадьба была назначена через две недели, в доме Рудиков весь день царил радостное оживление и суматоха, предшествующие венчанию. Люди приходили и уходили, двери не закрывались. Зинаида с ловкостью молодого бегемота по десять раз на дню взбегала и спускалась по деревянной лесенке. Болтовня с подругами, с

кумушками, примерка платьев, обсуждение подарков!.. А невеста получала их видимо-невидимо — эта толстушка, несмотря на то, что казалась сердитой, умудрилась расположить к себе все сердца. Джек тоже собирался сделать ей небольшой свадебный подарок. Мать прислала ему сто франков, она не без труда скопила их, откладывая из тех скудных сумм, которые ей выдавались на наряды: это было не просто, потому что поэт самолично проверял расходы.

«...Это твои деньги, милый Джек, — писала Шарлотта. — Я собрала их для твоих нужд. Ты купишь на них подарочек мадемуазель Рудик, а себе — новое платье. Мне хочется, чтобы ты был как следует одет на этом торжестве, а гардероб твой, как видно, в самом жалком состоянии, раз уж, как ты пишешь, английский костюм на тебя не налезает. Принарядись немного и постарайся хорошенько повеселиться. Главное, не упоминай в своих письмах, что я прислала тебе деньги. Ничего не говори и Рудикам. Они, пожалуй, станут благодарить меня, а это доставит мне много неприятностей. В последнее время

он необыкновенно вспыльчив и раздражителен. Наш бедный друг очень много работает. А потом его так преследуют!

Все на него ополчились, хотят помешать его успеху... Итак, мы условились. Не говори, что ты получил сто франков от меня. Пусть думают, что это твои сбережения».

Вот уже два дня, как Джек носил деньги в кармане и испытывал гордость. Золотые монеты придали его походке степенность, а его самого наполняли радостным ощущением уверенности в себе. Как приятно будет надеть, наконец, новое чистое платье, сбросить стиранную и перестиранную отвратительную блузу! Для этого надо было съездить в Нант, и Джек с нетерпением ждал ближайшего воскресенья. Поездка в Нант! Ведь это уже праздник. Особенно ему было приятно, что всеми будущими удовольствиями он обязан матери. Одного только он не знал: какой подарок сделать Зинаиде. Что можно купить девушке, которая выходит замуж? Чем бы ее порадовать? Как угадать, чего ей недостает, когда безделушки и украшения лавиной низвергаются в корзину невесты, точно прощальный привет ее ветреной и беззаботной юности? Хорошо бы поглядеть, что ей уже подарили.

Именно об этом и думал Джек, возвращаясь зимним вечером домой, к Рудикам. Было уже совсем темно. Около дома он чуть было не наткнулся на какого-то человека, который поспешно уходил, скользя вдоль самых стен.

— Это вы, Белизер?

Никто не ответил, но, толкнув дверь, ученик сразу понял, что не ошибся и что тут побывал Белизер. В коридоре стояла Кларисса с растрепавшимися на ветру волосами, слегка посиневшая от холода. Не замечая Джека, она продолжала с крайне озабоченным видом читать письмо в узком лучике света, падавшем из комнаты. Как видно, в письме заключалось необычайное известие. И тут мальчик вспомнил, что днем в цеху говорили, будто Нантец проиграл в Сен-Назере большую сумму механикам с английского парохода, недавно прибывшего из Калькутты. Всем было любопытно, как ему удастся уплатить на сей раз карточный долг и не сломает ли он себе, наконец, шею. Об этом, конечно, и говорилось в письме — стоило только посмотреть на встревоженную Клариссу.

В «зале» были только Зинаида и Манжен. Папаша Рудик еще утром уехал в Шатобриан за бумагами дочери; он должен был вернуться только на следующий день. Это, однако, не помешало красавцу бригадиру приехать в Эндре пообедать и провести время с невестой, что в присутствии г-жи Рудик не могло показаться предосудительным. Впрочем, вид у бригадира был спокойный и не внушал опасений. Как раз в эту минуту, удобно устроившись в уютном кресле старого мастера и поставив ноги на решетку камина, он с важным видом рассказывал Зинаиде о таможенном тарифе, о том, сколько платят пошлины, ввозя в нантский порт



семена масличных культур, индиго и тресковую икру, а девушка, разодетая и причесанная своей мачехой, зятянутая, пунцовая, накрывала на стол.

Тема разговора не слишком-то занимательная, не правда ли? Но любовь — это такая кудесница, что Зинаида млела от восторга при каждой цифре и временами даже застывала с прибором в руке, потрясенная до глубины души подробными сведениями о таможенных складах и стоимости провоза, как будто это была ласкающая слух музыка. Приход ученика помешал влюбленным, — тихо беседуя, они предвкушали мирные радости своей будущей семейной жизни.

— Ах, боже мой, вот и Джек! Значит, уже так поздно? А суп у меня еще не готов. Скорее в погреб, дружок Джек!.. Куда это матушка делась?.. Матушка!..

Кларисса вошла, все еще очень бледная. Но она уже несколько успокоилась, пригладила волосы и стряхнула снежинки с платья.

«Несчастливая женщина!» — думал Джек, глядя на нее. А Кларисса принуждала себя есть, разговаривать, улыбаться, но при этом жадно — стакан за стаканом — пила воду, словно хотела погасить волнение, от которого у нее пересыхало горло. Зинаида ничего не замечала. От радостного возбуждения у девушки пропал аппетит, она не сводила глаз с тарелки бригадира и зачарованно смотрела на то, с каким невозмутимым спокойствием он уничтожал все, что ему подавали, ни на минуту не прерывая при этом лекции о сравнительных тарифах на натуральное и на топленое свиное сало. Этот Манжен представлял собой воплощенную таможню. Говорун, старательно подбиравший выражения, он произносил слова медленно, методически, но ел еще медленнее: он не отправлял в рот ни одного кусочка хлеба, не оглядев его перед тем, не изучив, не ощупав со всех сторон. Так же поступал он и с вином: всякий раз поднимал бокал, разглядывал на свет, пробовал и только после этого выпивал, словно боялся какого-нибудь подвоха и был готов задержать на границе своих уст любой контрабандный напиток или запрещенное для провоза кушанье. Вот почему трапезы с его участием тянулись без конца. Но в тот вечер Кларисса явно этим тяготилась. Ей не сиделось на месте, она несколько раз подходила к окну, прислушиваясь к тому, как снежная крупа постукивает о стекла, потом опять возвращалась к столу.

— В скверную погоду вам предстоит добираться домой, любезный Манжен! Я хотела бы, чтобы вы уже были у себя.

— А я нет! — воскликнула Зинаида с такой подкупающей непосредственностью, что все рассмеялись, а она сама громче других.

Но все же замечание Клариссы возымело действие, и бригадир, прервав длинную тираду о правилах ввоза продовольствия, поднялся, собираясь уходить. Но он еще не ушел: всякий раз приготовления и проводы занимали по крайней мере четверть часа — толстушка Зинаида изо всех сил стремилась еще немного побыть в обществе жениха. Надо было засветить фонарь, застегнуть дождевой плащ с капюшоном. Славная девушка все хотела сделать своими руками, но если бы только знали, как долго не зажигаются спички и как трудно застегнуть кожаные перчатки!

Но вот жених упакован на славу. Капюшон надвинут на самые глаза, шарф несколько раз обмотан вокруг шеи и крепко завязан, поверьте, довольно сильными руками — ни дать ни взять водолаз в скафандре! Но и в таком виде он кажется Зинаиде неотразимым, и, стоя на пороге, опечаленная разлукой, она с беспокойством следит, как по окутанной мраком главной улице Эндре удаляется фигура очаровательного эскимоса с мерно раскачивающимся фонарем в руке. Мачеха окликает ее:

— Зинаида, иди в комнату!

В голосе Клариссы звучат нетерпеливые нотки-вряд ли это вызвано нежной заботой о девушке. Лихорадочная тревога молодой женщины все растет, и это не ускользает от нашего приятеля Джека. Убирая в комнате, Кларисса и Зинаида переговариваются. Г-жа Рудик то и дело поглядывает на стенные часы и вдруг говорит:

— Как поздно, однако!

— Только бы он не опоздал на поезд... — откликается Зинаида, все мысли которой заняты женихом.

В своем воображении она вместе с ним проделывает весь путь... Вот он уже на пристани... Зовет перевозчика... Усаживается в лодку...

— Ох, и холодно же, наверное, на Луаре! — вскрикивает она, пробуждаясь от грез.

— Да, холод страшный... — отзывается мачеха, вздрогнув.

Но беспокоится она вовсе не о красавце бригадире. Часы отбивают десять ударов. Кларисса вскакивает и говорит отрывисто, словно выпроваживая опостылевших гостей:

— Пора ложиться!

Видя, что ученик идет к входной двери, чтобы запереть ее, как он это делает каждый вечер, она останавливает его:

— Не надо, не надо! Я заперла. Идемте наверх.

Но Зинаида как нарочно не прекращает разговора о своем Манжене:

— Как ты находишь, Джек, ему идут светлые усики? Да, сколько, он сказал, платят пошлины за ввоз семян масличных куль...культур?

Джек успел позабыть. Придется ей спросить у Манжена. Занимательная штука эти тарифы!

— Ляжете вы сегодня спать или нет? — спрашивает г-жа Рудик с деланной улыбкой, хотя у нее дрожит каждая жилка.

Ну, кажется, уgomонились! Все трое поднимаются по узкой лесенке.

— Покойной ночи! — произносит мачеха, входя к себе. — Я падаю — так хочу спать.

Глаза ее, однако, блестят. Джек карабкается на свои антресоли. Но в этот вечер комната Зинаиды так загромождена свадебными подарками, что он поддается соблазну поглядеть на них.

Кстати, удобный случай узнать то, что ему нужно. Днем приходили подружки невесты. Сокровища были извлечены на поверхность да так и лежат на широком комодe, где высится белая восковая мадонна с младенцем Иисусом на руках. Рядом с ней в раскрытом ларце сверкает дюжина ложечек из позолоченного серебра, чуть дальше серебряный кофейник, молитвенник с застежками, коробка с перчатками — с мужскими, понятно! А вокруг смятая бумага, голубые и розовые шелковые ленточки, которыми были перевязаны все эти чудесные подарки, неожиданно присланные из замка. Затем шли более скромные подношения — от жен служащих и мастеров. Подвенечная фата и венец, прибывшие из Нанта в коробке, были подарены совместно г-жой Керкабелек и г-жой Лебельгик. Г-жа Лемуалик прислала стенные часы, г-жа Лебескан-ковровую скатерть на стол. Другие подарили: кто вязаные или вышитые салфетки, кто колечко с камешком, кто картинку на евангельский сюжет, а кто флакон духов. Были здесь и «молодожены из города Батца» — две маленькие фигурки из ракушек. Они

были ярко раскрашены и наряжены в живописные бретонские костюмы: новобрачная была в широкой синей юбке и в фартучке с золотой вышивкой, а ее супруг — в короткой куртке и широких штанах.

Зинаида с гордостью показывала Джеку свои сокровища, а потом старательно заворачивала их в бумагу. Мальчик вслух выражал свой восторг и в то же время думал: «Что же я-то смогу ей подарить?»

— А мое приданое, Джек? Ты еще не видел моего приданого? Пстой!

Из чашки, стоявшей на комодке, она вынула ключ, отперла ящик, достала другой ключик, старинный узорчатый, которым вот уже добрых сто лет открывали дубовый шкаф в семействе Рудик. Дверцы распахнулись, и по комнате распространился приятный запах белья, благоухавшего ирисом. Изумленному взору мальчика предстали целые кипы пожелтевших простынь, вытканых еще самой первой г-жой Рудик, груды белья, отделанного кружевом, пленого и плиссированного бретонскими искусницами, набившими руку, гофрируя стихари и чепцы.

— Ну что?.. — с торжествующим видом проговорила Зинаида.

И в самом деле, даже у матери, у которой зеркальный шкаф был битком набит вышивками и тонкими кружевами, Джек никогда не видел такого множества белья, к тому же столь аккуратно сложенного.

— Но самое главное не то, голубчик. Взгляни-ка сюда.

И, приподняв тяжелую стопку нижних юбок, она показала ему шкатулку, завернутую в белое полотно, наподобие новобрачной.

— Знаешь, что в ней?.. Самое ценное из моего приданого.

Она с гордостью произнесла эти слова.

— Мое дорогое, мое миленькое приданое, по его милости я через две недели стану называться госпожой Манжен. В этой шкатулке деньги, понимаешь? Разные монеты — серебряные, золотые! Да, папаша не поскупился! Все это принадлежит мне, а будет принадлежать моему ненаглядному Манжену. Ах, как подумаю, хочется и смеяться, и плакать, и плясать!

В бурном порыве радости потешная толстушка, приподняв юбку и растопырив пальцы, принялась неуклюже отплясывать бурре[31] перед благословенной шкатулкой, которой она была обязана всем своим счастьем, как вдруг послышался стук в стену, и девушка остановилась.

— Да уймись ты, Зинаида! Отпусти мальчика, ему пора ложиться. Ты же знаешь: он встает ни свет ни варя.

То был голос Клариссы, не узнаваемый от раздражения. Слегка сконфузившись, будущая г-жа Манжен заперла свой ларчик, шепотом пожелала Джеку спокойной ночи, и мальчик взобрался по лесенке к себе на антресоли. Пять минут спустя маленький дом, укутанный снегом и убаюканный ветром, казалось, уже спал, как и его соседи, в тишине и безмолвии ночи. Но личина домов столь же обманчива, как и лица людей: дом Рудика прикрыл ставнями свои окна, будто смежил веки во сне, а в самом доме происходит тяжелая, душераздирающая драма.

Место действия — «зала» нижнего этажа. Лампа погашена. В глубине комнаты — мужчина и женщина, друг возле друга; их освещает лишь багровый отблеск вспыхивающих в камине

углей. Пламя вздымается и опадает; кажется, будто лицо женщины внезапно заливают краской стыда. Мужчина стоит на коленях. Видна только его красивая, кудрявая голова, откинутаая назад, да сильная, гибкая спина: его поза выражает обожание и мольбу.

— Умоляю тебя! — шепчет он. — Умоляю тебя, если только ты меня любишь...

О чем еще он может просить у нее? Что еще может она отдать ему? Разве она и без того уже не принадлежит ему душой и телом, всегда, везде, вопреки всему? Правда, до сих пор она еще сохраняла уважение к супружескому очагу. Ну так вот! Стоило только Нантцу подать знак, написать ей всего лишь несколько слов: «Приеду нынче ночью... оставь дверь незапертой», — и она пожертвовала ради него последними остатками порядочности, тем относительным покоем, который дарует самой преступной жене сознание, что она не запятнала дом, в котором живет.

Она не только оставила дверь незапертой, как он просил, но, после того, как все в доме улеглись, тщательно причесалась, надела его любимое платье и подаренные им серьги. Она сделала все, чтобы быть как можно красивее в эту их первую ночь любви. Чего же он еще требовал от нее? Как видно, чего-то ужасного, невыносимого, чего-то такого, что, очевидно, ей не принадлежало. А не то, где бы ей устоять против его объятий, против этих рук, страстно обвивавших ее стан, против красноречивой мольбы этих глаз, в которых пылало вожделение, против этих губ, тянувшихся к ее губам?

И все же она, обычно такая слабая, такая мягкая, не уступала ему. Она находила в себе силы противиться требованиям мужчины, и, когда отвечала ему, голос ее звенел от гнева и возмущения:

— Нет!.. Нет!.. Даже не проси... Это невыносимо.

— Послушай, Кларисса: я же тебе говорю, всего на два дня. Из этих шести тысяч я перво-наперво уплачу пять, которые проиграл, а на остальные отыграюсь, выиграю целое состояние.

Она потерянно глядела на него, потом в ее глазах мелькнул ужас, и она задрожала всем телом.

— Нет, нет, даже не проси!

Могло показаться, что она противится не столько ему, сколько самой себе, борется с соблазном, который пытается победить твердым отказом. Тогда он удвоил свою нежность и свои мольбы, а она пыталась отодвинуться от него, избежать его поцелуев и ласк, страстных объятий, которыми он обычно усыплял все колебания и угрызения совести этой слабой женщины.

— Нет, нет, прошу тебя: выкинь это из головы! Поищем другое средство.

— Говорят тебе, такого средства нет.

— Нет, есть, слушай. У меня в Шатобриане живет богатая подруга, дочь податного инспектора. Мы с ней вместе воспитывались в монастыре. Если хочешь, я ей напишу. И попрошу эти шесть тысяч франков, как будто для себя.

Она говорила все, что приходило ей на ум, лепетала бог знает что, лишь бы уклониться от его неотступных просьб. Он это прекрасно понимал и только мотал головою.

— Нет, это не годится, — отрезал он, — деньги нужны мне завтра.

— Ну, тогда знаешь что? Ступай к директору. Он человек добрый и расположен к тебе. Быть

может...

— Кто, он? Как бы не так! Он просто выгонит меня с завода. Только этого я и добьюсь. А между тем как все было бы просто! Через два дня, через каких-нибудь два дня я возвращу деньги!

— Ты только так говоришь.

— Потому и говорю, что уверен. Ну, какую дать тебе клятву?

Видя, что ему не переубедить Клариссу, что она замкнулась в упорном молчании, к которому слабые духом люди прибегают, чтобы защититься от других, да и от самих себя, он мрачно проронил:

— Зря я завел с тобой этот разговор. Надо было, ни о чем не предупреждая, подняться наверх, отпереть шкаф и взять то, что мне нужно.

— Несчастный! — прошептала она, дрожа от страха, что он и в самом деле может так поступить. — Разве ты не знаешь, что Зинаида каждый день проверяет, целы ли деньги, считает их, пересчитывает?.. Да, еще нынче вечером я слышала из своей комнаты, что она доставала шкатулку и показывала ее ученику.

Нантец вздрогнул:

— Ах, вот оно что!

— Ну да... Милая девочка так счастлива!.. Это бы ее просто убило... К тому же она не оставляет ключ в шкафу.

Внезапно заметив, что, обсуждая с ним все эти обстоятельства, она как бы ослабляет решительность своего отказа, что он может обратить ее доводы в свою пользу, Кларисса умолкла. Самым тягостным было то, что они любили друг друга, об этом им самим напоминали их взгляды, их сливавшиеся в поцелуе губы, как только хотя бы на миг затихал горестный спор. Их дуэт, в котором слова так не подходили к музыке, звучавшей в сердцах, был ужасен.

— Что теперь со мной будет? — повторял каждую минуту злополучный игрок.

Ведь если он не заплатит карточный долг, то погибнет, он будет опозорен, его отовсюду выгонят. Он плакал, как малое дитя, положив голову на колени Клариссе, и называл ее: «Тетя... тетечка...» Теперь ее умолял уже не любовник, а ребенок, которому Рудик заменил отца и которого все в доме баловали. Несчастливая женщина плакала с ним вместе, но не уступала. «Нет!.. Нет!.. Это невыносимо», — сквозь слезы упрямо повторяла она, цепляясь за одни и те же слова, как хватается утопающий за обломок доски, который он не выпускает из судорожно сжатых рук. Вдруг Нантец поднялся на ноги.

— Не хочешь?.. Ну хорошо! Я знаю, что мне делать. Прощай, Кларисса! Я не переживу такого срама.

Он приготовился к воплю, к взрыву отчаяния.

Но нет!

Она подошла вплотную к нему.

— Ты хочешь умереть? Ну что ж, я тоже! Мне невыносима эта бесчестная, запятнанная ложью жизнь, нашу любовь приходится прятать, и мы ее так прячем, что и сами уже не можем

найти. Идем!

Он удержал ее.

— Как можно! На что ты решилась?.. Какая глупость! Разве это мыслимо?

Но ему уже надоело приводить доводы, уговаривать, принуждать ее. Неожиданное и упорное сопротивление Клариссы вызвало в нем глухую ярость... Он видел выход — пусть даже преступный, и это кружило ему голову.

— В конце концов все это чепуха! — пробормотал он и кинулся к лестнице.

Кларисса опередила его и стала на нижней ступеньке.

— Куда ты?

— Пусти меня!.. Пусти!.. Так надо.

Он запинался.

Она вцепилась в него.

— Прошу тебя, не делай этого!

Но он все больше хмелел и ничего не слушал.

— Смотри!.. Если ты двинешься с места, я крикну... Я позову...

— Ну что ж, зови! Пусть все узнают, что ты любовница своего племянника и что твой любовник — вор!

Он прошептал ей это в самое ухо, потому что, споря, они невольно понижали голос, испытывая уважение к молчанию ночи и к покою спящих людей. В красных бликах догоравших в камине углей он внезапно предстал ей таким, каким был на самом деле: бурное душевное волнение, исказив его черты, сорвало с него маску. Она увидела большой хищный нос с раздувающимися ноздрями, тонкие губы, глаза, косившие оттого, что он норовил заглянуть в чужие карты. Она подумала о том, чем пожертвовала для этого человека, о том, как она прихорашивалась для их ночи любви, первой ночи, которую они проводили вместе.

Какая ужасная, какая страшная то была ночь!

Внезапно ее охватило глубокое отвращение к нему и к самой себе, и силы покинули ее. В то время как злоумышленник карабкался по лестнице и ощупью пробирался по старому, родному для него дому, где ему были знакомы все закоулки, она в отчаянии упала на диван и зарылась головой в подушки, чтобы заглушить рыдания и крики, чтобы ничего не видеть, ничего не слышать.

## V. ДЖЕК ПЬЯНСТВУЕТ

Еще нет шести часов утра.

На улицах Эндре царит полная тьма. В окнах булочных и винных погребков светятся тусклые огни, расплывчатыми пятнами мерцают в тумане, словно пробиваются сквозь промасленную бумагу да так и не могут пробиться. В одном из таких кабачков, возле гудящей печки, сидят за

столиком племянник Рудика и ученик старого мастера. Они выпивают и беседуют.

— А ну, Джек, еще по одной!

— Нет, господин Шарло, спасибо. Я не привык пить. Боюсь, как бы у меня голова не закружилась.

Нантец рассмеялся:

— Да брось! Ты же настоящий парижанин... Полно дурака валять!.. Эй, хозяин!.. Два стаканчика белой, мигом!

У Джека не хватило духа отказаться. Подчеркнутое внимание этого красавца необыкновенно льстило ему. Оно и понятно. Заносчивый и высокомерный чертежник, который за полтора года всего два-три заговаривал с ним, в то утро, случайно встретив его на улице в Эндре, сам подошел к нему, по-приятельски пригласил в кабачок и угостил тремя рюмками, причем всякий раз вино было другого цвета. Это было так неожиданно и странно, что Джек сперва что-то заподозрил. Вид у Нантца был какой-то чудной; он упорно задавал мальчику один и тот же вопрос:

— Так ты говоришь: дома ничего нового?

Ученик в глубине души был возмущен:

«Ну, если ты думаешь, что я, как Белизер, буду выполнять твои поручения...»

Но это недоброжелательное чувство быстро прошло. После второй рюмки мальчик повеселел и почувствовал себя увереннее. Пожалуй, этот Нантец не такой уж плохой человек, он просто несчастный человек, игрушка собственных страстей. Кто знает? Быть может, вовремя протянутая рука, дружеский совет помогут ему вернуться на путь истинный, он перестанет играть и будет с должным уважением относиться к семейному очагу своего дяди.

После третьей рюмки Джек, поддавшись внезапному порыву чувств, от души предложил Нантцу свою дружбу, а тот с признательностью принял ее, и тогда на правах друга мальчик счел возможным дать ему несколько советов:

— Можно мне вам кое-что сказать, Нантец?.. Так вот!.. Заклинаю вас: не играйте больше.

Удар, видно, попал в цель, ибо у чертежника судорожно дернулись губы (от волнения, конечно!), и он разом осушил стакан водки. Джек, видя, какое действие оказали его слова, решил идти дальше:

— И потом, знаете, я хотел вам еще вот что сказать...

По счастью, в этом месте Джека прервал кабатчик — на сей раз Нантцу было бы трудно скрыть свои истинные чувства.

— Эй, молодцы! Колокол слышите?

В холодном утреннем воздухе монотонный, зловещий звон сливался с кашлем, со стуком деревянных башмаков — молчаливая толпа людей поднималась по гористым улочкам.

— Пошли! — сказал Джек. — Пора!

Так как его приятель платил дважды, на этот раз он решил непременно уплатить сам и, без удовольствия вытащив из кармана луидор, швырнул его на стойку и сказал:

— Получите!

— Черт побери! Рыжик!.. — удивился кабатчик, не привыкший к тому, чтобы у учеников водились золотые монеты.

Нантец промолчал, но вздрогнул... Неужели и этот лазил в шкаф?

Джек ликовал, видя их удивление.

— Здесь еще кое-что есть! — хвастливо заявил он, похлопав себя по карману штанов. Затем прошептал чертежнику в самое ухо:—Это я прикопил на пода «рок, хочу сделать Зинаиде сюрприз.

— Правда? — злобно ухмыльнувшись, переспросил Нантец.

Кабатчик все еще с нескрываемым недоверием вертел монету в руках.

— Поторапливайтесь! — крикнул Джек. — А то я к флагу не поспею.

В самом деле, колокол еще звонил, но уже слабее и реже, как будто устал созывать людей. Наконец, получив сдачу, Джек вышел на улицу под руку с Нантцем.

— Какая обида, старина Джек, что тебе надо идти в эту тюрьму! Пароход в Сен-Назер отойдет только через час. Я бы с таким удовольствием побыл еще немного с тобой! Ей-богу, тебя и слушать приятно. Вот бы мне почаще давали такие добрые советы!

И он незаметно уводил ученика к берегу Луары. А тот покорно следовал за ним. После удушающей жары кабачка и трех рюмок водки мальчика на свежем воздухе совсем развезло. Он шагал, как одурманенный, то и дело спотыкался и, так как было очень скользко, изо всех сил цеплялся за руку своего нового приятеля, чтобы не упасть. Бедняге казалось, что его чем-то огрели по голове или же натянули на уши свинцовый колпак. Но ощущение это продолжалось всего несколько минут.

— Погодите! — вдруг опомнился он. — По-моему, колокола уже не слышать.

— Быть того не может!

Они оглянулись. Бледная заря разорвала небосвод как раз над самым заводом. Флаг исчез. Джек ужаснулся. Такая досадная история произошла с ним впервые. Но Нантец казался еще безутешнее.

— Это моя вина, моя, — твердил он.

Он все порывался пойти к директору, объяснить, что во всем виноват он, Шарло, и вымолить прощение Джеку. И тут уже ученик стал его утешать.

— Да ничего! Ну, запишут мне разок прогул, от этого не умирают. Я провожу вас до парохода, а в десять вернусь на завод, как раз к обеденному перерыву. Устроит мне верзила Лебескан головомойку, и на этом дело кончится.

Но именно головомойки он особенно боялся. Однако опасение быстро уступило место приятному ощущению гордости, которое он испытывал оттого, что шел рука об руку с Нантцем и был убежден, будто возвращает его на стезю добродетели. В таком духе он и разговаривал с чертежником, когда они шли к реке мимо высоких деревьев, побелевших от инея. Мальчик вкладывал в свои слова столько души, что не чувствовал ни резкого утреннего холода, ни свирепого северного ветра, который свистел в ушах и хлестал по щекам. Джек говорил о славном папаше Рудике, таком добром, любящем и доверчивом, о Клариссе: она,



кажется, создана быть счастливой, а ведь на нее часто жалко глядеть — до того она бледна, и глаза ее блуждают.

— Посмотрели бы вы на нее нынче утром, когда я из дому уходил! Такая была белая — краше в гроб кладут.

При этих словах ученик почувствовал, как дрогнула рука Нантца в его руке, и про себя решил, что у этого молодца не совсем еще очерствело сердце.

— Она тебе ничего не говорила, Джек? Правда, ничего не говорила?

— Нет, ни единого слова. Зинаида с ней заговаривала, так она даже не отвечала. И не стала ничего есть. Боюсь, не захворала ли она.

— Бедняжка!.. — проговорил Шарло и облегченно вздохнул.

Джек решил, что тот вздыхает от огорчения, и даже пожалел его.

«На первый раз довольно, — сказал он себе. — Не стоит его добивать».

Они подошли к причалу. Парохода еще не было. Густой туман обволакивал реку от берега до берега.

— Может, зайдем? — предложил Нантец.

Это был дощатый сарайчик, внутри стояли скамейки — в ненастную погоду рабочие ждали здесь перевоза. Клариссе был хорошо знаком этот сарайчик. Старуха, торговавшая в углу хлебной водкой и черным кофе, не раз видала, как г-жа Рудик ждала тут лодку и переправлялась через Луару в «собачий холод».

— Нынче утром знатно пощипывает, ребята! Не угодно ли по стаканчику?

Джек охотно согласился, но с тем условием, что заплатит сам, он даже знаком пригласил караульного матроса, дрожавшего на ветру у сигнального столба, выпить вместе с ними. Матрос и Нантец залпом осушили свои стаканы. Ученик последовал их примеру. Джеку хотелось смачно крякнуть, ухмыльнуться и с довольным видом вытереть рот рукавом, как это сделал матрос, но ему было не до того. Чертова водка! Мальчику показалось, будто он наглотался в кузне раскаленного железного нагара. Но тут в тумане послышался громкий свисток. Пароход в Сен-Назер! Настало время распротиться, однако новые друзья пообещали друг другу скоро свидеться.

— Ты славный малый, Джек, я тебе очень признателен за добрые советы.

— Да будет вам! Какие пустяки! — ответил мальчик, крепко пожимая руку Нантца и с удивлением замечая, что он сам так взволнован, как будто навеки расстается с давним другом. — Главное, Шарло, помните мои слова. Не играйте больше!

— Боже упаси! В жизни карт в руки не возьму, — ответил тот и заторопился на пароход, чтобы не расхохотаться в лицо своему юному другу.

Проводив Нантца, Джек почувствовал, что ему не хочется идти на завод. Мальчику было весело как никогда, кровь так и бурлила в его жилах, хотелось кричать, бегать, махать руками. Даже молочно-белый туман, окутывавший Луару, сквозь который осторожно пробирались большие черные суда, скользя, как китайские тени, казался ему уютным и привлекательным; еще немного, думалось Джеку, и он как на крыльях взмоет над этим туманом. И ничего не может быть мрачнее стука молотов, шума паровых котлов, того глухого, хорошо знакомого ему гула, от которого так хотелось убежать! Какая разница, прогуляет он

несколько часов или целый рабочий день, — все равно его ждет головомойка от Лебескана. И тут ему пришла на ум превосходная мысль:

«Раз уж я у перевоза, не воспользоваться ли мне случаем, чтобы съездить в Нант и купить подарок Зинаиде?»

И вот он уже в лодке, затем в Ла Басс-Эндр, потом на вокзале. Он как в сказке переносится с места на место, все в тот день кажется ему таким необременительным и легким. Однако на вокзале он узнал, что поездов до полудня не будет. Как убить время? В зале ожидания было холодно и пусто. Снаружи свистел ветер. Джек зашел в харчевню. Хотя она находилась на окраине городка, почти что в поле, в нее чаще заглядывали рабочие, нежели крестьяне. На свежоштукатуренном фасаде вместо вывески было крупными черными буквами выведено: «А НУ, ДАВАЙ СЮДА!». Этот крик часто раздается в кузнице, когда железо раскалено и молотобойцев зовут ковать его. Вывеска лгала, как все вывески, ибо тут обрабатывали не железо.

Хотя час был еще ранний, почти за всеми столиками сидели люди. Маленькие керосиновые лампы коптели, от трубок поднимались клубы дыма, было душно. В трактире «А НУ, ДАВАЙ СЮДА!» пили, сидя по углам, те, кто в будни, в рабочие часы шляется по кабакам — лодыри и лоботрясы, для которых инструмент слишком тяжел, зато стакан легок. Здесь, в этом трактире, вас окружали отталкивающие физиономии, блузы, перепачканные не машинным маслом, а вином и грязью, и руки у этих людей дрожали не от усталости, а от беспробудного пьянства. Здесь собирались лентяи, неумелые и нерадивые работники — все те, кого неподалеку от завода подстерегает кабак; их притягивает его зазывная и обманчивая витрина, где выстроенные в ряд разноцветные бутылки скрывают один и тот же яд — спиртное. Задыхаясь от дыма и растерявшись от невнятного гула, мальчик заколебался, не решаясь занять место на скамейке рядом с пьяными посетителями. Но тут он услышал, как кто-то окликает его:

— Эй, Ацтек, иди сюда!

— Э, да это Бахвал!

Бахвалом прозвали рабочего из Эндре, которого накануне уволили с завода за пьянство. Рядом с ним за столиком сидел матрос, вернее сказать, юнга лет шестнадцати-семнадцати с безусым, но уже поблекшим лицом и безвольным ртом с отвислой губой. Он беззастенчиво и нагло вертел головой, выступавшей из широкого синего воротника матросской блузы. Джек присоединился к второй веселой компании.

— Ты, я вижу, тоже загулял, старина!.. — обратился к нему Бахвал с той грубоватой фамильярностью, какая быстро устанавливается между забулдыгами. — Ты в самый раз! Выпей с нами стаканчик.

Мальчик согласился, и по рукам пошли ходить разноцветные бутылки — каждый любезно потчевал другого. Джек был просто в восторге от матросика. С каким шиком, как лихо носил он свой живописный костюм! И сколько в нем было самоуверенности и отваги! Он видно, не боялся ни бога, ни черта. Подумать только: совсем еще мальчишка, а уже дважды совершил кругосветное плавание и говорил о яванках и о Яве так, будто этот остров находился совсем рядом, у того берега Луары. Как охотно променял бы Джек свой вязаный жилет, блузу и штаны на клеенчатый берет, заливчатски сидевший на бритой голове юнги, и на его расстегнутый синий пояс, вылинявший от солнца и морской воды! Да, профессия моряка — стоящая профессия: тут тебе и приключения, и опасности, и океанский простор! Тем не менее матросик ворчал.

— Была б похлебка хоть куда, да только в ней одна вода! — повторял он по всякому поводу.

Джек не переставал восхищаться этим присловьем, он находил его необыкновенно остроумным:

— Была б похлебка хоть куда, да только в ней одна вода!.. Ох, уж эти матросы! Что за молодцы!

— Точно, как на нашем заводе в Эндре, — вставил Бахвал. — Вот уж лавочка, доложу я вам!..

И он начал поносить директора, надсмотрщиков, все это скопище захребетников, которые сидят сложа руки, а люди на них работают, из сил выбиваются.

— Ну, на этот счет можно многое сказать... — заявил Джек, которому внезапно пришли на память банальные фразы певца Лабассендра о правах работников и тирании капитала.

В то утро не только ноги старины Джека выписывали кренделя, не отставал и его язык. Мало-помалу его красноречие заставило умолкнуть всех говорунов, сидевших в кабачке. Его слушали. Вокруг слышался шепот: «Малый не промах! Сразу видать, что из Парижа». Для пущего эффекта ему не доставало только баса Лабассендра — слишком уж был слаб его петушиный голос, ломающийся мальчишеский голос, в котором низкие мужские ноты перемежались с пискливыми детскими нотами. Потом голос его стал хрипнуть и доносился как будто издалека, словно с высокой башни. Впрочем, вскоре речь его стала совсем уже сбивчивой и неразборчивой, он даже сам перестал ее понимать и слышать, а под конец его окутал туман, его стало укачивать, ему почудилось, будто он устремился в погоню за ускользящими мыслями и словами в гондоле воздушного шара, и от этого его затошнило, а в голове все помутилось.

...Он пришел в себя, почувствовав что-то холодное на лбу. Он сидел на берегу Луары. Как он оказался здесь, рядом с матросиком, который смачивал ему виски? Джек с трудом разлепил глаза, и они замигали от яркого дневного света. Потом он различил дым, поднимавшийся из заводской трубы прямо напротив него, а совсем рядом увидел рыбака: тот стоял в лодке и поднимал парус, видимо, готовясь к отплытию.

— Ну как? Полегчало малость? — спросил юнга, выкручивая носовой платок.

— Да, совсем хорошо, — ответил Джек, поеживаясь от холода и с трудом ворочая тяжелой головой.

-: Тогда полезай в лодку!

— То есть как? — удивился мальчик.

— Ну да. Мы едем в Нант. Разве не помнишь, как ты в кабачке подрядил этого лодочника? А вон и Бахвал возвращается с провиантом.

— С провиантом?

— Получай сдачу, старик, — произнес кузнец, державший в руке внушительную корзину, откуда выглядывала краюха хлеба и торчали горлышки бутылок. — Ну, ребята, собирайся! Поднимается ветерок. Через час будем в Нанте, а уж там кутнем на славу.

И тут на одно мгновение Джек вдруг ясно представил себе, что он затеял, в какую бездну катится. Ему хотелось прыгнуть в лодку перевозчика, стоявшую у берега неподалеку от них, и возвратиться в Эндре. Но для этого требовалось усилие воли.

— Да садись же! — крикнул ему матросик. — Ты еще бледноват, ну ничего, завтрак подкрепит тебя.

Ученик не стал спорить и вместе с другими влез в лодку. Как-никак у него еще оставалось три луидора — этого вполне достаточно, чтобы купить себе платье и небольшой подарок для Зинаиды. Так что он не зря съезжает в Нант. Как у всякого захмелевшего человека, настроение у мальчика поминутно менялось, и от беспросветного уныния он внезапно переходил к необъяснимой веселости.

И вот он уже сидит на дне лодки и с аппетитом завтракает. Свежий соленый ветер подгоняет суденышко, клонит его набок, и оно мчится под низким небом, настоящим бретонским небом, словно птица, задевающая крылом водную поверхность... Снасти скрипели, надувался парус, волны били в борта, а на берегу возникали такие привычные виды: фигуры рыбаков, женщины, полощущие белье, пастухи, овцы, пощипывающие травку и похожие на больших насекомых. В возбужденном мозгу Джека все эти картины преображались, приобретали поэтическую окраску. Память его воскрешала эпизоды из прочитанных книг, рассказы о приключениях и далеких морских плаваниях, а присутствие матросика и силуэты больших судов, которые лодка то и дело огибала, придавали этим образам осязаемость. Перед его глазами почему-то неотступно стояла картинка английского художника из старенькой книжки «Робинзон Крузо», которую он читал в раннем детстве и помнил, оказывается, до сих пор: на желтой истрепанной странице был нарисован Робинзон, он лежал в гамаке, в руках у него была кружка можжевельники, а вокруг него — пьяные матросы и остатки пирушки на столе. Под этим надпись: «И в ту бурную ночь я забыл все свои благие намерения». Быть может, все это всплыло в памяти Джека потому, что в лодке валялись пустые бутылки, из которых вытекло недопитое вино, а его приятели валялись среди остатков еды? Джек и сам этого толком не знал. Чайки, точно сбившиеся с пути и кружившие на ветру над парусом, довершали иллюзию далекого плавания. — Джек лежал на спине, на дне лодки и не видел ничего, кроме неба, по которому мчались наперегонки обрывки серых туч; они проносились с такой быстротой, что у Джека начала кружиться голова.

Его вернула к действительности песня, которую его спутники распевали во все горло:

Уключина, рея!

Гуляй веселье!

Мальчик переменял положение. Эх, если бы и он мог по их примеру затянуть морскую песню! Но он знал только детские песенки, вроде «Я в башмачках красивых», и боялся, что его поднимут на смех. Притом его смущал чей-то пристальный взгляд. Напротив стоял лодочник и, время от времени поплеывая на руки, чтобы крепче держать руль, в упор глядел на него своими до того светлыми глазами, что на бронзовом, обветренном лице они и вовсе казались бесцветными. Взгляд его как будто говорил: «И тебе не стыдно, дрянной мальчишка?» Джеку так хотелось, чтобы он отвел, наконец, свой презрительный взгляд, но эти старые морские волки не привыкли опускать глаза, их расширенные зрачки бесстрашно подстерегают набегающий шквал, угадывают его приближение по теням, скользящим над синими волнами. Пытаясь избавиться от назойливого наблюдателя, Джек решил угостить лодочника. Дрожащей рукой он протянул ему стакан и упрямо пытался налить вина из бутылки, в которой не было уже ни капли:

— А ну-ка, хозяин, выпейте винца!..

Лодочник помотал головой: ему, дескать, не хочется ПИТЬ;

— Не приставай к папаше Ласкару, — понизив голос, сказал матросик Джеку. — Ты, видно, не помнишь, что он и везти-то нас не хотел... Жена его заставила... Он заявил, что у тебя

больно много денег, и это, мол, неспроста.

Вы что же, думаете, что Джек мошенник?.. Так вот знайте, денег у него куры не клюют. Стоит ему только написать....Но тут, хотя мысли его путаются, память ему подсказывает: мать не позволила говорить, что это она прислала сто франков, и он твердо заявляет, что это его деньги, его сбережения и он купит себе на них платье, а на то, что останется, купит подарочек Зи... Зи... Зинаиде...

И он говорил, говорил... Но никто его не слушал. Бахвал и матросик затеяли спор. Одному надо было высадиться в Шатне, в большом промышленном предместье Нанта, протянувшемся вдоль реки. Это мрачное место с полуразвалившимися домишками, с жалкими палисадниками, потемневшими от дождя и копоти, там на каждом шагу натыкаешься на сараи, навесы, зато кабаков — хоть отбавляй. Другой требовал, чтобы плыли до самого Нанта. Перебранка становилась все жарче, они угрожали друг другу «размозжить череп бутылкой», «вспороть брюхо ножом» или попросту «отвинтить голову и поглядеть, что там внутри».

Забавнее всего было то, что, хотя они обменивались такими любезностями, им приходилось сидеть рядом, вцепившись в борт лодки, чтобы не свалиться в воду: ветер крепчал, и суденышко сильно накренилось набок. А для того, чтобы привести в исполнение все эти угрозы, прежде всего нужно, чтобы руки были свободны, да и развернуться в лодке было негде. Но Джек этого не понимал, напротив, он думал, что все это говорится серьезно, и, удрученный распрей приятелей, изо всех сил пытался успокоить и помирить их:

— Друзья!.. Милые мои друзья!.. Прошу вас!

В голосе у него звучали слезы, они наворачивались ему на глаза, текли по щекам. На мальчика напала необыкновенная чувствительность: все его чувства словно растаяли, расплавились, превратились в потоки слез. Произошло это, быть может, потому, что со всех сторон его окружала вода. Но вот промелькнуло Шатне, последний его дом исчез из виду, и ссора затихла так же внезапно, как началась. Они подходили к Нанту. Лодочник свернул парус и сел на весла, чтобы надежнее вести лодку в шумной, кишевшей судами гавани.

Джек попытался встать, чтобы оглядеться по сторонам, но ему пришлось тут же сесть — у него закружилась голова. Повторилось то, что было утром: ему почудилось, будто он раскачивается где-то высоко-высоко, в пустоте. Но на сей раз он не лишился чувств. Перед глазами у него все вертелось. Старинные дома с резными украшениями и каменными балконами пускались в пляс в обнимку с корабельными мачтами, они гонялись друг за другом, сталкивались, а потом исчезали, уступая место большим, туго натянутым парусам, черным дымящимся трубам, отливающим глянцем корпусам судов, красным или бурым. На носу кораблей, под бушпритами, послушные движению волн, поднимались и вновь погружались в воду стройные задрапированные светлые фигуры; с них стекали струйки воды, казалось, будто они плачут от тоски и усталости. Так, во всяком случае, мерещилось Джеку. Низкое небо как бы задерживало взгляд, не пропускало его вверх, он устремлялся все вперед и вперед; корабли, теснившиеся у массивных причалов, представлялись ему узниками, а названия, выведенные на бортах, словно призывали как можно скорее вернуться к солнцу, на морской простор, к залитым золотистым светом гаваням заокеанских стран.

И тогда он подумал о Маду, о том, как негритенок убегал в марсельский порт и прятался где попало, забивался в трюмы, где был навален уголь, лежали товары, багаж. Однако эта мысль, как и все другие, быстро пронеслась в его мозгу, ее прогнали крики: «Эй, тяни, поднимай!» — это подбадривали друг друга матросы, тащившие канат. Потом он услышал скрип блоков на верхушках рей, удары молота на корабельной верфи.

Внезапно Джек обнаружил, что он уже не в лодке. Как это произошло? Когда он сошел на

берег? Во сне возможны такие провалы, а он и впрямь как в беспокойном сне. Вместе с приятелями он идет вдоль бесконечного причала, мимо тянется железнодорожная колея. Повсюду нагромождены товары—одни грузят на пароходы, другие выгружают на берег; на каждом шагу приходится обходить преграды, огибать сходни. Он спотыкается о кипы хлопка, скользит по кучам зерна, ушибает колени об углы ящиков, всюду его преследуют острые или приторные запахи пряностей, кофе, семян, эфирного масла. Он теряет товарищей, снова находит, опять теряет и внезапно замечает, что долго и подробно говорит о семенах масличных культур с таможенным бригадиром Манженом, который с тревогой поглядывает на него и в смятении теревит свои светлые усики. Да, странное дело: Джек как будто видит себя со стороны, он раздваивается. В нем теперь два человека; один ведет себя, как помешанный, орет, размахивает руками, шатается, болтает и делает глупости; второй сохраняет рассудок, но обречен на немому, словно во рту у него кляп, он бессилен и вынужден пассивно наблюдать падение первого, он может только смотреть и вспоминать. К тому же этот второй человек, прозорливый и все понимающий, время от времени засыпает, между тем как спятивший по-прежнему мелет вздор и бог знает что вытворяет. Вот почему, когда позднее Джек попытается восстановить нарушенную связь событий этого беспокойного дня, память его не сможет восполнить ряд провалов и пустот.

Вообразите себе смущение рассудительного Джека: он видит, что его «двойник» разгуливает по улицам Нанта с длинной трубкой во рту, а его рабочая блуза стянута новехоньким матросским поясом! Ему хочется крикнуть этому шуту: «Болван! Да ты вовсе не похож на моряка! Хоть ты и сосешь трубку, хоть ты и затянулся матросским поясом, хоть ты и надел на голову клеенчатый берет твоего юнга, хоть ты и шагаешь в обществе своих достойных приятелей, покачивая плечами и бормоча с самым ухарским видом: «Была б похлебка хоть куда, да только в ней одна вода! Тысяча чертей!» — тебе это мало помогает. Синий пояс ерзает, лицо у тебя все такое же простодушное, в лучшем случае ты смахиваешь на певчего из церковного хора, насосавшегося вина из чаши... Гляди! Все оборачиваются и смеются над тобой».

Но выразить все это он не в состоянии, он может только думать и покорно следовать за своим двойником, вместе с ним спотыкаться и покачиваться, выполнять все его капризы. Он сопровождает его, когда тот вваливается в большое раззолоченное кафе с высокими зеркалами, в которых отражения предметов почему-то клонятся набок. Тот Джек, который еще способен наблюдать, видит прямо перед собой среди входящих и выходящих посетителей отталкивающую пьяную компанию во главе со своим двойником — бледным как мел, в помятом и перепачканном платье, какое бывает только у людей, нетвердо стоящих на ногах и спотыкающихся на каждом шагу. Официант подходит к трем шалопаям. И вот их уже выталкивают за дверь, на холод. И опять они шатаются по городу.

Ну и город!.. До чего ж он велик!.. Набережные, сплошь набережные, а вдоль них — старинные дома с железными балконами. Приятели переходят один мост, другой, третий. Сколько же тут мостов, сколько рек! Реки перекрещиваются, впадают одна в другую, по ним с утомительным однообразием катятся волны, и, верно, от этого в голове все мешается. А может, она кружится от бестолкового и бесцельного шатания? В конце концов Джека охватывает такая тоска, что он усаживается на узкую и скользкую каменную лесенку, нижние ступеньки которой уходят в темную воду канала, и плачет горючими слезами. Вода в канале неподвижная, непроточная, густая и тяжелая, в цветных разводах из-за соседства красильни; она плещется под вальками виднеющейся неподалеку плавучей прачечной. Бахвал и юнга затеяли игру на берегу — сбивают монеты с пробки. Джеком овладевает отчаяние. Он и сам не знает почему. Ему так тоскливо! И при этом его все время мутит!.. «А что, если я возьму да утоплюсь?..» Одна ступенька, другая... И вот он уже у самой воды. При мысли, что он скоро умрет, ему становится жаль себя.

— Прощайте, друзья!.. — бормочет он, рыдая.

Его приятели так захвачены своей азартной игрой, что ничего не слышат.

— Прощайте, милые друзья!.. Больше вы меня не увидите... Я сейчас умру.

Однако «милые друзья» по-прежнему глухи к его призывам: они препираются по поводу спорного удара. Как тяжело, однако, умереть вот так, ни с кем не простившись, видя, что тебя даже никто не пытается удержать на краю бездны! Ведь они и впрямь дадут ему утопиться, эти изверги. Они себе там наверху, осыпают друг друга бранью, как утром. Опять грозят распороть брюхо, отвинтить голову. Вокруг них собирается толпа. Подходят полицейские. Перепуганный Джек карабкается вверх по ступенькам и убегает... Теперь он идет вдоль большой верфи. Кто-то, пошатываясь, пробегает мимо. Это матросик, растерзанный, без головного убора, без шейного платка; широкий воротник его блузы почти оторван и болтается на груди.

— А где Бахвал?

— В канале... Я ударил его головой в живот, и он полетел в воду... Бултых!..

Матрос убегает — ведь его преследуют полицейские! Джек видит сейчас все в черном свете: ему кажется вполне правдоподобным, что юнга утопил Бахвала, убийство представляется ему как бы последней ступенью той зловещей лестницы, на которую он поставил ногу и которая ведет во мрак. Все же он решает вернуться назад и узнать о судьбе несчастного. Внезапно кто-то окликает его:

— Эй, Ацтек!

Это Бахвал, он тоже без шапки, без шейного платка. Он с трудом переводит дух и потерянно озирается.

— Он свое получил, твой матросик... Я пнул его башмаком, и он — бултых! — полетел в канал... Полиция настигает меня... Бегу!.. Прощай!..

Кто же из них погиб? Кто убийца? Джек ничего уже не понимает и даже не пытается разобраться. Непонятно, как это случилось, но только некоторое время спустя все трое опять сидят в кабачке за столом, на котором стоит объемистая посуда с луковым супом, куда они вливают несколько литров вина. Они называют это «заправлять суп». Должно быть, приятели несколько раз готовят это пойло в разных кабаках, потому что стойки и колченогие столы мелькают перед глазами с головокружительной быстротой, как во сне, и рассудительный Джек уже не в состоянии уследить за своим двойником. Мокрые мостовые, темные погребки, низкие стрельчатые двери с выразительными надписями над ними, бочки, пенящиеся стаканы, увитые виноградными лозами беседки... Все это мало-помалу окутывает тьма, а когда наступает вечер, вертепы освещаются свечами, вставленными в бутылки, и неверный свет озаряет неприглядное зрелище: негрятки в шарфах из розового газа, матросы, отплясывающие джигу, аккомпанирующие им арфисты в сюртуках... Возбужденный музыкой, Джек делает одну глупость за другой. Вот он взобрался на стол и кружится в старомодном танце, которому его обучил еще в раннем детстве старик, учитель танцев, приходивший к матери:

Как плавно, однако.

Танцуют в Монако!

Джек плавно раскачивается, но вдруг стол под ним подламывается, и он летит на пол.

Слышится звон разбитой посуды, крики, шум...

Он приходит в себя на скамейке, посреди пустынной, незнакомой ему площади, где высится церковь. В его усталом мозгу все еще звучит ритм танца: «Как плавно, однако, танцуют в Монако!» Вот и все, что сохранилось в его гудящей и пустой голове, пустой, как его кошелек... А матрос?... Ушел... Бахвал? Исчез... В этот сумеречный час, когда особенно невыносима горечь одиночества, Джек совсем один. То тут, то там зажигаются одинокие газовые фонари, и желтый их свет отражается в реке и сточных канавах. Со всех сторон надвигается тьма, она подобна золе, из-под которой еще чуть-чуть просвечивает день, догорающий, как угли в очаге. Тяжеловесные очертания церкви мало-помалу тонут во мраке. На домах как будто уже нет крыш, на мачтах кораблей — парусов. Теперь вся жизнь жметя к земле — туда, где виднеются полосы света, падающие из немногих еще открытых лавчонок.

Крики, песни, слезы, отчаяние, бурная радость — все миновало, теперь Джеком владеет ужас. Весь день он читал мрачную страницу печальной книги своей жизни, и на ней было начертано: «Суета». А последняя ее строка гласит: «Суета и Мрак»... Мальчик не шевелится, у него нет сил, чтобы подняться и убежать, спастись от чувства заброшенности и одиночества, хотя оно и страшит его. Он так бы и остался лежать на скамье, как все пьяницы, в полном изнеможении, которое и сном-то нельзя назвать, если бы хорошо знакомый ему спасительный крик, крик, сулящий избавление, не вывел его из оцепенения:

— Шляпы!.. Шляпы!.. Шляпы!..

Мальчик зовет:

— Белизер!..

Это и правда Белизер. Джек пытается привстать и объяснить, что он малость «гуль... гуль... гульнул», но язык у него заплетается. Так или иначе, они трогаются с места, Джек опирается на руку бродячего торговца, который тоже с трудом ковыляет, но его по крайней мере ведет твердая воля. Белизер осторожно увлекает за собой мальчика, мягко выговаривает ему. Где они? Куда бредут? Вот уже видны освещенные, но безлюдные набережные... Вокзал... До чего приятно растянуться на скамейке!..

Что такое? Что стряслось? Чего еще от него хотят? Его будят. Трясут. Расталкивают. Какие-то люди что-то кричат ему. Затем железные руки впиваются ему в запястья. И вот его кисти уже скручены веревкой. Он даже не пытается сопротивляться, ибо сон сковал его. И он где-то спит, как будто в вагоне. Затем продолжает спать в лодке, здесь очень холодно, но он даже не открывает глаз и храпит, скорчившись в уголке, он не в силах повернуться. Потом его опять будят, куда-то волокут, тащат, понукают. И какое Джек испытывает облегчение от того, что после всех этих нескончаемых мытарств, когда он, точно лунатик, был во власти сна, он, наконец-то, может растянуться на соломе, чтобы хмель вышел у него сном, — от света и шума его защищает дверь, запертая на два громадных, только что проскрежетавших засова.

## VI. ДУРНАЯ ВЕСТЬ

Утром ужасный шум над головою внезапно разбудил Джека.

Как тягостно похмелье! Мучит жажда, руки и ноги дрожат и затекли так, будто стиснуты тяжелыми доспехами, и доспехи калечат их. А главное, — стыд, невыразимая тоска, которая охватывает человека от того, что он чувствует себя скотом, и на душе у него так мерзко, что даже жизнь ему не мила! Джек ощутил все это, как только открыл глаза, еще до того, как к



нему вернулась память, словно и во сне его неотступно терзали угрызения совести.

Было еще совсем темно, и он не мог различить окружающие предметы. Однако он отчетливо сознавал, что это не его мансарда. Над ним не светилось слуховое окошко, обычно синее, как само небо. Бледный луч зари пробивался сюда сквозь два высоких зарешеченных окна, которые как бы разрезали свет на множество белых пятен, дрожавших на стене. Где ж это он? В углу, неподалеку от его жалкого ложа, перекрещивались канаты, шкивы, громадные гири. И вдруг устрашающий шум, который разбудил его, возобновился. Слышался скрежет разматываемой цепи, потом раздался гулкий звон башенных часов. То был знакомый звон. Вот уже скоро два года, как эти часы отсчитывали ему время, их бой доносился к нему и сквозь завывание зимнего ветра, и в летнюю жару, и по вечерам, когда он засыпал в своей каморке, а по утрам эти тяжелые удары били по запотевшему стеклу его оконца, как бы говоря: «Вставай!»

Выходит, он в Эндре. Да, но обыкновенно бой часов долетал откуда-то сверху, издалека. Должно быть, он здорово устал, если эти звуки так громко отдаются у него в голове, что даже в ушах звенит. А может, он, чего доброго, угодил в часовую башню, в то высокое помещение, которое в Эндре называют «каталажкой»? Туда иногда сажают проштрафившихся учеников. Да, так оно и есть. Но почему?.. Что он сделал?..

Слабый утренний луч осветил помещение, а заодно и все закоулки его памяти. Джек припомнил все, что произошло накануне, и пришел в ужас. Уж лучше бы у него память отшибло!

Но теперь его второе «я», разумное «я» окончательно проснулось и безжалостно, беспощадно напоминало ему о всех сумасбродствах, которые он совершал, и о всех глупостях, которые он болтал. Они мало-помалу возникали в его сознании, освобождаясь от дурмана. «Разумный» Джек ничего не забыл, более того — он подкреплял свои обвинения уликами: матросский берет, от которого потерялась лента... синий пояс... обломки трубки, крошки табаку, лежавшие в карманах вместе с мелкими монетками. При каждом новом вещественном доказательстве Джек краснел в темноте, с его губ срывались восклицания, полные гнева и отвращения, гордость его жестоко страдала от сознания непоправимости этого позора. После одного особенно резкого восклицания в ответ послышался чей-то стон.

Оказывается, он не один. Тут кто-то еще, чья-то тень виднеется там, на камнях, в одной из глубоких амбразур, пробитой бог знает когда в толще стен.

«Кто это?» — с беспокойством спрашивал себя Джек. Он напряженно вглядывался в очертания неподвижной странной фигуры на фоне белой стены: эта костлявая, угловатая фигура походила на какое-то обессиленное животное. Только у одного человека на свете могли быть такие уродливые очертания — у Белизера... Но что тут делает Белизер?.. Джек смутно припоминает, что бродячий торговец пришел ему на помощь. Ноющая боль во всем теле заставила его вспомнить о потасовке на вокзале, когда во все стороны, будто уносимые ветром, летели шляпы и фуражки. Но все это представлялось ему неясным, смутным, расплывчатым, точно в тумане.

— Это вы, Белизер?

— Ну да, я, — ответил бродячий торговец хриплым голосом, в котором звучало отчаянье.

— Скажите, бога ради: что мы сделали, за что нас заперли тут, точно злодеев?

— Что другие сделали, не знаю, меня это не касается. Одно я знаю твердо: я никому не причинил вреда, и так изуродовать мои шляпы — это просто бессовестно.

Голос у него пресекся. Он содрогнулся, вспомнив об ужасной драке, вновь представив себе

катастрофу, которая обрушилась на него темной ночью, когда весь его товар был растоптан, измят, погублен. Это страшное зрелище со вчерашнего вечера все время стояло у него перед глазами, оно не дало ему сомкнуть глаз, и он почти не чувствовал боли в своем измученном теле, связанном цепями и веревками, не ощущал привычной пытки «сапогом», на которую его обрекали бродячая жизнь и изуродованные ноги.

— Скажите: мне заплатят за шляпы?.. Ведь я не причастен к тому, что случилось. Вы-то хоть скажете им, что я вам не помогал?

— В чем не помогал?.. А что я сделал?.. — спросил Джек, не знавший за собой никакой вины.

Но он тут же подумал, что не помнит всех глупостей, какие натворил, что он мог забыть какой-нибудь серьезный проступок. Вот почему он уже с некоторой опаской спросил Белизера:

— В чем меня, собственно, обвиняют?

— Они говорят... Да почему вы меня об этом спрашиваете? Вы-то сами хорошо знаете.

— Понятия не имею, клянусь вам.

— Будет вам! Они говорят, что это вы украли...

— Украл? Что украл?

— Приданое Зинаиды.

Ученик сразу отрезвел. У него вырвался негодующий и горестный крик:

— Это низость! Вы-то хоть в это не верите, Белизер? Ведь, правда, не верите?

Тот промолчал. Все в Эндре не сомневались в виновности Джека, и жандармы, арестовавшие их накануне, говорили об этом в присутствии бродячего торговца, так что и он проникся этим убеждением. Все улики были против ученика. Как только на заводе прошел слух о краже в доме Рудиков, люди тут же решили, что это сделал Джек, потому что в тот день он не вышел на работу. Да, Нантец все хорошо обдумал, он неспроста увел его подальше от завода... Начиная с кабачка на главной улице Эндре и вплоть до вокзала Бурс в Нанте, где виновный и его сообщник были задержаны в ту самую минуту, когда они брали билеты, чтобы уехать и скрыться, след преступления, не обрываясь, тянулся за учеником, ибо тот буквально разбрасывал на своем пути золото, то и дело разменивая луидоры и соря деньгами. И самым убедительным доказательством был продолжавшийся целый день кутеж, пьянство, которое почти всегда следует за преступлением как скрытое, уродливое проявление угрызений совести.

Итак, все были уверены в виновности мальчика. Одно только оставалось непонятным: куда девались шесть тысяч франков, — ибо они исчезли бесследно. В карманах у Белизера нашли всего несколько франков дневной выручки, а в кармане у самого Джека позвякивали странного вида заржавленные монетки, какие вам всучивают в портовых кабачках, куда заходят промочить горло матросы со всего света. Ясно, что в этих притонах Джек и его приятель не могли даже за десять часов истратить все деньги, каких не досчитались в шкатулке Зинаиды. Львиную долю они, видно, где-то припрятали.

Где же? Это-то и надо было установить.

Вот почему, едва наступило утро, директор завода приказал привести к себе в кабинет обвиняемых, которые и выглядели-то как настоящие преступники: до того они были грязные, оборванные, бледные и трепещущие. Джек еще, несмотря на измятую одежду и нелепый

синий пояс, сохранял все же благодаря своей по-детски обаятельной и смышленной рожице что-то трогательное и располагающее к себе. Зато Белизер был просто страшен: и без того некрасивое лицо торговца казалось еще безобразнее из-за синяков, полученных в драке, от которой пострадала, впрочем, не только его физиономия, но и вконец разодранное платье. Землистое лицо Белизера, исцарапанное, все в кровоподтеках, было ко всему прочему еще искажено гримасой жестокого страдания, которое ему причиняли ноги, распухшие от того, что он целую ночь просидел в тесной обуви. Он упорно молчал и только жалобно кривил свой толстогубый рот, что придавало ему некоторое сходство с тюленем. Стоило взглянуть на обоих, когда они стояли рядом, — и все сходилось на том, что ученик, безответный и робкий мальчик, был всего лишь орудием в руках этого негодяя, погубившего его своим подстрекательством.

Проходя через приемную директора, Джек заметил фигуры, которые показались ему привидениями, — как будто призраки страшного кошмара облеклись в плоть и кровь и возникли перед ним. До сих пор он твердо знал, что ни в чем дурном не замешан, и потому не собирался склонять голову перед нависшим над ним обвинением, но тут уверенность внезапно покинула его Лодочник, перевозивший его, кабатчики из Эндре, из Ла Басс-Эндр и даже из Нанта одним своим видом напомнили ему обо всем, что он накануне вытворял. Он как бы вновь пережил этот день, предался мучительным и постыдным воспоминаниям; и он то бледнел, как в часы опьянения, то краснел от позора.

В кабинет директора он вошел униженный, с трудом сдерживая слезы, и готов был смиренно просить прощения.

В комнате были только директор, сидевший у окна, в большом кресле, за письменным столом, и папаша Рудик, стоявший рядом и комкавший в руках синий шерстяной берет. Два стражника, которые привели обвиняемых, остановились у дверей и теперь не сводили глаз с бродячего торговца, опасного злоумышленника, способного на любое преступление. Джек при виде мастера в невольном порыве устремился было к нему, протянув руку своему единственному другу и заступнику. Однако вид у папаши Рудика был такой суровый, а главное, скорбный, что мальчик во все время допроса так и не решился приблизиться к нему.

— Послушайте, Джек, — сказал директор. — Во внимание к вашей молодости, на уважения к вашим родителям, памятуя, что до сего дня я слышал о вас только хорошее, и, наконец, — не скрою, — оберегая в первую очередь честь фирмы Эндре, я получил разрешение не отправлять вас в Нант, а оставить здесь и задержать на несколько дней начало дознания. Так что сейчас все происходящее касается только вас, меня и Рудика, и от вас одного зависит, чтобы делу не был дан дальнейший ход. От вас требуется только вернуть то, что еще сохранилось.

— Но, господин директор...

— Не прерывайте меня, вы объяснитесь потом... вернуть то, что еще сохранилось от украденных вами шести тысяч франков, ибо не могли же вы истратить шесть тысяч за один день. Не так ли? Ну вот, возвратите то, что у вас еще осталось, и я удовольствуюсь тем, что отправлю вас к родителям.

— Прошу прощения, — начал Белизер, робко вытягивая шею и стараясь изобразить любезную улыбку на своем широком лице, отчего все оно пошло морщинами, которых, казалось, было столько, сколько мелких волн на Луаре, когда дует восточный ветер. — Прошу прощения...

Директор бросил на него такой презрительный и ледяной взгляд, что бедняга запнулся и стал скрести свой затылок.

— Что вам угодно?

— Н-да!.. Дело с кражей, видать, проясняется, и я хотел бы, если на то будет ваша воля, потолковать теперь малость о моих шляпах.

— Замолчите, плут вы эдакий! Я не понимаю, как это у вас хватает наглости раскрывать рот! Каким бы вы кротким ягненком ни прикидывались, уж мы-то хорошо знаем, что настоящий преступник — вы, без вашего подстрекательства мальчик не решился бы на такое злодеяние.

— О господи! — Только это и вымолвил несчастный Белизер, обращаясь к ученику и как бы призывая его в свидетели.

Джек хотел было возразить, но тут заговорил папаша Рудик:

— Вы как в воду глядели, господин директор. Именно это дурное знакомство и погубило мальчонку. Прежде не было на заводе ученика честнее и старательнее его. Жена, дочь-все в нашем доме души в нем не чаяли. Мы верили ему. И надо же было ему повстречаться с этим проходимцем!

Когда Белизер услышал, как его честят, на лице его выразился такой испуг, такое отчаяние, что Джек, позабыв на минуту нависшее над ним обвинение, храбро вступился за своего друга:

— Клянусь вам, господин Рудик, что бедный малый совершенно ни при чем. Мы встретились с ним вчера на улице, в Нанте, как раз перед тем, как нас задержали, и так как я... не мог передвигаться без посторонней помощи, он решил отвезти меня в Эндре.

— Значит, вы один все это проделали? — недоверчиво спросил директор.

— Я ничего дурного не делал. Я не воровал. Я не вор.

— Смотрите, мой милый, вы ступаете на дурную стезю. Только чистосердечно признавшись во всем и возвратив деньги, вы можете заслужить наше снисхождение. Ваша вина не подлежит сомнению. Не пытайтесь отрицать ее. Посудите сами, негодник! В ту ночь вы оставались в доме вместе с госпожой Рудик и с Зинаидой. Перед тем как лечь спать, Зинаида открыла шкаф и показала вам, где именно находится шкатулка. Верно? Потом, ночью, она услышала, как скрипит ваша лесенка, и окликнула вас. Вы, конечно, ничего не ответили. Но она убеждена, что это были вы, тем более что никого больше в доме не было.

Ошеломленный Джек нашел, однако, в себе силы возразить:

— Это не я. Я ничего не крал.

— Вот как? Откуда же взялись деньги, которые вы вчера швыряли направо и налево?

Мальчик чуть было не сказал: «Мне их мама прислала!», но тут же вспомнил ее предупреждение: «Если спросят, откуда у тебя сто франков, скажи, что это твои сбережения». Повинуясь слепой вере и глубокому уважению к матери и к ее советам, Джек ответил:

— Это мои сбережения.

Если бы мать приказала ему заявить: «Это я украл деньги», — он, не колеблясь, покорно признал бы себя виновным. Такой уж это был ребенок!

— И вы думаете, мы вам поверим, что, получая пятьдесят сантимов в день, вы умудрились отложить двести или триста франков, которые, судя по всему, вы с необыкновенной легкостью истратили в один день?.. Попытка с негодными средствами! Уж лучше попросите

прощения у этих славных людей, с которыми вы поступили так жестоко, и попытайтесь как можно скорее исправить причиненное им зло.

Тут папаша Рудик подошел к Джеку и, положив ему руку на плечо, сказал:

— Джек, голубчик! Скажи нам, где деньги. Подумай: ведь это приданое Зинаиды! Я двадцать лет трудился, не покладая рук, во всем себе отказывал, чтобы скопить эту сумму. Я утешал себя тем, что в один прекрасный день счастье моей девочки вознаградит меня за все труды и лишения... Я уверен, что, запуская руку в шкатулку, ты обо всем этом не подумал, иначе ты бы на это не пошел, я же тебя знаю, сердце у тебя доброе. Это было минутное умопомрачение. Когда ты увидел столько денег и понял, что стоит только протянуть руку — и они твои, у тебя голова пошла кругом. Но теперь ты, верно, опомнился, и только стыд мешает тебе во всем сознаться... Ну же, маленький, смелее!.. Вспомни: ведь я

' старик, где мне снова заработать столько денег! А бедная моя Зинаида... Голубчик! Скажи нам, где деньги.

Проявив столь непривычное для него красноречие, старый мастер разволновался, побагровел и стал утирать пот со лба. Устоять перед его трогательной мольбой мог разве только закоренелый преступник. А Белизер до того расчувствовался, что позабыл и думать о своем злосчастье и, пока Рудик говорил, делал Джеку разные знаки, которые ему самому казались таинственными, но смысл которых при одном взгляде на его комичную физиономию становится совершенно понятным: «Послушайте, Джек: да верните вы эти деньги бедному старику!» Бродячий торговец, который всю свою жизнь терпел лишения ради близких, как никто понимал самоотверженную любовь отца к дочери.

Увы! Будь у Джека эти деньги, с какой радостью он вложил бы их в руки папаша Рудика, отчаяние которого терзало его сердце! Но у него их не было, и он твердил:

— Я ничего у вас не брал, господин Рудик. Клянусь, что ничего не брал.

Потеряв терпение, директор встал с кресла:

— Довольно! Только человек с черствым сердцем может равнодушно слушать такие речи, и если они не вырвали у вас признания, то все, что мы вам сможем еще сказать, ни к чему не поведет. Сейчас вас снова отведут в башню. Даю вам срок до вечера, поразмыслите хорошенько! Если и вечером вы не согласитесь вернуть деньги, о которых идет речь, я передам вас судебным властям: уж там вам развяжут язык.

Тут один из стражников, бывший жандарм, человек бывалый и проницательный, подошел к своему начальнику и сказал ему чуть слышно:

— Сдается мне, господин директор, что, если вы хотите что-нибудь вытянуть из мальчишки, надо запереть его отдельно от этого пройдохи. Был момент, когда ученик хотел уже все рассказать, а бродячий торговец помешал, делал ему знаки.

— И то верно. Посадите их отдельно.

Их разлучили. Джека отвели в то же самое помещение, где били башенные часы. Уходя, он заметил, какое растерянное и перепуганное лицо было у Белизера, — беднягу уводили, надев на него наручники. Мысль об этом уж и вовсе ни в чем не повинном человеке, еще более несчастном, чем он сам, все время мучила его.

Каким долгим показался Джеку этот день!

Сперва он попробовал заснуть, зарывшись головой в солому, словно надеясь спастись от охватившего его отчаяния. Однако при мысли, что все считают его преступником и что сам он

своим постыдным поведением дал повод подозревать его, он ежеминутно вздрагивал всем телом... Как доказать свою невиновность? Дать им прочесть письмо матери? Тогда они убедятся, что он тратил деньги, присланные ею. А вдруг об этом узнает д'Аржантон?.. Неумение оценить истинное положение вещей, которое часто приводит к тому, что незрелый ум ребенка заставляет его отдавать предпочтение второстепенным соображениям в ущерб главным, вынудило Джека почти тотчас же отказаться от этого пути к спасению. Он ясно представил себе ужасную сцену в Ольшанике и бедную Шарлотту в слезах...

Но тогда как же ему доказать свою невиновность? Он в изнеможении лежал на охапке соломы, так как все еще не мог прийти в себя после вчерашнего пьянства, и мучительно, но тщетно искал выход из безнадежного положения. А кругом шла повседневная трудовая жизнь, часы звонили у него над головой, и в этих гулких ударах ему слышались медленные шаги неумолимо приближавшегося возмездия.

Два часа. Четыре. Заводской день окончен, рабочие расходятся по домам. Близится вечер, а ведь ему дали срок только до вечера, чтобы оправдаться. Если деньги не найдутся — тюрьма! Ну и пусть! Джеку кажется, что, когда его запрут, замуруют в мрачной, сырой темнице, ему будет легче-туда по крайней мере не придут требовать от него деньги. Можно подумать, что бедняга предчувствует, какая ужасная пытка ему еще тут готовится. Вдруг до него доносится скрип ступеней винтовой лестницы. Кто-то тяжело дышит, вздыхает, сморкается за дверью, потом раздается осторожный стук — так стучат люди с большими сильными пальцами, стараясь стучать не слишком громко. Наконец в замке поворачивается ключ.

— Это я... Ух!.. До чего ж высоко!

Зинаида произносит эти слова ласково и непринужденно. Но она так много плакала, ее обычно гладко причесанные волосы растрепались и высовываются из-под чепца, глаза у нее красные, распухшие, и ее наигранная веселость только еще резче подчеркивает, как ей тяжело. Бедная девушка улыбается Джеку, а тот печально смотрит на нее.

— Я плохо выгляжу, да?.. Просто ужас! Я и вообще-то не красавица. Как посмотрю на себя в зеркале, сама себе язык показываю. У меня ни талии, ни стройности, да и нос картошкой, и глаза, как щелки. А уж от слез-то они больше не станут, я со вчерашнего дня все плачу и плачу, как Магдалина!.. А мой миленький Манжен — писанный красавец! Такое богатое приданое потребовалось, чтобы он забыл о моих недостатках. Завистницы мне все твердили: «Он на твоих деньгах женится...» Точно я и сама этого не знала! Ну и пусть, его — то привлекали мои денежки, он на них варился, но я-то, я-то люблю его! И я говорила себе: «Мне бы только стать его женой, а уж там я сделаю так, что и он меня полюбит...» Но теперь, сам понимаешь, дружок Джек, все повернулось по-другому. Из-за тысячи франков, которая осталась на дне моей шкатулки, он не захочет иметь дело с такой дурнушкой. Даже когда папаша Рудик предлагал ему четыре тысячи, Манжен объявил, что коли так, то он предпочитает остаться холостяком. Я отсюда вижу: нынче вечером он придет, начнет теревить свои усики и будет придумывать, как бы половчее распроститься со мной. Конечно, я избавлю его от этой неприятной необходимости, первая верну ему колечко... Только... только... прежде чем навеки отказаться от своего счастья, я решила повидать тебя, Джек, и потолковать.

Мальчик потупился. Он плакал. Уж как он ни был мал, а все-таки отдавал себе отчет, как унизила себя Зинаида, простодушно признавшись, что она такая дурнушка. И как трогательно было мужество этой славной и чистой девушки, которая была уверена в том, что силой своей любви и домовитостью она уже после свадьбы покорит сердце красавца мужа, польстившегося на деньги!

Видя, что Джек плачет, Зинаида затрепетала от радости.

— Да я же им говорила, что он совсем не алой, что стоит ему только поглядеть на мою толстую заплаканную физиономию, красную от слез, и сердце его смягчится, он скажет себе: «И зачем только я причинил такое горе бедняжке Зинаиде! Ведь еще вчера она на моих глазах весело плясала со своей шкатулкой в руках от радости, что выходит замуж». Знаешь, когда я вчера утром взяла свою шкатулочку, а она уже стала не тяжелее, чем пригоршня снега, мне показалось, будто у меня сердце вырвали-такую я почувствовала пустоту внутри! И это чувство до сих пор не прошло... Джек, дружок! Ведь ты вернешь мое приданое?

— У меня его нет, Зинаида, клянусь вам!

— Нет, ты мне этого не говори. Ведь ты же меня не боишься, правда? Я ни в чем тебя не упрекаю. Скажи только, где мои деньги. Там, верно, уж немножко не хватает? Ну, это пустяки! Понятное дело: в молодости каждому хочется повеселиться. Ха-ха-ха! Должно быть, ты малость пощипал папашу Рудика? Ну и шут с ними, с этими деньгами! Только скажи, ради бога, куда ты спрятал остальные?

— Умоляю вас, Зинаида: выслушайте меня! Я не крал. Это ошибка. Я тут ни при чем. Господи, какой ужас! Все думают, что я виноват!

Девушка говорила, не слушая его:

— Ты пойми, Джек: ведь он и знать меня больше не захочет, всем моим надеждам на замужество конец... Джек, дружок! Не причиняй мне такое страшное горе! Наступит день, и ты раскаешься... Ради матери, которую ты так любишь, ради твоей маленькой подружки, о которой ты мне столько рассказывал — как знать, может, она станет твоей суженой, детская привязанность часто к этому приводит, — так вот ради нее ты должен это сделать! Боже мой! Ты все еще отпираешься? Как же мне тебя умолить?.. Изволь, я стану на колени и сложу руки, как перед святой Анной.

Опустившись на колени перед камнем, на котором сидел ученик, она опять зарыдала, захлебываясь и давясь слезами, как это бывает с сильными натурами, которые не привыкли открыто выражать свои чувства. Их отчаяние — точно взрыв: оно вырывается с ужасающей силой из самых недр души, как кипящая лава. Изнемогая под бременем горя, Зинаида рухнула наземь и так лежала в своем широком простом платье и белом чепце. Поза ее выражала горячую мольбу, девушка походила сейчас на тех коленопреклоненных женщин, которых можно встретить в будни в уголке безлюдной церкви, в бретонской деревушке — их фигуры воплощают безнадежное отчаяние, молитвенную скорбь.

Расстроенный, пожалуй, не меньше девушки, Джек дотронулся до ее руки, на которой поблескивало еще совсем новое, тяжелое серебряное обручальное кольцо. Он все еще пытался оправдаться, уверить ее в своей невинности.

Внезапно она встала.

— Ну так знай же: ты будешь жестоко наказан!.. Никто и никогда тебя не полюбит, потому что у тебя злое сердце.

Зинаида выбежала, в один миг спустилась по лестнице и вошла в кабинет директора, — директор и отец ждали ее.

— Ну как?

Девушка ничего не ответила, она только отрицательно покачала головой. Горло ей сдавили рыдания, она не могла вымолвить ни слова.

— Полно, дитя мое, не убивайтесь! — заговорил директор. — Прежде чем обратиться к

правосудию, которое больше думает о том, чтобы покарать виновных, а не о том, чтобы исправить причиненное ими зло, у нас остается еще одно средство. Рудик уверяет меня, будто мать «того негодника замужем за богатым человеком... Так вот, мы им и напишем... Если они люди порядочные, как полагает ваш отец, приданое еще не окончательно потеряно.

Он взял лист бумаги и начал писать, повторяя вслух каждое слово:

«Сударыня! Вашего сына обвиняют в краже шести тысяч франков. Деньги эти — всё, что отложили себе на черный день честные труженики, в семье которых он жил. До сих пор я еще не предал вора суду, надеясь, что он возвратит хотя бы часть похищенных денег, но похоже на то, что он их все промотал, либо потерял во время кутежа, происходившего на следующий день после преступления. При таких обстоятельствах судебное преследование неизбежно, если только Вы не сочтете необходимым возместить семейству Рудик украденную у них сумму. Прежде чем предпринять дальнейшие шаги, я готов ждать Вашего решения, однако ждать я буду только три дня, — я и без того долго медлил. Если до воскресенья я не получу ответа, то в понедельник утром виновный будет передан в руки правосудия.

Директор завода».

Он подписался.

— Несчастные люди! Какой ужас!.. — воскликнул папаша Рудик.

Несмотря на свое горе, он нашел в себе силы пожалеть и других. Зинаида вскинула голову.

— А что тут ужасного? — злобно сказала она.

Сын украл у меня приданое, пусть родители мне его возвратят.

Молодость и любовь не знают жалости. Зинаида не задумалась над тем, в какое отчаяние повергнет мать весть о бесчестии ее сына. Старый мастер, напротив, сочувствовал матери ученика; он понимал, что сам он умер бы со стыда, если бы ему сообщили такую новость.

Вот почему, хотя мастер и очень жалел свою дочь, все же в глубине души он смутно надеялся, что найдется какой-нибудь другой выход, может, ученик все-таки возвратит деньги, а может, это ужасное письмо затеряется в дороге и не дойдет по назначению. Ведь это такая ненадежная штука — четырехугольный листок бумаги, который отправляется в долгое путешествие в обществе таких же листков, как он, и какие только случайности не подстерегают его на пути!

Да, письмо и в самом деле нечто легкое и ненадежное, письма часто теряются. Но это письмо, которое директор только что написал и, запечатав сургучом над свечой, вручил рассыльному вместе с пачкой других бумаг, не пропадет. Почтальон-бретонец ощупью вынет его из жестяного ящика, бросит на дно своей кожаной сумки да еще задержится с ним в придорожном трактире, но можете быть спокойны: он его там не забудет. Оно благополучно переправится через Луару, и никакой ветер, ни с берега, ни с моря, не умчит его. На железной дороге вечно спешащие служащие сунут его в кое-как завязанную, потертую от долгой службы холщовую сумку и швырнут ее в проходящий поезд, но и там оно не затеряется.

Оно будет лежать вместе с другими, более объемистыми письмами, будет скользить, сдвигаться, подсакивать в движущемся вагоне, который может загореться от любой искры, потом прибудет в Париж, а оттуда, пройдя через все места, где письма разбирают, сортируют — его не сожгут, не украдут, не изорвут, не потеряют! — прямехонько дойдет до адресата вернее, чем всякое другое. Отчего же? Оттого, что оно содержит дурную весть. Такого рода письма точно заколдованы: с ними никогда ничего не случается.



Лучшее тому доказательство — письмо директора: проделав путешествие чуть ли не по всей Франции, оно в жестяном ящике сельского почтальона Казимира поднялось по знакомой нам каменистой дороге на бурый холм Этьоля. Д'Аржантон терпеть не может старика Казимира: по его мнению, он лентяй, он считает, что до Ольшаника далеко, и частенько поручает относить туда газеты и письма своей жене, которая не знает грамоты и непременно что-нибудь теряет по дороге. Вот как будто еще одна возможность, чтобы дурная весть не дошла по назначению. Но нет. Именно в этот день Казимир сам разносит почту, и вот он уже звонит в колокольчик возле увитой порыжевшим диким виноградом двери, над которой виднеется надпись:

garva domus, magna quiet; ее золоченые буквы с каждым днем блекнут от дождя и солнца.

## VII. БУДУЩИЙ ВОСПИТАННИК ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Никогда еще, пожалуй, загородный дом Ольшаник не соответствовал так своему девизу, как в то утро. Казавшийся особенно одиноким под зимним небом, по которому бежали большие серые облака, и особенно маленьким среди голых деревьев, тщательно закупоренный от сырости, проникавшей из сада и со стороны дороги, он был словно окутан той же сумрачной тишиной, какая окутывала еще не проснувшуюся после зимней спячки землю и воздух, в котором не видно было птиц. Одни только вороны, почти задевая черными крыльями землю, склевывали уцелевшее зерно на соседних полях и слегка оживляли унылый пейзаж.

Шарлотта снимала висевший на чердаке башенки сушеный виноград, поэт работал у себя, а доктор Гирш спал, но приход почтальона, служивший единственным развлечением этим добровольным изгнанникам, соединил изнывавших от скуки людей.

— Ага, письмо из Эндре!.. — воскликнул д'Аржантон и, уловив во взгляде Шарлотты лихорадочное нетерпение, намеренно стал читать газеты, положив нераспечатанное письмо около себя, как делает собака, стерегущая кость, к которой она пока еще никому не позволяет притронуться. — Ага, у этого господина вышла еще одна книга! Печет он их, что ли, скотина!.. Смотри-ка, стихи Гюго!.. Все не унимается!

Почему он с таким злобным удовольствием лениво перевертывает газетные листы? Потому что Шарлотта стоит тут, позади него, она дрожит от нетерпения, а щеки ее горят от радости: всякий раз, когда приходит письмо из Эндре, в любовнице пробуждается мать, а этот презренный эгоист злится на то, что она смеет любить еще кого-то, кроме него!

Именно по этой причине он и уснул мальчика так далеко. Но материнское сердце даже у женщин, подобных Иде, устроено так, что чем дальше от них дети, тем сильнее они их любят, словно хотят силой своей любви преодолеть расстояние и приблизиться к ним душой.

После отъезда Джека Шарлотта терзалась угрызениями совести из-за того, что так малодушно отреклась от него; теперь она просто обожала сына. Чтобы не выводить поэта из себя, она избегала разговоров о мальчике, но думала о нем неотступно.

Д'Аржантон обо всем догадывался. Его ненависть к Джеку от этого только еще усилилась, и когда стали приходиться первые письма от Рудика с жалобами на ученика, поэт не упускал случая показать, как он презирает мальчика:.

— Видишь! Из него даже рабочего не получится.

Но и этого было ему недостаточно. Ему хотелось еще больше унижить Джека, оскорбить его.

На сей раз он мог быть доволен. Когда он, наконец, распечатал письмо из Эндре и прочел первые строки, лицо его побледнело, а глаза засверкали злобой и торжеством:

— Я давно этого ожидал!

Но как только он дошел до требования возместить украденные деньги, то, сообразив, что это грозит множеством весьма неприятных осложнений, сокрушенно покачал головой и передал письмо Шарлотте.

Какой удар в довершение всего, что она уже перенесла! То был удар по ее материнской гордости — и она не могла скрыть это от д'Аржантона, — то был удар по ее материнской любви. К тому же несчастная женщина жестоко страдала от угрызений совести.

«Это твоя вина! — кричал ей внутренний беспощадный голос, перед которым умолкают все хитроумные и изощренные доводы. — Это твоя вина! Зачем ты отреклась от него?»

Теперь надо было спасти сына любой ценой. Но как это сделать? Где достать денег? У нее самой уже ничего не было. Распродажа обстановки, придававшей ее временному гнездышку видимость роскоши, принесла Шарлотте несколько тысяч франков, которые она по своей беспечности растратила. «Милый дядя» напоследок хотел сделать ей подарок на память, но она наотрез отказалась принять что бы то ни было — ей было неловко перед д'Аржантоном. Таким образом, у нее ничего не осталось, если не считать драгоценностей, за которые нельзя было бы выручить и четверти необходимой суммы. О том, чтобы просить помощи у поэта, нечего было и думать. Она его достаточно хорошо знала. Прежде всего он ненавидел Джека, а главное, был скуп. Как истый овернец, он был мелочен и корыстолюбив, копил деньги и, подобно крестьянам, считал, что сбережения, хранящиеся у нотариуса, трогать нельзя. К тому же он был не очень богат, содержание Ольшаника стоило немало и было для него весьма обременительно. Вот почему, невзирая на скуку и одиночество, он из соображений экономии жил тут всю зиму, рассчитывая таким образом хотя бы отчасти возместить большие траты, которые производились летом из-за постоянного калейдоскопа гостей: они создавали вокруг него ту самую «духовную среду», которой алкала душа этого горе-поэта, но зато и влетали ему в копеечку.

Нет, нет, вовсе не о нем подумала она! Но он-то полагал, что она надеется на него, и придал своему лицу то ледяное выражение, какое обычно появляется у скупого человека, ожидающего, что у него будут просить денег.

— Я всегда говорил, что у мальчика дурные наклонности, — процедил он, дав ей дочитать письмо до конца.

Она ему не ответила, быть может, даже не слыхала его слов, одержимая одной мыслью: «Надо за три дня раздобыть деньги, не то мой мальчик попадет в тюрьму».

А он продолжал:

— Мне стыдно будет взглянуть в глаза друзьям, — ведь они по моей просьбе хлопотали за этого изверга!.. Вперед мне наука... Как я влип!

Шарлотта покраснела, но думала все об одном: «Я должна за три дня раздобыть деньги, иначе мой мальчик попадет в тюрьму».

Д'Аржантон испытующе смотрел на нее, стараясь угадать ее мысли. Из осторожности, опережая ее просьбу, он поспешил сказать:

— И ведь у нас даже нет возможности избежать бесчестья, вырвать этого негодника из рук судебных властей... Мы не так богаты.

— Ах, если бы ты захотел! — проговорила она и опустила голову.

Он решил, что она сейчас попросит денег. Это вывело его из себя:

— Ну да, если бы я захотел, черт побери! Я ждал, что ты это скажешь... А ведь ты лучше, чем кто-нибудь другой, знаешь, сколько мы тут проживаем, знаешь, что дела мои не так уж хороши. Мало того, что этот лоботряс и плут целых два года сидел у меня на шее! Теперь я еще должен расплачиваться за совершенную им кражу! Шесть тысяч франков! Да где мне их взять?

— О, я все отлично понимаю... Я рассчитываю не на тебя.

— Не на меня?.. А на кого же?

Смутившись и еще ниже опустив голову, она произнесла имя человека, с которым долгое время была близка: Джек называл его «милый дядя», а она назвала его «мой старинный друг». Она вымолвила это имя дрогнувшим голосом, боясь вспышки ревности со стороны поэта, ибо тем самым неосмотрительно напомнила о своем прошлом. Ничего похожего! Услыхав о «миллом дяде», д'Аржантон лишь слегка покраснел: он и сам о нем подумал.

В конце концов этот бывший прокровитель Иды, равно как и ее сын, относились к прошлому Шарлотты, к тому таинственному прошлому, о котором он из гордости никогда ее не расспрашивал, делая вид, будто он его игнорирует. В этом д'Аржантон уподоблялся историкам эпохи Реставрации, которые умалчивали о временах Республики и о правлении Бонапарта, опускали их в своих ученых трудах, как будто их не существовало. Поэт рассуждал так: «Все это было еще до меня... Так пусть сами и выпутываются!» В сущности, он был очень доволен, что так дешево отделался, однако ничем не выдал своего безразличия и, напротив, притворился задетым:

— Моя гордость принесла уже немало жертв ради любви, ну что ж, она может пойти еще и на эту жертву.

— Благодарю, благодарю!.. Ты так добр!

Вполголоса, чтобы их не услышал доктор Гирш, который от нечего делать лениво расхаживал по всему дому в своих стоптанных туфлях, они начали обсуждать, как гее это устроить.

Станный это был разговор — отрывочные фразы, недомолвки, намеки. Он разыгрывал подчеркнутое отвращение, она из деликатности не называла вещи своими именами, прибегала к безличным оборотам: «Мне, разумеется, не откажут... Доказательством служат подношения, которые мне предлагали, но которых я не приняла... К несчастью, это в Турени, как быть? Письмо придет только дня через два, столько же придется ждать ответа».

— А что, если я сама съезжу... — сказала Шарлотта и тут же испугалась собственной смелости.

Поэт невозмутимо ответил:

— Ну что ж, съездим.

— Как, ты поедешь со мною в Тур?.. Но тогда уж и в Эндре, от Тура это совсем близко, и мы передадим деньги!

— Значит, и в Эндре.

— Какой ты добрый, какой ты добрый!.. — целуя его руки, повторяла несчастная сумасбродка.

Он вовсе не склонен был отпускать ее в Тур одну. Ему не все было известно из ее прошлого, но он знал, что она некоторое время жила в Туре и была там счастлива. А что, если она возьмет да и не вернется?.. Она ведь так слабохарактерна и переменчива! Свидевшись со своим старым другом, вновь попав в обстановку роскоши, от которой она отказалась, встретившись с сыном, которого она так долго не видела, Шарлотта могла, чего доброго, пожалеть о прошлом и захотеть сбросить с себя иго тирании, а нести его — это он сам прекрасно понимал — было не так легко.

А между тем он уже не мог без нее обходиться. Тщеславный, эгоистичный, болезненно мнительный, он нуждался в ее слепой преданности, постоянных заботах и неизменно хорошем настроении. К тому же ему улыбалась мысль совершить небольшое путешествие и хоть на время избавиться от опротивевшей ему самому лирической драмы, над которой он уже давно и безрезультатно корпел.

Разумеется, свои страхи и желание развлечься он преподнес как рыцарские побуждения, объявив Шарлотте, что он ее не покинет, что он хочет делить с ней не только радость, но и горе, — в душе горевавшей матери он подогревал чувства признательной и восторженной любовницы. Впрочем, злополучную Лолотту поглощали предотъездные хлопоты, и эта легкомысленная женщина не думала о свалившемся на нее несчастье. Упаковывая чемоданы, давая распоряжения тетушке Аршамбо, она почти не вспоминала о печальных обстоятельствах, вызвавших эту поездку.

За обедом д'Аржантон сказал доктору Гиршу:

— Мы уезжаем. Джек таких дел натворил — просто беда. Нам нужно быть в Эндре. Приглядывай за домом, пока нас не будет.

Гирш не расспрашивал о подробностях. Он несколько не удивился, что Джек «натворил дел», и, как истый прихлебатель, воскликнул по примеру д'Аржантона:

— Я давно этого ожидал!

Они выехали ночью курьерским поездом и рано утром прибыли в Тур. «Старинный друг» прежней Иды де Баранси жил в окрестностях города, в одном из небольших красивых замков, разбросанных по берегам Луары; их тенистые парки сбегают к самой реке, а кокетливые башенки вырисовываются на горизонте. «Его сиятельство», как в свое время именовали «милого дядю» слуги Иды, был бездетным вдовцом; этот светский человек был к тому же еще и добрым человеком. Несмотря на то, что молодая женщина порвала с ним так внезапно, он сохранил самые лучшие воспоминания об этой веселой говорунье, скрашивавшей некоторое время его одиночество. Вот почему на коротенькое письмецо Шарлотты он ответил, что охотно примет ее.

Они наняли экипаж и, выехав за город, покатали по красивой дороге мимо холмов. Шарлотту немного тревожило, что поэт упорно следует за ней. Она спрашивала себя:

«Что ж, он и туда со мной войдет?»

Несмотря на то, что она слабо разбиралась в правилах хорошего тона, она все же понимала, что это немисливо. Она думала об этом, любуясь из окна кареты дивными местами, где прошли несколько лет ее бродячей жизни, где она так часто прогуливалась со своим маленьким Джеком, который в то время был прелестным златокудрым, нарядно одетым ребенком; теперь на нем рабочая блуза, а скоро, быть может, он наденет арестантский халат...

Сидя рядом с Шарлоттой, д'Аржантон краешком глаза наблюдал за нею и яростно покусывал ус. А она в это утро была очень хороша, хотя чуть-чуть бледна: сказывалась тревога за сына,

усталость после ночи, проведенной в вагоне, волнение перед визитом к «старинному другу». Строго обдуманый темный костюм еще резче подчеркивал свежесть ее лица и возвращал ей ту изысканность, какую она постепенно потеряла в Ольшанике, хлопоча по хозяйству и выполняя роль сиделки при поэте. Д'Аржантон, утратив обычное свое высокомерие, был взволнован, встревожен, он чувствовал себя глубоко несчастным. Но владевшее им чувство не походило на ревность Отелло, которая сводит с ума и убивает, нет, то было раздражающее ощущение неловкости, когда человек чувствует себя никчемным и глупым. Д'Аржантон понимал, какую странную, постыдную и нелепую роль он играет, и уже начинал раскаиваться в том, что вызвался сопровождать ее. Но больше всего он злился на себя за то, что разрешил ей сюда поехать.

Вид замка окончательно вывел его из равновесия. Когда Шарлотта сказала: «Здесь»-и он различил среди деревьев изящные очертания и каменную резьбу прелестного замка эпохи Возрождения, террасы, подъемный мост, переброшенный через речушку, летом скрытую тенистыми деревьями и ясно видную в это время года, когда прозрачные дали едва-едва затушеваны зелеными пятнами, он мысленно обвинил себя в легкомыслии, сумасбродстве и неосторожности. Конечно, очутившись там, она уже оттуда не выйдет.

Д'Аржантон не знал, какие крепкие корни пустил он в сердце этой женщины, не понимал, что никакие сокровища в мире не заставят ее отказаться от него.

«Когда же он выйдет из экипажа?»-думала взволнованная Шарлотта.

Наконец у въезда в широкую аллею он велел остановиться.

— Я буду там, на дороге, — сказал он и прибавил с жалкой, вымученной улыбкой:-Только не задерживайся!

— Нет, нет, друг мой, не беспокойся...

Экипаж был уже далеко, у решетчатых ворот, а он все глядел ему вслед. А минут через пять, когда поэт, опершись на ограду парка, пристально смотрел все в том же направлении, он увидел, что его любовница идет под руку с высоким, элегантным, еще стройным и держащимся прямо господином, который, судя по несколько напряженной походке, был уже далеко не молод. Когда они исчезли, д'Аржантон ощутил внутри страшную пустоту, ему почудилось, будто юбки Шарлотты, свернувшей в боковую аллею, взметнулись с такой дразнящей насмешкой, что у него загорелось лицо, как от пощечины.

Начались муки ожидания... О чем они там говорят?.. Увидит ли он еще когда-нибудь Шарлотту?.. И всю эту унижительную пытку ему приходится терпеть из-за какого-то дрянного мальчишки!

Поэт опустился на истертую ступеньку возле калитки в конце большого парка, в глубине которого только что скрылась Шарлотта, и лихорадочное волнение овладело им; он ежеминутно поглядывал на решетчатые ворота и на лужайку перед входом в замок, где на козлах кареты неподвижно восседал кучер в пелерине. Глазам поэта открывался чудный вид, способный утишить самую мучительную тревогу: сбегавшие по склонам ровные ряды густых виноградников, лесистые холмы, обсаженные ивами и прорезанные ручьями пастбища; там и сям темнели руины времен Людовика XI, взор радовали красивые замки, которых так много на берегах Луары, — на их фронте между причудливо переплетающимися буквами «Д»[32] извивалась саламандра.

Изнывая от одиночества и тоскливого ожидания, д'Аржантон, чтобы развлечься, стал приглядываться к группе рабочих, рывших в маленькой долине, раскинувшейся у его ног наподобие чаши, большую канаву для стока воды. Подойдя ближе, он обнаружил, что люди эти, одетые в одинаковые синие блузы и грубые холщовые штаны, которых он принял издали

за крестьян, на самом деле подростки, работающие под присмотром надзирателя. Человек этот — не то крестьянин, не то горожанин — распоряжался и намечал границы канавы.

Удивительнее всего было то, что мальчишки, трудившиеся на вольном воздухе, хранили молчание. Ни единого слова, ни единого возгласа! Не заметно было даже того естественного возбуждения, какое присуще человеку, когда он двигается, когда он занят физическим трудом.

— Ровнее!.. Не спешить!.. — кричал надзиратель, и лопаты мелькали в воздухе, а вспотевшие головы наклонялись к земле.

Время от времени работающие выпрямлялись, чтобы перевести дух, и тогда становились видны их конусообразные черепа, узкие лбы, отмеченные печатью порока, изможденные, испытанные физиономии. Можно было наверняка сказать, что подростки эти выросли не на деревенском приволье — их землистого цвета кожа, красные, гноящиеся глаза явственно говорили о нищете городских окраин, о затхлом воздухе кварталов, где ютится беднота, о пагубных для здоровья жилищах.

— Что это за дети? — полюбопытствовал поэт.

— Вы, сударь, видать, нездешний?.. Это воспитанники из колонии Метре... Она тут близко.

Надзиратель указал д'Аржантону на ряд новых белых домов, видневшихся на холме, прямо против них. Поэту уже приходилось слышать об этом известном исправительном заведении, но он ничего не знал ни о существующих там порядках, ни о том, кто туда попадает. И он принялся расспрашивать этого человека, пояснив, что в одной хорошо знакомой ему семье единственный сын совсем отбился от рук, и родители от горя просто голову потеряли.

— Когда он выйдет из тюрьмы, пусть пришлют его к нам.

— Дело в том, что он туда, как видно, не попадет, — произнес д'Аржантон с некоторым сожалением в голосе. — Родные умудрились избавить его от наказания, возвратив деньги...

— Тогда мы не можем его принять. Мы помещаем в колонию только малолетних преступников. Но у нас имеется тут особое отделение, «Отчий дом», где применяется режим строгой изоляции.

— Вот оно что!.. Режим строгой изоляции?

— Он исправляет даже самых неисправимых... Впрочем, у меня тут с собой брошюры. Не угодно ли ознакомиться?

Д'Аржантон взял брошюры, дал надзирателю несколько монет для малолетних преступников и вышел на дорогу. Решетчатые ворота замка только что закрылись. Карета ехала по главной аллее.

Наконец-то!..

Сияющая, счастливая, с блестящими от возбуждения глазами, Шарлотта торопилась к своему поэту.

— Садись, садись! — проговорила она.

Взяв его под руку, она воскликнула, замирая от радости:

— Все устроилось!

— Угу! — сказал он.

— И даже лучше, чем я надеялась.

Он снова повторил «Угу»-сухо, с подчеркнутым равнодушием — и стал листать брошюры, делая вид, будто они очень его занимают, а все прочее его совершенно не касается. Он был далеко не так спесив еще совсем недавно: он грыз ногти от нетерпения, когда ждал ее у запертых ворот. Но теперь, когда она с прежней рабской покорностью прижималась к нему, он справедливо рассудил, что беспокоиться больше не о чем. Видя, что он молчит, умолкла и Шарлотта, полагая, что гордость его уязвлена и он ревнует. Поэт был вынужден сам начать разговор:

— Стало быть, все устроилось?

— Как нельзя лучше, друг мой... Оказывается, Джеку собирались сделать подарок к совершеннолетию, чтобы он мог заплатить человеку, который вместо него пошел бы на военную службу, и обзавестись самым необходимым. Ему было назначено десять тысяч франков. И мне их тотчас же вручили. Шесть тысяч франков надо будет отдать Рудику, что же касается остальных четырех тысяч, то мне посоветовали в интересах ребенка найти им наилучшее применение.

— Я уже нашел им применение — Эти деньги пойдут на то, чтобы содержать его два-три года в строгой изоляции, в «Отчем доме» при исправительной колонии Метре. Только там, быть может, удастся превратить вора в честного человека.

Услышав слово «вор», она затрепетала; она вернулась к печальной действительности. Читатель помнит, что в голове этой пустой и вздорной женщины одно мимолетное впечатление стремительно сменялось другим и мгновенно исчезало, не оставляя следа.

Она потупилась.

— Я согласна на все... — проговорила она. — Ты был так добр, так великодушен! Я никогда этого не забуду.

Углы губ поэта дрогнули в довольной и горделивой улыбке. Он больше чем когда-либо был хозяином положения. И он не преминул произнести длинную речь... Ее во многом можно упрекнуть. В том, что произошло, немалую роль сыграла ее материнская слабость. Избалованный ребенок, дурным наклонностям которого потакали, непременно должен был ступить на пагубный путь. Чтобы справиться с этим норовистым конем, нужна твердая мужская рука. Пусть только ему доверят это дело — он быстро приберет его к рукам.

И он несколько раз повторил:

— Я либо усмирю его, либо сломаю ему хребет!

Она не отвечала. Радость при мысли, что ее ребенок не попадет в тюрьму, затмевала все остальное. Они решили в тот же вечер отправиться в Эндре. Но для того, чтобы избавить ее от тягостного унижения, они условились, что Шарлотта останется в Ла Басс-Эндр. Д'Аржантон сам отвезет деньги и захватит с собой провинившегося Джека, которого немедленно отправят в колонию. Для поэта слово «колония» стало уже привычным. Он заранее предвкушал, как Джек, наряженный в синюю хлопчатобумажную куртку, смешается с толпой несчастных малолетних преступников; они по большей части жертвы родительских пороков и преступлений и с детских лет образуют особый отряд в легионе отщепенцев.

Они вышли из вагона на большой заводской станции в Ла Басс-Эндр и заняли лучшую комнату на постоялом дворе у большой дороги — в этих местах не было ни одной гостиницы.

Дело происходило в воскресенье. Поэт отправился в свою карательную экспедицию, а Шарлотта осталась одна и ждала его в отвратительной комнате, куда долетали крики, смех, пьяные голоса, тягучие, заунывные песни, напоминающие псалмы, жалобные, подобно всем мелодиям Бретани, — они печальны, как ее море, и нагоняют тоску, как ее дикие беспредельные ланды. Порою доносились матросские песенки, не такие медлительные и даже озорные, но все-таки тоже грустные. То ли от грубого кабацкого шума, то ли оттого, что мелкий косой дождь монотонно и безостановочно барабанил в окна, но только эта недалекая женщина впервые по-настоящему поняла, на какую безотрадную жизнь обрекли ее мальчика. Как он ни виноват, но ведь это ее сын, ее Джек. Сознание, что она так близко от него, воскрешало в ее памяти те счастливые годы, которые они прожили вместе.

Почему она отреклась от него?

Она вспомнила, какой это был очаровательный, красивый ребенок, смысленный и ласковый, и при мысли, что ее сын сейчас предстанет перед ней в облике заводского ученика, совершившего кражу, смутные угрызения совести, мучившие ее уже два года, превратились в отчетливое сознание своей вины. Вот к чему привела проявленная ею слабость! Если бы Джек оставался дома, с нею, а не очутился в фабричной среде, где так легко испортиться ребенку, если бы она отдала мальчика в коллеж вместе с его сверстниками, разве стал бы он воровать? Да, как быстро сбылось пророчество доктора Риваля! Сын предстанет перед ней униженным, опустившимся.

Нехитрые воскресные развлечения рабочих, отзвук которых достигал ушей Шарлотты, заставили ее еще сильнее почувствовать угрызения совести. Вот в какой среде, оказывается, живет ее сын уже целых два года!.. Она почувствовала отвращение, вся душа ее была возмущена. Разве могла эта легкомысленная, ограниченная женщина постичь величие людей труда, всю жизнь работающих не покладая рук?.. Чтобы отвлечься от печальных дум, она взяла со стола один из проспектов «колонии». Первые же слова привели ее в трепет: «Отчий дом. Исправительное учебное заведение. Режим строгой изоляции. Каждый из воспитанников помещается в отдельной комнате, они никогда не встречаются друг с другом, даже в часовне». Сердце у нее сжалось, она захлопнула книжицу и подошла к окну. Впившись глазами в воды Луары, видневшейся там, в конце улочки, и бурлившей, как море, под струями дождя, она нетерпеливо ждала возвращения поэта, появления своего Джека.

А д'Аржантон тем временем не без удовольствия шел исполнять свою миссию. Он бы ни за какие блага не отказался от такой роли. Больше всего на свете этот комедиант любил становиться в позу, а уж в тот день он рассчитывал вволю покрасоваться и покуражиться. Он уже заранее готовил речь, с которой обратится к преступнику, предвкушал, как заставит его на коленях просить прощения в кабинете директора. А в предвидении всего этого он важно, с приличествующей случаю миной, в темном костюме, в черных перчатках, твердой рукою держа высоко над собой зонт, торжественно шествовал по главной улице Эндре, пустынной в эту пору вследствие дурной погоды, а также потому, что в церкви уже служили вечерню.

Какая-то старуха указала ему дом Рудика. Поэт миновал замолкший, отдыхающий завод, который, казалось, испытывал удовольствие от того, что дождь освежает его закопченные, потемневшие крыши. Но, приблизившись к дому, куда его направили, д'Аржантон в нерешительности остановился: он подумал, что ошибся. Среди всех домов, выстроившихся вдоль улицы-казармы, этот был самым веселым, самым оживленным. Из полуоткрытых окон нижнего этажа доносился задорный напев бретонских хоровых песен; слышен был тяжелый топот, совсем как на гумне во время молотьбы. Плясали, как выражаются в Бретани, «под голос» и с тем азартом, который сообщают танцующим причмокиванье, прищелкиванье, хлопанье в ладоши.

«Быть не может... Это не здесь...»-говорил себе д'Аржантон, приготовившийся войти в омраченное горем жилище, точно ангел-избавитель.



Вдруг кто-то крикнул:

— Эй, Зинаида! Спой про «Оловянное блюдо»!..

Несколько голосов подхватили:

— Да, да, Зинаида, спой про «Оловянное блюдо»!..

Зинаида! Но ведь так зовут дочь Рудика!

Черт побери, эти люди что-то уж слишком веселы при такой беде! Он все еще колебался, а женский голос между тем пронзительно затянул:

В трактир «Оловянное блюдо»...

Хор, в котором сливались мужские и женские голоса, подхватил:

В трактир «Оловянное блюдо»...

Перед окном вихрем закружились белые чепцы, зашуршали суконные юбки, слышались осипшие от крика голоса.

— А ну, бригадир!.. А ну, Джек!.. — надрывались в комнате.

Это уже слишком!.. Заинтригованный поэт толкнул дверь и в облачках пыли, вздымавшихся от бешеной пляски, прежде всего увидел Джека — этого вора, этого будущего воспитанника исправительной колонии! Он кружился по комнате вместе с семьей, не то восемью девушками, и одна из них, оживленная, раздумываясь толстушка, изо всех сил тащила в хоровод красивого таможенного бригадира. Прижавшийся к стене в поисках укромного уголка седой человек с добрым лицом, сиявшим от радости, явно довольный этим бурным весельем, уговаривал принять в нем участие высокую, бледную, молодую женщину с печальной улыбкой на устах.

Что же произошло?

А вот что...

На следующий день после того, как директор завода Эндре написал матери Джека, в его кабинет вошла г-жа Рудик, взволнованная и возбужденная. Не замечая холодного приема, ибо позор, который она уже не могла скрыть, давно навлек на нее молчаливое презрение порядочных людей и она к атому привыкла, Кларисса отказалась от предложенного ей стула и, выпрямившись, с неожиданной твердостью в голосе объявила:

— Я пришла сообщить вам, сударь, что ученик ни в чем не виноват. Это не он украл приданое моей падчерицы.

Директор так и подскочил в кресле.

— Однако, сударыня, все улики налицо.

— Какие там улики! Самая неопровержимая из них та, что муж был в отъезде и Джек оставался с нами. Так вот, милостивый государь, именно эта улика и несостоятельна. В ту ночь, кроме Джека, в доме находился еще один мужчина.

— Мужчина? Нантец?

Она утвердительно кивнула головой.

Господи, до чего она была бледна!

— Значит, деньги взял Нантец?

Может быть, на этом мертвом лице и отразилось минутное замешательство. Так или иначе, она ответила спокойно и твердо:

— Нет. Это не Нантец взял деньги... Их взяла я... и отдала ему.

— Несчастливая женщина!

— Да, да, я очень несчастна! Он уверил меня, что берет их только на два дня, и все это время я ждала, хотя видела отчаяние мужа, горькие слезы Зинаиды, хотя смертельно боялась, что осудят невинного... Какая пытка!.. Никаких вестей. Тогда я послала ему письмо: «Если завтра, к одиннадцати утра, я не получу денег, то выдам себя и вас...» И вот я здесь.

— Вы здесь, вы здесь!.. Но от меня-то вы чего хотите?

— Я хочу, чтобы теперь, когда вам известны настоящие виновники, вы их задержали.

— А ваш муж?.. Ведь он не переживет позора!

— А я? — проговорила она с какой-то скорбной гордостью. — Умереть легче всего. Поверьте: то, на что решилась я, куда мучительнее!

Она говорила о смерти с какой-то мрачной одержимостью.

Она ждала ее, призывала с такой страстью, с какой никогда не ждала и не призывала любовника.

— Когда бы ваша смерть могла что-нибудь исправить, — сурово начал директор, — когда бы этой ценой можно было возратить приданое бедняжки Зинаиды, я бы еще мог понять ваше желание умереть... Но ведь ваше самоубийство, собственно говоря, выход только для вас одной. Для других же ничего не изменится, их положение станет только еще тягостнее и безысходнее.

— Что ж тогда делать? — спросила она с убитым видом.

В ее неуверенном голосе слышались интонации прежней Клариссы — высокой, хрупкой женщины, изнемогающей от непосильной для нее внутренней борьбы.

— Прежде всего надо попытаться спасти хотя бы часть денег. Быть может, он еще не все спустил.

Кларисса покачала головой. Она отлично знала этого заядлого игрока, она слишком хорошо помнила, как он завладел деньгами, как грубо оттолкнул ее, когда бросился к шкатулке. Она не сомневалась, что он играл и проиграл все до последнего гроша.

Директор позвонил. Вошел стражник — заклятый враг Белизера.

— Вам придется поехать в Сен-Назер, — распорядился директор. — Передайте Нантцу, что он мне нужен, срочно. Для верности препроводите его сюда сами.

— Нантец в Эндре, господин директор. Я только что видел его, он выходил из дома Рудика. Должно быть, где-нибудь тут неподалеку болтается.

— Тем лучше... Разыщите его как можно скорее и приведите... Только не говорите ему, что госпожа Рудик у меня в кабинете... Ему не следует это знать...

— Понятно... — подмигнув глазом, отозвался прозорливый страж, хотя на самом деле ровным счетом ничего не понял.

Он повернулся на каблуках и вышел.

После его ухода в кабинете наступило молчание. Опершись на угол письменного стола, Кларисса о чем — то думала, безмолвная и суровая. Шум работающего завода, шипенье и свист пара, то умоляющие, жалобные, то угрожающие, как нельзя лучше отвечали буре, бушевавшей в ее душе. Внезапно дверь распахнулась.

— Вы посылали за мной, господин директор? — как ни в чем не бывало, спросил Нантец.

Кларисса, ее бледность, строгий вид директора...

Шарло понял все.

Стало быть, она сдержала слово.

На минуту на его наглом и грубом лице появилось выражение дикой растерянности, растерянности загнанного в угол человека, который, чтобы выбраться из тупика, способен пойти даже на убийство, затем он пошатнулся, будто сломленный жестокой внутренней борьбой, и рухнул на колени возле письменного стола.

— Простите! — пробормотал он.

Директор жестом приказал ему подняться.

— Избавьте нас от униженных просьб и слез. Нас этим не удивишь. Перейдем к делу. Эта женщина ради вас обокрала собственного мужа и дочь. Вы пообещали вернуть ей деньги через два дня...

Нантец с невыразимой признательностью поглядел на свою любовницу, спасавшую его ценою лжи, но Кларисса даже не посмотрела в его сторону. Ей уже не хотелось на него смотреть. Слишком хорошо она разглядела его в ночь преступления!

— Где же деньги? — спросил директор.

— Вот... Я принес...

Он и в самом деле привез их, но, не застав Клариссу дома, поспешил унести и уже направлялся в игорный дом, чтобы снова попытать счастья. Это был отчаянный игрок.

Директор взял кредитные билеты, которые Шарло положил на стол.

— Тут всё?

— Не хватает восьмисот франков... — с запинкой ответил Нантец.

— Ну да, понятно. Припрятали для вечерней игры.

— Нет, клянусь вам. Я их проиграл. Я их верну.

— Не трудитесь. С вас больше ничего не требуют. Я сам добавлю эти восемьсот франков. Я не хочу, чтобы бедная девочка потеряла хотя бы одно су из обещанного ей приданого. Теперь надо только объяснить Рудику, каким образом деньги исчезли и как опять нашлись. Садитесь и пишите.

Директор на минуту задумался, а Нантец тем временем сел за письменный стол и взял перо.

Кларисса подняла голову. Она ждала. Это письмо сулило ей жизнь или смерть.

— Пишите: «Господин директор! Под влиянием минутного помешательства я взял шесть тысяч франков из шкафа Рудиков...»

Нантец вздрогнул, будто хотел что-то возразить, но испугался Клариссы, и таким образом жестокая, беспощадная правда всплыла наружу.

— «Рудиков»... — повторил он последнее слово директора.

А тот продолжал диктовать:

— «...Вот эти деньги... Я не в силах дольше держать их у себя. Они жгут мне пальцы... Освободите несчастных, которых заподозрили по моей вине, и умолите дядю простить меня. Передайте ему, что я покидаю завод и уезжаю, я не смею даже повидаться с ним. Я возвращусь только тогда, когда трудом и раскаянием заслужу право пожать руку порядочного человека». Теперь поставьте дату... и подпишитесь...

Заметив, что Шарло колеблется, директор сказал:

— Смотрите, молодой человек! Предупреждаю вас: если вы не подпишете, я немедленно прикажу арестовать эту женщину...

Нантец, не сказав ни слова, подписал письмо. Директор встал.

— А теперь можете ехать... Если хотите, я разрешу вам работать в Гериньи, но только ведите себя прилично. И помните: если я узнаю, что вы околачиваетесь поблизости от Эндре, жандармы арестуют вас как вора. Ваше письмо дает им для этого все основания...

Нантец неловко поклонился и, проходя мимо Клариссы, кинул на нее взгляд. Но чары были уже развеяны. Она медленно отвернулась, твердо решив никогда больше не видеть его и сохранить в своей памяти отвратительный образ того гнусного вора, какой предстал ее взору в ту памятную ночь. Когда Шарло вышел, г-жа Рудик подошла к директору и, прижав руки к груди, с признательностью склонила голову.

— Не благодарите меня, сударыня. Я сделал это ради вашего мужа, ради того, чтобы избавить этого почтенного человека от жестокой муки.

— За мужа-то я и благодарю вас, сударь... Я только о нем и думаю. Жертва, которую я собираюсь принести, оберегая его спокойствие, — лучшее тому доказательство.

— О какой жертве вы говорите?

— Я буду жить, хотя так сладко было бы умереть, навеки успокоиться... Ведь я уже все решила, все обдумала. И не иду я на это только из-за Рудика. А я так нуждаюсь в покое, я так устала!

В самом деле: силы, которые каким-то чудом до сих пор поддерживали Клариссу, теперь, когда кризис миновал, оставили бедняжку, и, пассивная от природы, она внезапно впала в такое угнетенное и подавленное состояние, что директор, увидев, как она, понурившись, удрученная, в полном изнеможении, выходит из его кабинета, испугался, как бы не случилось какой беды, и мягко проговорил:

— Полноте, сударыня, будьте мужественны! Подумайте хотя бы о том, какое огромное горе ожидает Рудика, когда он прочтет это письмо, каким оно будет для него страшным ударом. Разве можно добивать человека новым несчастьем и уже непоправимым?

— Об этом-то я и думаю, — прошептала она и медленно вышла.

Рудик, и правда, пришел в отчаянье, когда узнал от директора о проступке племянника. И только восторг и радость Зинаиды, которая, вновь обретя приданое, высоко подбрасывала в воздух свою заветную шкатулочку, немного утешили этого славного человека. Как все честные натуры, он не мог прийти в себя от горестного изумления, столкнувшись с низостью и неблагодарностью. Старик повторял с убитым видом: «А моя жена-то души в нем не чаяла!» И все, кто слышал эти слова, невольно краснели — так ужасна была его наивность!

А что же Ацтек? Наш бедный Ацтек дождался наконец торжества справедливости. На дверях всех цехов вывесили приказ директора, в котором объявлялось о том, что ученик ни в чем не виноват. Все толпились вокруг Джека, поздравляли его. Можно себе представить, как извинялись перед ним в доме Рудика, как просили не поминать прошлого, уверяли в своих дружеских чувствах! Одно только омрачало его счастье — отсутствие Белизера!

Едва отперли дверь темницы, как только Белизеру сказали: «Вы свободны...» — бродячий торговец, ни о чем не спрашивая, поспешил уйти. Все случившееся наполнило его такой тревогой, он так боялся, как бы его снова не схватили, что им владела только одна мысль: бежать, бежать без оглядки, так быстро, как только позволят больные ноги. Джек сильно горевал, узнав, что Белизер ушел неизвестно куда. Ему так хотелось попросить прощения у этого бедолаги, которого из — за него избили, два дня продержали под замком и почти разорили, приведя в негодность весь его товар. Особенно страдал мальчик, когда вспоминал, что Белизер ушел из городка, считая его виноватым, потому что никто даже не успел его в этом разуверить. Сознание, что бродячий торговец отправился в странствие по дорогам, считая его вором, отравляло радость Джека.

Невзирая на это, он с большим удовольствием позавтракал вместе со всеми на помолвке бригадира и Зинаиды и весело плясал с другими «под голос», как вдруг в комнату вошел д'Аржантон. Появление поэта — необыкновенно величественного, в черных перчатках — произвело на веселое общество такое же впечатление, какое, должно быть, производит появление пустельги на стаю резвящихся ласточек. Если уж человек, как говорится, настроил себя на определенный лад, ему не так-то легко изменить свое расположение духа. Поведение д'Аржантона это подтверждало. Сколько ему ни втолковывали, что деньги нашлись, что невиновность Джека всеми признана и что, поехав в Эндре, он разминулся со вторым письмом директора, который поспешил рассеять досадное недоразумение, вызванное его первым письмом, поэт продолжал держаться все так же чопорно и неприступно. Он собственными глазами видел, что все эти славные люди обращались с учеником, как с родным, что папаша Рудик дружески похлопывал его по плечу и называл «голубчиком», а Зинаида сжимала своими сильными руками голову мальчика и ласково ерошила ему волосы, предвкушая, что вскоре она получит право так же обращаться с головою бригадира Манжена, но это ничего в нем не изменило. Д'Аржантон в самых выпретенных выражениях высказал Рудиду сожаление, что на его долю выпало столько тяжелых переживаний, и просил принять извинения от него самого и от матери Джека.

— Скорее я должен извиниться перед бедным пареньком... — возражал мастер.

Д'Аржантон его не слушал. Он разглагольствовал о чести, о долге и об ужасных тупиках, куда заводит дурное поведение. Хотя с Джека было снято главное обвинение, у него было достаточно причин быть смущенным: мальчик вспоминал злосчастный день в Нанте и то, в каком плачевном состоянии нашел его бригадир Манжен, который, разумеется, ничего не забыл. Вот почему он краснел во время бесконечной проповеди поэта, мнившего себя непогрешимым судьей, и не знал, как себя вести. Битый час-д'Аржантон расточал перед этими славными людьми свое красноречие и нагнал на них тоску и нестерпимую скуку. В конце концов папаша Рудик не выдержал.

— Вы столько времени говорите, что у вас, верно, в горле пересохло, — простодушно сказал мастер и велел поднести гостю кувшинчик отменного сидра и гречишную лепешку, испеченную Зинаидой к завтраку.

Право же, у этой лепешки был такой соблазнительный вид, корочка ее так аппетитно золотилась, что поэт, как известно, любивший покушать, поддался искушению и проделал в ней такую громадную брешь, какая могла поспорить разве только с той, что в свое время проделал нож Белизера в пресловутом окороке.

Из длиннющей речи, которую Джек выслушал, он усвоил только одно: оказывается, д'Аржантон проделал это далекое путешествие, чтобы привести в Эндре деньги и избавить его от позора, от скамьи подсудимых. И в самом деле, с пафосом разыгрывая эту комедию, поэт не преминул извлечь пользу из лежавших у него в бумажнике кредитных билетов — он все приговаривал, похлопывая себя по карману: «Я привез деньги...» Мальчик, вообразив в простоте душевной, что д'Аржантон не пожалел шести тысяч франков для того, чтобы спасти его, стал уже думать, что он ошибался, что тот вовсе не такой дурной и неприятный человек, а холодность его напускная... Никогда еще Джек не был так почтителен, так внимателен к «врагу», а д'Аржантон, пораженный этой внезапной переменой, не узнавал больше «норовистого коня» и, как всегда, приписывал ее своему благотворному влиянию. Он сказал себе:

«Я укротил его».

Эта мысль, равно как и сердечный прием, оказанный ему в доме Рудиков, привели его в отличное настроение.

Если бы вам довелось увидеть, как поэт и мальчик под руку спускаются к реке по улицам Эндре, как они беседуют, прогуливаясь по дамбе вдоль Луары, вы бы приняли их за добрых друзей. Джек испытывал радость оттого, что мог поговорить о матери, узнать о ней новости, подробно расспросить, как она живет, и словно ощутить аромат ее присутствия, глядя на человека, которого она так любила! Если бы он только знал, что она совсем близко от него, что вот уже почти час в д'Аржантоне борются остатки сострадания и ревнивый эгоизм и поэт спрашивает себя: «Сказать ему, что она тут?»

Отправляясь в Эндре в роли судьи, д'Аржантон никак не ожидал такого поворота событий. Разумеется, он с восторгом привез бы к матери преступного, униженного сына, которого она не посмела бы даже приласкать. Но самому привести к ней торжествующего героя, ставшего жертвой рокового стечения обстоятельств, присутствовать при нежной, теплой встрече двух существ, чьи сердца упорно стремились друг к другу, — нет, это было выше его сил!

И все же, чтобы пойти на подобную жестокость, чтобы отнять у Шарлотты и ее сына радость встречи, когда они волей судьбы оказались так близко друг от друга, нужен был какой-то благовидный предлог, хитроумная отговорка, такой повод, который выглядел бы убедительным и, главное, мог быть сопровожден высокопарными словами. И такой повод дал ему сам Джек.

Вообразите, что этот бедный, наивный мальчик, покоренный непривычной мягкостью д'Аржантона, поддался внезапному порыву, потребности излить душу и сознался поэту, что не чувствует никакой склонности к той жизни, какую ведет, что из него никогда не получится путного рабочего, что он тут очень одинок, что ему так тоскливо вдали от матери, и робко спросил, нельзя ли приискать ему какое-нибудь другое занятие, которое больше бы отвечало его природным склонностям и было бы ему по силам... Нет, работы он не боится!.. Но только ему бы хотелось немного меньше работать руками и чуть больше — головой.

В пылу разговора Джек сжимал руку поэта и вдруг почувствовал, что рука д'Аржантона уже не отвечает на его пожатие, как будто холодеет и тот старается ее высвободить. И вдруг перед

мальчиком вновь возникло бесстрастное лицо и суровый, оловянный взгляд бывшего «врага».

— Ты меня глубоко, глубоко огорчаешь, Джек. И твоя матушка тоже сильно сокрушалась бы, если бы видела, в каком ты настроении. Ты, значит, забыл мои слова, а ведь я тебе их повторял много раз: «Нет на свете людей более жалких, чем беспочвенные мечтатели... Берегись неосуществимых фантазий, бесплодных грез... Наш век — железный век... За дело, Джек, за дело!»

Бедный мальчик вынужден был битый час слушать эту выпренную речь, эти леденящие душу наставления, которые, казалось, пронизывали насквозь, как струившийся с неба дождь, и нагоняли такую же тоску, как тьма, уже окутывавшая землю...

В то время, как они прогуливались по дамбе, там, на другом берегу реки, стояла женщина, которой стало невозможно сидеть в комнате на постоялом дворе. Она пришла на пристань и с нетерпением ждала лодку перевозчика, откуда должен был вот-вот выпрыгнуть ужасный малолетний преступник, ее обожаемый Джек, которого она не видела целых два года. Однако в распоряжении д'Аржантона был теперь нужный предлог: в том пагубном расположении духа, в каком пребывал мальчик, свидание с матерью могло окончательно выбить его из колеи и лишит последних остатков воли... Осторожности ради следует избежать этой встречи... У Шарлотты, верно, достанет благоразумия понять, что надо пойти на эту жертву в интересах сына. «Какого черта! Ведь жизнь не роман!..»

Вот как случилось, что Джек и его мать, хотя их разделяла всего лишь река, хотя они находились так близко друг от друга, что достаточно было погромче крикнуть и каждый услышал бы голос другого, в тот вечер не свиделись. Встретились они лишь много времени спустя.

## VIII. КОЧЕГАРКА

Как это получается, что дни, которые тянутся так мучительно долго и тягостно, затем складываются в быстротекущие годы?

Вот уже два года, целых два года прошло с тех пор, как Зинаида вышла замуж, а Джек с честью вышел из ужасного положения. Что же делал он эти два года? Работал, выбивался из сил, шаг за шагом проходил нелегкий путь, отделяющий неопытного ученика от умелого рабочего, которому и платят соответственно. От тисков он перешел к обработке железа. Он ковал его молотом, ковал и кувалдой. Руки его покрылись мозолями, а ум огрубел. Вечером он без сил валится в постель, ибо он не очень крепкого здоровья, спит тяжелым сном, а наутро вновь начинается все то же унылое, бесцельное, безотрадное существование. К кабачкам со времени своей пресловутой поездки в Нант он испытывает отвращение. В доме Рудиков тоже невесело. Супруги Манжен обосновались в Пулигане, на морском побережье, после отъезда славной толстушки дом кажется необитаемым, опустела и ее комната, откуда она увезла свой шкаф, большой шкаф с приданным.

Г-жа Рудик почти не выходит, часами сидит возле окна с постоянно задернутой занавеской — теперь она, вялая, ко всему безразличная, уже никого не поджидает. Она не живет, а прозябает. Кажется, будто жизнь из нее вытекает, точно кровь из открытой раны. Один только папаша Рудик сохраняет постоянную ясность духа, как человек, у которого совершенно чиста совесть. Его маленькие, живые и зоркие глазки сохранили всю свою остроту. Просто диву даешься, как при этом он умудрился сохранить такую слепую доверчивость и простодушие, мешающие ему разглядеть зло.

Жизнь Джека течет безо всяких событий. Последняя зима была очень суровой. Луара принесла людям много невзгод, затопила чуть ли не весь остров, часть его стояла под водой четыре месяца. Работали в сырости, дышали туманом и ядовитыми испарениями болот. Джек сильно кашлял, у него часто бывал жар, он долго лежал в больнице, но ведь это не события. Время от времени приходили письма из Этьоля — ласковые, когда мать писала их танком, назидательные и холодные, когда поэт диктовал их, заглядывая через ее плечо. Поступки и деяния д'Аржантона занимали большое место в посланиях его терпеливой жертвы. Таким образом Джек узнал, что «Дочь Фауста» наконец завершена, прочитана актерам Французского театра, и у этих шутов хватило наглости единодушно отвергнуть ее, за что, разумеется, поэт обрушил на них поток «уничтожающих слов». И еще одна важная новость — примирение с Моронвалями: отныне супруги были допущены к столу в

Parva domus, куда они теперь являлись по воскресеньям в сопровождении «питомцев жарких стран», которые цветом своей кожи наводили страх на тетушку Аршамбо.

Моронваль, Маду, гимназия — как все это теперь далеко от него, как давно все это было! И дело не только в том, что между Эндре и проездом Двенадцати домов лежит немалое расстояние, не только в том, что это фантастическое прошлое отделено от мрачного настоящего несколькими годами. Теперь Джек той поры казался ему человеком иного склада — утонченным, изысканным. И в самом деле: что было общего между златокудрым мальчуганом с розовой нежной кожей и долговязым, тощим пареньком в рабочей блузе, сутулым, с торчащими лопатками и худыми плечами, загорелым, но с красными пятнами на скулах?

Слова доктора Риваля оправдались: «Ничто так не отдаляет, как социальные различия».

Джек не мог без грусти вспомнить о семье Ривалей. Вопреки настояниям д'Аржантона он сохранил в душе бесконечную признательность к доктору, этому превосходному человеку, и до сих пор питал теплое, дружеское чувство к маленькой Сесиль. Каждый год он посылал им к первому января длинное письмо. Но вот уже два его письма остались без ответа. Почему? Ведь он не сделал им ничего дурного!

Одна мысль помогает нашему другу Джеку противостоять невгодам своего унылого существования: «Зарабатывай себе на жизнь... Мама будет в тебе нуждаться». Но увы! Платят-то ведь не за старания, а за результаты. Мало хотеть — надо еще уметь. А Джек-то как раз и не умеет. Вопреки предсказаниям Лабассендра он никогда не станет мастером своего дела, так всю жизнь и будет подмастерьем. Ничего не поделаешь, нет у него «дара», и все тут! Ему уже семнадцать лет, годы ученичества позади, а он еле-еле выколачивает три франка в день. Но ведь из своего заработка он должен платить за жилье, за стол, должен одеваться, то есть покупать новую блузу и штаны, когда старые изнашиваются. Хорошее они ему дали в руки ремесло! А что он будет делать, если мать возьмет да и напишет: «Я приеду... Я буду жить с тобой...»?

— Вот что, паренек, — сказал как-то папаша Рудик, все еще называвший Джека «пареньком», хотя тот уже перерос его на целую голову, — жаль, что твои родители не послушались меня: не подходит тебе наше дело. Никогда ты не научишься обращаться как следует с напильником, нам придется держать тебя на самой несложной работе, а с нее не больно-то разживешься. На твоём месте я взял бы ноги в руки да и поколесил бы по свету в поисках удачи... Погоди-ка, тут наемники к нам в сборочный цех приходил Бланше, главный механик с «Кидна», кочегаров он себе ищет. Если тебя не страшит кочегарка, может, испробуешь это дело? Поплаваешь по морям, объедешь вокруг света, и платить тебе станут шесть франков в день, жить будешь на всем готовом, в тепле... Да, черт побери, там будет не то что тепло, а чертовски жарко!.. Работа, конечно, тяжелая, да ведь люди выдерживают, я и сам два года был кочегаром, но, как видишь, — ничего. Ну, что скажешь? Написать Бланше?



— Да, господин Рудик... Пожалуй, я рискну.

Мысль, что ему станут платить вдвое больше, что он повидает разные страны, сохранившийся у него еще с детства интерес к путешествиям, который был внушен ему рассказами Маду и доктора Риваля, красочно описывавшего свое плавание на «Байонезе», — все это побудило Джека взяться за работу кочегара: таков обычный удел всех неумелых рабочих кузнечных цехов, всех, кого не слушаются молот и наковальня, ибо от кочегара требуется только физическая сила да огромная выносливость. I.

Он уехал из Эндре в июльское утро, ровно через четыре года после того, как прибыл сюда.

Погода, как и тогда, была чудесная.

С падубы пароходика, где Джек стоял рядом с папашей Рудиком, которому захотелось проводить его, открывалось необыкновенное зрелище. С каждым поворотом колеса река становилась все шире, — она словно раздвигала, расталкивала изо всех сил берега, чтобы ей было привольнее катить свои волны в море. В воздухе становилось свежее, деревья тут были ниже, берега реки, удаляясь один от другого, делались все более отлогими, сглаживались, как будто их выравнивал сильный ветер, дувший навстречу. Здесь и там блестели пруды, над торфяниками курился дымок, а над самой рекой, крича, как дети, носились тучи черно-белых морских и речных чаек. Но все это исчезало, куда-то пропадало, потому что все ближе и ближе подступал необозримый океан, который не выносит, когда хоть что-нибудь отвлекает взор от его величия, не желает терпеть никакой растительности на своих берегах и заливаает их горьковато-солеными, неласковыми волнами.

Внезапно пароходик, точно подпрыгнув, разом очутился в открытом море. Да и как иначе назовешь эту новую поступь судна, когда оно раскачивается всем своим корпусом и кажется, будто эта качка передается волнам, залитым слепящим светом и резвящимся на приволье под гигантским небосводом, а волны передают ее одна другой, и так до самого горизонта, до зеленоватой черты, где небо и вода смыкаются, закрывая простор от жадных глаз человека.

Джек никогда еще не видал моря. Свежий солоноватый запах и самый вид волн, веером набегающих в час прилива, — все наполняло его душу опьяняющим предвкушением дальних плаваний.

Справа в беспокойное море вдавался Сен-Назер, над ним, словно сторожевая башня, маячила колокольня, а его улицы переходили прямо в мол. Крыши домов, казалось, были тесно прижаты друг к другу, как это бывает во всех морских портах, сдавленных скалами. Казалось, что меж домов торчат мачты, что они перекрещиваются и так тесно сплетаются, будто сильный порыв ветра отбросил этот гигантский клубок рей в гостеприимную гавань. Но по мере того, как пароходик приближался, все это раздвигалось, отходило друг от друга, увеличивалось в размерах.

Они высадились на молу. Тут им сообщили, что «Кидн», большой пароход Трансатлантической компании, уходит часа через два — через три, что он уже с вечера стоит в открытом море. То был единственный придуманный до сих пор способ, чтобы ко времени отплытия вся команда была на борту, чтобы ее не нужно было собирать с помощью жандармов, которые обходят с этой целью портовые кабачки Сен-Назера.

Вот почему у Джека и его спутника не было времени осмотреть город, как всегда в базарный день, полный шума и суеты. Оживление ощущалось и в гавани. Вся набережная была завалена связками зелени, корзинами фруктов, домашней птицей, связанной попарно и с отчаянными криками бившей крыльями по земле. Вдоль этого торгового ряда стояли бретонские крестьянки и крестьяне и, уронив руки вдоль тела, невозмутимо, молча ждали покупателей. Никто из них не суетился, не зазывал прохожих. В противоположность им множество разносчиков с лотками, на которых лежали шейные платки, кошельки, булавки,

колечки, сновало взад и вперед, расхваливая свой товар. Матросы со всех концов света, мешаночки из Сен-Назера, жены рабочих и служащих Трансатлантической компании расхаживали по рядам, тут же и кок с «Кидна» закупал напоследок провизию. От него-то Рудик и узнал, что Бланше уже на пароходе и злится, потому что не хватает кочегаров.

— Давай скорей, голубчик, а то мы опаздываем.

Они прыгнули в лодку и поплыли через гавань, забитую кораблями. Здесь уже ничто не напоминало речной порт Нанта, где мелькали суденышки разной величины. Тут высились только большие суда — они словно отдыхали, бросив якорь. Стук молотков, долетавший из сухого дока, да крики домашней птицы, которую грузили в трюмы, нарушали звенящую, как хрусталь, тишину, висевшую над водой. Громадные океанские пароходы, выстроившиеся вдоль причалов, темные и тяжеловесные, казалось, спали в промежутке между двумя дальними рейсами. Большие английские корабли, прибывшие из Калькутты, возносили над морем несколько ярусов своих кают; их носовая часть поднималась высоко, а на прочных бортах копошились матросы с кистями в руках. Лодка проплывала меж недвижных громад — тут вода приобретала темный оттенок, будто в канале, прорезающем город, — скользила мимо бортов кораблей, как мимо толстых стен, с которых свисали цепи и набухшие от влаги канаты. Наконец, они вышли за пределы гавани и обогнули мол, а там, у самого его края, стоял под парами «Кидн», ожидая прилива.

Какой-то невысокий, сухощавый и желчный человек без куртки, в фуражке с тремя золотыми нашивками окликнул Джека и Рудика, когда их лодка подошла к самому борту парохода. Слова его тонули в шуме и грохоте готового к отплытию судна, однако жесты были достаточно красноречивы. Это и был Бланше, главный механик, которого подчиненные прозвали «Моко»[33]. Едва стук клади, которую грузили в открытый трюм, стал затихать, как он завопил с невыносимыми интонациями южанина:

— Поднимайтесь скорее, черти проклятые!.. Я уж думал, что вы оставили меня с носом.

— Это моя вина, дружище, — сказал Рудик. — Мне хотелось проводить паренька, а вчера никак нельзя было освободиться.

— Черт побери! Гляди, как вымахал твой паренек! Придется его складывать вчетверо, а то он не влезет в каюту для кочегаров... Ну, дьяволы! Поворачивайтесь! Я сам его проведу.

Все трое спустились по маленькой винтовой медной лесенке с узкими перилами, потом по второй, совсем без перил, отвесной, как приставная лестница, затем по третьей и, наконец, по четвертой.

Джек, никогда не видавший океанских пароходов, был потрясен тем, как огромен «Кидн» и как бездонны его недра. Они будто спускались в пропасть, и глаза их после яркого дневного света не различали ни людей, ни предметов. Вокруг царил тьма, какая бывает в шахте, ее прорезали только висевшие на стенах фонари. Здесь не хватало воздуха, было нестерпимо жарко и душно. Последняя лестница, по которой они спускались уже ощупью, привела их в машинное отделение — сущую парильню: горячий влажный воздух был насыщен запахом машинного масла, так что дышать в этой тяжелой атмосфере было почти невозможно; над головой плавали клубы пара, и только в вышине — на высоте трех или четырех этажей — в квадратной отдушине виднелся клочок синего неба.

Все тут было в движении. Механики, подручные, ученики сновали взад и вперед, придирчиво осматривали паровую машину, проверяли, все ли части хорошо пригнаны и свободно ходят. Топки только что загрузили углем, но они уже яростно гудели и ворчали. Железо, медь, чугун, смазанные кипящим маслом, лоснились и сверкали, и от этого блеска все части машины казались еще более грозными, как будто эти рукоятки, которые, когда к ним прикасались, обжигали пальцы, даже защищенные паклей, эти раскаленные поршни, эти цапфы,

приводимые в движение железными крюками, полыхали тем пламенем, что бушевало в топках котлов. Джек с любопытством разглядывал этого огнедышащего дракона. В Эндре он видал много машин, но эта казалась ему страшнее, должно быть, потому, что он знал: ему придется каждую минуту приближаться к ней, днем и ночью подбрасывать в нее пищу. Сильные лампы с отражателями бросали свет на видневшиеся тут и там термометры, манометры, на буссоль и на шкалу машинного телеграфа, по которому сверху поступала команда.

Машинное отделение переходило в маленький коридор — узкий и темный.

— Вот здесь угольная яма... — сказал Бланше, показывая на отверстие, зиявшее в стене.

Рядом с этим отверстием виднелось другое, оно вело в какую-то берлогу, висевший в ней фонарь освещал несколько убогих коек и потрепанную одежду на стене. Тут спали кочегары. При виде этой конуры Джек содрогнулся.

Дотуа Моронваля, мансарда Рудиков — все эти временные жилища, где ему снились подчас светлые детские сны, могли показаться дворцами по сравнению с ней.

— А здесь кочегарка, — пояснил Моко, толкнув низенькую дверь.

Вообразите себе длинный раскаленный погреб, узкое подземелье, озаренное красноватым отблеском, падающим из десятка топок, в которых ярко пылает уголь. Полуголые люди поддерживают огонь, что-то выгребают из зольников, мечутся перед пламенем, опаляющим их лица, по которым струится пот. В машинном отделении задыхаются. Тут заживо сгорают на медленном огне.

— Вот вам подкрепление... — сказал Бланше старшему по кочегарке, указывая на Джека.

— В самый раз подоспел, — буркнул тот, почти не повернув головы, — мне позарез люди нужны, чтобы котельный шлак выносить.

— Ну, не робей, паренек! — сказал папаша Рудик и крепко пожал руку своему ученику.

Джек тут же стал таскать шлак. Все непрогоревшие частицы угля, которые, падая в зольник, засоряют, загрязняют его, швыряют в корзины, а затем корзины вытаскивают на палубу и содержимое выбрасывают за борт. Нечеловеческий труд! Корзины тяжелые, лестницы крутые, люди, попадая со свежего воздуха в раскаленную кочегарку, буквально задыхаются. Взявшись за третью корзину, Джек почувствовал, что ноги под ним подламываются. Он был уже не в силах приподнять ее, он так и стоял — в полном изнеможении, весь в поту, совершенно обессилев. Какой-то кочегар, заметив, в каком он плачевном состоянии, взял в углу широкую фляжку с водкой и подал ему. v — Спасибо! Я не пью, — прохрипел Джек.

Кочегар расхохотался.

— Запьешь! — сказал он.

— Никогда!.. — вырвалось у Джека.

Огромным усилием воли он напряг мускулы, взвалил тяжелую корзину на плечи и упрямо стал взбираться по лестнице.

Палуба являла собою необыкновенно яркую и живописную картину. Небольшой парходик, подвозивший пассажиров, только что подошел и остановился у борта громадного судна. По трапам поднималась толпа спешащих, озабоченных людей. Они способны были удивить наблюдателя необычайным разнообразием одежды и говора, словно все страны мира назначили друг другу свидание на этой не ограниченной рамками одного какого-нибудь

народа, доступной всем территории, которую именуют палубой корабля. Все суетились, устраивались. Иные были настроены весело, другие плакали из-за внезапной разлуки с близкими, но у каждого на челе лежала печать заботы или надежды, потому что человек обычно снимается с места в силу какой-нибудь решительной перемены, какого-нибудь поворота в своей судьбе. Как правило, переезд людей с одного материка на другой можно уподобить последнему толчку землетрясения, разрушившего плавное течение жизни. Вот почему омраченные скорбью люди встречаются на палубе парохода рядом с искателями приключений, печаль одних соседствует с лихорадочным нетерпением других.

Эта необычайная лихорадка ощущалась во всем: в шуме и рокоте прилива, в том, как содрогался, снимаясь с якоря, пароход, в суетливом мелькании небольших суденышек вокруг него. Эта же лихорадка владела и стоявшей на молу толпой, взволнованной и любопытной, пришедшей проститься с отъезжающими, проводить взглядом близкого человека. Стиснутая на узком пространстве мола толпа походила на темную полосу, перерезавшую синюю даль. Та же самая лихорадка как будто подгоняла рыбацьи лодки, выходившие под парусами в открытое море, чтобы всю ночь заниматься нелегким и рискованным промыслом, а на входящих в гавань больших кораблях лихорадочно бились под ветром усталые паруса, будто оплакивая оставленные ими далекие и чудесные страны.

Посадка заканчивалась, колокол на носу парохода подгонял последние тачки с багажом. Джек, опорожнив корзину со шлаком, так и остался стоять на палубе, привалившись спиной к бортовым коечным сеткам, и смотрел на пассажиров: одни, хорошо одетые, с чемоданами направлялись в уютные каюты, другие, ехавшие прямо на палубе, уже устроились на тощем своем скарбе... Куда они направлялись?.. В погоню за какой химерой? Какая жестокая и суровая действительность ожидала их там, куда они стремились?.. Его внимание привлекла какая-то дама и ее маленький сын, они напомнили ему прежнюю Иду и его самого, маленького Джека, — мать ведь тоже водила его в свое время за руку. Молодая женщина была в черном, поверх платья на ней был мексиканский шерстяной плащ в широкую полосу. Шла она с тем независимым видом, какой бывает у жен военных и моряков, привыкших жить в разлуке с мужьями. Мальчик в английском костюме был удивительно похож на хорошенького крестника лорда Пимбока.

Поравнявшись с Джеком, оба слегка посторонились, женщина проворно подхватила свое длинное шелковое платье, чтобы не испачкать его о черную от угля одежду кочегара. Она сделала едва заметное движение, но он все же уловил его, и ему вдруг показалось, будто прошлое, дорогое ему прошлое, воскрешенное в памяти этой случайной встречей, прошлое, которое он призывал в самые скорбные свои дни, отринуло его, навеки от него отдалилось.

Страшное марсельское ругательство и сильный удар кулаком между плеч нарушили его печальное раздумье:

— Дохлая собака, чертов кочегар, глиста северная, сейчас же на свое место!..

Это на него обрушился Моко, обходивший палубу. Не говоря ни слова, Джек стал спускаться по лестнице, пристыженный тем, что его обругали на людях.

Когда он ступил ногой на лесенку, ведущую в кочегарку, судно содрогнулось от сильного толчка, шипевший с самого утра пар засвистел ровнее, винт пришел в движение. Наконец они тронулись.

Внизу был сущий ад.

Нагруженные доверху топливом, изрыгая обжигающее пламя, топки пожирали уголь, который кочегары то и дело подбрасывали в них полными лопатами. Распухшие, багровые лица людей были искажены судорожной гримасой от палящего жара. Рев океана сливался с ревом пламени, шум волн смешивался с треском разлетающихся искр, — казалось, что бушует

пожар и что он все сильнее разгорается от тщетных усилий потушить его.

— Становись-ка сюда... — сказал старший по кочегарке.

Джек стал перед огненной пастью. От килевой качки у него кружилась голова, раскаленные топки растягивались, прыгали и вертелись перед глазами. Он должен был поддерживать огонь в этом пылающем горниле, все время орудуя шуровым ломом, подбрасывать уголь, выгребать шлак и золу. Ужаснее всего было то, что он не привык к морю, к тому, что пол ходит ходуном от резких толчков винта, от неожиданной бортовой качки; он то и дело терял равновесие и боялся угодить в топку. Чтобы устоять на ногах, он хватался за первый попавшийся предмет, но тут же отдергивал руку, потому что здесь все было раскалено.

И тем не менее, напрягая всю свою волю, он упорно работал. Уже целый час терпел он эту адскую пытку и вдруг почувствовал, что слепнет, глохнет, не может вздохнуть, что вся кровь кинулась ему в голову, что ресницы его сожжены, а перед глазами мутная пелена. И тогда он поступил, как поступают все кочегары: весь мокрый, он устремился к «воздушному рукаву», к этой длинной холщовой трубе, по которой бурным потоком струится свежий воздух с палубы... Господи, до чего ж хорошо! Но уже спустя мгновение ему показалось, что на его плечи набросили ледяной покров. От смертоносного тока холодного воздуха у него захватило дух и как будто остановилось сердце.

— Флягу! — прохрипел он, повернувшись к тому кочегару, который предлагал ему выпить.

— Держи, товарищ. Я знал, что так будет.

Джек отхлебнул из фляги с жадностью. Спирт был почти не разбавлен, но Джек так замерз, что крепкая водка показалась ему безвкусной и пресной, как вода. Однако он тотчас же ощутил во всем теле блаженное тепло — оно заструилось по всем его жилам, по всем мускулам, но вслед за тем он почувствовал сильное жжение под ложечкой. И тогда, чтобы залить этот палящий жар, он снова глотнул водки, потом еще и еще. Полыхающий огонь внутри и снаружи, опаляющее пламя, которое питают спирт и уголь! Вот из чего будет отныне состоять вся его жизнь!

Она превратилась в безумный кошмар, где каторжный труд чередовался с беспробудным пьянством. И так продолжалось три года... Три страшных года, когда один день походит на другой, когда месяцы свиваются в какой-то спутанный клубок, когда лета не отличишь от зимы, а весны от осени, потому что вокруг тебя все то же адское пекло — кочегарка.

Джек проплывал мимо неведомых стран со звучными, певучими, ласкающими слух названиями — испанскими, итальянскими, французскими, но в этих колониях французский язык походил скорее на детский лепет. Однако во всех этих волшебных краях он не видал ни сапфирного неба, ни зеленых островов, которые, точно яркие букеты, покачивались на фосфоресцирующих волнах. Для него ничто не менялось — так же гневно рокотало море, так же яростно бушевал огонь в топках. И чем чудеснее была страна, тем ужаснее казалась кочегарка.

Случалось, что он выходил на берег в цветущих гаванях; их окаймляли пальмовые или банановые рощи с зелеными султанами, лиловые холмы или белые хижины на бамбуковых опорах, но ему все казалось окрашенным в цвет каменного угля. Он бегал босиком по причалам, раскаленным от солнца и пропитанным расплавленной смолой или черным соком сахарного тростника, опорожнял корзины с котельным шлаком, раскалывал глыбы антрацита, грузил уголь на пароход, а потом в изнеможении засыпал прямо на берегу или же отправлялся в портовый кабак, и все портовые кабаки, как ему казалось, были похожи на кабаки Нанта — отвратительные свидетели его первого пьянства. Здесь он встречался с другими кочегарами — англичанами, малайцами, нубийцами, — грубыми и отупевшими, напоминавшими механические заводные куклы, приставленные к топкам, и так как говорить

им было не о чем, то они пили. Впрочем, кочегару нельзя не пить. Иначе он не выживет.

И Джек пил.

Во мраке этой беспросветной ночи ему светила только одна звездочка — воспоминание о матери. В самых недрах его затуманенного сознания постоянно жил немеркнущий образ матери, подобно тому, как изображение мадонны пребывает в глубине часовни, хотя уже все свечи потушены. Он становился мужчиной, и многие, прежде непонятные стороны его безотрадной жизни постепенно приоткрывались перед его мысленным взором. Его преклонение перед Шарлоттой уступило место нежному состраданию. Теперь он любил ее так, как любят тех, из-за кого мучаются или чьи грехи искупают. Даже во время самого беспробудного пьянства он не забывал о том, ради чего стал кочегаром, и, повинувшись безотчетному чувству, прятал часть своего матросского жалованья. В просветах между мрачными кутежами только одна мысль и поддерживала его: он работает для матери.

А тем временем пропасть между ними все ширилась, разделявшее их расстояние удлиняли не столько мили, сколько отчуждение, сколько то равнодушие, которое постепенно овладевает отверженными, изгоями. Письма от Джека приходили все реже, как будто он каждый раз присылал их из все более удаленных мест. Письма Шарлотты, пустые, хотя и многословные, часто ожидали его в портах, но в них говорилось о вещах, таких далеких от его нынешней жизни, что он читал их лишь для того, чтобы насладиться музыкой слов, уловить в них слабый отзвук все еще не умирающей нежности. Из Этьоля ему сообщали о повседневной жизни д'Аржантона. Позднее, из других писем, помеченных Парижем, он узнал о переменах в жизни поэта и Шарлотты, о том, что они обосновались в столице, на набережной Августинцев, неподалеку от Академии наук. «Мы живем в самом центре духовной жизни, — писала Шарлотта. — Г-н д'Аржантон, уступая настояниям своих друзей, решил вернуться в Париж и издавать тут философский и литературный журнал. Так он сможет ознакомить читающую публику со своими произведениями, которые, к сожалению, до сих пор остаются неизвестными, и заработать много денег. Но сколько это отнимает сил! Сколько приходится возиться с авторами, с типографами! Мы уже получили весьма интересный труд от г-на Моронваля. Я стараюсь помочь бедному нашему другу. Сейчас как раз я заканчиваю переписку «Дочери Фауста». Счастье твое, дорогой Джек, что ты не знаешь подобных мытарств! Г-н д'Аржантон едва на ногах держится... Ты, наверно, стал совсем взрослый, мой мальчик! Пришли мне свою фотографию».

Спустя некоторое время, когда пароход прибыл в Гавану, Джек получил объемистый пакет, на котором было написано: «Джеку де Баранси, кочегару на судне «Кидн». Внутри оказался первый номер журнала: обозрение будущих поколений

Главный редактор — виконт А, д'Аржантон

Что мы представляем собою сейчас и в каком» наше будущее ....

От редакции

«Дочь Фауста». Пролог ...»

Виконт А. д'Аржантон

О воспитании в колониях.....

Эварист Моронваль

Рабочий будущего .....

Лабассендр

Лечение ароматическими веществами.

Доктор Гирш

Нескромный вопрос директору Оперы А...

Кочегар машинально перелистывал этот сборник благоглупостей, который, по мере того, как он его проглядывал, покрывался черными пятнами угля. Внезапно, увидев имена всех своих палачей, набранные красивым шрифтом на атласистой, нежного оттенка обложке, он ощутил, как в нем просыпается помятая гордость. Его обуяло возмущение, бешенство, и из глубины бездны, в которую его низвергли, он, потрясая кулаками, крикнул, словно они могли видеть и слышать его:

— Ах, негодяи! Негодяи! Что вы со мной сделали?

Но то была короткая вспышка. Кочегарка и алкоголь быстро подавили этот мгновенный бунт, и безучастность ко всему, которая с каждым днем все больше охватывала беднягу, вновь окутала его своим серым покровом — так зыбучие пески мало-помалу засасывают сбившиеся с пути караваны, засыпают с головою путешественников, проводников, лошадей, и те остаются заживо погребенными.

Но странное дело! В то время, как сознание его угасало, а воля слабела, его тело, мускулы, которые все время возбуждал, подкреплял, подстегивал алкоголь, как будто становились все выносливее. Пьяный ли, трезвый ли, он теперь твердо держался на ногах и упорно работал-до такой степени он привык к водке и приучил себя не показывать, что он пьян. Даже его лицо, бледное, искаженное, оставалось непроницаемым, как маска, — такое лицо бывает у пьяного, который заставляет себя идти прямо, не шатаясь, и, стиснув зубы, молчит. Постепенно он закалился и теперь уже исправно выполнял свою каторжную работу: он с одинаковым безразличием переносил и монотонные дни долгих морских переходов и дни, когда бесновался шторм и начиналась тяжкая битва с морем — особенно жестокая в пекле кочегарки, куда порою проникает вода, где пламя вырывается из топок, а по полу катится раскаленный уголь. Для Джека эти ужасные часы мало чем отличались от его беспокойных снов — бредовых видений, тяжелых кошмаров, которые мучают по ночам алкоголиков.

Уж не во сне ли почудился горемыке-кочегару тот ужасающий толчок, который потряс однажды ночью весь мощный корпус «Кидна»? Прямо на борт парохода обрушился резкий, короткий удар. Раздался устрашающий грохот, треск обшивки и переборок, вода с шумом ворвалась в трюм, морские валы, точно водопад, низвернулись на судно и разбежались узкими ручейками. Вслед за тем послышались торопливые шаги, тревожно перекликались электрические звонки, поднялась паника, отчаянные вопли, а потом внезапно — и это было самое зловещее-перестал вращаться винт, и пароход превратился в безвольную игрушку бездушных волн... А может, это и в самом деле кошмар?.. Но товарищи зовут его, расталкивают: «Джек!.. Джек!..» Полуодетый, он вскакивает с койки. В машинном отделении уже на два фута воды. Буссоль разбита, фонари погасли, шкала машинного телеграфа помята. Все тревожно переговариваются, ищут друг друга в темноте, в грязи: «Что такое? Что произошло?»

— На нас напоролся какой-то американец... Идем ко дну... Спасайся кто может!

Кочегары и механики бросаются к узкой лесенке, но на ее верхней ступеньке вдруг возникает Моко с револьвером в руке:

— Первому, кто попробует выйти, я размозжу голову! В кочегарку, дьяволы! Раздувайте топки! Земля недалеко. Еще не все пропало.

Каждый возвращается на свой пост и с яростью, с отчаяньем берется за работу. В кочегарке

ад кромешный. Топки набиты до отказа, намокший уголь чадит, желтый вонючий дым ослепляет, душит, отравляет людей, вода, хоть ее откачивают насосами, все прибывает, руки и ноги леденеют. Как все здесь завидуют тем, кто сейчас наверху, на палубе, — они-то хоть будут умирать на свежем воздухе! Тут, среди мрачных чугунных стен, смерть куда страшнее, она похожа на самоубийство, потому что люди парализованы, обречены покорно ждать ее.

Конец! Насосы больше не работают. Топки погасли. Кочегары стоят по плечи в воде, и на сей раз Моко кричит громовым голосом:

— Спасайся кто может, ребята!

## IX. ВОЗВРАЩЕНИЕ

На набережной Августинцев, узкой и тихой, окаймленной с одной стороны лавками книготорговцев, а с другой — книжными развалами, в одном из старых домов прошлого века с тяжелыми сводчатыми входами поместилась редакция журнала «Обозрение будущих поколений».

Этот малолюдный квартал был выбран не случайно. В Париже редакции газет и других периодических изданий обычно располагаются в тех частях города, которые им больше подходят. В центре столицы, возле Больших Бульваров, иллюстрированные журналы, газеты, заполняющие колонки светской хроникой, выставляют напоказ свои красочные обложки, точно образчики новых тканей. В Латинском квартале газетные листки-однодневки перемежаются с витринами, где выставлены романы с виньетками или же ученые медицинские издания. Но солидные и серьезные журналы, придерживающиеся определенных взглядов, преследующие определенные цели, избирают для себя спокойные, тихие улицы, где шумная жизнь вечно бурлящего Парижа не мешает их тяжелой, почти подвижнической деятельности.

Независимый гуманитарный журнал «Обозрение будущих поколений» был просто создан для этой набережной, над которой летала пыль старых книг; он помещался, как мы уже знаем из письма Шарлотты, «по соседству с Академией наук». Вполне отвечал духу журнала и самый дом, давший ему приют, дом со старыми, потемневшими балконами, с фронтоном, будто источенным червями, широкой лестницей с узорчатыми перилами, изрядно обветшавший, невеселый. Но, по правде говоря, тому духу гораздо меньше отвечали физиономии и весь облик сотрудников.

Журнал «Будущие поколения» возник около полугода назад, и все это время привратник с испугом впускал в дом самых неопрятных, самых странных и самых жалких из тех людей, что подвизаются на поприще низкопробной литературы. «К нам приходят и негры и китайцы», — сообщал своим коллегам из соседних домов злополучный цербер. Надо полагать, что он намекал на Моронваля, который буквально не вылезал из редакции, причем приходил он сюда в сопровождении какого-нибудь «питомца жарких стран». Но не один Моронваль дневал и ночевал в этом достопочтенном заведении — сюда стекались «горе-talанты» не только из Парижа, но и из провинции, унылые неудачники, которые, кажется, так и ходят всю жизнь с пухлыми манускриптами, оттопыривающими карманы их куцых сюртуков.

«Непризнанный гений» издает журнал, журнал, располагающий собственным капиталом и акциями! Подумайте, какая удача! По правде сказать, акционеров было маловато. До сего времени их насчитывалось всего только двое: разумеется, сам д'Аржантон, а затем... наш приятель Джек. Не смейтесь, пожалуйста! Да, Джек был акционером «Обозрения будущих поколений». В счетоводных книгах было указано, что он приобрел акций на десять тысяч



франков, на те самые десять тысяч франков, которые подарил ему «милый дядя». Поначалу Шарлотта сомневалась в том, следует ли ей употребить таким образом деньги, которые надлежало вручить мальчику в день его совершеннолетия, но под конец согласилась с доводами д'Аржантона:

— Посуди сама!.. Да пойми же!.. Нельзя лучше поместить капитал... Я докажу тебе это с цифрами в руках. Погляди, какого курса достигли акции «Обозрения Старого и Нового Света»![34] Ничего более доходного не придумаешь. Я не говорю, что у нас сразу будут такие барыши. Но если мы получим даже четверть их прибылей, то все же это лучше, чем государственная рента или акции железных дорог. Ведь я же не колеблясь вложил свои деньги в это предприятие.

Скупость поэта была широко известна, а потому этот довод звучал убедительно.

За шесть месяцев д'Аржантон истратил больше тридцати тысяч франков на аренду помещения для редакции, на приобретение обстановки, не говоря уже об авансах, выданных авторам. Теперь, спустя полгода, от первоначального капитала не осталось и следа, и д'Аржантон, по его словам, был поставлен перед необходимостью вновь обратиться к акционерам: он выдумал этот предлог для того, чтобы отделаться от назойливых просителей, обращавшихся к нему за деньгами.

До сих пор журнал не приносил никакого дохода, между тем расходы были огромные. Кроме помещения для редакции, поэт снял на пятом этаже того же дома великолепную, просторную квартиру с балконом, откуда открывался чудесный вид на Сите, на Сену, на Собор Парижской богородицы, на купола и шпили; по мостам катили экипажи, а под пролетами мостов проплывали суденышки. Тут по крайней мере можно было жить, дышать полной грудью. Не то что в забытой богом дыре, в Ольшанике, где самым большим событием, которого с нетерпением ждали весь день, было появление шмеля: летом он появлялся в кабинете д'Аржантона ровно в три часа. Извольте работать в такой атмосфере полного застоя! А ведь он целых шесть лет просидел там, как в заточении! И чего он добился? Целых шесть лет убил на то, чтобы написать «Дочь Фауста», а за те полгода, что он в Париже, ему благодаря «духовной среде» удалось начать ряд этюдов, серьезных статей, рассказов.

Шарлотта тоже принимала участие в лихорадочной деятельности поэта. По-прежнему молодая, свежая, она вела дом, хлопотала на кухне, а это было нелегко, потому что за стол неизменно садилось множество гостей. Наконец, она помогала ему в трудах.

Чтобы способствовать своему пищеварению, он завел привычку диктовать, не присаживаясь к столу, а так как у Шарлотты был красивый почерк с наклоном вправо, то она стала исправлять обязанности его секретаря. По вечерам, когда они обедали без гостей, д'Аржантон с часок диктовал, прохаживаясь взад и вперед по комнате. В старом, притихшем доме гулко звучали его шаги, его торжественный голос, а другой голос, мягкий, нежный и мелодичный, вторил этому священнодействующему жрецу.

— Наш писатель опять сочиняет, — с почтением говорил привратник.

В тот вечер, когда мы вновь встречаемся с четой д'Аржантонов, мы застаем их в небольшой очаровательной гостиной, где приятно пахнет зеленым чаем и испанскими папиросами. Шарлотта prepares стол для работы: пододвигает новомодную чернильницу, ручку из слоновой кости, золотистый песок, раскладывает красивые тетради с белоснежной бумагой, на которой оставлены широкие поля для поправок. Поля эти — излишняя предусмотрительность, поэт никогда не делает поправок: как напислось, так напислось, и баста! Больше он к этому не притрагивается. Однако поля очень украшают вид рукописи, а когда дело касается ее поэта, Шарлотта хочет, чтобы все было изысканно.

В тот вечер д'Аржантон ощущает прилив вдохновения; он настроен диктовать хотя бы целую

ночь и хочет этим воспользоваться, чтобы создать чувствительную новеллу — она должна привлечь читателей, когда вновь будет объявлена подписка на журнал. Он подкручивает усы, в которых уже появились седые волоски, запрокидывает голову — его высокий лоб стал еще больше, так как он лысеет. Он приготовился вещать. Шарлотта, напротив, как это часто бывает в семье, в дурном расположении духа. Ее блестящие глаза словно подернуты облачком. Она бледна, рассеянна, но, как всегда, покорна: несмотря на явную усталость, обмакивает перо в чернильницу, слегка отставив мизинец, точно кошечка, которая опасается запачкать лапки.

— Ну как, Лолотта, начнем? Стало быть, глава первая... Написала: «Глава первая»?

— Глава первая... — печально повторяет Шарлотта.

Поэт бросает на нее гневный взгляд, затем, решив ни о чем ее не спрашивать и не обращать внимания на ее грустный вид, начинает диктовать:

— «В затерянной долине Пиренеев... Пиренеев, столь богатых легендами... Пиренеев, столь богатых легендами...».

Этот оборот речи ему очень нравится. Он, смакуя, несколько раз повторяет эти слова. Наконец, обращается к Шарлотте:

— Ты написала: «...столь богатых легендами»?

Она старается выговорить «столь бо... столь богатых», но останавливается, голос ее прерывается от рыданий.

Шарлотта плачет. Тщетно она кусает кончик ручки, плотно сжимает губы, чтобы сдержаться. Слезы рвутся наружу. Она плачет, плачет...

— Только этого еще не хватало! — в полном изумлении восклицает д'Аржантон. — Вот незадача! А я как нарочно в ударе... Что с тобой? Неужели из-за известия о «Кидне?» Но разве так можно? Это непроверенные слухи. Ты же знаешь, какие у нас газеты. Им бы только заполнить колонки... Эка невидаль — о корабле нет известий! Кстати, Гирш собирался как раз сегодня навеститься в пароходную компанию. Он скоро придет. И ты все узнаешь. Так что нечего раньше времени убиваться.

Он говорит с ней свысока, сухим и снисходительным тоном — так говорят с людьми слабодушными, с детьми, с ненормальными, с больными, да такой она ему отчасти и кажется. Потом, слегка успокоив Шарлотту, он спрашивает:

— На чем же мы остановились? Из-за тебя я потерял нить. Прочти все сначала... Все!

Шарлотта, всхлипывая, повторяет в десятый раз:

— «В затерянной долине Пиренеев, Пиренеев, столь богатых легендами...»

— Дальше?

Тщетно она переворачивает страницу, другую, встряхивает только еще начатую тетрадь.

— Это все... — говорит она.

Д'Аржантон в недоумении, ему казалось, что написано куда больше. Так происходит всякий раз, когда он диктует. Мысль его уносится вперед, а слова безнадежно плетутся сзади, и это приводит его в замешательство. Он еще только о чем-то смутно подумал, мысль еще только копошится в его голове, а ему уже кажется, будто она облечена в четкую словесную форму. И

после всех своих величественных жестов, после шаманского бормотания он растерянно обнаруживает, что написано всего несколько слов, и такой разрыв между ложным воображением и действительностью его потрясает. Вечное самообольщение Дон Кихота, которому кажется, будто он в эмпиреях, и он принимает за ветер горних сфер тяжелое дыхание поварят и шум раздуваемого в очаге огня, ощущает сильную боль после падения с деревянной лошади! Д'Аржантону тоже почудилось, будто он воспарил, вознесся и витает в вышине... И что же? Выходит, что он трепетал, испытывал лихорадочное волнение, вдохновлялся, принимал картинные позы, бегал по комнате, откидывал рукою волосы — и все для того, чтобы сочинить две строки: «В затерянной долине Пиренеев, Пиренеев, столь богатых легендами...» И каждый раз одно и то же!

Д'Аржантон в ярости, он понимает, что он смешон.

— А все из-за тебя, — говорит он Шарлотте. — Куда как легко творить, когда рядом с тобой все время плачут! Нет, это просто мука!.. Столько мыслей, столько образов!.. А в итоге ничего, ничего, решительно ничего... Но время-то идет, уходят годы, и другие занимают твое место... Тебе и невдомек, несчастная женщина, как мало нужно, чтобы вспугнуть вдохновение... Так вот вечно и расшибаешь себе лоб о нелепую прозу жизни!.. Чтобы спокойно создавать свои творения, мне надо было бы жить в хрустальной башне, подняться на тысячу футов над суетой сует, а я избрал себе спутницей жизни капризное, взбалмошное, ребячливое, шумливое существо...

Он топает ногой, ударяет кулаком по столу, и Шарлотта, которая еще не выплакала свое горе, утирая слезы, подбирает рассыпавшиеся по ковру перья, суконку для пера, ручку-словом, все свои секретарские доспехи.

Появление доктора Гирша кладет конец этой тягостной сцене, которая, однако, повторяется столь часто, что все пылинки в доме к этому привыкли: как только проносится буря и гнев утихает, они быстро опускаются на свои места, и предметы вновь принимают свой привычный, невозмутимый и безмятежный вид. Доктор не один. С ним явился Лабассендр, оба входят в комнату необычайно торжественно, с таинственным выражением лица. Особенно это удастся певцу, поднаторевшему в театральных эффектах; он плотно сжимает губы и закидывает голову, что, очевидно, должно выражать: «Я знаю нечто весьма важное, но вам ни за что на свете не скажу».

Д'Аржантон все еще дрожит от бешенства и потому не понимает, отчего друзья столь многозначительно трясут его руку; не произнося ни слова. Вопрос Шарлотты все ему объясняет.

— Ну что, господин Гирш? — говорит она, кидаясь к доморощенному лекарю.

— Отвечают все то же, сударыня. Никаких известий.

Но в то время как он говорит Шарлотте «Никаких известий», — его скрытые выпуклыми очками глаза вылезают из орбит, ибо он старается дать понять д'Аржантону, что все это ложь, что известия получены, ужасные известия!

— Но что они-то сами думают, эти господа из пароходной компании? Что они все-таки говорят?.. — допытывается мать, желая и одновременно страшась услышать правду, пытаясь прочесть ее на этих гримасничающих лицах.

— О господи, сударыня!.. Бэу! Бэу!

И пока Лабассендр путается в длинных, пустых, как будто бы успокоительных, но уклончивых фразах, Гирш, прибегнув к декостеровской методе, изображает поэту «очертания» следующих слов: «Кидн» затонул со всем экипажем и пассажирами... Столкновение в

открытом море... Недалеко от Зеленого мыса... Ужас!»

У д'Аржантона дрогнули его пышные усы. Но ни одна черточка на его бледной, невозмутимой, самодовольной физиономии не шевельнулась; при взгляде на него трудно было бы сказать, что он испытывает, невозможно было понять, торжествует он или испытывает запоздалые угрызения совести из-за этой зловещей развязки. Быть может, в нем боролись эти два чувства, но лицо его оставалось бесстрастным и непроницаемым, как маска.

И все же ему захотелось пройтись, рассеяться, прийти в себя после столь важного известия.

— Я совсем заработался, — сказал он совершенно серьезно своим друзьям. — Надо подышать свежим воздухом... Вы хотите пройтись вместе со мной?

— Ты хорошо придумал, — согласилась Шарлотта. — Тебе не мешает погулять.

Обычно Шарлотта изо всех сил удерживает своего поэта дома: она уверена, что все дамы Сеи-Жерменского предместья уже знают о его возвращении и готовы по очереди «пить кровь из его сердца», но сегодня она даже рада, что он уходит и она сможет остаться наедине со своими мыслями. Она даст волю слезам, и никто не станет ей досаждать утешениями, ей не надо будет скрывать свои страхи и мрачные предчувствия, которые она не осмеливается высказывать, боясь, что ее будут бездушно успокаивать. Ее тяготит даже присутствие служанки, и вопреки обыкновению она не вступает с ней в бесконечный разговор, как это случается всякий раз, когда поэт уходит, а отправляет ее спать в мансарду.

— Вы хотите побыть одна, сударыня?... А вам не страшно?... На балконе так завывает ветер, прямо тоска берет.

— Нет, ступайте... Я не боюсь.

Наконец-то она одна и может молчать, думать без помех, не опасаясь услышать голос тирана: «О чем ты думаешь?...» Господи, да о своем сыне, о Джеке! О чем ей еще думать теперь? С той минуты, как она прочла в газете зловещую строку: «О «Кидне» нет никаких известий», — образ Джека ни на миг не оставляет ее, преследует, сводит с ума. Днем еще куда ни шло, эгоистическая требовательность поэта заставляет ее забывать обо всем, даже о своем горе, но по ночам она не спит. Она слушает, как свистит ветер, и он нагоняет на нее необъяснимый страх. Сюда, на эту часть набережной, где они живут, он всякий раз врывается с другой стороны и то буйствует, то жалуется, сотрясает дощатые строения, заставляет дребезжать стекла, хлопает висящей на одной петле ставней. Но шепотом ли, громко ли он всегда что-то рассказывает. Он говорит ей — как всем матерям, как всем женам моряков — слова, от которых она бледнеет.

Дело в том, что он прилетает издалека, этот буйный ветер, и летит быстро, он много повидал на пути! Как обезумевшая птица, он подхватывает всюду, где проносится, любой звук, любой крик и мчит их дальше с головокружительной быстротой на своих громадных крылах. Озорной и грозный, он одновременно рвет парус на судне, гасит свечу, приподнимает мантилью, нагоняет грозные тучи, раздувает пожар. И обо всем этом он рассказывает, и потому по-разному звучит его голос — то весело, то жалобно.

В эту ночь слушать его особенно жутко. Он стремительно проносится по балкону, раскачивает оконные рамы, подлезает под двери. Он хочет войти. Он должен что-то немедленно сообщить матери Джека. Встряхивая мокрые крылья, он с размаху ударяет ими об оконное стекло, и оно дребезжит, ибо вой ветра звучит, как зов, как предупреждение. Бьют часы на башнях, паровоз свистит вдали на железной дороге, и все эти звуки тоже сливаются в жалобу, повторяющуюся, как наваждение. Шарлотта догадывается, что хочет сказать ей ветер. Ведь он гуляет всюду и, должно быть, видел, как в открытом море громадный корабль боролся с волнами, валился набок, терял мачты и, наконец, погрузился в пучину. Ветер видел

протянутые в мольбе руки, испуганные, смертельно бледные лица, прилипшие ко лбу волосы, обезумевшие глаза, он слышал отчаянные вопли, рыдания, прощальные возгласы и проклятия, исторгнутые из груди людей на пороге смерти. Шарлотта до такой степени во власти галлюцинации, что ей чудится, будто в шуме далекого кораблекрушения она различает слабый, едва слышный стон:

— Мама!

Разумеется, это ей только мерещится, это плод тревожных мыслей.

— Мама!

На сей раз зов звучит уже громче... Но нет, быть не может. У нее звенит в ушах — вот и все... Господи, уж не теряет ли она рассудок?... Чтобы избавиться от преследующего ее голоса, Шарлотта вскакивает и принимается ходить по гостиной... Нет, теперь кто-то и вправду зовет. Голос доносится с лестницы. И она спешит открыть дверь.

Газовый рожок не горит, и при свете лампы, которую она держит в руке, на ступеньки падает узорчатая тень от перил... Нет, никого... А между тем она ясно слышала голос. Надо посмотреть. Она перегибается через перила, высоко над головой подняв лампу. Тихий, приглушенный звук, похожий и на смех и на рыдание, долетает с лестницы, по которой медленно поднимается, почти тащится, держась за стену, высокая фигура.

— Кто здесь?... — кричит она, вздрагивая, пронзенная безумной надеждой, которая прогоняет испуг.

— Это я, мама... Я-то хорошо тебя вижу... — отвечает кто-то хриплым и слабым голосом.

Она сбегает по ступенькам. Высокий и, кажется, раненый рабочий опирается на костыли... Это он, ее Джек! Он так взволнован встречей с матерью, что в изнеможении с горестным стоном останавливается на середине лестницы. Вот что она сделала со своим сыном!

Ни слова, ни восклицания, ни поцелуя! Они стоят, смотрят друг на друга и плачут...

Есть люди, которым словно самой судьбою суждено вечно попадать в смешное положение: любая их попытка выказать возвышенные чувства оказывается неуместной или фальшивой. Так было предначертано, что д'Аржантон, это король неудачников, будет всегда терпеть неудачу, силясь произвести аффект. Подробно обсудив все с друзьями, он решил, что по возвращении домой в тот же вечер сообщит Шарлотте роковую весть, чтобы разом с этим покончить. Желая по возможности смягчить неожиданный удар, он заранее придумал несколько приличествующих случаю высокопарных фраз. Уже по тому, как он повернул ключ в замке, можно было понять, что он намерен возвестить нечто важное. Но каково же было его удивление, когда он увидел, что в столь неурочный час в гостиной еще горит свет, Шарлотта еще на ногах, а на столе, неподалеку от камина, видны остатки почти нетронутого ужина, как это бывает, когда люди торопятся перед отъездом или только что приехали и от волнения им не до еды!

Шарлотта в сильном возбуждении поспешила ему навстречу.

— Тсс! Не шуми... Он тут... Спит... Как я счастлива!

— Кто? О ком ты говоришь?

— О Джеке. Произошло кораблекрушение. Он ранен. Пароход пошел ко дну. Он спасся чудом. Приехал из Рио-де-Жанейро, пролежал там два месяца в больнице.

На устах д'Аржантона появилась неопределенная улыбка, в крайнем случае она могла сойти

за проявление радости. Надо отдать ему справедливость: он по-отечески отнесся к Джеку и первый объявил, что Джек останется в доме, пока окончательно не поправится. Говоря по чести, он не мог этого не сделать для своего главного и единственного акционера. Десять тысяч франков, вложенные в акции, заслуживали некоторого уважения!

Прошло несколько дней, первое волнение улеглось, жизнь поэта и Шарлотты вошла в обычную колею. Только теперь в доме постоянно присутствовал несчастный калека — ноги его, обожженные при взрыве парового котла, заживали медленно. Крестник лорда Пимбока, Джек (а не какой-нибудь там Жак!) Иды де Баранси был теперь одет в матросскую блузу из синей шерсти. На его огрубевшем, черном, как у всякого кочегара, лице, которое к тому же сильно изменил загар, выделялись золотистые усики цвета спелой ржи, красные глаза были лишены ресниц, кожа воспалена, щеки впали. Поневоле праздный, выбитый из жизни, впавший в оцепенение, какое наступает после ужасной катастрофы, он с трудом переползал со стула на стул, вызывая сильное раздражение у д'Аржантона и жгучий стыд у родной матери.

Когда приходил кто-нибудь из посторонних и Шарлотта замечала, с каким изумлением и любопытством смотрят на этого не занятого делом рабочего, одежда, манеры и речь которого так не гармонировали с безмятежной роскошью дома, она спешила пояснить: «Это мой сын... Позвольте вам представить моего сына... Он был сильно болен». Она поступала так, как поступают матери увечных детей, которые спешат заявить о своем материнстве из страха заметить усмешку или слишком уж явное сочувствие. Но если она страдала, видя, во что превратился ее Джек, если она краснела, подмечая его вульгарные, грубоватые манеры, его неумение держать себя за столом и жадность, с какой он ел и пил, точно он сидел в трактире, то еще сильнее она страдала от пренебрежительного тона, какой усвоили себе завсегдатаи дома в обращении с ее сыном.

Джек снова встретил тут своих старых знакомых по гимназии, всех неудачников, наводнявших

*Parva domus*, — только каждому из них прибавилось по несколько лет и у каждого убавилось волос на голове да зубов во рту. Однако их положение в обществе несколько не изменилось: они топтались на месте, как все законченные неудачники. Каждый день они собирались в редакции, чтобы обсудить содержание следующего номера, а дважды в неделю встречались за обедом на пятом этаже. Д'Аржантон уже не мог больше обходиться без шумного общества и, чтобы завуалировать эту слабость хотя бы в собственных глазах, прибегал к привычным для него высокопарным фразам:

— Надо объединиться... Надо сплотиться, почувствовать локти единомышленников.

И они сплачивались, черт возьми! Так сплачивались вокруг него, так теснили его, что он почти задыхался. Сильнее всего он ощущал локти, острые, костлявые, назойливые локти Эвариста Моронваля, секретаря редакции «Обозрения будущих поколений». Это у Моронваля зародилась мысль о журнале, который был обязан ему своим палингенетическим и гуманитарным названием. Он держал корректуру, наблюдал за версткой, читал поступавшие в редакцию статьи и даже романы, а главное, подбадривал пылкими речами главного редактора, который несколько приуныл из-за упорного равнодушия подписчиков и постоянных расходов на издание журнала.

За эти многообразные обязанности мулату было положено определенное, хотя и весьма скромное жалованье, которое он умудрялся округлять, исполняя всевозможные дополнительные поручения, оплачиваемые особо, и непрерывно выпрашивая авансы. Гимназия на авеню Монтеня давно потерпела крах, но ее директор еще не отказался от воспитания «питомцев жарких стран», — он неизменно приходил в редакцию в сопровождении двух последних своих воспитанников, чудом уцелевших от сего диковинного

заведения. Один из них, захудалый японский принц, молодой человек неопределенного возраста, которому можно было с одинаковым успехом дать и пятнадцать и пятьдесят лет, сбросивший свое длинное кимоно и надевший европейское платье, маленький, хрупкий, был похож на желтую глиняную статуэтку в крохотной шляпе и с миниатюрной тросточкой, упавшую с этажерки прямо на парижский тротуар.

Другой, долговязый малый, все лицо у которого заросло напоминавшей стружки палисандрового дерева черной курчавой бородой, так что видны были только узкие щелки глаз да лоб с натянутой кожей, вызвал у Джека смутные воспоминания, а когда тот в одну из первых встреч предложил ему окурочек сигары, Джек узнал своего старого приятеля, египтянина Сайда. Образование этого злосчастного молодого человека было уже давно завершено, но родители все еще не забирали его от Моронваля, надеясь, что достойный педагог приобщит его к нравам и обычаям высшего общества. Все постоянные сотрудники журнала и непременные участники званых обедов у д'Аржантона, мулат, Гирш, Лабассендр, племянник Берцелиуса и прочие, все, за исключением Сайда, обращаясь к Джеку, принимали покровительственный, снисходительный и фамильярный тон. Можно было подумать, что он жалкий приживальщик, из милости допущенный к барскому столу.

Только кроткая и добрая г-жа Моронваль-Декостер, почти совсем не изменившаяся, с таким же высоким, благородным, лоснящимся лбом, все в том же черном платье, уже потерявшем благородство покроя, но еще сильнее лоснившимся, по-прежнему называла его «господин Джек». Впрочем, обращались ли к нему со словами: «господин Джек», «старина», «дружище» или же «мой милый», — держались ли с ним презрительно, равнодушно или доброжелательно, изгой это было совершенно безразлично. Он сидел в сторонке, с короткой трубкой в зубах, в полудреме, в полузабытьи, слушая, но почти не слыша шумные литературные споры, которые усыпляли его еще в детстве. Для него не прошли даром три года, проведенные в кочегарке, почти всегда в нетрезвом состоянии, потрясение, вызванное катастрофой, и двухмесячное лечение в больнице: он был выбит из колеи, он смертельно устал, и ему не хотелось ни говорить, ни шевелиться, он только мечтал, чтобы наступила, наконец, полная тишина и покой, чтобы утихли грозный рев океана и грохот машин, которые все еще болезненно отдавались в его мозгу, подобно тому, как рокот морской волны отдается в раковине.

— Он безнадежно отупел... — говорил о нем д'Аржантон.

Нет, он просто молчал, дремал, весь отдаваясь блаженному чувству покоя: ведь под ногами была твердая земля, а над головой — ясное небо. Он слегка оживлялся лишь наедине с матерью, в те редкие послеполуденные часы, когда поэт уходил из дому. Тогда Джек подсаживался к ней, с удовольствием слушал ее беззаботную болтовню, ее ласковые слова. Он с наслаждением слушал ее, сам же говорил мало. Нежный голос матери звучал в его ушах, как музыка, как чарующее жужжание первых пчел летом, в ту пору, когда они собирают мед.

Однажды, когда они так сидели вдвоем, он внезапно вышел из привычного оцепенения и медленно, очень медленно проговорил:

— Скажи: когда я был маленький, мы однажды долго плыли морем, правда?

Мать с некоторым смущением посмотрела на него. Впервые в жизни он спрашивал ее о прошлом.

— Почему ты так решил?.. — удивилась она.

— Дело в том, что когда я три года назад впервые ступил на палубу парохода, у меня было странное чувство... Мне показалось, будто я все это уже когда-то видел... И дневной свет, проникавший сквозь иллюминаторы, и маленькие, окованные медью ступеньки, ведущие в

каюты. — все это вызывало во мне смутные воспоминания... Мне чудилось, будто совсем маленьким я играл, скатывался по перилам с такой же вот лестницы... А может, мне это только приснилось?

Она несколько раз осмотрелась, желая убедиться, что они одни в комнате.

— Нет, милый, это не сон, — сказала она. — Тебе было три года, когда мы возвратились из Алжира. Отец твой скоропостижно скончался, и мы ехали в Турень.

— А, так, значит, мой отец умер в Алжире?

— Да... — чуть слышно проговорила она и опустила голову.

— Как же звали моего отца?

Шарлотта явно смущена: ее застало врасплох неожиданное любопытство Джека... Но, как ни тягостен для нее этот разговор, она не смеет дольше скрывать от сына имя его отца: ведь Джеку уже двадцать лет, ему можно все сказать, он все поймет.

— Он носил одно из самых громких имен во всей Франции, мой мальчик, это имя носили бы и мы с тобой, если бы внезапная страшная катастрофа не помешала ему искупить свою вину... Когда мы с ним познакомились, мы были так молоды!.. Это было во время облавы на кабанов в одной из лощин Киффы. Надо тебе сказать, что в ту пору я увлекалась охотой. Я даже помню, что сидела верхом на маленькой арабской лошадке, которую звали Сулейман. Не лошадь, а черт...

И эта сумасбродка понеслась во весь опор на арабском скакуне Сулеймане через страну химер, которую ее безудержное воображение населяло лордами Пимбок и раджами из Сингапура.

Джек не пытался прервать ее, он отлично знал, что это невозможно. Но когда она, задыхаясь от бешеной скачки и бившего в лицо ветра, остановилась, чтобы перевести дух, он воспользовался краткой передышкой и вернул ее к началу разговора, ибо только прямой, ясный вопрос мог помешать этой поверхностной женщине снова отвлечься.

— Так как же звали моего отца? — повторил он.

С каким изумлением взглянула она на него своими светлыми глазами!.. У нее выскочило из головы то, о чем они сейчас говорили.

Все еще не отдышавшись после долгого повествования, она скороговоркой ответила:

— Его звали де л'Эпан, маркиз де л'Эпан, командир эскадрона третьего гусарского полка.

Джек, как видно, не разделял взглядов матери на права и привилегии дворянства, во всяком случае, он без всякого интереса выслушал рассказ о своем знатном происхождении. Что толку в том, что отец его был маркиз? Ведь он, Джек, тем не менее стал кочегаром, да к тому же еще плохим кочегаром, а теперь он и вовсе изувечен, разбит, выведен из строя, как паровой котел с «Кидна», который покоится на дне Атлантического океана на глубине шестисот морских сажен. Что толку в том, что отец его носил громкое имя? Ведь он-то всего-навсего Джек, жалкая щепка, которая беспомощно носится по бурным волнам житейского моря! К тому же отец, о котором он только что впервые услышал, давно умер, и незнакомое чувство, на мгновение вспыхнувшее в душе юноши, не найдя там никакой опоры, ибо любопытство Джека было уже удовлетворено, угасло, растворилось в привычном безразличии...

— Послушай, Шарлотта!.. Надо что-то предпринять с этим молодцом. Не может же он вечно



околачиваться без дела. Ноги у него зажили. Ест он, не в укор ему, как бык. Правда, он еще покашливает, но Гирш утверждает, что он никогда не избавится от этого кашля... Пора ему взяться за дело. Если ему не под силу плавать на пароходе, пусть идет на железную дорогу. Лабассендр говорит, что там хорошо платят.

Выслушивая эти требования поэта, Шарлотта возражала, что Джек еще очень слаб и не совсем оправился.

— Если бы ты только видел, как он тяжело дышит, когда поднимается на пятый этаж! А до чего он худ! И по ночам все время ворочается. Знаешь что: пока он еще не окреп, приищи ему какое-нибудь занятие в журнале.

— Хорошо, — ответил д'Аржантон, — я переговорю с Моронвалем.

Моронваль согласился попробовать, однако проба оказалась неудачной. Несколько дней Джек исполнял в редакции обязанности рассыльного. Он ходил в типографию с корректурами, упаковывал экземпляры журнала для отправки, наклеивал адреса на бандероли — он делал все, что ему поручали. Впрочем, две комнаты, где расположилась редакция, по-прежнему подметал привратник, от вето Джека все же избавили — совесть заговорила! С обычным своим безразличием Джек все выполнял, безропотно снося мелочные придирки Моронваля, вымещавшего на нем давнюю вражду, и холодное бешенство д'Аржантона, который все время пребывал в дурном расположении духа из-за непонятого упрямства подписчиков. До чего же они были упорны, эти тупоголовые подписчики! Великолепная книга с отрывными квитанциями, переплетенная в зеленую саржу, книга с медными уголками, книга, где должны были красоваться их имена, была почти чистенькая, и лишь на первой странице, точно ореховая скорлупа в пустынном бескрайнем море, виднелась сиротливая запись: «Граф де... замок близ Метре, возле Тура». И этим единственным подписчиком журнал был обязан Шарлотте!

Но хотя поступлений не было никаких, расходы не уменьшались. Пятого числа каждого месяца сотрудники неизменно являлись за гонораром да еще просили аванс. Ненасытней всех был Моронваль. Сперва он приходил сам, а затем посылал супругу, Сайда, японского принца. Д'Аржантон приходил в ярость, но отказывать не решался. Тщеславие главного редактора не знало границ, а у мулата всегда были наготове неумные похвалы и беззастенчивая лесть. Однако когда все сотрудники бывали в сборе, главный редактор, боясь как бы и остальные не последовали примеру Моронваля, начинал жаловаться и защищался от просьб о выдаче аванса одной и той же фразой, выставляя ее как непреодолимый барьер: «Совет акционеров мне это решительно воспрещает». А ничего не подозревавший «совет акционеров» сидел в углу и старательно клеивал бандероли, вооружившись кистью и большой банкой с клеем. Подобно тому, как у журнала был всего один подписчик — «милый дядя», у него был всего один акционер — Джек, причем его акции были оплачены деньгами все того же «милого дяди».

Ни сам Джек, ни кто-либо другой ни о чем не догадывались, но д'Аржантон знал все, и ему было совестно, стыдно перед самим собой и перед этим юношей, сыном своей любовницы, которого он снова возненавидел, как ненавидел раньше.

Через неделю главный редактор объявил, что рассыльный не справляется со своими обязанностями.

— Он не приносит никакой пользы. Он не только не помогает — он всем мешает, — сказал поэт.

— Друг мой, поверь: он делает все, что может.

Теперь, после пережитого ужаса, Шарлотта более решительно защищала сына.

— Что ты от меня хочешь? Понимаешь, он действует мне на нервы. Как бы тебе лучше объяснить? Это человек не нашего круга. Он не умеет слова сказать, не умеет сесть, как полагается. Ты, должно быть, не обращаешь внимания на то, как он ведет себя за обедом: раздвинет ноги, отъедет от стола и будто спит над тарелкой... И потом, имей в виду, дорогая: когда такой рослый малый не отходит от матери, это ее старит... Я уж не говорю о том, что у него прескверные привычки. Он пьет, да, да, уверяю тебя, что он пьет. Поглядишь на него — и кажется, будто ты в кабаке. Одно слово — рабочий!

Она понурилась и заплакала. Она уже давно заметила, что сын пьет. Но кто в этом виноват? Разве не они столкнули его в пропасть?

— Знаешь, Шарлотта, мне пришла в голову одна мысль. Раз он еще слаб и не может работать, пошлем его в Этьоль на поправку. Он поживет в деревне на свежем воздухе и, пожалуй, поможет нам сдать в наем

Parva domus, ведь у нас аренда на десять лет. Мы будем посылать немного денег, чтобы он ни в чем не нуждался... Это пойдет ему на пользу.

В порыве благодарности она кинулась ему на шею:

— Я всегда говорила: ты лучший из людей!

Тут же они условились, что она на следующий день отвезет сына в Ольшаник и все там для него устроит.

Мать с сыном приехали туда в чудесное осеннее утро, мягкое и как будто золотое — оно было похоже на летнее утро, но только умиротворенное, освободившееся от гнетущей, удушливой жары. Ни малейшего дуновения ветра, только слышно, как щебечет множество птиц, как шуршат опавшие листья. Воздух напоен ароматом сухого сена, выжженного вереска, зрелых плодов, ожидающих, когда их снимут. Усеянные желтыми цветами лесные тропинки, будто чувствуя, что солнечные лучи греют теперь не так сильно, уже не прятались в тень, как летом: их бархатные ковры стлались до самых лужаек. Джек узнавал все эти дорожки. Гуляя по ним, он мысленно возвращался к незабываемым, счастливым годам своего детства, когда, несмотря на все горести, вызванные его ложным положением в доме, он как бы расцветал на деревенском приволье, на лоне благодатной природы. Природа, казалось, тоже узнавала его, звала к себе, раскрывала ему свои объятия. В его душу, размягченную детскими воспоминаниями и собственной слабостью, проник ее мягкий, ободряющий голос, как будто шептавший: «Приди ко мне, бедный мальчик, припади к моей груди, к моему медленно и мерно стучащему сердцу. Я обниму тебя, я тебя вылечу. У меня есть бальзам для всех ран. Тот, кто идет ко мне за помощью, уже заранее исцелен...»

Шарлотта скоро уехала домой. Маленький дом, раскрывший все окна навстречу теплomu воздуху, шорохам запущенного сада, где созрели плоды и где, как бы почувствовав весну, вновь распускались цветы, маленький дом, в котором Джек обходил все комнаты, одну за другой, слегка наклоняясь, будто он искал в каждом углу следы своего давно миновавшего детства, впервые — без всякой иронии — вполне соответствовал надписи, выведенной на его фасаде:

Маленький лом, великий покой

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## I. СЕСИЛЬ

— Но ведь это же клевета! Ты имеешь право привлечь к суду мерзавца Гирша. Из-за него я пять лет был уверен, что мой друг Джек — вор!.. Ну и каналья!.. Он нарочно явился ко мне, чтобы сообщить эту новость, мог бы еще раз прийти и опровергнуть ложный слух, когда твоя невинность была признана и подтверждена, да еще в самых лестных, самых похвальных для тебя выражениях. А ну, покажи-ка мне еще свою рабочую книжку.

— Вот она, господин Риваль.

— Превосходно! Лучше исправить допущенную ошибку невозможно. Директор — достойнейший человек... Ах, черт побери, как я рад! Меня мучила мысль, что мой ученик сделался мошенником... Подумать только: если бы мы с тобой случайно не встретились у Аршамбо, я бы еще долго пребывал в заблуждении!

В самом деле, доктор Риваль повстречался со своим старинным приятелем Джеком в домике лесника.

Уже десять дней прошло с тех пор, как Джек поселился в Ольшанике, и все это время он, как брамин, жил созерцательной жизнью: он будто сливался с великим безмолвием природы, упивался последними погожими днями, всеми порами впитывал тепло, шел в лес, и там его окружал животворящий покой. Деревья отдавали ему свой сок, земля — свою силу, и порою, когда он встряхивал головой, чтобы пробудить дремлющую мысль, ему начинало казаться, что под этим ясным, почти прозрачным высоким небом, которое в мягких лучах осеннего солнца еще радушнее распахивало свою ширь, он постепенно меняет свой уродливый облик — облик больного и подневольного человека.

Он виделся только с четою Аршамбо — об этих людях он сохранил самые добрые воспоминания. Глядя на жену лесника, он думал о матери, которой так долго верой и правдой служила эта женщина, а сам лесник, добродушный великан, молчаливый и диковатый, неотделимый, точно фавн, от жизни леса, воскрешал в памяти юноши те прекрасные, здоровые прогулки, которые они когда-то совершали вдвоем. В доме этих отшельников Джек как бы вновь переживал свое детство. Тетушка Аршамбо покупала ему хлеб и другую провизию. Когда ему было лень возвращаться к себе, он сам готовил на их очаге какие-нибудь нехитрые кушанья. Он подолгу сидел с лесником на скамейке перед его домом и покуривал трубку. Эти люди никогда ни о чем его не спрашивали. Папаша Аршамбо, посматривая на высокого худого парня с красными пятнами на скулах, только печально покачивал головой, как он это делал при виде буковой рощи, на которую напал долгоносик.

Придя в тот день к своим друзьям, Джек застал лесника в постели — у него был сильный приступ суставного ревматизма, который два или три раза в год валил с ног этого колосса, подобно тому как удар молнии валит наземь могучее дерево. У его изголовья стоял низенький человек в длинном сюртуке, карманы у этого человека были набиты газетами и книгами, и от этого, когда он двигался, фалды били его по ногам; его красивые седые волосы слегка топорщились. Это был Риваль.

Сперва Риваль и Джек пришли в замешательство. Джеку было стыдно взглянуть в глаза старому доктору, мрачные предсказания которого он еще помнил. Риваль, видя смятение юноши, связал его с дошедшими до него слухами о краже, совершенной Джеком, и держался холодно. Но бросавшаяся в глаза слабость высокого юноши тронула доктора. Они вышли вместе, беседуя, двинулись по неширокой, еще зеленой лесной дороге. Переходя с одной тропы на другую, выясняя одно неясное обстоятельство за другим, они, добравшись до

опушки, обнаружили, что печальное недоразумение за это время окончательно разъяснилось.

Доктор Риваль ликовал; он без конца перечитывал ту страницу рабочей книжки, где директор завода решительно подтверждал ошибочность возведенного на Джека обвинения.

— Ну, раз ты поселился в наших краях, мы будем часто видеться! Прежде всего это необходимо для твоего здоровья. Они отправили тебя в лес, точно лошадь на подножный корм, но ведь этого недостаточно. Ты нуждаешься в уходе, в серьезном уходе, особенно в это время года. Этьоль не Ницца, черт побери!.. Помнишь, как охотно ты раньше бывал в нашем доме? Там все по-старому. Нет только моей бедной жены, она уже не выйдет на переключку. Умерла четыре года назад, умерла с горя, с тоски, — она так и не сумела оправиться после нашего несчастья. Спасибо еще, что со мной осталась малютка, — не знаю, что бы со мной было, если б не она. Сесиль ведет книги, занимается аптекой. То-то она обрадуется, когда увидит тебя!.. Когда ты к нам придешь?

Джек медлил с ответом. Словно угадав его мысли, Риваль засмеялся добродушным смехом и сказал:

— Знаешь, к девочке ты можешь прийти без твоей рабочей книжки, она и так встретит тебя приветливо... Я ведь ей ни о чем не рассказывал, и жене тоже. Уж очень они тебя обе любили! Это бы их так огорчило!.. Так что никакая тень не омрачила их дружеского расположения к тебе... Можешь прийти безбоязненно... Вот что, нынче я тебя не приглашаю к обеду, уже свежо. Да и туман тебе вреден. А утром приходи завтракать. Когда? Да как прежде. Завтракаем мы в полдень, а то и в два часа, а то и в три, смотря по тому, сколько у меня визитов. Да, теперь стало еще труднее, чем раньше, потому что моя чертова кляча к старости стала еще неповоротливей и строптивей... Мы с ней чуть не каждый день ссоримся... Ну, вот ты и дошел, ступай скорее домой... Завтра — без всяких отговорок! Смотри не надуй, а то я сам за тобой приеду.

Притворив за собой дверь, увитую плющом, Джек испытал какое-то необыкновенное чувство. Ему казалось, будто он вернулся после далекой прогулки в кабриолете, одной из тех, какие он в детстве совершал вместе с доктором и своей маленькой подружкой, что он сейчас увидит, как мать вместе с женой лесника накрывает на стол, а он, поэт, работает у себя в башенке. Эту иллюзию поддерживал бюст д Аржантона; бюст был такой громоздкий, что его не взяли с собою в Париж, и он по-прежнему высился на лужайке, потемневший, унылый, и отбрасывал тень, которая в течение дня обегала вокруг него, точно стрелка солнечных часов.

Весь вечер Джек просидел у камина, в котором горели сухие виноградные лозы. Работа в кочегарке сделала Джека зябким. Подобно тому, как в детстве, когда он возвращался после чудесных прогулок на деревенском приволье, воспоминания о них помогали ему терпеть тоску и гнет тирании, нависавшей над домом, так и теперь встреча с доктором Ривалем и несколько раз упомянутое в разговоре имя Сесиль наполнили его блаженным чувством, какого он уже много лет не испытывал. Одиночество больше не тяготило его. Вокруг витали милые сердцу образы, сладостные видения; они не оставляли его даже во сне.

На следующий день, ровно в двенадцать часов, он позвонил к Ривалям.

Как доктор и говорил, в доме ничто не изменилось, флигелек остался недостроенным, а навес над крыльцом еще больше покрылся ржавчиной, так и не дождавшись, что его застеклят.

— Господин Риваль еще не возвращался... Барышня в аптеке, — сказала, открыв дверь Джеку, молоденькая служанка, заменившая преданную старушку, которая много лет жила у доктора.

В конуре, где когда-то сидел крупный ньюфаундленд, залаял щенок, как бы подтверждая, что вещи долговечнее живых существ — будь то люди или животные.

Джек подошел к «аптеке» — просторной комнате, где он часто играл с Сесиль, и постучал — ему не терпелось увидеть свою подружку, которую он помнил ребенком. Доктор ласково назвал ее «малюткой», и Джеку невольно рисовался образ семилетней девочки.

— Войдите, господин Джек!

Но он замер у порога: его внезапно охватил страх и необъяснимое волнение.

— Войдите же!.. — повторил тот же голос, голос Сесиль, но только девически звонкий, более мелодичный и богатый интонациями, гораздо более глубокий, чем прежде.

Дверь отворилась, и Джек, на которого хлынул поток света, спросил себя, не излучает ли весь этот свет стоящая на пороге прелестная, как видение, девушка в светлом платье и голубой кашемировой жакетке; блестящие волосы окружали ореолом ее матовый лоб, кроткий и вместе с тем горделивый. Он было совсем растерялся, но глаза прелестной девушки, эти умные серые глаза, открыто и простодушно сказали ему: «Здравствуй, Джек! Ведь это же я, Сесиль... Чего ты боишься?»-а ручка, коснувшаяся его руки, напомнила ему то сладостное чувство, от которого затрепетало его сердце в тот далекий праздник Успенья, когда они вместе собирали пожертвования в церкви.

— Жизнь у вас сложилась тяжело, господин Джек, дедушка мне рассказывал, — сказала Сесиль, в волнении посмотрев на него. — У меня тоже было немало горя... Бабушка умерла... Она вас так любила! Мы с ней часто говорили о вас...

Джек молча слушал и любовался ею. Она превратилась в стройную девушку с грациозными и совершенно естественными движениями. Сейчас, когда, облокотившись на старый письменный стол, за которым когда-то писала ее бабушка, Сесиль, чуть наклонив голову, беседовала со своим другом детства, она походила на ласточку, щебечущую на краю кровли.

Джек помнил, как красива была когда-то его мать, как он ею восхищался, но Сесиль была полна такого неизъяснимого очарования, она источала такой дивный весенний аромат, нечто до того здоровое, животворное и чистое, что рядом с нею все прелести Шарлотты, ее веселый смех, быстрые движения показались бы просто вульгарными.

Он с восторгом смогнул на Сесиль, упивался звуками ее голоса. Внезапно взгляд его упал на собственную руку, неподвижно лежавшую на колене, неуклюжую и беспомощную, какой всегда представляется рука рабочего в бездействии. Эта черная рука, в которую въелась угольная пыль, вся в шрамах и бугорках, загрубелая, обожженная огнем и железом, с обломанными ногтями, показалась ему непомерно большой. Он стыдился ее, не знал, куда ее девать, и, наконец, сунул в карман.

Но волшебство было нарушено. На Джека словно упал резкий луч света, и он понял, какой у него жалкий вид. Вот он понуро сидит на стуле, широко расставив ноги. Да и одет он нелепо: на нем потертые штаны, старая бархатная куртка д'Аржантона, из которой вылезают кисти рук. Видно, так уж ему на роду написано — всегда носить узкое и короткое платье!..

Узнать бы, что она о нем думает! Значит, она добра и снисходительна, если не расхохоталась ему в лицо! А ведь она, должно быть, любит посмеяться, хотя у нее такой серьезный вид! Вон сколько смешливых бесенят притаилось в подвижных крыльях ее правильного точеного носа, в уголках ее розовых, пухлых, изящно очерченных губ.

Джек не только страдал от того, что у него такая непривлекательная наружность, его терзали и другие муки. Его неловкость и смущение росли еще и потому, что в его памяти возникли все

кутежи и попойки, в которых он участвовал вместе с другими матросами в низкопробных кабаках всех стран мира, ему казалось, что они оставили на нем свой гнусный отпечаток, заметный для окружающих. Печальная складка, прорезавшая гладкий лоб Сесиль, сочувствие, которое читалось в ее чудесных глазах, — все говорило ему, что она сознает глубину его падения. И Джек страдал. Ему было мучительно стыдно.

Священный стыд, благословенное страдание! Это пробуждалась, омытая слезами, его смятенная душа. Но он об этом не подозревал. Он злился на себя за то, что пришел сюда, и думал только о том, как бы сбежать, кубарем скатиться по лестнице, поскорее оказаться в Ольшанике, запереть дверь тройным поворотом ключа, а ключ забросить в колодец, чтобы не поддаваться соблазну выйти за порог дома.

К счастью, в аптеку пришли люди, и Сесиль отошла к медным весам. Она отпускала лекарства, нумеровала пакетики, надписывала ярлычки, как это делала ее бабушка, и Джек больше не чувствовал на себе ее внимательного, изучающего взгляда.

Теперь он мог спокойно восхищаться ею. Она и правда быда очаровательна! Как мягко и терпеливо выслушивала несчастных крестьянок, многословных и бестолковых, которые без конца рассказывали о своих болезнях и никак не могли остановиться!

Для каждой она находила слово ободрения, улыбку, полезный совет. Она умела удивительно спокойно и просто разговаривать с этими людьми, природный ум помогал ей сразу находить верный тон. Вдруг Джек увидел, что Сесиль беседует с его давнишней знакомой, женой браконьера, старухой Сале, которая в детстве наводила на него такой страх. Сгорбленная, как почти все старые крестьяне, которых будто притягивает земля, ибо они каждый день сгибаются над нею в труде, прокаленная солнцем, высохшая, тетка Сале походила на пыльную мумию. На лице ее жили только черные, как уголь, подозрительные глаза, притаившиеся под веками, будто злобные зверьки в норе. Она жаловалась, что ее мужик, горемычный мужик, вот уже несколько месяцев хворает, сидит сложа руки, ничего не зарабатывает и все никак не окочурится. Тетка Сале нарочно выбирала выражения поглубже, уснащала свою речь крепкими словечками и в упор смотрела на девушку, будто хотела позабавиться ее смущением. Несколько раз Джека охватывало яростное желание вытолкнуть это мерзкое чудище в лохмотьях. Но он сдерживался, видя, что Сесиль остается бесстрастной перед лицом этой вызывающей грубости, что она хранит то невозмутимое спокойствие, о которое неизбежно притупит зубы самый злобный, исходящий ядовитой слюною дракон!

Получив лекарство, старуха стала прощаться, отвешивая низкие поклоны и угодливо рассыпаясь в преувеличенных выражениях благодарности. Проходя мимо Джека, она обернулась, сделав вид, будто только сейчас узнала его.

— Гляди-ка! Малый из Ольшаника! — громко сказала она, обращаясь к провожавшей ее Сесиль. — Ох, и облез же он, прости господи!.. Ну, сейчас-то, мамзель Сесиль, прикусят язычки наши кумушки... Ведь они прежде болтали, будто господин Риваль пригревает маленького Ражантона, чтобы вас потом за него выдать... Теперь-то вы на него и глядеть не захотите... Какой он стал неказистый, здорово его жизнь потрепала!

И с этими словами она вышла, ослабившись.

Джек побледнел... Старая ведьма! Она все-таки резнула его своим «серпом», как грозила когда-то. Да, это был злобный удар серпом — изогнутым, зазубренным ножом, свистящим в воздухе, как змея. И он оставил глубокую, очень глубокую рану, которая не скоро заживет. И не один Джек был сражен его ударом — девушка, низко наклонив голову над большой книгой, что-то старательно записывала в нее, но строчки разбегались вкривь и вкось, а лицо ее рдело от волнения.

— Катерина, подавай суп, да винца, да коньячку, и все такое прочее!

Это возвратился доктор. Заметив, что Джек и Сесиль в смущении, молча сидят друг против друга, он весело рассмеялся.

— Как? Неужели вам нечего сказать друг другу после семилетней разлуки? А ну, скорее за стол! За столом наш бедный малый сразу перестанет стесняться.

Однако за завтраком Джек не перестал стесняться, напротив, его смущение возросло. В присутствии Сесиль он не решался есть, боясь обнаружить свои трактирные привычки. За столом у д'Аржантона его мало беспокоило, что он ест не так, как принято в обществе, а так, как едят мастеровые. Здесь же он чувствовал всю неловкость своих манер, боялся показаться смешным; он просто не знал, куда девать свои несчастные руки. Одна по крайней мере была занята — он держал в ней вилку. Но что делать с другой? На белоснежной скатерти шрамы и рубцы на руке выглядели устрашающе. В полном отчаянии он опустил ее и теперь был похож на однорукого. Предупредительность Сесиль только усиливала его застенчивость. Она все поняла и смотрела на него украдкой до конца трапезы, показавшейся молодым людям бесконечной.

Но вот Катерина убрала тарелки и поставила перед девушкой горячую воду, сахар и выдержанную водку в бутылке с длинным горлышком. После смерти бабушки Сесиль сама готовила гог для доктора, и добряк на этом ничего не выгадал: опасаясь, как бы гог не получился слишком крепким, девушка подавала ему какое-то лекарственное питье, в котором, как меланхолически замечал старик Риваль, «доза спиртного уменьшалась с каждым днем».

Протянув деду стакан, Сесиль, обернувшись к гостю:

— А вы пьете водку, господин Джек?

Доктор покотился со смеху.

— Пьет ли водку кочегар? Да ты меня уморила, девочка!.. Впрочем, тебе-то откуда знать, но ведь бедняги только тем и держатся!.. Вот у нас, на «Байонезе», был кочегар, так он разбивал спиртовые приборы и выпивал содержимое... Можешь приготовить ему гог покрепче, он выпьет и даже не поморщится!

Она посмотрела на Джека ласково, но печально:

— Хотите стаканчик?

— Нет, спасибо, — ответил он тихо, словно стыдясь чего-то.

Он сделал над собой некоторое усилие, чтобы отказаться от стакана водки, но зато был с лихвой вознагражден тем красноречивым взглядом, каким умеют благодарить только женщины и который понятен лишь тому, кому он предназначен.

— А вот и еще один обращенный!.. — проговорил доктор, выпивая гог с комической гримасой.

Сам-то он был обращен только наполовину, подобно тем дикарям, которые соглашаются верить в бога лишь для того, чтобы угодить миссионеру.

Этьольские крестьяне, работавшие на полях, с удивлением смотрели на Джека, когда он под вечер возвращался от Ривалей, быстро шагая по дороге, — они решили, что он малость тронулся или же так напился за обильным завтраком у доктора, что у него закружилась голова. Он размахивал руками, разговаривал сам с собой, кому-то грозил кулаком — словом, был в таком возбуждении и гневе, которых никак нельзя было от него ожидать при его

обычной апатии.

— Рабочий!.. — весь дрожа, повторял он. — Я рабочий и буду рабочим всю жизнь. Д'Аржантон прав. Мне надо оставаться в своей среде, в ней жить, в ней и умереть и даже не пробовать подняться над нею. От этого только еще больней.

Давно уже не испытывал он такого нервного подъема и волнения. Новые, дотоле неведомые ему чувства теснились в его груди. Но о чем бы он ни думал, перед ним неизменно вставал сияющий образ Сесиль, она освещала все его мысли, как луна, дробясь в набегающей волне, освещает все ее извивы. Она — воплощение грации, красоты, чистоты! Подумать только: если бы из него не сделали простого рабочего, если бы его заживо не бросили в братскую могилу, а дали бы ему настоящее воспитание и образование, он был бы достоин этой прелестной девушки, мог бы жениться на ней и безраздельно владеть таким сокровищем. Боже мой!.. У него вырвался вопль отчаяния — так кричит потерпевший кораблекрушение человек, который тщетно борется с волнами и видит всего в нескольких морских саженях от себя залитый солнцем берег, где сушатся рыбацьи сети.

В эту минуту, свернув на дорогу, которая вела в Ольшаник, он почти столкнулся с теткой Сале, тащившей вязанку дров. Старуха посмотрела на него с той же гнусной улыбкой, какая была у нее утром, когда она сказала Сесиль: «Теперь-то вы на него и глядеть не захотите...» Джек подскочил, как ужаленный, при виде этой улыбки. Клокотавшее в нем, не находя себе выхода, бешенство — а ведь по-настоящему оно должно было обрушиться на ту, которая была ему так дорога, на слабую, легкомысленную женщину, больше всех виновную в его несчастье, — все это бешенство обратилось на отвратительную старуху.

«Ну, гадюка, — сказал он себе, — я вырву твои ядовитые зубы!»

У него было такое ужасное лицо, когда он пошел прямо на нее, что тетка Сале струсила, бросила вязанку и кинулась к лесу, прыгая, точно старая коза. Джек рассчитался с ней за то, что она еще в детстве преследовала его! Он бросился за ней в погоню, но тут же остановился.

«Я схожу с ума... Старуха в конце концов сказала сущую правду... Сесиль не захочет со мною знаться».

В тот вечер он не обедал; он даже не затопил камин, не зажег лампу. Он неподвижно сидел в углу столовой, единственной комнаты, которую он приспособил для жилья, перетащив туда кое-что из мебели, раскиданной по всему дому, и не сводил глаз с застекленной двери, за которой белел под лучами невидимой луны легкий туман ясной осенней ночи. Он думал: «Сесиль теперь не захочет со мною знаться».

Эта мысль не оставляла его весь вечер.

Сесиль не захочет с ним знаться! И в самом деле, все их разделяло. Прежде всего он рабочий, а затем... Страшное слово вертелось у него на языке: «незаконнорожденный»... Впервые в жизни он об этом задумался. Детей такие вопросы не занимают, если только окружающие их люди не напоминают им о том в обидной форме. Джек все время жил в среде, не отличающейся особой щепетильностью: сперва в кругу богемы, позднее среди рабочих, где такого рода отступления от общепринятой морали находят свое оправдание в нужде и внебрачные сожителства встречаются на каждом шагу. Никто никогда не упоминал при мальчике о его отце, и сам Джек о нем не думал. Он лишь неясно ощущал, что ему недостает мужской ласки, — так глухонемой догадывается, что лишен каких-то чувств, которыми обладают другие, но не в состоянии постичь, до какой степени они полезны и сколько приносят радости.

Сейчас вопрос об обстоятельствах его рождения занимал Джека больше всего. Когда



Шарлотта назвала ему имя отца, он выслушал эту ошеломляющую тайну с полным равнодушием. А теперь ему хотелось расспросить мать, выпытать у нее подробности, выслушать признания, чтобы лучше представить себе этого неведомого отца... Маркиз де л'Эпан?... Маркиз ли он? Быть может, это новые измышления бедной фантазерки, помешавшейся на титулах и знати? И правда ли, что он умер? Не сказала ли это мать просто для того, чтобы он не подумал, что с ней порвали, что ее покинули, чтобы не краснеть перед ним? А вдруг его отец жив? Вдруг он окажется столь великодушным, что решит искупить свою вину перед сыном и даст ему свое имя?

«Джек, маркиз де л'Эпан!»

Он все повторял про себя эту фразу, как будто титул маркиза приближал его к Сесили. Бедный малый не знал, что мишурный блеск не может так растрогать сердце настоящей женщины, как сострадание, которое дает выход таящейся в нем нежности.

«Что, если я напишу маме?» — думал он. Но то, о чем ему хотелось ее расспросить, касалось таких щекотливых и запутанных сторон жизни, так трудно было об этом написать, что он решил повидаться с матерью и склонить ее к задушевной беседе, когда глаза помогают устам, а молчание красноречивее слов восполняет недомолвки и полупризнания. На беду, у него не доставало денег на железнодорожный билет. Мать собиралась прислать ему денег, но, как видно, забыла.

— Пустяки! — воскликнул он. — Я прошел этот путь пешком, когда мне было одиннадцать лет. А уж теперь-то я его подавно одолею, хоть я еще и слабоват.

На другой день он в самом деле одолел эту ужасную дорогу. На сей раз она показалась ему не такой длинной и страшной, но зато еще более унылой. Проверяя детские воспоминания в том возрасте, когда человек обо всем судит здраво и трезво, он часто испытывает разочарование. Можно сказать, что в глазах у ребенка есть некое красящее вещество и оно не иссыкает до тех пор, пока ребенок не избавляется от наивного взгляда на окружающий мир, но по мере того, как он вырастает, все, чем он прежде восхищался, словно тускнеет. Поэты — это взрослые люди, которые смотрят на мир глазами детей.

Джек опять увидел то место, где он спал в ту далекую ночь, потом — решетчатую калитку в Вильнёв-Сен-Жорж, возле которой он вылез из кареты, уверив славный картуз с наушниками в том, будто здесь живет его мать; затем — груды камней у канавы, где валялся пьяный, так напугавший его, н, наконец, — кабак, отвратительный притон, который потом столько раз ему снился!.. Увы, с тех пор он навидался таких притонов! Мрачные лица загулявших рабочих, бродяг, околачивающихся у застав, которые так пугали его в ту далекую ночь, теперь его уже не удивляли. Сталкиваясь с этими людьми, он ловил себя на мысли, что, если бы маленький Джек чудом возник на этой пыльной дороге, если бы он, вновь зашагав по ней торопливо и робко, как и полагается убежавшему школьнику, повстречался невзначай с нынешним Джеком, бедняжка, быть может, перепугался бы еще больше, чем при виде страшного призрака...

Он добрался до Парижа к часу дня. В столице лил унылый, холодный дождь. Джек все еще невольно сравнивал воспоминания о ночном путешествии с нынешним днем. И в памяти Джека воскрес изумительный рассвет, а его мысленному взору вновь явилось голубое майское небо, на фоне которого он увидел тогда свою мать: будто Михаил-архангел в сиянии славы, она блеском своей красоты распугивала когорты ночных призраков. Но сейчас вместо загородного дома «Ольшаник», где Ида распевала среди цветов, он увидел мрачный дом, где помещалась редакция «Обозрения будущих поколений», а из сводчатого подъезда навстречу ему вышел д'Аржантон в сопровождении Моронваля, несшего пачку корректур, и целого эскадрона «горе-талантов»; они о чем-то оживленно беседовали, видимо, продолжая спор.

— А, Джек! — воскликнул мулат.

Поэт вздрогнул и вскинул голову. При взгляде на этих двух человек, из которых один был одет с иголочки — в хорошем костюме, в свежих перчатках, поражал довольством и сытостью, как будто только что вышел из-за стола, а другой, донельзя изможденный, был в слишком короткой для него бархатной куртке, потертой и лоснившейся от дождя, никому не пришло бы в голову, что их что-то связывает друг с другом. А ведь этим — то как раз и отличаются сомнительные связи, в этом-то и состоит тот роковой изъян, по которому сразу распознаешь те странные семьи, где отец — плотник, сын — парикмахер в предместье, а дочь по воле случая — графиня.

Джек протянул руку д'Аржантону, тот милостиво подал ему один палец и спросил: неужели он так скоро сдал внаем Ольшаник?

— Что?.. Внаем?.. — удивился Джек, не поняв, о чем идет речь.

— Ну да... Увидев тебя, я сразу подумал: «Дом занят, и ему пришлось вернуться в Париж».

— Нет, — растерянно пробормотал Джек, — за то время, что я там, никто даже не наведалься.

— В таком случае что тебя сюда привело?

— Я хочу повидать маму.

— Ну, эта блажь мне понятна. Плохо только то, что на дорогу нужны деньги.

— Я пришел пешком... — сказал Джек просто, но с внутренней уверенностью в своей правоте и с достоинством, какого в нем прежде не замечал д'Аржантон.

— Угу!.. — сказал поэт.

Подумав, он насмешливо проговорил:

— Что ж, я с удовлетворением отмечаю, что ноги у тебя почище рук.

— Не в

бъовь, а в глаз. — Мулат ослабился.

Поэт скромно улыбнулся и, довольный своим успехом\* двинулся по набережной в сопровождении угодливой свиты, следовавшей за ним гуськом.

Неделю назад равнодушный ко всему Джек пропустил бы мимо ушей «уничтожающее словцо» д'Аржантона, но со вчерашнего дня он стал другим. За несколько часов он превратился в гордого и обидчивого человека. Вот почему, после того как ему нанесли оскорбление, он готов был вернуться обратно пешком, даже не повидав матери, но ему надо было поговорить с ней, поговорить по серьезному делу. И он поднялся по лестнице.

В квартире был беспорядок: обойщики прилаживали драпировки, расставляли скамьи, будто тут готовились к раздаче наград. В тот день в доме поэта должен был состояться большой литературный вечер, на него была приглашена вся шатия, которая подвизается на задворках искусства и изящной словесности, вот почему д'Аржантон и пришел в ярость, увидев сына Шарлотты. Она тоже не выказала большого восторга. Ей, хозяйке дома, предстояло преобразить квартиру: всюду устроить уютные уголки для курения — в гостиной, в будуаре, везде, воспользоваться любой нишей, даже туалетными комнатами.

— Как! Это ты, Джек? Бьюсь об заклад, бедняжка, что ты явился за деньгами. Верно, решил, что я тебя забыла. Но дело в том, что я хотела прислать тебе денег с Гиршем, он дня через три собирается в Ольшаник, будет производить там очень любопытные опыты с благовониями. Знаешь, это новый способ лечения, он вычитал о нем в какой-то персидской книге... Вот ты увидишь, какое это изумительное открытие!

Они говорили вполголоса, а вокруг взад и вперед ходили мастеровые, вколачивали гвозди, передвигали мебель.

— Мне надо поговорить с тобой по очень серьезному делу, — сказал Джек.

— Ах, боже мой, о чем же?.. Что еще стряслось?.. Ты же знаешь, что серьезных разговоров я боюсь пуще огня... А потом, сам видишь, в доме все вверх дном из-за литературного вечера... Мы задумали его на широкую ногу. Разослали пятьсот приглашений... Я тебя не удерживаю, потому что, видишь ли... Прежде всего, тебе это не очень интересно... Ну, хорошо, раз уж ты непременно хочешь поговорить со мной, идем сюда, на веранду... Я все там устроила для курильщиксв, — сейчас ты увидишь, как уютно получилось.

На веранде под цинковым навесом, обтянутым полосатым тиком, стоял диван, жардиньерка, висела люстра, но в этот пасмурный день, когда в уши назойливо лез монотонный шум дождя, а взгляд упирался в мокрые, окутанные туманом берега Сены, все это выглядело довольно уныло.

Джеку было не по себе. Он думал: «Уж лучше бы я написал...» Он не знал, с чего начать разговор.

— Ну так что же? — присаживаясь, спросила Шарлотта. Подперев рукой подбородок, она приняла картинную позу женщины, приготовившейся слушать.

Он еще немного поколебался, как колеблется человек, перед тем как опустить тяжелый груз на этажерку, предназначенную для безделушек: то, что он собирался сказать, ему самому представлялось слишком обременительным для этой пустой и легкомысленной женской головки.

— Я хочу... я хочу поговорить с тобой об отце.

«Что это тебе в голову взбрело!» — чуть было не вырвалось у нее.

И хотя она не произнесла этих слов, но ее лицо, на котором отразились изумление, скука, испуг, говорило об этом достаточно красноречиво.

— Все это очень печально для нас обоих, бедный мой мальчик, но, как ни тягостен такой разговор, я понимаю твое естественное любопытство и готова его удовлетворить. Тем более, что я давно решила, — прибавила она торжественно, — когда тебе исполнится двадцать лет, я открою тебе тайну твоего рождения.

Теперь уже он с изумлением уставился на нее.

Значит, она не помнит, что три месяца назад сообщила ему этот секрет. Впрочем, эта забывчивость была

ему даже на руку. Он сможет сравнить то, что она ему поведаст сейчас, с тем, что она говорила прежде. Он хорошо ее изучил!

— Правда ли, что мой отец был знатного рода? — спросил он напрямик.

— Еще какого знатного, друг мой!

— Маркиз?

— Нет, барон.

— Но я думал... ты ведь мне говорила...

— Нет, нет! Маркизами были Бюлаки старшей ветви.

— Значит, он был в родстве с этими Бюлаками?..

— Конечно!.. Он был главой младшей ветви этого рода.

— Тогда, выходит... моего отца... звали...

— Барон де Бюлак, лейтенант флота.

Если бы внезапно рухнул балкон, увлекая за собой обтянутую тиком веранду со всей мебелью, Джек и тогда не испытал бы более сильного потрясения. Однако у него хватило духа спросить:

— Давно он умер?

— Давным-давно!.. — ответила Шарлотта и сделала рукой выразительный жест, словно отбрасывая в далекое прошлое человека, самое существование которого было весьма проблематическим.

Итак, отец его умер. Пожалуй, только этому и можно было верить. Но как же все-таки его звали: де Бюлак или де л'Эпан? Когда она сказала неправду: сейчас или тогда? А может быть, она и не лгала, может, она сама толком не знает?

Какой позор!

— Как ты плохо выглядишь, Джек! — вдруг спохватилась Шарлотта, прервав бесконечную романтическую историю, куда она устремила голову вслед за лейтенантом флота.

— Руки у тебя как лед. Зря я повела тебя на балкон.

— Ничего, — с усилием произнес Джек, — согреюсь в дороге.

— Как? Ты уже уходишь? Впрочем, ты прав, тебе лучше засветло вернуться...

Отвратительная погода. Ну, поцелуй меня!

Она нежно поцеловала Джека, подняла воротник его куртки, набросила на него свой шотландский плед, чтобы он не замерз, сунула немного денег в карман. Она воображала, будто облако грусти, набежавшее на его лицо, было вызвано приготовлениями к званому вечеру, на котором он не будет присутствовать, поэтому ей хотелось скорее выпроводить его. Когда горничная позвала ее: «Сударыня, парикмахер!..» — Шарлотта воспользовалась этим и начала торопливо прощаться:

— Видишь, мне пора... Береги себя!.. Пиши почаще!

Он медленно спускался по лестнице, крепко держась за перила. У него кружилась голова.

О нет, сердце у него сжималось так горестно вовсе не потому, что он не мог присутствовать на их сегодняшнем празднике! Он горевал о том, что в его жизни вообще не было праздников: в отличие от других детей у него не было отца и матери, которых он мог бы любить и уважать, у него не было имени, не было своего очага, семьи! И теперь он уже знал, что безжалостная судьба не допустит его на праздник счастливой любви, которая навсегда соединяет вас с самым чудесным, самым благородным и самым преданным существом на свете. Да, и этого

праздника у него не будет. Бедный Джек горевал, не понимая, что, скорбя обо всех этих недоступных ему радостях, он тем самым становится достойным их. Как далеко было от его недавнего оцепенения до этого ясного понимания своего печального жребия, а ведь только такое понимание могло дать ему силы для борьбы со злым роком!

С этими мрачными мыслями он подходил к Лионскому вокзалу, к тем убогим кварталам, где грязь кажется еще гуще, а туман еще беспросветнее, потому что дома тут потемнели от дыма, сточные канавы полны нечистот, а людские невзгоды как бы откладывают скорбный отпечаток на и без того унылую природу. В этот час рабочие возвращались с фабрик и заводов. Измученные, усталые люди, хмурый человеческий поток, заключающий в себе так много нужды и горя, растекался по тротуарам и мостовой, направляясь к винным погребкам и к пригородным трактирам. Над некоторыми из них висели вывески: «ДЛЯ УТЕХИ», как будто пьянство и забвение — единственная утеха обездоленных! И разбитому усталостью, заочневшему Джеку вдруг показалось, что все пути для него закрыты и что вся жизнь его будет такой же безотрадной и мрачной, как этот дождливый и холодный осенний вечер. В отчаянии он махнул рукой и крикнул:

— Они правы, черт побери!.. Только одно нам и остается... Пить!

Перешагнув порог одного из тех гнусных кабачков, где храпят забулдыги, где захмелевшие люди чуть что хватаются за ножи, бывший кочегар заказал себе двойную порцию «купороса». [35] Но в ту самую минуту, когда он уже взял стакан, ему вдруг почудилось, будто все, что его окружало, — безобразно галдевшие люди, клубы табачного дыма, тяжелый винный дух, пар, поднимавшийся от мокрой одежды, — куда-то исчезло, и перед его глазами расцвела дивная улыбка, а мягкий, глубокий голос произнес над его ухом:

— Вы пьете водку, господин Джек?

Нет, он больше не пьет и никогда больше не будет пить! Джек выскочил из кабака, бросив на стойку монету и, ко всеобщему удивлению, оставив нетронутым свой стакан.

## II. ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Было бы, пожалуй, долго рассказывать о том, как Джек после своего печального путешествия в Париж захворал, как на протяжении двух недель он был, точно узник, заточен в Ольшанике и находился во власти доктора Гирша, который испытывал на этом новом Маду свою методу лечения ароматическими средствами, как доктор Риваль вызволил юношу и силой перевез в свой дом, вернул его к жизни и возвратил ему здоровье. Лучше уж я прямо провожу вас к нашему другу Джеку: он сидит в удобном кресле, у окна «аптеки», под рукой у него книги, а вокруг — умиротворяющий покой. Покой навевают спокойные дали, царящая в доме тишина, легкие шаги Сесиль. Все это вносит в полудремотное состояние выздоравливающего ровно столько жизни сколько нужно, чтобы он полнее наслаждался долгими днями блаженного безделья.

Джек так счастлив, что ему даже говорить не хочется. Сквозь опущенные ресницы он следит, как снует игла в пальцах Сесиль, прислушивается к скрипу ее пера по разлинованной бумаге бухгалтерских книг, радуется присутствию этой дорогой ему девушки.

— Ох уж этот дед!.. Не сомневаюсь, что он утаивает от меня добрую половину своих визитов... Вчера он дважды проговорился... сперва сказал, что не заходил к Гудлу, а потом, немного погодя, сам же сообщил, что жена Гудлу чувствует себя лучше. Вы заметили, Джек?

— Вы что-то спросили?.. — восторженно воскликнул юноша.

Он ничего не слышал, он только любовался ею. Всегда простая, ровная, грациозная, Сесиль никогда не ребячилась, не резвилась в отличие от девиц, которые убеждены, что непосредственность их украшает, но, не зная меры, все этим портят. В ней все серьезно, глубоко. Даже в голосе ее звучит раздумье, взгляд ее вбирает и хранит только свет. Чувствуется, что душа ее доступна лишь высокому и способна лишь на высокие порывы. Так оно и есть, ибо слова — эта ходячая, истертая, потускневшая монета — в ее устах внезапно приобретают необычайную свежесть, как это бывает порою, когда слова кладут на музыку и их обволакивает волшебная мелодия Генделя[36] или Палестрины. Когда Сесиль произносила: «Джек, друг мой», ему казалось, что никто прежде так не обращался к нему, а когда она произносила: «Прощайте», сердце его сжимала такая тоска, словно он прощался с ней навсегда; все, что говорила эта задумчивая и открытая девушка, приобретало особый смысл. Всякий выздоравливающий слаб и чувствителен, легко поддается физическому и нравственному воздействию, вздрагивает от едва заметного дуновения и ощущает тепло самого робкого солнечного луча — вот почему Джек так остро воспринимал очарование девушки.

Сколько славных, чудесных дней провел он в этом воистину благословенном доме! Казалось, здесь все помогало ему быстрее встать на ноги. «Аптека», просторная комната, в которой были только высокие стенные шкафы из неструганого дерева, выходила окнами на юг. Сквозь кисейные занавески была видна деревенская улица, а дальше, до самого горизонта, тянулись сжатые поля. В комнате было покойно, приятно пахло сушеными травами и цветами, собранными в самый разгар цветения, и этот аромат укреплял силы больного. Природа как будто сама пришла к нему сюда, но несколько приглушенная, смягченная и потому особенно благотворная: он вдыхал все эти ароматы, и они опьяняли его. Благоухающие бальзамы воскрешали в его памяти журчанье ручьев, а вместе с запахом золототысячников, сорванных у подножья могучих дубов, к Джеку приходил сюда лес и раскидывал над ним свои зеленые своды.

Силы понемногу возвращались к больному, и он пытался читать. Он перелистывал старые томики из библиотеки доктора, а когда ему попадались книжки, по которым он в детстве учился, он откладывал их и перечитывал, убеждаясь, что теперь они гораздо понятнее. Сесиль занималась своими обычными делами, доктор почти весь день отсутствовал, и молодые люди оставались вдвоем под присмотром молоденькой служанки. Это давало повод для пересудов, и деревенские кумушки, как и подобает ханжам, негодовали, что такой великовозрастный малый постоянно остается наедине с красивой молодой девушкой. Разумеется, если бы г-жа Риваль была жива, она бы этого не допустила, ну, а доктор — он ведь хуже малого ребенка, ему ли наставлять молодежь! Впрочем, как знать! Может, у него что и на уме, у этого чудака!

Тем временем д'Аржантон узнал, что Джек обосновался в доме Ривалей, и счел это за личную обиду. «Нехорошо жить у чужих, — писала Шарлотта сыну. — Что о нас станут думать в Этьоле?.. Скажут, что мы пожалели денег на твое лечение. Это выглядит так, будто ты нас в чем-то укоряешь...» Письмо не произвело ожидаемого эффекта, и тогда поэт написал самолично, САМОЛИЧНО: «Я нарочно послал Гирша, чтобы он вылечил тебя, однако ты предпочел довериться неисправимому рутинеру, сельскому лекарю, а не нашему сведущему другу. Дай бог, чтобы это не принесло тебе вреда! Так или иначе, коль скоро ты уже на ногах, даю тебе два дня на то, чтобы возвратиться в Ольшаник. Если через два дня ты этого не сделаешь, я буду рассматривать твое поведение как открытый бунт против меня, и с этого часа между нами все будет кончено. Имеющий уши да слышит!»

Джек, однако, не двинулся с места, и тогда прибыла Шарлотта, необычно серьезная и важная. Собираясь в путь, она набила свою сумочку шоколадом, чтобы было что погрызть в дороге, и затвердила наизусть множество трескучих фраз, подсказанных ей поэтом. Доктор

Риваль встретил ее внизу и, не обращая внимания на подчеркнутую сдержанность дамы, которая чопорно поджимала губы и с великим трудом удерживалась от болтовни, заявил ей без обиняков!

— Хочу вас предупредить, сударыня, что это я не разрешил Джеку вернуться в Ольшаник... Вопрос шел о его жизни... Да, сударыня, о его жизни... Вашему сыну угрожает серьезная опасность, вызванная переутомлением, истощением и быстрым ростом. По счастью, он в таком возрасте, когда здоровье можно еще восстановить, и я уповаю, что Джек справится со своим жестоким недугом, если только вы не вздумаете снова предать его во власть вашему презренному Гиршу, этому убийце, который чуть было не уморил беднягу, заставляя его вдыхать мускус, ладан и даже росный ладан. Ведь он под видом лечения мог просто удушить мальчика! Полагаю, вы всего этого не знали. Я вырвал его из Ольшаника, где он изнемогал в клубах дыма, посреди всяких трубок, ингаляторов и курильниц для благовоний. Я ногой расшвырял все эти дурацкие аппараты, — боюсь, что заодно и лекарю досталось. Теперь Джек вне опасности. Оставьте его у меня на некоторое время, и я обещаю вернуть вам его более крепким, чем раньше, чтобы у него хватило сил снова вести суровую жизнь. Но если вы опять отдадите его в руки этому гнусному шарлатану, я пойму это так, что сын вам мешает и вы решили от него отделаться.

— Что вы говорите, господин Риваль?.. Боже мой, боже мой, чем я провинилась, чем я заслужила подобное оскорбление?

Этот риторический вопрос повлек за собой, натурально, целый поток слез, но доктору удалось довольно скоро осушить его несколькими добрыми словами. Просветлевшая Шарлотта поднялась в «аптеку» повидать сына; он был один и читал книгу. Она нашла, что Джек похорошел и изменился к лучшему, как будто освободился от грубой оболочки, но это, видимо, не прошло ему даром: он казался изнуренным и обессиленным. Шарлотта пришла в волнение. А он, завидя ее, побледнел:

— Ты за мной приехала?

— Что ты! Нет, нет! Ведь тебе здесь хорошо. И что бы сказал добрейший доктор, который так к тебе благоволит, если бы я решилась тебя увезти?

Впервые в жизни Джек понял, что можно быть счастливым и вдали от матери; он чувствовал, что если бы его принудили уехать отсюда, то он от огорчения снова бы захворал. Они немного побыли вдвоем и поговорили. Шарлотта даже позволила себе некоторые признания. Вид у нее был не очень счастливый:

— Видишь ли, мальчик, говоря по правде, эта литературная жизнь куда как беспокойна! У нас теперь каждый месяц званые вечера. Каждые две недели — литературные чтения... У меня столько хлопот!.. Моя бедная голова идет кругом, удивительно, как она еще выдерживает! Японский принц, воспитанник господина Моронваля, сочинил большую поэму, ну, понятно, на своем языке... И вот он вздумал перевести ее, строчку за строчкой... И берет теперь уроки японского языка. Представь себе, и я тоже! До чего трудно!.. Нет, скажу тебе откровенно: я начинаю думать, что литература не мое призвание. Бывают такие дни, когда я и сама не понимаю, что делаю и что говорю. А тут еще этот журнал, который не приносит ни одного су и не имеет ни одного подписчика... Кстати, знаешь, «милый дядя», бедненький... Да, он умер.... Я так расстроилась!.. Ты помнишь его?

В эту минуту вошла Сесиль.

— О, мадемуазель Сесиль!.. Как вы выросли!.. Как похорошели!

Широко раскрыв объятия, потрясая кружевами своей накидки, Шарлотта кинулась обнимать девушку. Джеку стало немного не по себе. Д'Аржантон, «милый дядя», — ни за что На свете

не решился бы он говорить об этом в присутствии Сесиль! Несколько раз он останавливал не отличавшуюся тактом, щебетавшую Шарлотту и пытался переменить тему разговора. Он все еще испытывал большую нежность к матери, но теперь в его жизнь вошло чувство к другой женщине: перед одной из них он преклонялся, к другой начинал относиться чуть-чуть покровительственно. И если его первая любовь была исполнена глубокого уважения, то к его сыновней нежности примешивалось сострадание.

Г-же д Аржантон предложили остаться обедать, но она, хорошо зная невыносимый эгоизм поэта, сказала, что и так уже задержалась. С этой минуты вплоть до самого отъезда она казалась чем-то встревоженной, озабоченной. Она уже заранее сочиняла целую историю, которая должна была оправдать ее опоздание.

— Главное, дорогой Джек, если вздумаешь мне писать, не забывай направлять письма в почтамт, до востребования. Понимаешь, он сейчас на тебя очень сердит. Ну, и я должна делать вид, будто тоже недовольна тобой. Не удивляйся, если я стану тебе выговаривать в письмах. Он всегда стоит у меня за спиной, когда я тебе пишу. А чаще всего просто диктует... Пстой, вот что я тебе скажу: если в конце письма будет стоять крестик, значит, это письмо не в счет!

Ида простодушно признавалась в том, как она поработана. Джека огорчало, что над матерью тяготеет иго мелкого деспотизма, но он отчасти утешался, видя, как еще моложава, хороша собой и беззаботна его бедная легкомысленная мама, как она элегантна, как весело размахивает своей дорожной сумочкой: казалось, с такой же легкостью, с какой она несет эту сумку, она понесет любое бремя, какое только выпадет на ее долю.

Видели вы когда-нибудь белые водяные лилии? Их длинные стебли берут начало в самой глубине реки, тянутся, изгибаясь и преодолевая сопротивление прочей водяной флоры, и, наконец, выйдя на поверхность, распускаются пышными, похожими на круглые чаши, венчиками, источая сладчайший аромат, которому легкая горечь влаги придает терпкий оттенок. Так вот и в сердцах двух юных созданий распускалась любовь. Она зародилась у них давно, еще в раннем детстве, в ту пору, когда всякое брошенное семя дает росток, а в будущем сулит цветение. В чистой душе Сесиль дивные цветы любви росли открыто и гордо. В душе Джека они распускались медленно, будто застревают в вязкой тине, среди переплетенных трав, которые обвивались вокруг них, точно путы, и мешали им расти. Тем не менее они все же пробивались к воздуху, к свету, распрямлялись, тянулись ввысь, робко выступали на поверхность и вздрагивали, когда по ним, точно дрожь, пробегала легкая рябь. Нужно было немного, совсем немного, чтобы и они распустились пышным цветом. И это совершил час, освещенный любовью и солнечным светом.

— Если хотите, поедem завтра все вместе в Кудре, на сбор винограда, — сказал как-то вечером доктор молодым людям. — Фермер предлагает прислать за нами свою двуколку. Поезжайте вдвоем с утра, а я к вам присоединюсь поближе к обеду.

Они с радостью согласились. В путь тронулись чудесным утром, какие иногда выдаются в конце октября. Легкий туман, казалось, рассеивался с каждым поворотом колес и призрачной дымкой поднимался в небо, открывая взору восхитительный вид. Над сжатыми полями, над золотистыми копнами, над чахлыми осенними растениями витали длинные шелковистые белые нити, они цеплялись за все и растягивались, точно узкие полоски расходящегося тумана. Казалось, будто покрывало, сотканное из серебра, колыхается над широкими равнинами, на которые осень наложила печать торжественного величия. Внизу, вдоль большой дороги, бежала река, на берегах ее виднелись старинные усадьбы, обширные парки и леса — осень уже набросила на них багряный наряд. Наши путешественники тряслись и подскакивали на жестком сиденье, спрятав ноги в солому и вцепившись обеими руками в края двуколки; свежий, живительный воздух приводил их в бодрое, веселое настроение. Дочь фермера правила серым и очень упрямым осликом; он то и дело поводил своими длинными



ушами — ему досаждали осы, которых всегда видимо-невидимо в эту пору года, когда собирают плоды и воздух напоен сладким ароматом.

Ослик все трусил и трусил. Проехали Этьоль, потом Суази. По обе стороны дороги открывались разнообразные виды, радуя взор путешественников. Проехав по Корбейльскому мосту, расположенному в нескольких километрах от городка, они, держась берега реки, вскоре очутились в самой гуще виноградников, где уже кипела работа.

На сбегавших к Сене склонах холмов роилось множество людей, они срезали виноградные кисти, обрывали листья с тем дробным шумом, который напоминает шорох шелковичных червей в ветвях тутовых деревьев. Джек и Сесиль схватили каждый по ивовой корвине и устремились в толпу. Какой это был чудный уголок! Сквозь виноградные лозы видна была картина мирной сельской природы: неширокая, извилистая Сена с живописными берегами и множеством зеленых островков напоминала миниатюру, изображающую Рейн возле Базеля. Неподалеку с плотины шумно низвергалась вода, образуя пенистый водоворот. По небосводу медленно плыло окутанное золотистой дымкой солнце, а рядом с солнечным шаром выделялся узенький серебристо-белый серп луны, будто притаившаяся среди бела дня угроза ранних вечеров и долгих ночей.

И в самом деле, этот прекрасный осенний день был очень короток, во всяком случае, таким показался он Джеку. Он ни на минуту не оставлял Сесиль, и перед его глазами все время мелькала ее соломенная шляпа с узкими полями, перкалевая юбка в цветах. Он складывал в ее корзину самые крупные гроздья, которые старательно срезал: они были подернуты влажным блеском, нежным, как пыльца на крыльях бабочки, каждая виноградинка была прозрачна, как полированное стекло. Молодые люди вместе разглядывали нежную кожуцу виноградин. А когда Джек поднимал глаза, то с восторгом обнаруживал, что на щеках, на висках, в уголках рта Сесиль такой же нежный налет, такой же легкий пушок, та же неизъяснимая прелесть, какую утренняя заря, юность и уединение придают еще не срезанным с виноградной лозы гроздьям и еще не изведавшим любви существам. Тонкие, развевавшиеся на ветру волосы молодой девушки делали ее лицо еще прозрачнее, воздушнее. Никогда еще не видел он ее такой сияющей. Движение, приятное возбуждение, вызванное работой, царившее вокруг веселье, шумные возгласы, песни, смех сборщиков винограда — все это преобразило всегда такую сдержанную внучку доктора Риваля: она словно опять превратилась в девочку, какой, в сущности, и была, взбегала на откосы, придерживая корзину на плече, и на ее ясном личике появлялось озабоченное выражение: казалось, она думает только о том, чтобы не опрокинуть корзину. Любуясь ее плавной поступью, Джек вспоминал бретонских женщин, которые носят на голове полные кувшины с водой, но умудряются ходить быстро, сохраняя равновесие и не расплескивая ни капли драгоценной влаги.

Все же днем наступила такая минута, когда оба они ощутили усталость и присели отдохнуть на опушке небольшого леса, где еще не отцвел розовый вереск, слегка потрескивавший своей уже высохшей зеленью...

И тут?..

Нет, они так ничего и не сказали друг другу. Их любовь не спешила излиться в признаниях. А между тем вечер, вкрадчивый, пьянящий, благоухающий всеми ароматами природы, таинственным покровом окутывал самую высокую и прекрасную мечту их жизни. И тотчас же быстрые осенние сумерки внесли что-то задушевное в пейзаж: на горизонте засветились невидимые окна — казалось, будто в каждом жилище с любовью ждут возвращения близких. Подул свежий ветерок, и Сесиль настояла, чтобы Джек накинул на себя шерстяную шаль, которую она прихватила с собой. От мягкой, теплой ткани шел едва уловимый нежный запах... Ее прикосновение походило на ласку, и влюбленный побледнел.

— Что с вами, Джек?.. Вам плохо?

— О нет, Сесиль!.. Никогда еще мне не было так хорошо!..

Она взяла его за руку, а когда попыталась отнять свою руку, он ее задержал; с минуту они так и сидели, молча, сплетя пальцы.

И только.

Когда они пришли на ферму, оказалось, что доктор только что приехал. Во дворе слышался его приятный, милый голос, слышался шум: выпрягали лошадь. Прохладные осенние вечера имеют свое очарование. Сесиль и Джек ощутили его, когда вошли в низкую комнату, где пылал очаг и готовился ужин. Домотканая скатерть, тарелки в цветочках, приятный запах деревенских кушаний — все придавало особый аромат этой сельской пирушке, где десертом служили груды недавно собранного винограда. Из погреба то и дело приносили местное вино — и выдержанное и свежее; все с удовольствием пробовали его. Джека посадили рядом с Сесиль, и он был так поглощен ею, что проявлял полное равнодушие к пыльным бутылкам, извлеченным на свет божий. Доктор, напротив, охотно отдавал дань доброму обычаю — обильными возлияниями отмечать сбор винограда. Он так увлекся этим, что его внучка незаметно вышла из-за стола, попросила запрячь лошадь и накинула на плечи пальто. Увидев, что она совсем готова, добряк Риваль был вынужден покинуть веселую компанию, усесться на козлы и взять в руки вожжи, к величайшему возмущению сотрапезников оставив на столе недопитый стакан.

И, как в ту, уже далекую пору, они снова возвращались домой втроем среди объятых безмолвием полей. Только теперь им было тесновато в кабриолете: он-то ведь не вырос, и его сильно поистершиеся рессоры жалобно кряхтели на ухабах. Впрочем, шум этот не нарушал очарования поездки. С неба на них смотрели звезды, которых так много высыпает осенью, что они напоминают золотой дождь, застывший в прохладном воздухе. Кабриолет катил мимо парков; из-за их каменных оград тянулись и висели над дорогой ветви, задевавшие седоков. Чаще всего в конце такого парка стоял небольшой павильон с закрытыми ставнями, такой таинственный, что казалось, будто в нем, в его мраке, заперто далекое прошлое. По другую сторону дороги бежала Сена, на берегу виднелись жилища зрителей шлюзов, а по течению медленно плыли баржи и длинные плоты. Горевшие на носу и на корме фонари слабо мерцали, отражаясь в волнах.

— Ты не продрог, Джек?.. — спросил доктор.

Как мог он продрогнуть? Его согревала длинная бахромчатая шаль Сесиль, а потом в воспоминаниях этого дня было столько солнца!..

И зачем только такие чудесные дни кончаются? Почему на смену мечте приходит суровая действительность? Джек теперь твердо знал, что любит Сесиль, но он предчувствовал, что его любовь к ней сулит им много страданий. Она была намного выше его. И хотя он сильно переменился, живя вблизи нее, хотя он в значительной мере освободился от грубой коросты, все же он чувствовал, что недостойн этой прекрасной феи, которая чудом преобразила его. Одна мысль, что девушка может догадаться о его любви, приводила беднягу в волнение. К тому же здоровье его пошло на поправку, и ему было стыдно, что он целыми часами просиживает в «аптеке» без всякого дела. А Сесиль трудится не покладая рук! Что она о нем подумает, если он так и будет бездельничать? Ничего не поделаешь, пора уезжать!

Однажды утром он вошел к доктору Ривалю, чтобы поблагодарить его и уведомить о своем решении.

— И то верно, — согласился добряк. — Ты уже окреп, чувствуешь себя недурно, начинай работать... С такими бумагами, как у тебя, ты быстро найдешь себе занятие.

Наступило короткое молчание. Джек был очень взволнован, к тому же его смущал необыкновенно внимательный взгляд Риваля.

— Ты больше ничего не хочешь мне сказать?.. — внезапно спросил доктор.

Джек покраснел, смешался.

— Да нет, господин Риваль, — ответил он.

— А!.. Я думал, что если кто влюблен в хорошую девушку, которой старый дед заменяет отца, то у него-то и просят ее руки.

Джек ничего не ответил и только закрыл лицо руками.

— Ты что ж это плачешь, Джек? Дела твои как будто не так уж плохи, коль скоро я сам заговорил с тобой.

— Да разве это возможно, господин Риваль? Ведь я простой рабочий!

— Трудись, и ты выбьешься в люди... Все в твоих руках. Если захочешь, я укажу тебе путь.

— Но это еще не все... это еще не все. Вы не знаете самого страшного. Ведь я... ведь я....

— Все знаю, внаю, что ты незаконнорожденный, — с невозмутимым видом сказал доктор. — Так вот, Сесиль тоже... незаконнорожденная, ее рождение связано с еще более прискорбными обстоятельствами... Сядь поближе, мой милый, и слушай.

### III. БЕДА РИВАЛЕЙ

Они сидели в кабинете доктора. Из окна виден был чудесный осенний пейзаж, проселочные дороги, обсаженные деревьями с уже опавшими листьями, а дальше — старое сельское кладбище, на котором вот уже лет пятнадцать никого не хоронили: росшие там тисы почти заглохли среди высокой травы, кресты покосились, ибо могильная земля трескается, поднимается и опадает больше, чем всякая иная.

— Ты там никогда не был? — спросил Джека доктор Риваль, указывая рукой на старое кладбище. — Ты бы мог увидеть там в кустах ежевики большой белый камень, на котором выбито только одно слово: «МАДЛЕН». Там покоится моя дочь, мать Сесиль. Она сама захотела, чтобы ее похоронили в стороне от того места, где будем погребены мы, и чтобы на могильном камне было начертано только ее имя, — она считала, что недостойна носить фамилию родителей... Дорогая моя девочка! Такая честная, такая гордая!.. Нам так и не удалось уговорить ее изменить свое суровое решение. Сам понимаешь, как горько нам было, потеряв ее такой молодой, двадцати лет от роду, постоянно думать о том, что она будет спать вечным сном вдали от всех! Но последняя воля умерших священна. Выполняя ее, мы как бы помогаем им и после смерти продолжать жить среди нас. Вот почему наша дочка покоится одиноко, как она того пожелала. А ведь она ничем не заслужила посмертного изгнания. Если уж кого надо было наказать, то скорее меня, старого сумасброда: мое всегдашнее необъяснимое легкомыслие и послужило причиной нашей беды.

Однажды, восемнадцать лет тому назад, как раз в ноябре, за мной прибежали: во время большой охоты, какие происходят в Сенарском лесу раза три-четыре в году, произошел несчастный случай. Шла облава на зверя, и в суматохе кто-то всадил в ногу одного из охотников целый заряд из ружья системы Лефоше. Я застал раненого в домике Аршамбо, его

перенесли туда и уложили на их широкую кровать. Это был красивый малый лет тридцати, белокурый, крепкий, с чересчур крупной головой. Из-под его густых бровей смотрели светлые глаза, настоящие глаза северянина, в которых как будто навеки застыла ослепительная белизна льдов. Он мужественно перенес операцию, хотя мне пришлось извлекать дробинку за дробинкой, а потом поблагодарил меня на правильном французском языке, — только по выговору, певучему и мягкому, можно было угадать в нем иностранца. Трогать его с места было рискованно, и потому я продолжал лечить раненого в доме лесника. Я узнал, что он русский и принадлежит к знатному роду. «Граф Надин» — так называли его другие охотники.

Хотя рана была довольно опасна, Надин быстро поправлялся: он был молод и обладал крепким здоровьем; к тому же тетушка Аршамбо заботливо ухаживала за ним. Но передвигаться ему было все еще трудно, и я часто думал, что он, верно, тяготится своим одиночеством, что молодому человеку, привыкшему к роскоши и великосветскому обществу, тоскливо оставаться зимой в лесной глуши, где горизонт закрывает стена ветвей и где он никого не видит, кроме лесника, который всегда молчит да покуривает. Вот почему, возвращаясь после визитов, я нередко заезжал за ним в кабриолете. Он обедал у нас. А в совсем уж ненастную погоду, случалось, и ночевал.

Что греха таить, я просто обожал этого разбойника! До сих пор не понимаю, где он научился всему, что знал, а знал он буквально все! Он плавал на судах, служил, совершил кругосветное путешествие, знал толк и в военном и в морском деле. Жене он сообщал рецепты снадобий, которые в ходу на его родине, дочку учил украинским песням. Он обворожил всех нас, особенно меня, и когда вечерами, под дождем и ветром, я возвращался домой в тряском кабриолете, то с радостью предвкушал, что увижу его у себя в доме, возле камина, и в мыслях я уже не отделял его от дорогих моему сердцу людей, поджидавших меня темными зимними вечерами. Жена, правда, относилась к нему более сдержанно, но так как она от природы была недоверчива и постоянно поддерживала в себе эту черту характера, противопоставляя ее моей глупой наивности, то я не придавал этому никакого значения.

Между тем Надин с каждым днем чувствовал себя крепче, он бы уже вполне мог провести конец зимы в Париже, однако все еще не уезжал. Ему, видно, пришлось по душе наши края, что-то его тут удерживало. Но что именно? Мне и в голову не приходило задать себе этот вопрос.

Только однажды жена мне и говорит:

«Послушай, Риваль! Пусть этот Надин объяснится, или пусть так часто не приходит, а то уж начинают судачить о нем и о нашей Мадлен».

«Мадлен?.. Что за чепуха! При чем она тут?»

Я-то, простак, думал, что граф остается в Этьоле ради меня, ради того, чтобы поиграть со мной вечером в триктрак, потолковать о морских путешествиях за стаканом грога. Какой же я был болван! Достаточно было поглядеть на дочку, когда он входил в комнату, обратить внимание на то, как она меняется в лице, как низко склоняется над вышиваньем и молчит, когда он тут, как ждет его прихода, стоя у окна. Но коли не хочешь чего замечать — вовек не заметишь! А я не хотел ничего видеть, слепец! Но от правды никуда не денешься — Мадлен призналась матери, что они любят друг друга. И тогда я, не медля долее, отправился к графу, твердо решив заставить его объясниться.

Он не стал уклоняться, напротив, объяснился с такой прямоотой и откровенностью, что подкупил меня. Он, мол, любит мою дочь и просит ее руки, но не хочет скрывать, что родные его, одержимые дворянской спесью, будут против этого брака и станут чинить ему препятствия. Но тут же прибавил, что он уже в таком возрасте, когда может обойтись и без их согласия, к тому же собственное его состояние вместе с приданым Мадлен вполне обеспечит

существование будущей четы. Я-то как раз боялся, что он уж очень богат, но когда узнал, что средства у него скромные, остался доволен. К тому же мне понравилась покладистость этого аристократа, легкость, с какой он на все соглашался и все улаживал: казалось, он готов был все подписать не глядя... Короче говоря, мы еще толком ничего не обдумали, а уж он обосновался в нашем доме на правах будущего зятя. Я и сам чувствовал, что уж больно скоро все это получилось, что так не делается, однако дочка была так счастлива, что и у меня голова пошла кругом. И когда жена, бывало, говорила: «Надо навести справки, не можем же мы выдать дочь, не узнав, как следует быть, за кого», — я потешался над нею и над ее вечными страхами. Я-то был уверен в этом человеке. Тем не менее в один прекрасный день я заговорил о нем с господином де Вьевилем, одним из главных устроителей охоты в Сенарском лесу.

«Право, любезный мой Риваль, я не знаком близко с графом де Надин, — ответил он. — Но, по-моему, он славный малый. Знаю только, что у него громкое имя и что он недурно воспитан. Этого вполне достаточно, чтобы вместе охотиться. Но уж если бы я вознамерился выдать за него свою дочку, я бы, конечно, постарался разузнать о нем побольше. На вашем месте я обратился бы в русское посольство. Там, разумеется, располагают всеми нужными сведениями».

Ты, может, думаешь, милый Джек, что я тут же обратился в посольство? Ничуть не бывало! Я был слишком беспечен, слишком тяжел на подъем. Всю жизнь я не успевал сделать то, что хотел. Не знаю, видно, я не умею распределять свое время, без толку трачу его, но только в каком бы возрасте я ни умер, все равно окажется, что я не успел сделать и половины того, что мне надлежало. Жена просто изводила меня, все требовала, чтобы я навел эти злосчастные справки, и в конце концов я ей солгал: «Да, да, я там был... Лучших сведений и желать нельзя... Им цены нет, этим графам Надин». Позднее я не раз вспоминал, какой странный вид бывал у мошенника всякий раз, когда он предполагал, что я еду в Париж либо что я оттуда вернулся, но тогда я ничего не замечал. Я думал только о радужных планах на будущее, которые с утра до вечера обсуждали влюбленные, сиявшие от счастья. Три месяца в году они собирались жить с нами, остальное время проводить в Санкт-Петербурге, где Надину предлагали важный пост в правительственном учреждении. Даже бедная моя жена в конце концов стала понемногу разделять общую радость и упования.

Конец зимы прошел во всякого рода переговорах и непрерывной переписке. Граф все не мог вытребовать свои бумаги, и родители его наотрез отказались дать согласие, а тем временем влюбленные сближались все больше, и отношения между ними зашли так далеко, что я с тревогой спрашивал себя: «А вдруг бумаги не придут?..» Но они все же прибыли — целый пакет с листками, испещренными какими-то непонятными иероглифами: свидетельство о рождении, о крещении, об освобождении от воинской повинности. Помню, нас позабавила страница, заполненная титулами и необыкновенными именами жениха — Иванович, Николаевич, Степанович. Вся эта родословная с каждым поколением удлиняла его фамилию.

«Неужели у вас и вправду столько имен?» — смеясь, спрашивала бедная моя дочка, которую звали коротко и ясно: «Мадлен Риваль».

Ах, прощелыга! Оказывается, у него было множество имен!

Сперва мы хотели сыграть пышную свадьбу в Париже в храме святого Фомы Аквинского, но потом граф Надин рассудил, что не следует уж так открыто пренебрегать волей родителей, и молодых скромно обвенчали в Этьоле, в знакомой тебе маленькой церкви, там в книгах и по сю пору осталась запись, свидетельствующая о чудовищной лжи... Какой это был прекрасный день! Как я был счастлив! Знаешь, Джек, надо самому быть отцом, чтобы все это понять. Представь себе, как я гордился, входя в церковь под руку с дочерью; она вся дрожала от волнения, а я, ликуя, говорил себе: «Моя девочка счастлива, и этим она обязана мне». В

моих ушах до сих пор звучит стук алебарды, которой церковный привратник ударил о каменные плиты пола. После службы — праздничный завтрак дома, и новобрачные отправились в почтовой карете в чудесное свадебное путешествие. Я и сейчас как будто вижу их — они прижались друг к другу в глубине кареты, лица их сияли от счастья и в предвкушении радостей путешествия! Вскоре они скрылись в веселом облаке пыли, под звон бубенцов и щелканье кнута.

В подобных обстоятельствах уезжающие радуются, а оставшиеся грустят. Когда в первый же вечер мы с женою уселись вдвоем за стол, опустевшее место дочки остро дало нам почувствовать одиночество... Да и потом, все случилось так скоро, что мы не успели подготовиться к разлуке. Мы в горестном изумлении глядели друг на друга. Я хоть часто отсутствовал, ездил по больным, а бедная жена вынуждена была все время сидеть дома, и ей было еще тоскливее оттого, что каждый уголок напоминал об уехавшей. Такова участь женщин. Все их горести, все их радости неотделимы от родного очага, ими насыщен здесь самый воздух, пронизаны все вещи, так что достаточно им начать что-либо переставлять и перекладывать в шкафу или взяться за неоконченное рукоделье, как они тут же все вспоминают. Хорошо еще, что письма, которые мы получали из Пизы, из Флоренции, были пропитаны любовью и солнцем. Кроме того, мы были заняты делами наших детей. Я начал строить для них флигелек рядом с домом. Мы выбирали драпировки, мебель, обои. И каждый день говорили о молодых: «Сейчас они тут... Теперь уже там... Дальше от нас... А теперь ближе». И вот уже подошло время, когда мы ожидали последних писем, тех, что уехавшие посылают на обратном пути, надеясь быть дома прежде, чем они дойдут. Как-то вечером я поздно вернулся домой после визитов и обедал в одиночестве у себя в комнате — жена уже легла. Вдруг слышу чьи-то торопливые шаги в саду, на лестнице. Дверь открывается... Дочка! Что такое, почему она так изменилась? Это была уже не та молодая, красивая женщина, которая уехала из дому всего месяц назад, а несчастная девочка, исхудалая, бледная, в жалком платьице, с саквояжем в руке. Вид у нее был удрученный, потерянный. Она была не в себе.

«Это я... Я приехала».

«Боже правый! Что случилось? Где Надин?»

Она молчит, закрывает глаза и начинает дрожать — дрожит, как в лихорадке. Сам понимаешь, каково мне тогда пришлось!

«Ради бога, скажи хоть что-нибудь, дитя мое!.. Где твой муж?»

«У меня его нет... У меня его больше нет... Да и не было никогда».

Она села рядом со мной, вот на том самом месте, где сидишь ты, и, не глядя мне в глаза, начала еле слышно рассказывать свою ужасную историю...

Он не был графом. И звали его не Надин. То был белорусский еврей по фамилии Реш, презренный авантюрист и бродяга, один из тех людей, которые за все хватаются и ни на чем не могут остановиться. У него была жена в Риге, другая жена — в Санкт-Петербурге. Все его бумаги были подложными, он сам их состряпал. Средства к существованию он добывал, ловко фабрикуя фальшивые кредитные билеты русского банка. Его арестовали в Турине как иностранного преступника. Ты только представь себе дорогую нашу девочку, которая осталась совсем одна в чужом городе: сперва ее насильно разлучили с мужем, а затем она узнала, что он двоеженец и фальшивомонетчик! Этот мерзавец сознался во всех своих преступлениях. Ею владела одна мысль — как-нибудь добраться до родного дома, очутиться среди своих. Позднее она рассказывала нам, до какой степени потеряла голову: когда на вокзале кассир спросил, куда ей ехать, она ничего толком не могла ответить и все твердила: «Туда, к маме...» Бедняжка убежала, бросив в гостинице свои платья, драгоценности, все,

что этот подлец ей подарил, ехала, нигде не останавливаясь. И вот она наконец почувствовала себя в безопасности, в родном гнезде и впервые после ужасного несчастья дала волю слезам. Я успокаивал ее:

«Тише!.. Успокойся!.. Разбудишь маму».

А сам плакал пуще нее.

Наутро узнала все и жена. Она и словечка мне в укор не сказала, только вымолвила: «Я не сомневалась, что это замужество счастья не принесет». С того самого дня, как этот человек появился в нашем доме, ее не оставляли дурные предчувствия. А еще говорят, будто мы, доктора, умеем по отдельным признакам определить болезнь, угадать ее ход! Чего стоит наша наука со всем ее предвидением по сравнению с вещим сердцем матери, которой судьба нашептывает на ухо предостережения и признания? Местные жители скоро проведали о возвращении дочери.

«Ну как, господин Риваль, наши путешественники уже дома?»

Меня расспрашивали, интересовались подробностями, но по моему виду было заметно, что я не очень счастлив. Обратили внимание, что графа не видать, что Мадлен и моя жена никогда не выходят из дому, и вскоре я заметил, что мне сочувствуют, что меня жалеют, и это было горше всего.

Однако я еще не знал подлинных размеров несчастья. Дочь не открыла мне своей тайны: от этого мнимого, незаконного, позорного брака у нее должен был быть ребенок... Как грустно стало в нашем доме!.. Бывало, мы сидим с женой, молчаливые, подавленные, а Мадлен шьет приданое для будущего ребенка, украшает лентами и кружевом все эти чепчики да платица, которые составляют радость и гордость матерей. Но она не могла смотреть на них без чувства стыда, — во всяком случае, так мне казалось. Всякое упоминание о негодяе, обманувшем ее, заставляло ее бледнеть и трепетать: мысль, что она принадлежала такому человеку, терзала ее, как неизгладимый позор. Но жена, которая в этих делах понимала больше меня, говорила: «Ты ошибаешься... я уверена, что она все еще его любит». Да, она любила его, и хотя она вместе с тем глубоко презирала его, даже ненавидела, но любовь, жившая в ее душе, была сильнее. Верно, ее и убило-то горькое сознание, что она любит недостойного человека, потому что она ведь вскоре умерла — через несколько дней после того, как подарила нам малютку Сесиль. Можно было подумать, что только это и давало ей силы жить. Мы нашли у нее под подушкой сложенное в несколько раз и протертое на сгибах письмо — единственное, которое На дин написал ей еще до свадьбы; строчки расплылись — должно быть, от слез. Она, надо полагать, много раз его перечитывала, но была слитком горда, чтобы в этом сознаться, так и умерла, не произнеся ни разу его имени, а оно, готов поклясться, все время было у нее на устах.

Ты, разумеется, удивлен, мой мальчик, что в маленьком тихом домике, в деревне, разыгралась такая мрачная и запутанная драма, которая, казалось бы, могла возникнуть только в хаосе больших городов, таких, как Лондон или Париж? Когда судьба вот так, наугад, поражает мирное жилище, укрытое за плетнем или приютившееся под сенью ольховой рощи, я неизменно думаю о шальных пулях, которые поражают во время битвы крестьянина на краю поля или ребенка, который возвращается из школы. И тут и там — то же слепое варварство.

Не будь у нас на руках маленькой Сесиль, жена, наверное, не пережила бы смерти дочери. Вся ее жизнь с того дня превратилась в безмолвную муку, она была полна запоздалых сожалений и упреков. Впрочем, ты и сам это видел... Но, так или иначе, надо было растить девочку, растить в этом самом доме и так, чтобы она не проведала печальную тайну своего рождения. Нелегкое бремя мы на себя взвалили! Правда, судьба навсегда избавила нас от ее

отца — он умер через несколько месяцев после приговора. На беду, несколько человек в наших краях были осведомлены обо всем. Необходимо было уберечь Сесиль от нескромной болтовни, а главное, от той простодушной жестокости, которая свойственна детям, — с ясным взором и улыбкой на устах эти безгрешные существа передают все, что слышат. Ты, верно, знаешь, как одиноко росла девочка до знакомства с тобой. Только благодаря принятым нами мерам она до сих пор не знает, какие бури бушевали над ее колыбелью. Одно только мы ей сказали — что она сирота, а чтобы объяснить, почему ее фамилия Риваль, выдумали, будто ее мать была замужем за дальним родственником.

Не правда ли, этот молчаливый уговор сохранять все в тайне, возникший в небольшом селении, где так любят поболтать и посплетничать, — лишнее свидетельство, что на свете немало славных и порядочных людей? Никто из тех, что знали о нашей беде, ни разу не позволил себе в присутствии Сесиль ни единого намека или нескромного словечка, которые могли бы внушить ей подозрения, какая драма связана с ее появлением на свет. И все-таки несчастная бабушка все время чего-то опасалась. Больше всего она боялась вопросов самой девочки. Я тоже этого боялся не меньше, чем она, но были у меня и другие, более жестокие и грозные основания для тревоги. Загадочные законы наследственности способны хоть кого привести в ужас! Кто знает, не унаследовала ли моя внучка какой-нибудь врожденный порок, какую-нибудь дурную склонность? За неимением иного достоинства такие негодные люди нередко одевают детей своими недостатками. Да, тебе, — Джек, человеку, который хорошо знает эту прелестную, благородную и чистую девушку, я могу откровенно сказать, что вечно боялся, как бы в дивных чертах Сесиль не проступила отцовская натура, как бы в ее простодушном и нежном голоске не прозвучали грубые отцовские нотки, — ведь это было бы просто ужасно, если бы его пороки были еще усилены женским кокетством! Зато с какой отрадой, с какой гордостью я наблюдал, как в девочке все отчетливее проглядывает чудесный, тонкий облик ее матери, — Сесиль с каждым годом все больше становилась похожа на портрет матери, который художник рисовал бы по памяти, наделяя его еще большим очарованием, навеянным горечью утраты! Я узнавал у своей внучки ту же добрую, светлую улыбку, те же кроткие, но гордые, пожалуй, еще более гордые глаза, чем у Мадлен, и тот же ласковый и вместе суровый рот, который сумеет, если понадобится, решительно произнести «нет», а ко всему этому прибавились достоинства бабушки — мужественная прямота и твердая воля.

Однако будущее Сесиль меня страшило. Ведь рано или поздно внучка все равно узнает о своем, о нашем общем горе! Наступает такое время, когда приходится обращаться к метрическим записям, хранящимся в мэрии, а в этьольских книгах возле ее имени имеется грустная приписка: «Отец неизвестен». Ничто нас так не пугало, как возможное замужество Сесиль. Что будет, если она влюбится в человека, а тот, узнав правду, не пожелает связать себя узами брака с незаконнорожденной, с дочерью фальшивомонетчика?

«Кроме нас, она никого любить не будет. Она никогда не выйдет замуж...»- говорила бабушка.

Но разве это возможно? А — когда нас не станет? Как это печально и как это опасно, когда такая красивая девушка остается на свете совсем одна, без всякой защиты! Но какой придумать выход? Девушке со столь необычной судьбой следовало подыскать спутника жизни со схожей судьбой. А где его найти? Уж во всяком случае не в деревне, где все живут открыто, не таясь, где нет никаких секретов, где каждый все знает про другого, тут всякий поступок на виду и обсуждается вслух... В Париже мы никого не знали, да и потом Париж — это пучина... А тем временем в наших краях обосновалась твоя матушка. Все считали, что она замужем за этим д'Аржантоном. Однако, когда я стал там бывать, тетушка Аршамбо под величайшим секретом рассказала мне о том, что их брак — незаконный... Это явилось для меня откровением. Увидев тебя, я решил: «Вот будущий муж для Сесиль». С этой минуты я смотрел на тебя как на внука, начал тебя воспитывать, учить...



Когда я наблюдал, как после урока вы весело и дружно играете в уголке «аптеки» — ты уже тогда был более сильным и рослым, чем Сесиль, зато она была более рассудительна, — меня охватывало волнение, и я с сочувственной нежностью следил за тем, как крепнет ваша дружба, как вы тянетесь друг к другу. И чем глубже ты постигал трогательную, невинную душу Сесиль, чем быстрее развивался твой ум, чем прилежнее ты учился, постепенно приобщаясь к величию и красоте мира, тем больше я гордился и радовался. Я уже заранее представлял себе, как все произойдет. Вот вам уже около двадцати лет, вы приходите ко мне и говорите:

«Дедушка! Мы любим друг друга».

А я отвечаю:

«Еще бы вам не любить друг друга! Берегите же свою любовь, бедные вы мои... Такие отверженные, как вы, должны быть друг для друга опорой».

Вот почему, как ты помнишь, я и пришел в такое бешенство, когда этот человек решил сделать из тебя рабочего. Мне казалось, будто у меня отнимают родное дитя, будущего мужа моей внучки. Весь мой план рушился, как рушилось и твое благополучие. Я проклинал этих глупцов с их якобы человеколюбивыми намерениями. И все же я не терял надежды. Я говорил себе: «Суровые испытания в начале жизни часто закаляют волю человека. Если Джек победит свою тоску, если он будет много читать, если, работая руками, не даст закоснеть своему разуму, он по-прежнему будет достоин жены, которую я ему предназначаю». Письма, приходившие от тебя — ласковые, благородные, — укрепляли во мне надежду. Мы читали их вместе с Сесиль и каждый день о тебе говорили.

И вдруг — известие об этой краже! Ах, мой друг, я пришел в ужас! Я снова проклинал безволие твоей матери и жестокость этого изверга д'Аржантона — ведь это они толкнули тебя на дурной путь, они тебя погубили! И в то же время я не мог оскорбить привязанность и нежность к тебе, которые жили в душе Сесиль. У меня не доставало мужества нанести ей такой удар. И я предпочел дожидаться, пока она подрастет, пока созреет ее ум и ей легче будет пережить первое глубокое разочарование... Впрочем, в моей памяти жил еще печальный пример ее матери, и я понимал, что бывают такие натуры, в которых однажды возникшее чувство зреет, как семя в почве, оно укореняется и укрепляется тем сильнее, чем упорнее пытаются его вырвать. Я чувствовал, что ты занял прочное место в ее сердечке, и уповал только на время, которое приносит забвение. Ах нет! Она не забыла тебя. Я уверился в этом в тот день, когда, встретив тебя у лесника, сказал потом Сесиль, что завтра ты к нам придешь. Если бы ты только видел, как засверкали у нее глаза, как усердно она трудилась весь день! У Сесиль это самый верный признак: сильное волнение всегда заставляет ее с особенным жаром браться за работу, словно сильно бьющееся сердце немного успокаивается лишь тогда, когда она шьет или пишет.

А теперь, Джек, слушай меня хорошенько! Ты ведь любишь мою девочку, правда? Так борись же за нее, завойей ее! Добейся лучшего места в жизни, чем то, на которое тебя обрекло ослепление матери. Я пристально наблюдал за тобою эти два месяца. Ты здоров и нравственно и физически. Вот что, на мой взгляд, тебе надо бы предпринять: учись, стань врачом, и ты сменишь меня здесь, в Этьоле. Сначала я было предполагал оставить тебя в своем доме, но потом прикинул, что тебе придется не меньше четырех лет усердно трудиться, чтобы стать лекарским помощником, — этого достаточно, чтобы практиковать в деревне. Но если все это время ты будешь находиться тут, боюсь, что это вызовет у местных жителей воспоминания о горестной романической истории, которую я тебе только что поведал. И потом, всякому порядочному человеку мучительно сознание, что он не зарабатывает себе на жизнь. А в Париже ты так сможешь наладить свою жизнь, что днем станешь работать, а вечером учиться — учиться и дома, за книгой, и в клинике, и посещая лекции, которые превращают нашу столицу в город учащихся и учащих. По воскресеньям — милости просим к нам. Я стану проверять, что ты успел за неделю, буду руководить твоими

занятиями, а в тебя свидание с Сесиль вольет свежие силы... Я не сомневаюсь, что ты скоро окажешь успехи... Того, к чему ты будешь стремиться, Вельпо[37] и другие уже добились. Ну как, хочешь попробовать? В конце этого нелегкого пути тебя будет ждать Сесиль.

Джек был так взволнован и взбудоражен, то, что он услышал, было так трогательно и так необычайно, будущее, открывавшееся перед ним, казалось таким чудесным, что он не мог вымолвить ни слова и, ничего не ответив, кинулся на шею великодушному доктору.

Но одно сомнение, одно опасение еще мучило его. А что, если Сесиль привязана к нему только как сестра? И потом четыре года — срок немалый. Согласится ли она так долго ждать его?

— Ну, знаешь, мой милый, — весело отмахнулся от него Риваль, — это уж ваши личные дела, тут уж я ничего не могу сказать... Советую тебе самому об этом спросить. Сесиль наверху. Я слышал, как она поднялась к себе. Поди и поговори с нею.

Поговорить с нею! Не так-то это просто. Попробуйте что-нибудь сказать, когда сердце, кажется, вот-вот разорвется, а от волнения перехватывает горло.

Сесиль сидела в «аптеке» и что-то писала. Никогда еще не казалась она Джеку такой прекрасной и такой неприступной, даже в тот день, когда он впервые увидел ее после семилетней разлуки. Но он и сам немало изменился с той поры! Красота вернулась к нему, облагородила его черты, в движениях уже не чувствовалось прежней робости и скованности. Однако в ее присутствии его охватила прежняя нерешительность.

— Сесиль! Я уезжаю, — вымолвил он.

При этой неожиданной новости она побледнела и встала со своего места.

— Я опять возьмусь за свой тяжкий труд. Но отныне у меня есть цель. Ваш дедушка разрешил мне открыть вам, что я люблю вас и что я стану трудиться, чтобы заслужить право просить вашей руки.

Он так волновался и говорил так тихо, что никто, кроме Сесиль, не сумел бы расслышать его. Но она-то, она поняла все! Заходило солнце, и в его последних лучах, освещавших все уголки большой комнаты, казалось, ожило их прошлое. Девушка слушала признание в любви, и ей казалось, будто это — эхо, в котором отозвались ее затаенные думы и мечты за все десять лет... Удивительная девушка была Сесиль! Она не зарделась, не закрыла лицо руками, как поступают в подобных случаях барышни из благородных семейств, — нет, она по — прежнему стояла, не шевелясь, и ласково улыбалась Джеку, а в глазах у нее были слезы. Она знала, что их любовь должна пройти через трудный искус, что впереди долгое ожидание, страдания разлуки, но она крепилась изо всех сил, чтобы вдохнуть мужество в Джека. Когда он подробно рассказал ей о своих планах, она протянула ему свою маленькую дружескую руку и проговорила:

— Джек! Я буду ждать вас четыре года, я дождусь вас, мой друг.

#### IV. КОМПАНЬОН

— Скажи-ка, Меченый, ты не знаком с каким-нибудь мастером по обработке железа?.. Вот малый, он плавал на пароходах, а теперь хотел бы подрядиться на завод.

Тот, кого называли «Меченым», здоровый детина в матросской блузе и фуражке, все лицо

которого пересекал длинный шрам — свидетельство давнишнего несчастного случая, подошел к стойке винного погребка, расположенного в предместье Парижа, где нередко разыгрываются такие сцены между постоянными посетителями и людьми, ищущими работу, смерил с головы до пят человека, о котором шла речь, пощупал у него мускулы на руках и с понимающим видом объявил:

— Жидковат малость, но уж коли он работал в кочегарке...

— Три года, — сказал Джек.

— Ну что ж! Стало быть, ты на самом деле сильнее, чем кажешься... Сходи-ка ты на улицу Оберкампа, увидишь там громадный дом — это завод Эссендеков. Там нужны поденные рабочие к винтовому и к дыропробивному прессу. Скажешь мастеру, что тебя прислал Меченый... А теперь неплохо бы тебе выставить бутылочку!

Джек заплатил за бутылку вина и направился по указанному адресу. А всего через час, нанявшись к Эссендекам, где ему обещали платить по шести франков в день, он, гордо подняв голову, с сияющим видом шел по улице Фобур-дю-Тампль, подыскивая себе жилье поближе к заводу. Наступал вечер, на улице царило оживление, так как был понедельник, день, когда на окраине многие еще продолжают гулять. И по этой длинной, гористой улице катился непрерывный поток людей: одни двигались к центру города, другие — к бывшей заставе. Кабачки были битком набиты, народ толпился даже на тротуарах, возле распахнутых дверей. Под сводами широких ворот виднелись ломовые дроги и телеги, из которых уже выпрягли лошадей; глядевшие в небо оглобли возвещали о конце трудового дня. Особенный шум и суета царили по ту сторону канала, люди кишмя кишели на каменной горбатой мостовой, словно заранее расшатанной в предвидении баррикад небольшими ручными тележками, которые неустанно бороздят ее, — они ловко скользят вдоль сточных канав, нагруженные всевозможной снедью, дешевыми овощами, аппетитно зажаренной рыбой. Тут настоящий рынок на колесах, где работницы — несчастные женщины, которых ежедневная работа по найму отрывает от дома, — закупают провизию буквально за несколько минут до ужина. Вокруг раздаются возгласы рыночных торговцев, какие услышишь только в Париже: одни — задорные, звонкие, пронзительные, другие — протяжные и до того монотонные и заунывные, что, кажется, будто они тянут за собой весь груз расхваливаемого ими провианта:

— Вот голуби, молодые голуби!..

— Кому камбалу, жареную камбалу!

— Берите кресс-салат, по шесть лиаров пучок!..

Не обращая внимания на всю эту суматоху, Джек шел своей дорогой. То и дело поднимая глаза, он при свете угасавшего дня выискивал желтые объявления о сдаче меблированных комнат. Он был счастлив, чувствовал необычайный прилив бодрости и веру в будущее, ему не терпелось поскорее начать новую жизнь, жизнь рабочего и студента. Его задевали, толкали, но он этого не замечал. Он не ощущал холода декабрьского вечера, не слышал, как молоденькие простоволосые работницы говорили друг дружке, проходя мимо него: «Пригожий парень!» И вместе с тем ему казалось, что все это обширное предместье радуется вместе с ним, укрепляет в нем уверенность в завтрашнем дне и подбадривает тем неизменно ровным, веселым настроением, которое составляет отличительную черту нрава парижан, нрава беззаботного и покладистого. В это время протрубили вечернюю зорю, и на мостовой среди толпы возник уже смутно различимый отряд людей: четко печатая шаг, солдаты маршировали под призывные звуки горна, а уличные мальчишки подсвистывали ему. Лица прохожих, заслышавших эту задорную мелодию, словно разгонявшую усталость, просияли.

«Как хорошо жить! С каким удовольствием я примусь за работу!» — говорил себе Джек, бодро

шагая вперед. Неожиданно он чуть было не споткнулся о большую квадратную, походившую на шарманку корзину, набитую войлочными шляпами и фуражками. При виде знакомой клады перед его глазами сразу возникла физиономия Белизера. И дело было не только в самой корзине, но в том, что она стояла у дверей лавчонки, откуда доносился запах вара и кожи, а в узком ее окне красовались в несколько рядов крепкие подметки, украшенные блестящими шляпками гвоздей.

Джек тут же припомнил постоянные муки своего приятеля, бродячего торговца, его неосуществимую мечту о башмаках, сшитых по мерке. Заглянув в лавку, он и в самом деле различил неуклюжую и нелепую фигуру торговца шляпами — тот был все так же уродлив, но куда более опрятен и лучше одет. Джек очень обрадовался этой встрече. Сперва он постучал в оконце, но безрезультатно. Тогда он вошел в лавку, но Белизер его не заметил, — он весь ушел в созерцание башмаков, которые ему показывал лавочник. Но он покупал их не для себя, а для малыша лет четырех-пяти, бледного, с одутловатым лицом и громадной головой, которая раскачивалась на худенькой шее. Пока сапожник примерял мальчику ботинки, Белизер с нежностью улыбался ребенку и говорил:

— Ну, как, дружок, удобно, не жмет?.. У кого теперь ножки будут в тепле?.. У моего дружочка Вебера.

Появление Джека, как видно, нисколько его не удивило.

— А, это вы! — сказал он до того невозмутимо, как будто они виделись накануне.

— Здравствуйте, Белизер! Что вы тут делаете? А это что, ваш малыш?

— Нет это сынишка госпожи Вебер, — сказал бродячий торговец со вздохом, который, судя по всему, означал: «Я бы не возражал, чтобы он был мой».

Потом, повернувшись к сапожнику, он спросил:

— Они у вас свободные?.. Он сможет шевелить пальцами?.. Ох, это такая мука, когда обувь жмет!

Бедняга с таким отчаянием уставился на свои ноги, что сразу стало ясно: если ему уже было по карману заказать башмачки для сынишки г-жи Вебер, то позволить такую роскошь для себя он еще был не в состоянии.

Наконец, по крайней мере раз двадцать спросив ребенка, удобно ли ему, заставив его пройтись и потопать ножками по полу, Белизер со вздохом извлек из кармана длинный вязаный кошель красного цвета, который раздвигался на кольцах, достал оттуда несколько серебряных монеток и вложил их в руку сапожнику с тем раздумчивым и сосредоточенным видом, какой обычно принимают люди из народа, когда им приходится платить деньги.

Выйдя из лавки, он спросил Джека:

— Вам куда, приятель?.. — Тон у него был достаточно выразителен; он словно хотел сказать: «Если вы пойдете в эту сторону, я пойду в противоположную».

Джек уловил эту холодность, но не мог ее себе объяснить и простодушно ответил:

— Сказать по правде, я и сам не знаю... Я нанялся на поденную работу к Эссендекам и теперь ищу жилье поближе к заводу.

— К Эссендекам?.. — удивился бродячий торговец, хорошо знавший все заводы в

предместье. — Туда не так — то просто попасть. Надо иметь незамазанную рабочую книжку.

И он многозначительно подмигнул, а Джеку слова «незамазанная рабочая книжка» все объяснили. С Белизе ром было то же, что и с доктором Ривалем. Торговец тоже был уверен, что Джек похитил тогда шесть тысяч франков. Верно говорят, что, если человека опорочат, а потом оправдают, все равно на нем остается пятно. Но когда Белизер узнал обо всем, что произошло в Эндре, когда он увидел собственноручное свидетельство директора, выражение лица у него сразу изменилось, и славная, добродушная улыбка, как в былые времена, осветила его землистую физиономию.

— Послушайте, Джек, уже вечер, поздно искать ночлежку. Пойдемте ко мне, я теперь сам себе хозяин, жилье у меня просторное, вы у меня и заночуете... Идемте, идемте!.. Я даже сделаю вам одно заманчивое предложение... Но об этом потолкуем за обедом... Ну, пошли!

И вот все трое — Джек, бродячий торговец и сынок г-жи Вебер, новые башмачки которого поскрипывали на тротуаре, — направились в предместье со стороны Менильмонтана: там, на улице Пануайо, и жил Белизер.

Дорогой он рассказал Джеку, что, когда его сестра из Нанта овдовела, он возвратился в Париж, прихватив и ее с собою, что теперь он больше не расхаживает по провинциальным дорогам и что дела у него, в общем, идут недурно... Время от времени он прерывал свое повествование и выкрикивал: «Шляпы, шляпы, шляпы!», — он чувствовал себя в этих местах, как дома, рабочие фабрик и заводов хорошо знали его. Под конец ему пришлось взять на руки жалобно вздыхавшего малыша.

— Бедняжка! Не привык ходить! — пояснил Белизер. — Он ведь из дому не выходит. Для того, чтобы иногда брать его с собой, я и заказал ему по мерке эти славные башмачки... Матери по целым дням дома не бывает. Она разносит хлеб по квартирам. Нелегкое занятие, сами понимаете. Но она женщина стойкая... Уходит из дому в пять утра, разносит хлеб до полудня, забежит на минутку к себе, перекусит и опять уходит до вечера в булочную. А ребенок все время сидит дома один. За ним соседка приглядывает, а когда ей недосуг, его сажают на стульчик, привязывают, чтобы он до спичек не дотянулся, и пододвигают к столу... Ну вот мы и дома.

Они вошли в подъезд одного из тех огромных домов, где живут рабочие. Он был весь изрезан узкими оконцами и пересечен длинными коридорами, где бедный люд устанавливает железные печки и прибавляет вешалки, чтобы хоть немного освободить свои тесные комнаты. В этот коридор выходят все комнаты, и в открытые двери видны были полные дыма помещения, где плакали и кричали дети. Сейчас люди обедали. И Джек, проходя мимо, видел, как все сидят за столом, освещенным свечью, слышал, как дребезжит дешевая посуда.

— Приятного аппетита, друзья! — то и дело повторял продавец шляп.

— Добрый вечер, Белизер! — весело и дружески отвечали ему, не переставая жевать.

Проходили они и мимо других, более мрачных углов. Здесь очаг не теплился, свеча не горела. Женщина и целая куча детишек с тоской поджидали отца, надеясь, что хоть сегодня, в понедельник вечером, он что-нибудь принесет им из субботней получки.

Комната бродячего торговца помещалась на седьмом этаже, в конце коридора, и, пока они туда добирались, Джек успел рассмотреть множество убогих каморок, где ютились рабочие, — они тесно жались одна к другой точно сотовые ячейки в улье, самую верхнюю занимал Белизер. И все же бедняга, видно, очень гордился своим жилищем.

— Сейчас вы увидите, Джек, как хорошо я устроился, сколько у меня места... Только

погодите. Прежде чем идти к себе, я должен отвести малыша госпожи Вебер.

Как человек, запросто бывающий в доме, он достал из-под соломенной подстилки, лежавшей у порога соседней комнаты, ключ, отпер дверь и, направившись прямо к печке, где уже с полудня на медленном огне варился суп к ужину, зажег свечу, потом, усадив ребенка и привязав его к высокому стульчику возле стола, сунул ему в руки две крышки от кастрюль, чтобы тот не скучал.

— А теперь пойдите отсюда, — сказал он Джеку. — Госпожа Вебер скоро придет. Любопытно было бы поглядеть на ее лицо, когда она увидит, что ее сынок в новых башмачках... То-то она удивится!.. Ей вовек не догадаться, откуда они взялись, нипочем не догадается. В доме много жильцов, и все жильцы ее так любят!.. Да, забавно.

И он уже заранее ухмылялся, отпирая дверь своей комнаты, этого длинного чердачного помещения, перегороденного пополам. Сквозь стеклянную дверь видна была спальня. Наваленные всюду фуражки и шляпы говорили о занятии жильца, а голые стены свидетельствовали о его бедности.

— Кстати, Белизер, — вспомнил вдруг Джек, — вы, что же, больше не живете со своими родными?.

— Нет, — ответил торговец, слегка смутившись, и поскреб в затылке — к этому жесту он неизменно прибегал в подобных обстоятельствах. — Знаете, в больших семьях не всегда легко столкнуться... Госпожа Вебер нашла, что так неправильно получается — я работаю больше всех, а мне ничего не достается. Вот она и посоветовала мне поселиться отдельно... И верно, с этих пор денег у меня стало в два раза больше, я и родных поддерживаю и кое-что откладываю на черный день. А все госпожа Вебер придумала! Она женщина башковитая, ей-богу!

Разговаривая с Джеком, Белизер заправлял лампу, раскладывал товар, накрывал на стол; он подал замечательный картофельный салат и копченую селедку: это кушанье стояло уже три дня, пропиталось маринадом и стало очень вкусным. Из простого деревянного шкафчика он достал две расписные тарелки и два прибора — один оловянный, другой деревянный, хлеб, вино, пучок редиски, и все это разложил на колченогом буфетике, а вернее, кухонном столике, который так же, как и шкаф, смастерил столяр из предместья. Это не мешало Белизеру гордиться своей обстановкой не меньше, чем комнатой, и он говорил «мой буфет», «мой шкаф» с таким видом, как будто это была дорогая мебель.

— Ну теперь можно и садиться, — объявил Белизер с сияющим лицом, показывая на «сервированный стол», а стол был и впрямь отменно сервирован: газета заменяла скатерть, так что тарелка Джека как раз пришлась на рубрику происшествий, а перечень политических новостей выглядывал между хлебом и редиской. — Чего там говорить, мой скромный обед не идет ни в какое сравнение с той знатной ветчиной, которой вы меня угощали тогда в деревне... Господи боже мой, что за ветчина!.. В жизни такой не едал!

Тем не менее салат из картофеля тоже был очень хорош, и Джек оценил его по достоинству. Белизер, радуясь аппетиту своего гостя, не отставал от него, но не забывал при этом обязанностей хозяина — каждую минуту вскакивал, смотрел, не вскипела ли вода, булькавшая на очаге, молот кофе, пристроив мельницу между своих острых колен.

— Да у вас тут целое хозяйство, Белизер, — сказал Джек. — Я вижу, вы уже обзавелись всем необходимым.

— Тут не все принадлежит мне... Много мне одалживает госпожа Вебер, пока мы еще...

— Пока еще что, Белизер?

— Пока мы еще не поженились, — собравшись с духом, проговорил торговец, но на щеках у него появились при этом два красных пятна. Потом, убедившись, что Джек и не думает смеяться над ним, он продолжал: — Мы уже давно решили пожениться. Должен сказать, для меня это — большое и неожиданное счастье, что госпожа Вебер надумала вторично выйти замуж. Она так намыкалась с первым мужем, этот мерзавец пьянствовал, а налилавшись, колотил ее... Ну разве не грешно поднимать руку на такую прекрасную женщину!.. Она скоро придет, вы сами увидите... Она такая терпеливая, такая хорошая!.. Уж можете мне поверить, я-то бить ее не стану, а коли ей самой захочется меня ударить, пусть себе, на здоровье.

— Когда же вы собираетесь обвенчаться? — осведомился Джек.

— В том-то и заковыка! Я хоть сегодня готов. Да вот госпожа Вебер — она ведь у меня такая разумная, — она считает, что при нынешних ценах нам не по средствам самим содержать дом, и хочет подыскать компаньона.

— Компаньона?

— Ну да!.. У нас в предместье бедняки часто так делают. Подыскивают себе компаньона, холостяка или вдовца, и он берет на себя часть расходов. Ему отводят угол, кормят, обстирывают! а расходы — поровну. Понимаете, как это выгодно для всех? Где двое едят, там и третий прокормится... Самое трудное — найти хорошего человека, надежного, работающего, который не был бы обузой.

— А что вы скажете обо мне, Белизер? Я достаточно надежный человек? Подойду я вам?

— Вы и вправду согласны, Джек? Я ведь битый час об этом думаю, да все не решаюсь вам предложить.

— Почему же?

— Понимаете, какое дело... Ведь у нас все так убого... Мы ведь будем жить очень скромно... Боюсь, что наши харчи покажутся вам незавидными, ведь вы рабочий-механик и станете выколачивать шесть, а то и семь франков в день.

— Нет, нет, Белизер. Мне такой стол как раз подойдет. Я тоже должен беречь деньги, вести себя благоразумно, ведь и я подумываю о женитьбе.

— Ах, вот как?.. Ну, тогда вам это не подойдет... — с сокрушенным видом пробормотал торговец шляпами.

Джек рассмеялся и пояснил, что его женитьба произойдет не раньше чем через четыре года, да и то при условии, если он до тех пор будет много и успешно работать.

— Тогда, значит, решено! Вы будете нашим компаньоном — надежным, настоящим... Какая удача, что мы встретились!.. Как подумаю, что, не приди мне мысль купить малышу башмачки... Тсс!.. Внимание!.. Госпожа Вебер вернулась. То-то мы посмеемся!

Послышались торопливые, грузные, почти мужские шаги, — лестница заходила ходуном, перила затрещали. Ребенок, без сомнения, тоже услышал их — он замычал, как теленок, и принялся изо всех сил колотить по столу крышками от кастрюль.

— Иду, иду, дружочек!.. Не плачь, миленький! — только войдя в коридор, закричала разносчица хлеба, — она спешила успокоить сынишку.

— Молчите!.. — шепотом сказал Белизер.

Слышно было, как открылась дверь, а потом раздались восклицания и взрывы звонкого

молодого смеха. Физиономия Белизера вся сморщилась от величайшего удовольствия.

Перегородки в доме были тонкие, и взрывы этой шумной веселости слышны были, должно быть, на всем этаже. Наконец они докатились до самых дверей Белизера, и на пороге мансарды возникла высокая, плотная женщина лет тридцати — тридцати пяти. Длинный синий фартук с нагрудником, в котором ходят разносчицы хлеба, чтобы не перепачкаться мукой, облегал дородную, но статную фигуру г-жи Вебер.

— Ах, шутник вы этакий! — воскликнула она, входя с малышом на руках. — Это, конечно, ваших рук дело... Полюбуйтесь, как хорошо моему сыночку в этих башмачках!

И она смеялась, смеялась, но в глазах у нее видны были слезинки.

— До чего ж хитра!.. — повторял Белизер, корчась от смеха. — И как только она догадалась, что это я?

Когда веселье немного улеглось, г-жа Вебер под села к столу и налила себе кофе в какую-то посудину, смахивавшую на банку из-под горчицы. Затем ей представили Джека как будущего компаньона. Надо сказать, что сперва она отнеслась к этому известию настороженно. Однако, приглядевшись к претенденту на столь высокий пост, услышав, что Джек и Белизер знакомы уже десять лет и что перед ней герой пресловутой истории с ветчиной, которую она слышала неоднократно, она перестала глядеть на Джека с недоверием и протянула ему руку.

— Ладно! Вижу, что на сей раз Белизер не ошибся... Вы давно его знаете, стало быть, для вас не секрет, какой это простак. Он уже приводил сюда с полдюжины компаньонов, нх бы всех удавить стоило, да только веревки жалко! Это про таких, как он, говорят: «Простота — хуже воровства!» Рассказать бы вам, как над ним в родной семье измывались! На нем там все ездили, как на вьючном животном! Он их всех кормил, а в благодарность они его только унижали.

— Да будет вам, госпожа Вебер!.. — останавливал ее добряк Белизер, не любивший, когда плохо говорили о его родных.

— Ну что, «госпожа Вебер»? Должна же я объяснить нашему будущему компаньону, почему я вас разлучила с вашей распрекрасной родней. Я вовсе не хочу, чтобы он подумал, будто я действовала корысти ради, как многие женщины. А ну, признавайтесь: разве вам теперь не легче, когда вы отделились от них и хоть немного зарабатываете на себя?

Обратившись к Джеку, она продолжала:

— Но только напрасно я стараюсь! Они все равно из него соки тянут. Подсылают к нему малышей, а у них там целый выводок курчавых детишек, у которых с детства такие же загибающие пальцы, как у старого скряги, папаши Белизера. Они приходят сюда в мое отсутствие и уж что-нибудь да с собой унесут! Я говорю вам все это, Джек, для того, чтобы вы помогли мне защищать от других да и от самого себя этого изверга с чересчур добрым сердцем.

— Можете на меня рассчитывать, госпожа Вебер!

Потом стали прикидывать, как лучше устроить нового жильца, Было решено, что до свадьбы Белизера Джек будет жить вместе с ним и спать в первой комнате, на походной кровати. Стол будет общий, Джек будет платить за жилье и еду каждую субботу. После свадьбы они постараются подыскать квартиру побольше и поближе к заводу Эссендеков.

Пока обсуждали эти важные вопросы, сынишка г-жи Вебер задремал, и она стала готовить постель для нового жильца, убирать со стола, мыть посуду. Белизер принялся шить шляпы, а



Джек, не теряя ни минуты, разложил книги доктора Риваля на кухонном столике из неструганого дерева — ему не терпелось освоиться в жилище тружеников и по примеру этих славных людей взяться за дело.

Как бы он удивился, если бы всего несколько дней назад, в Этьоле, ему сказали, что он с радостью вернется к труду рабочего, не чувствуя при этом унижения, не страшась усталости, что он по доброй воле возвратится в этот ад! А ведь случилось именно так. Да, спору нет, ему предстояло во второй раз пройти по кругам ада, но в конце пути его терпеливо ждала Эвридика[38] в брачном уборе. Он это знал, он знал теперь, для чего ему нужно работать не покладая рук, не жалея сил, и это облегчало его тернистый путь.

Цех завода на улице Оберкампа напомнил Джеку Эндре, но только тут все было гораздо меньших размеров. Здесь, за неимением места, станки и машины установили в три яруса. Джек оказался на самом верху, под застекленным потолком: сюда поднимались все шумы, все испарения, вся пыль цеха, образуя пелену. Когда, опираясь на перила, ограждавшие галерею, где он работал, Джек смотрел вниз, его глазам открывался человеческий муравейник, находившийся в непрерывном устрашающем движении: кузнецы работали у горнов, рабочие-механики трудились над обработкой железа, а в самом низу шлифовали и обтачивали мелкие части для машин и станков работницы, одетые в блузы, они походили на юношей-учеников.

Тут стояла страшная жара, и выносить ее было тем труднее, что в отличие от Эндре, где ветер, дышавший морским простором, обдувал раскаленные цеха, громадное здание завода было сжато другими фабричными зданиями, и рабочих тяготило сознание, что со всех сторон такой же ад, что кругом, выбиваясь из сил, тоже работают люди. Ну, ничего! Джек был закален и не боялся тяжелого труда. Он как бы стоял выше всех тягот и горестей, связанных с его положением, и то, что в цехе он оказался над толпою рабочих, под самым потолком, где шум и грохот металла звучали гулко, как под куполом кафедрального собора, приобретало значение символа. Теперь — то он знал, что он здесь временно, и, хотя трудился на совесть, мысли его витали далеко.

Другие рабочие хорошо это понимали. Они замечали, что он держится особняком, не вникает в их ссоры, ни с кем не вступает в соперничество. Джек ни в чем не принимал участия — ни в выступлениях против хозяина или старшего мастера, ни в драках, которые порою происходили при выходе с завода, ни в выпивках за счет новичков, не заглядывал ни в кабачки, ни в трактиры, ни в винные погребки, не разделял ни удовольствий своих товарищей, ни их вражды. Он как будто не слышал ни глухих жалоб, ни ропота возмущения, звучавшего в этом большом предместье, затерянном, словно гетто, в великолепном городе, роскошь которого казалась еще более пышной на фоне жалких лохмотьев. Он не прислушивался к социалистическим учениям, к которым так восприимчивы нищие, обездоленные люди: эти неимущие живут рядом с имущими, и потому понятно, что они жаждут полного ниспровержения старого строя, которое коренным образом изменит их горестную участь. Беседы об истории и политике, которые вели между собой у цинковых стоек Меченый, Луи или Франсуа, оставляли его равнодушным: сведения об истории все эти люди черпали из дешевых брошюр, из драм и романов Дюма, а герои ее были так же ходульны, как на сцене театра Амбигю. Товарищи относились к нему не то чтобы дружелюбно, но с уважением. На первые грубоватые шуточки он ответил таким ясным, острым и решительным взглядом своих светлых глаз, что насмешники сразу прикусили языки. И потом было известно, что он работал кочегаром, а рабочие наслышаны о том, как дерутся кочегары, вооружившись шуровыми ломками.

Этого было достаточно, чтобы мужчины прониклись к Джеку известным расположением, а от глаз женщин не укрылось то очарование, тот ореол, который окружает тех, кто любит и кто любим. Высокий, изящный, всегда собранный, подтянутый, тщательно одетый, Джек казался молоденьким работницам, зачитывавшимся «Парижскими тайнами».[39] новоявленным

князем Родольфом, разыскивающим свою Флер-де-Мари. Бедные девушки напрасно встречали его улыбками, освещавшими их преждевременно поблекшие лица, когда он проходил по той части цеха, где они работали; здесь ни на минуту не умолкала болтовня, здесь всегда царило возбуждение, порожденное очередной драмой, ибо почти у всех работниц был на заводе возлюбленный, и эти связи служили постоянным источником ревности, бурных сцен, нередко приводивших к драматической развязке. Во время перерыва, когда девушки раскладывали на краю станка свой скудный завтрак, между ними то и дело возникали горячие споры. Эти замученные создания вопреки всему помнили, что они женщины, и, отправляясь в цех, причесывались так, точно собирались на бал. Бросая вызов железным опилкам и стружкам, машинному маслу, пятнавшему одежду и лица, они не без кокетства вплетали в волосы ленты, втыкали в них блестящие шпильки.

С завода Джек неизменно уходил один. Он спешил домой, ему не терпелось снять рабочую блузу и приняться за другое дело. Обложившись книгами, учебниками, на полях которых он еще в детстве писал или рисовал, Джек приступал к своим вечерним занятиям и всякий раз поражался, с какой легкостью он все усваивает. Одно какое-нибудь слово в учебнике помогало ему вспомнить то, что он учил когда-то. Оказалось, что он знает больше, чем предполагал. Все же случалось, что перед ним неожиданно возникали трудности, попадалась непонятная строка, и было трогательно видеть, как рослый юноша, чьи руки с каждым днем грубели от рукоятки тяжелого пресса, нервно сжимал перо, размахивал им в воздухе, а порою швырял на стол в бессильной ярости. Сидя возле него, Белизер пришивал козырьки к фуражкам или сшивал соломку для летних шляп. Он благоговейно молчал, и лицо его выражало почтительное изумление, как у дикаря, присутствующего при заклинаниях колдуна. Видя усилия Джека, Белизер обливался потом, высовывал язык, всячески выражал нетерпение, а когда приятель преодолевал, наконец, трудное место, он с торжествующим видом скидывал голову. Толстая игла шляпника, протыкавшая плотную соломку, перо ученика, скрипевшее по бумаге, громадные словари, которые нелегко было сдвинуть с места, — все это создавало в мансарде атмосферу мирного, очищающего труда, и когда Джек поднимал глаза, то замечал, что в окнах напротив также горят допоздна огни, там тоже до глубокой ночи упорно трудятся люди. То был далекий от привычных представлений Париж: в то время как на залитых ослепительным светом бульварах веселилась толпа, здесь люди все еще трудились.

Поздним вечером, уложив мальчика и дождавшись, пока он уснет, г-жа Вебер, чтобы сэкономить уголь и масло, приходила в комнату к друзьям. Она чинила и штопала платье малыша, Белизера и Джека. Свадьбу решили отложить до весны, — зимой у бедняков и без того достаточно тягот и забот. А пока влюбленные терпеливо трудились, сидя рядышком, что тоже является своеобразной формой ухода. Мысленно они жили своим домом. Но, судя по всему, Белизеру все же чего — то недоставало: сидя рядом с разносчицей хлеба, он принимал печальные позы, испускал хриплые и глухие вздохи, какие, если верить естествоиспытателям, сотрясают тяжелые панцири громадных африканских черепах в пору любовного томления. Время от времени он робко брал руку г-жи Вебер и пытался задержать ее в своих руках, однако она находила, что это мешает работе, и две их иглы снова начинали двигаться в такт, а сами они едва слышно переговаривались тем свистящим шепотом, каким всегда говорят люди, умеряющие свои грубые голоса.

Джек из деликатности не поворачивался к ним и, не переставая писать, думал: «Счастливы!»

Сам же он бывал счастлив только по воскресеньям, когда ездил в Этьоль.

Ни одна щеголиха на свете не одевалась, должно быть, с такой тщательностью, как Джек, приступавший к своему туалету в эти важные для него дни при свете лампы, горевшей уже с пяти утра. Г-жа Вебер с вечера готовила ему чистое белье и осторожно развешивала на спинке стула его заботливо отутюженный праздничный костюм. Он прибежал к лимону, к

пемзе, чтобы уничтожить следы тяжелого труда. Ему хотелось, чтобы он ничем не походил на наемного работника, каким он был всю неделю. Если бы заводские работницы встретили Джека по дороге в Этьоль, они бы непременно приняли его за князя Родольфа!

Дивный день, сотканный из блаженства, когда не замечаешь ни часов, ни минут! Весь дом поджидал его, оказывал ему радушный прием: в комнате весело пылал камин, на нем красовались букеты из зелени, доктор снял от удовольствия, а у Сесиль от радостного волнения, вызванного приездом друга, лицо розовело, будто от нежных поцелуев. Как и в далекую пору их детства, она присутствовала на уроках, и умный взгляд девушки подбадривал Джека, помогал ему усваивать. Г-н Риваль проверял то, что Джек прошел за неделю, поправлял его, объяснял непонятные места, задавал урок на следующую неделю. Учитель проявлял не меньше пыла, чем ученик: старый доктор, если только его не приглашали к больным, все послеобеденное время по воскресеньям посвящал Джеку — он просматривал книги, по которым учился в юности, отмечал в них самое важное, то, что понятно и нужно для начинающего. После урока, если позволяла погода, они втроем отправлялись в лес — голый, потемневший от заморозков, трепещущий и потрескивающий лес, где бегали испуганные кролики и беззащитные косули.

Это были лучшие часы дня.

Доктор намеренно замедлял шаги, пропуская вперед молодых людей, и они шли, взявшись за руки, оживленные и слегка встревоженные, словно ожидая признаний и страшась их. Наивный и добродушный старик, пожалуй, даже спешил оставлять их вдвоем, ибо они еще переживали те счастливые минуты, когда любовь довольствуется догадками и не нуждается в словах. Все же они рассказывали друг другу о событиях минувшей недели, но подчас в их беседе наступали долгие паузы, походившие на музыку, на сдержанный, но страстный аккомпанемент, сопровождавший их дуэт.

Для того, чтобы проникнуть в ту часть леса, которая именуется Большим Сенарским лесом, надо было пройти мимо загородного дома «Ольшаник», куда время от времени наведывался доктор Гирш, чтобы производить опыты по лечению ароматическими средствами. Можно было подумать, что здесь сжигают все душистые лесные и луговые травы, — так густо валил дым из трубы и от его едкого запаха начинало щипать в горле.

— Ага!.. Отравитель заявился, — говорил доктор Риваль молодым людям.-'- Чувствуете, какие ароматы доносятся из его адской кухни?

Сесиль старалась утихомирить старика:

— Осторожнее, дедушка, он может тебя услышать.

— Пусть слышит!.. Уж не воображаешь ли ты, что я его боюсь?.. Не беспокойся, он теперь и носа не высунет! С того самого дня, когда он попробовал не пустить меня к нашему Джеку, он запомнил, что у старика Риваля еще крепкая рука.

И все же, проходя мимо

Parva domus, молодые люди невольно понижали голос и ускоряли шаг. Они понимали, что ничего хорошего для них там быть не может, и словно угадывали, какие злобные взгляды бросает на них из-под очков доктор Гирш, укрывшись за плотно закрытыми ставнями. Хотя, в сущности, чего им было опасаться слезки со стороны этого пугала? Разве между д'Аржантоном и сыном Шарлотты не все было кончено? Уже три месяца они не виделись, между ними пролегла ненависть, и с каждым днем она все больше отдаляла их друг от друга, подобно тому как волна, беспрестанно набегающая и размывая берега, увеличивает расстояние между ними. Джек любил мать и не обвинял ее за то, что у нее есть любовник, но теперь, когда он полюбил Сесиль, в нем обострилось чувство собственного достоинства и он

возненавидел д'Аржантона; Джек считал, что д'Аржантон повинен во всех ошибках слабовольной Шарлотты, которую этот тиран приковал к себе точно цепями. А всякое насилие противно гордым и независимым натурам, Шарлотта, опасавшаяся сцен и объяснений, отказалась от попыток примирить любовника и сына. Она больше не заговаривала с д'Аржантоном о сыне, но тайком встречалась с Джеком.

Несколько раз она, под вуалью, приезжала в фиакре на улицу Оберкампа и вызывала Джека к воротам завода. Товарищи видели, какой разговаривал, стоя у дверцы кареты, с молодой еще женщиной, одетой, пожалуй, слишком уж элегантно. По цеху распространился слух, будто у него «шикарная» любовница. Его поздравляли, думая, что это одна из диковинных, но нередких связей: иных девиц легкого поведения, вышедших из недр предместья, а позднее преуспевших и разбогатевших, неодолимо тянет назад, к родным трущобам. Для этого достаточно бывает случайной встречи на балу, возле заставы, куда такие особы заглядывают, чтобы пустить пыль в глаза, или же на дороге, ведущей к месту скачек, которая проходит через бедные кварталы. Рабочие, у которых такие любовницы, одеваются изысканнее своих товарищей; они выглядят фатовато и смотрят на всех высокомерно и рассеянно, как мужчины, которых удостоила своим вниманием королева.

Для Джека такого рода предположения были особенно оскорбительны, и он, ничего не говоря о них матери, просил ее не приезжать к заводским воротам, сославшись на то, что существующие правила запрещают в часы работы отлучаться из цеха. С этого времени они стали видаться совсем редко — в парках и главным образом в церквях. Подобно всем женщинам такого сорта, Шарлотта с возрастом становилась ханжой — отчасти из-за не находившей себе выхода сентиментальности, отчасти из пристрастия к торжественным церемониям, а также потому, что этой хорошенькой женщине хотелось покрасоваться напоследок, и она картинно опускалась на колени на скамеечку для молящихся неподалеку от алтаря в дни, когда священник произносил проповедь. Во время этих нечастых и коротких свиданий Шарлотта по обыкновению без умолку болтала, но вид у нее был печальный и усталый. Однако она все время твердила, что живет ей очень спокойно, что она очень счастлива и не сомневается в блестящей литературной карьере, которая в самом ближайшем будущем ожидает д'Аржантона. Но в один прекрасный день, когда они, побеседовав, выходили из церкви Пантеона, она с легким смущением сказала сыну:

— Джек, не можешь ли ты... Вообрази, сама не знаю, как это получилось, но только у меня не хватает денег, чтобы дотянуть до конца месяца. А попросить у него я не решаюсь, дела его так плохи! В довершение всего он хворает, бедняжка. Не дашь ли ты мне займы на несколько дней...

Он не дал ей договорить. Покраснев, он быстро сунул в руку матери получку, которую ему как раз перед этим свиданием выдали. И теперь, при дневном свете, на улице, он разглядел то, чего не видел в полутьме храма, — следы отчаяния на улыбающемся лице матери, ее бледные щеки с красными прожилками, которые красноречиво говорили, что свежесть уходит, будто ее смывают ручьи слез. Он почувствовал к ней бесконечную жалость.

— Знаешь, мама, если тебе плохо... Ведь я тут... Приходи ко мне... Я был бы так горд, так счастлив, если бы ты жила со мной!

Она затрепетала.

— Нет, нет, это невыносимо, — чуть слышно сказала она. — У него сейчас столько неприятностей! Это было бы некрасиво.

И она поспешила уйти, словно боялась, что не устоит против соблазна.

## V. ДЖЕК ЖИВЕТ СВОИМ ДОМОМ

Летнее утро, Менильмонтан, скромное жилище на улице Пануайо. Белизер и его компаньон уже поднялись, хотя день еще только занимается. Один, припадая на ногу, ходит взад и вперед, стараясь поменьше шуметь, прибирает, подметает пол, чистит башмаки: диву даешься, видя, как этот косолапый увалень ловко и умело справляется со своими делами, как старается он не потревожить славного своего компаньона, который устроился у открытого окна. Перед глазами Джека утреннее июньское небо, светло-синее, в пятнах пепельно-розовых облаков; громадный двор предместья прорезает его множеством своих труб. Когда Джек отрывает глаза от книги, он видит прямо перед собой цинковую крышу большого металлургического завода. Вскоре, когда солнце поднимется выше, эта крыша преобразится в страшное зеркало — со слепящим блеском оно станет отражать лучи. Но сейчас зарождающийся свет пробегает по крыше смутными и нежными отблесками и высокая труба, возвышающаяся среди заводских зданий, укрепленная длинными тросами, которые тянутся к соседним крышам, похожа на мачту корабля, плывущего по тяжелым светящимся волнам. Внизу, в курятниках, которые торговцы предместья устраивают под навесом или в конце сада, кричат петухи. До пяти часов утра других звуков не слышно. Внезапно доносится крик:

— Госпожа Жакоб, госпожа Матье, хлеб нужен?

Это соседка Джека уже начала разносить хлеб. Ее фартук наполнен свежими, душистыми хлебами разной величины; она ходит по коридорам, по лестницам и возле дверей, где висят кувшины для молока, оставляет хлеб, окликая по именам своих постоянных покупательниц, которым она заменяет будильник, так как поднимается раньше всех в предместье.

— Хлеб! Кому хлеба?

Это голос самой жизни, красноречивый и неодолимый призыв. Вот она, отрада наступившего дня, хлеб, который зарабатывают с таким трудом, хлеб, который приносит радость в дома, оживляет трапезу. Он нужен всем: его кладут в сумку отца и в корзиночку ребенка, идущего в школу, он необходим для утреннего кофе и для вечернего супа.

— Хлеб! Кому хлеба?

Дверные косяки поскрипывают под длинным ножом разносчицы. Еще одна зарубка, еще один долг, за которым — запроданные часы работы. Ну что ж! Все равно ни одна минута за весь день не сравнится с этой. Ведь когда человек просыпается, в нем просыпается и зверский аппетит, рот раскрывается вместе с глазами. Вот почему в ответ на призыв г-жи Вебер, которая, обегая все этажи, сначала поднимается, потом опускается, пробуждается весь дом. Хлопают двери, на лестницах возникает радостная суматоха, ребятишки с восторженным визгом устремляются к себе в квартиры, неся в руках круглые караваи, чуть ли не больше их самих, они прижимают хлеб к груди, как Гарпагон свою шкатулку: именно так несут хлеб бедняки, выходя из булочной, и это наглядно объясняет, что значит для них хлеб!

Теперь уже все на ногах. Прямо против Джека, по ту сторону завода, распахиваются окна, много окон, во всех тех квартирах, где до глубокой ночи горит свет, и в этот утренний час он видит всю сокровенную жизнь бедного трудового люда. Возле одного окошка усаживается печальная женщина, она крутит ручку швейной машины, а дочка помогает ей: подает куски материи. В другое окно видно, как девушка, уже совсем причесанная, должно быть, продавщица из магазина, наклонившись, отрезает ломоть хлеба для убогого своего завтрака: она боится накрошить на пол — она подмела комнату еще на заре. Дальше оконная рама мансарды, поблескивает маленькое зеркальце, висящее на стене. Как только солнце поднимется, это окно задернут большой красной занавеской, а то будут слепить лучи,

отражающиеся от цинковой крыши. Все эти окна бедняков выходят на ту сторону громадного здания, где извиваются многоярусные галереи, куда сбегает сточные воды, где в стенах змеятся трещины и дымоходы. Здесь все закопчено, все уродливо. Но Джек не обращает на это внимания. Его трогает одно: каждое утро, когда с улицы еще не доносится шум, он слышит голос старушки; одним и тем же тоном она произносит одну и ту же фразу, которая берedit душу, как стон: «Хорошо тем, кто в такую благодатную погоду живет в деревне!» Кому она это говорит, бедняжка? Никому и всем, самой себе или, быть может, кенару, чью украшенную свежей зеленью клетку она подвешивает к ставне окна. А может быть, она обращается к цветочным горшкам, выстроившимся на ее подоконнике? Джек разделяет ее мнение, он охотно присоединился бы к ее горестной жалобе, ибо первая его мысль, переполняющая его мужеством и нежностью, неизменно устремляется к спокойной деревенской улочке, к небольшой зеленой двери, где на дощечке выведено: «Звонок к врачу»... И вот, пока он мечтал, отвлекшись на минуту от своих усердных занятий, в коридоре послышался шелест шелкового платья, и в замочной скважине заскрипел ключ.

— Направо! — крикнул Белизер, приготовлявший кофе.

Ключ поворачивается влево.

— Да направо же!

Но ключ упрямо поворачивается влево. Белизер не выдерживает и спешит к дверям с кофейником в руке. В комнату врывается Шарлотта. Шляпник, оторопев при виде этого вихря воланов, перьев и кружев, отвешивает почтительные поклоны, качается на своих кривых ногах, топчется на месте, как одержимый, а мать Джека, не узнав лохматого, непричесанного человека, который вертится перед ней, просит прощения и отступает к порогу.

— Простите, сударь!.. Я ошиблась дверью.

При звуке ее голоса Джек поднимает голову и устремляется к ней:

— Нет, нет, мама! Ты не ошиблась.

— Ах, Джек, мой милый Джек!

Она кидается сыну на шею, прячет лицо на его груди.

— Спаси меня, защити меня, Джек!.. Этот человек, этот негодяй, которому я все отдала, для которого всем пожертвовала — и своей жизнью и жизнью своего ребенка, — он прибил меня, да, он только что ударил меня!.. Нынче утром он вернулся домой после того, как где-то пропал две ночи, и я, понятно, упрекнула его. Думаю, что у меня есть на это право... И тогда этот негодяй пришел в ярость и поднял руку на меня, на меня, на ме...

Конец ее фразы теряется во всхлипываниях, которые переходят в безутешные рыдания. При первых же словах злосчастной женщины Белизер тихонько выходит из комнаты и прикрывает за собой дверь: он чувствует себя лишним при этой семейной сцене. Джек смотрит на мать со страхом и с жалостью. Как она переменялась, как она бледна! На дворе уже день, солнечный свет заливает небольшую комнату, и следы, оставленные временем на лице женщины, бросаются в глаза: на висках ее поблескивают седые волосы, которые она даже не постаралась спрятать. Не утирая слез, она говорит без остановки, бессвязно, говорит первое, что ей приходит в голову, жалуется на человека, которого только что покинула, ей столько надо высказать, что слова застревают у нее в горле и она заикается:

— Ах, дорогой Джек, сколько я выстрадала за десять лет! Как он меня терзал, как оскорблял!.. Это изверг, поверь мне!.. Он не вылезает из кафе, из пивных, а там женщины. Теперь эти господа обдумывают очередной номер журнала. Это только одно название — журнал! В

последнем номере читать нечего!.. Знаешь, когда он приезжал в Эндре, деньги привозил, я ведь тоже была с ним и ждала в дереvушке напротив, мне так хотелось повидаться с тобой! Но господин д'Аржантон не соизволил разрешить. Представляешь себе, до чего он жесток! Он тебя терпеть не может, просто из себя выходит, что ты в нем не нуждаешься! Этого он тебе простить не может. А ведь прежде сколько он нас попрекал тем, что ты ешь его хлеб! Скупердяи!.. Сказать тебе, какую он подлость совершил по отношению к тебе? Я решила никогда тебе об этом не рассказывать, но сегодня мое терпение лопнуло. Так вот! У меня были для тебя десять тысяч франков, их дал мне «милый дядя», когда произошла вся эта история в Эндре. А д'Аржантон истратил их на журнал, да, дорогой, на свой дурацкий журнал!.. Я знаю, он надеялся на крупные барыши, но так или иначе, твои десять тысяч франков уплыли вместе с остальными деньгами! А когда я его спросила, намерен ли он возместить их тебе, потому что в твоём положении эти деньги оченьгодились бы, знаешь, что он мне ответил? Он составил длинный перечень того, что на тебя было якобы потрачено в свое время, на одежду и еду в Этьоле, у Рудяков. Он насчитал пятнадцать тысяч франков, но, как он заявил, разницы с тебя не требует. До чего великодушно, а? Но я все сносила: несправедливые и злобные нападки, приступы ярости, которые на него накатывали, когда речь заходила о тебе, то освещение, какое он и его приятели придали злополучной истории в Эндре, словно твоя невиновность не была признана, не объявлена — и во всеуслышание! Да, я даже это терпела; что бы они ни говорили, ничто не мешало мне любить тебя, вспоминать о тебе сто раз в день. Но вынудить меня две ночи подряд терзаться муками ожидания и ревности, предпочесть мне какую-то актерку или распутницу из Сен-Жерменского предместья — как видно, все тамошние графини влюблены в него, как кошки, — встречать мои упреки презрительным взглядом, высокомерно пожимать плечами, а затем в порыве гнева посметь ударить меня, меня, Иду де Баранси! Это уже было слишком, моя гордость, мое самолюбие возмутились, я оделась, приколола шляпку. Затем подошла к нему и сказала: «Поглядите на меня внимательно, господин д'Аржантон: вы меня видите последний раз в жизни. Я покидаю вас. Я уйду к своему сыну. Желаю вам подыскать себе другую Шарлотту, а я сыта по горло!» С тем я и ушла, и вот я тут.

Джек слушал ее, не прерывая. Он только бледнел всякий раз, когда узнавал о новой низости, ему было так стыдно за мать, что он не решался даже взглянуть на нее. Когда же она все высказала, он взял ее руку и мягко, ласково и вместе с тем серьезно произнес:

— Благодарю тебя, мама, за то, что ты пришла ко мне... Одной тебя мне не хватало для того, чтобы жизнь моя была и счастливой и достойной. И вот ты здесь, ты со мной, только со мной, больше мне нечего желать. Но смотри: теперь уж я тебя никуда не отпущу, тебе от меня не уйти.

— Мне уйти от тебя! Вернуться к этому человеку? Нет, дорогой Джек! Я останусь с тобой, только с тобой, мы всегда будем вместе... Помнишь, я тебе говорила, что я буду нуждаться в тебе? Так вот, этот день наступил!

Сын был так ласков с Идой, что она постепенно успокаивалась и теперь только тяжело вздыхала, как это делают долго плакавшие дети.

— Вот увидишь, милый Джек, как мы с тобой заживем! Ведь я перед тобой в таком долгу, ты столько времени был лишен материнской заботы и нежности! Не беспокойся, я это восполню. Если бы я могла передать тебе, какое облегчение я чувствую, как легко мне дышится! Комната у тебя узенькая, голая, убогая, конура, а не комната. Так вот, с той минуты, как я сюда вошла, у меня такое чувство, будто я в раю.

Нелестный отзыв о жилище, которое они с Белизером находили просто великолепным, вселил в Джека известное беспокойство за будущее, но у него уже не было времени задерживаться на этой мысли. Через полчаса ему надо было уходить на работу, а предстояло решить и уладить столько дел, что он не знал, за что раньше приняться. Прежде

всего он пошел посоветоваться с Белизером, который все так же терпеливо шагал по коридору и мог бы так прошагать до вечера, ни разу не постучав в дверь, чтобы узнать, не кончилось ли объяснение.

— Вот как получилось, Белизер! Моя мать должна будет поселиться со мной. Как нам теперь быть?

«Больше он не сможет быть нашим компаньоном. Опять свадьба откладывается», — молнией пронеслось в голове у бедняги, и он задрожал. Но он ничем не выдал своего горького разочарования, он думал лишь о том, как выручить друга из трудного положения. Лучшего жилища на всем этаже не было, и они условились, что Джек останется тут с матерью, а шляпник отнесет свой товар к г-же Вебер и будет искать для себя комнатушку в том же доме.

— Это не страшно, совсем не страшно... — повторял бедный малый, пытаясь принять беззаботный вид.

Они вернулись в комнату. Джек представил матери своего друга Белнзера, который, оказывается, хорошо помнил красивую даму из Ольшаника. На этот день торговец предоставил себя в полное распоряжение Иды де Баранси, чтобы помочь ей устроиться, — о Шарлотте, понятно, больше и речи не было. Они решили взять напрокат кровать, два стула и туалетный столик. Джек достал из ящика, где лежали его сбережения, несколько луидоров и отдал матери.

— Мама! Если тебе скучно возиться со стряпней, госпожа Вебер приготовит обед, когда освободится.

— Ни в коем случае. Я сама этим займусь. Господин Белизер укажет мне, где у вас тут съестные лавки. В твоей жизни ничего не изменится, я сама буду вести хозяйство. Увидишь, какой вкусный обед я для тебя приготовлю — ведь завтракать ты не придешь, завод далеко. К твоему возвращению все будет готово.

Она сняла шаль, засучила рукава, подобрала подол длинной юбки, чтобы приняться за дело. Джек пришел в восторг, видя такое рвение; он от всего сердца расцеловал мать и ушел на работу в самом приподнятом настроении. В тот день он трудился с особенным подъемом, все время думая о новых многочисленных обязанностях, которые он возложил на себя. Ложное положение матери часто наполняло его тревогой с тон поры, как он начал думать о женитьбе. И это отравляло ему радость и светлые упования. До чего доведет ее этот человек? Что ждет ее в будущем? Иногда его охватывал стыд при мысли, что он прочит в свекрови своей дорогой Сесиль женщину с сомнительным положением в обществе, которая у всех, кроме сына, может вызвать презрение. Теперь все меняется. Теперь он отвоевал мать, он окружит ее вниманием и нежной любовью, и она постепенно станет достойна той, кого в один прекрасный день назовет своей дочерью. Джеку казалось, что уже одно это сокращает расстояние между ним и его невестой, и в порыве радости он с такой легкостью управлялся с тяжелым прессом, что товарищи по цеху только диву давались.

— Гляньте на нашего аристократа! Какой у него довольный вид!.. Эй, малый! Видать, дела у тебя с землячкой идут на лад?..

— Лучше некуда!.. — со смехом отвечал Джек.

Весь день улыбка не сходила с его лица. Но, когда после работы он возвращался домой по улице Оберкампа, его вдруг обуял страх. Застанет ли он еще в своей комнате ту, что утром свалилась на него как снег на голову? Он знал, до чего капризна Ида. Позорная страсть, точно цепь, приковывала ее к д'Аржантону, и это заставляло Джека бояться, как бы ее не потянуло вновь приковать себя той же цепью, от которой она только что избавилась. Да, он



не шел, а летел домой, но уже на лестнице все его опасения исчезли. Покрывая глухой шум большого дома, населенного бедным людом, разливались звонкие рулады свежего голоса, как будто распевал щегол, посаженный в новую клетку. Джеку был хорошо знаком этот звучный голос.

Переступив порог своей «конуры», он замер от изумления. Выскобленная сверху донизу, освобожденная от шляп Белизера, украшенная великолепной кроватью и туалетом, которые Ида ваяла напрокат, комната преобразилась, стала как будто просторнее. В вазах стояли большие букеты цветов, купленные на улице, стол был накрыт чистой скатертью, а на ней среди недорогой посуды красовался пирог и весело поблескивали две запечатанные бутылки вина. Да и самое Иду было не узнать в вышитой юбке, в светлой кофте и маленьком чепчике на взбитых волосах. По ее прояснившемуся миловидному лицу было заметно, что она успокоилась.

— Ну как? Что скажешь? — защебетала она, бросаясь навстречу сыну с распростертыми объятиями.

Джек поцеловал ее.

— Изумительно!

— Как, по-твоему, быстро я управилась? Должна признаться, что мне очень помог Бель... До чего ж он услужлив!

— Кто? Белизер?

— Ну, конечно, мой славный Бель и госпожа Вебер.

— Ого! Я вижу, вы уже друзья.

— А то как же! Они такие милые, такие предупредительные! Я пригласила их пообедать вместе с нами.

— Черт побери! А посуда?

— Видишь ли, кое-что я уже купила, правда, немного. И у соседей взяла несколько приборов. Эти милые Левендре тоже люди обязательные.

Джек понятия не имел об этих «обязательных» соседях и удивленно раскрыл глаза.

— Но это еще не все, мой дорогой... Ты ведь толком не разглядел пирог. Я ходила за ним на Биржевую площадь, там продают пироги на пятнадцать су дешевле. Правда, это очень далеко. На обратном пути я выбилась из сил. Мне пришлось нанять фиакр.

В этом сказала вся ее натура. Заплатить два франка за фиакр, чтобы выгадать пятнадцать су на пироге! Но видно было, что она хорошо знает все магазины. Хлебцы она купила в венской булочной, кофе и десерт были из Пале-Рояля.

Джек слушал ее, оторопев. Она это заметила и простодушно спросила:

— Может, я слишком много потратила? Да?

— Нет!.. Что ты!..

— Да, да, я вижу это по твоему носу. Но что прикажешь, в твоём хозяйстве многого не хватало. А потом, ведь не всякий день происходят такие радостные встречи! Впрочем, ты сам убедишься, что я собираюсь быть благоразумной...

Она достала из комода длинную зеленую тетрадь и с победоносным видом помахала ею в воздухе.

— Погляди, какую великолепную книгу для ведения расходов я приобрела у госпожи Левек.

— Левек, Левендре!.. Да ты уже познакомилась со всем кварталом?

— Ну да, у госпожи Левек писчебумажная лавка, совсем рядом. Очень славная пожилая дама, у нее там и кабинет для чтения. Это очень удобно. Надо же следить за литературными новинками... А покамест я купила у нее книгу для ведения расходов. Это совершенно необходимо, мой мальчик. В доме, где хотят разумно вести хозяйство, без нее шагу нельзя ступить. Вечером, после обеда, если хочешь, мы подведем итоги. Видишь? Тут все записано.

— Ну, если все уже записано...

Их беседа была прервана приходом Белизера, г-жи Вебер и ее малыша с большой головой. Забавно было слушать, каким покровительственным и фамильярным тоном обращалась Ида де Баранси к своим новым друзьям:

— Сделайте милость, голубчик Бель, не церемоньтесь. Госпожа Вебер! Прикройте, пожалуйста, дверь, а то мальчик чихнул.

Вид у нее был важный и величественный, точно у благосклонной королевы, которая снисходит до своих бедных подданных и желает, чтобы они чувствовали себя непринужденно. Г-жа Вебер и без того чувствовала себя непринужденно. Эта славная женщина ни перед кем не робела — она сознавала, что своими сильными руками всегда заработает себе на кусок хлеба. Юный Вебер тоже ни капельки не конфузился и старательно запихивал в рот хрустящую корочку пирога. Один только Белизер слегка пригорюнился, да и было отчего! Быть уверенным, что до свадьбы осталось всего каких-нибудь две недели, почти осязать близкое счастье и вдруг узнать, что все откладывается бог знает на сколько, — это просто ужасно! Он все время вертел головой, жалостно поглядывал то на г-жу Вебер, которая, как видно, довольно спокойно отнеслась к потере компаньона, то на сияющего Джека, который ухаживал за матерью с заботливым вниманием влюбленного. Поистине жизнь человеческая походит на качели, какие устраивают дети с помощью деревянного бруска и доски: один взлетает вверх только тогда, когда другой с размаху ударяется о твердый, неровный грунт. Джек возносился в сияющие высоты, а его злополучный компаньон падал с облаков на землю, возвращался к горькой действительности. Прежде всего Белизеру, которому было так уютно в квартирке, составлявшей предмет его гордости, предстояло отныне ютиться в чулане, выходявшем на лестницу: свет и воздух проникали туда через крошечное оконце, не больше форточки. На всем этаже не нашлось другого свободного помещения, а Белизер ни за что на свете не согласился бы отдалиться от г-жи Вебер даже на несколько ступенек. Этого человека звали Белизер, но его с полным правом можно было бы назвать: «Безропотность», «Доброта», «Самоотверженность», «Терпение». Было у него и много других благородных имен, но он ими себя не величал, он ими не бахвалился, однако те, кто близко с ним соприкасался, мало-помалу начинали сами о них догадываться.

Гости ушли. Джек остался вдвоем с матерью, и она очень удивилась, заметив, что он быстро убрал со стола и разложил на нем объемистые учебники.

— Что ты собираешься делать?

— Разве ты не видишь? Я занимаюсь.

— Что это ты вздумал?

— Ах да, верно!.. Ты ведь еще не знаешь.

И он поведал ей тайну своего сердца, рассказал, что он работает и учится, рассказал, какая светлая надежда помогает ему на атом трудном пути. До сих пор он ей еще ничего об этом не говорил. Он слишком хорошо знал, как легкомысленна, пуста и болтлива его мать, и не открывал ей своих сокровенных чаяний. Он опасался, что она все передаст д'Аржантону; и одна мысль, что его чистое чувство станут обсуждать в этом пошлом доме, где все его ненавидели, возмущала и страшила Джека. Он не питал ни малейшего доверия к поэту и к тем, кто его окружал, он боялся за свое счастье. Но сейчас, когда мать возвратилась к нему, сейчас, когда она сбросила, наконец, с себя позорное иго и была только с ним, он мог побеседовать с нею о Сесиль, доставить себе эту радость. И он рассказывал ей о своей любви с упоением, с восторгом, которые так прекрасны, когда человеку двадцать лет! Пережитые страдания делали его чувство зрелым, а искренность придавала исповеди Джека необыкновенную выразительность. Увы! Мать ничего этого не поняла. Все возвышенное, все глубокое, что отличало любовь этого обездоленного, ускользало от нее. Хотя Ида была сентиментальна, но для нее любовь была совсем не тем, чем она была для Джека. Рассказ сына взволновал ее не больше, чем третий акт пьесы, идущей на сцене театра Жимназ, когда ннженю в белом платье и фартучке с розовыми бретельками выслушивает признания влюбленного в нее завитого фата в камзоле. Она таяла от удовольствия, она вся превратилась в слух и только разводила руками; эта юная, чистая любовь щекотала ей нервы:

Ах, как мило, как мило! — то и дело восклицала она с улыбкой. — Какая из вас получится славная парочка! Невольно вспоминаешь Поля и Виргинию.[40]

Наибольшее впечатление произвела на нее история Сесиль — такая неожиданная, запутанная и необыкновенная! Она все время прерывала Джека, восклицая: «Знаешь, да ведь это просто роман, настоящий роман... Из этого можно состряпать такую сногшибательную штуковину!» В «духовной среде» д'Аржантона были в ходу такие выражения, как «сногшибательная штуковина». К счастью, влюбленные, повествуя о своих чувствах, витают в эмпиреях и улавливают в замечаниях слушателей лишь отзвук собственных слов. Джек вновь переживал и недавние радости и былые страхи, делился с матерью планами я мечтами, не обращая внимания на ее несуразные замечания, не понимая, что для нее вся история его любви — нечто вроде душещипательного романса и что ее лишь слегка трогает простодушие и наивность двух не искушенных в страсти сердец.

## VI. СВАДЬБА БЕЛИЗЕРА

Джек жил своим домом всего неделю, как вдруг однажды вечером его встретил у заводских ворот сияющий Белизер.

— Я так доволен, Джек! — сказал шляпник. — Наконец-то у нас есть компаньон. Госпожа Вебер его видела и сказала, что он нам подходит. Дело слажено. Скоро мы поженимся.

Как раз вовремя! Несчастный Белизер совсем захирел и зачах. Лето уже шло к концу, на улицах появились мальчишки-трубочисты и продавцы каштанов, что угрожало еще больше отодвинуть его счастье: ведь для бродячего торговца эти современные кочевники воплощают смену времен года, подобно тому как для сельских жителей ее воплощают перелетные птицы. Он не роптал на свою участь, но обычный его возглас: «Шляпы, шляпы, шляпы!» — звучал так тоскливо, что хотелось плакать. Вот отчего в иные дни крики парижских уличных торговцев кажутся такими унылыми: эти люди вкладывают в незначительные слова всю тревогу и всю скорбь своего безотрадного существования. Важнее всего в этих одинаковых

выкриках их интонация. Совсем по-разному звучит возглас: «Старье берем!» В самом деле, разве похож бодрый утренний крик на хриплый, сдавленный, безнадежный и монотонный вопль, который почти безотчетно издает скупщик старого платья, возвращаясь к себе домой? Джек, который, сам того не желая, причинил горе своему приятелю, обрадовался приятной новости почти так же, как сам Белизер.

— Вот оно что! Я бы хотел посмотреть на вашего нового компаньона.

— А вон он, — сказал Белизер, указывая на дюжего молодца в рабочей одежде, но без куртки; молодец топтался поодаль с молотком на плече и кожаным фартуком под мышкой.

Черты лица у него были на редкость невыразительные; его сонная, побагровевшая от постоянных возлияний физиономия пряталась в окладистой бороде, бороде всклокоченной, неопрятной, как будто вылинявшей. Борода эта воскресила в памяти Джека одного из завсегдатаев гимназии Моронваля, которого «горе-talанты» именовали «человеком, читавшим Прудона». Если внешне похожие люди обладают и схожим нравом, то новый сотоварищ Белизера, которого звали Рибаро, был, очевидно, человек незлой, но лентяй, любивший поважничать и покрасоваться, и к тому же редкий невежда и пьяница. Джек не стал делиться с бродячим торговцем своим неблагоприятным впечатлением, а тот не мог нарадоваться на своего нового жильца, которому он от полноты чувств то и дело крепко жал руку. Кроме того, г-жа Вебер уже одобрила выбор, а это было главное. Правда, славная женщина руководствовалась теми же мотивами, что и Джек; видя, как счастлив ее обожатель, она не стала особенно придираться и, махнув рукой на то, что внешность претендента не внушала большого доверия, удовольствовалась этим компаньоном за неимением лучшего.

Целых две недели перед свадьбой во дворах рабочих пригородов — Менильмонтан, Бельвилль, Ла Виллетт — раздавались радостные крики: «Шляпы! Шляпы!» Они разносились звонко и весело, как громкий победный клич проснувшегося петуха, как античный возглас «Гимен! О Гименей!», [41] слетавший с неискушенных уст. И наконец он пришел — незабываемый, великий день! Вопреки всем благоразумным доводам г-жн Вебер Белизер решил отпраздновать свадьбу широко, и стальные кольца на его длинном кошеле из красной шерсти передвинулись в самый низ. Зато это была всем свадьбам свадьба!

Буржуа сперва заключают брак в мэрии, а на другой день венчаются в церкви; но простолюдины не располагают свободным временем, они две эти церемонии объединяют, совершают в один день и для этой долгой и нелегкой повинности обычно избирают субботу, чтобы в воскресенье отдохнуть. Что делается в мэрии в этот знаменательный день! С утра у подъезда останавливаются фиакры и фургоны, пыльные коридоры заполняются длинными, а порою не очень длинными свадебными кортежами. Люди часами томятся в просторной общей зале. Все вплотную друг к другу, шаферы знакомятся и вместе отправляются заморить червячка, одна невеста разглядывает, оценивает и обсуждает наружность другой, а родственники, осолев от бесконечного ожидания, беседуют между собой, понизив голос, ибо, несмотря на уродливую мебель, голые стены и унылые объявления, муниципалитет подавляет бедняков. Потертые плюшевые диванчики, высокие залы, привратник с цепью на животе, торжественный помощник мэра — все их устрашает и вместе с тем забавляет. Торжественная церемония, приобретающая силу закона, — это для них знатная дама, которую они мало знают, редко видят и которая вдруг пригласила их в свой салон. Надо заметить, что среди многочисленных свадебных процессий, продефилировавших в ту памятную субботу по небольшому двору мэрии «Менильмонта», свадебная процессия Белизера казалась одной из самых блестящих, хотя на невесте и не было белого платья, при виде которого все женщины обычно кидаются к окнам, а зеваки на улицах приходят в волнение. Как и полагается вдове, г-жа Вебер надела темно-синее платье того оттенка, что именуется «индиго», столь любезного сердцу тех, кто любит мягкие краски; через руку у нее была переброшена ковровая шаль, а на голове красовался чепец, украшенный лентами и цветами, словно порхавшими вокруг чисто вымытого румяного лица этой славной уроженки

Оверни. Она шла в паре с отцом Белизера, низеньким, желтушным старичком с крючковатым носом. Движения у него были порывистые. Его все время бил кашель, который новая невестка старалась прервать тем, что немилосердно терла ему спину. Эти то и дело повторявшиеся растирания нарушали торжественное движение свадебного кортежа, пары все время останавливались, чуть не налезая друг на друга, и ждали, когда у старика прекратится кашель.

Белизер выступал во второй паре, ведя под руку свою овдовевшую сестру из Нанта. У этой мрачноватой на вид кудрявой женщины был такой же крючковатый нос, как у отца. Самого Белизера не узнали бы в тот день даже его постоянные покупатели. Куда девались страдальческие морщины, бороздившие его щеки, большая, набухшая синяя жила посреди лба, вечно открытый рот, который, казалось, безмолвно произносил «ан»! Высоко подняв голову, похорошевший, он с гордостью переставлял ноги, обутые в громадные, начищенные до блеска башмаки, сшитые по мерке, по особому заказу; башмаки были такие широкие и длинные, что в них Белизер походил на человека с берегов Зейдер-Зе,[42] надевшего беговые коньки! Зато он больше не мучился; ему казалось, будто у него новые ноги, и лицо его лучилось от двойного блаженства. Он держал за руку малыша г-жи Вебер; большая голова ребенка казалась еще больше от завивки, секрет которой ведом парикмахерам из предместья. Компаньон Белизера, Рибаро, которого с великим трудом упростили хотя бы на день расстаться с молотком и кожаным фартуком, булочник — хозяин г-жи Вебер — и его зять, у которых на здоровенных шеях, между коротко подстриженными волосами и суконными воротниками, виднелись большие красные складки жира, походившие на валики, шествовали в диковинного покроя сюртуках, измятых оттого, что они годами висели в шкафу, с будто накрахмаленными рукавами, не сгибавшимися в локтях. Затем шли чета Левендре, младшие братья и сестры Белизера, соседи, приятели и, наконец, Джек, но без матери, — г-жа де Баранси согласилась почтить своим присутствием торжественный обед, но не соизволила принять участие в свадебном шествии.

После утомительной толкотни в мэрии и бесконечного ожидания, от которого у многих подвело животы, — было уже далеко за полдень, — кортеж направился к Венсенс кому вокзалу, откуда дальше надо было ехать поездом. Свадебный обед должен был происходить в Сен — Мандэ, на одной из Благоуханных аллей — скомканная бумажка с адресом ресторана лежала у Бел и вера в кармане. Эта предусмотрительность была отнюдь не лишней, потому что на лужайке, у опушки леса, висилось несколько как две капли воды похожих друг на друга заведений с одинаковыми вывесками: «СВАДЕБНЫЕ ОБЕДЫ», повторенными на павильонах и беседках, красиво увитых зеленью. Когда Белизер и приглашенные прибыли, оказалось, что зала еще занята. В ожидании решили пройтись вокруг озера Венсенского леса — этого Булонского леса бедняков. Здесь многие справляли свадьбы, веселые компании уже отобедавших или угощавшихся прямо под открытым небом людей рассыпались по зеленым лужайкам; всюду виднелись светлые наряды женщин, темные костюмы мужчин, мундиры военных и лицеистов; они почти всегда встречаются на такого рода празднествах. Всюду смеялись, пели, развлекались, объедались лакомствами, визжали, гонялись друг за другом, водили хороводы и танцевали кадрили вокруг шарманок. Мужчины щеголяли в женских шляпках, женщины — в мужских. За изгородями, сбросив сюртуки и накидки, играли в жмурки, парочки целовались, подружка прикалывала новобрачной отпоровшуюся оборку на платье. Ах, эти белые, накрахмаленные и подсиненные платья! С каким удовольствием бедные девушки волочили их шлейфы по лужайкам, воображая себя, пусть только на один день, элегантными дамами! Предаваясь удовольствиям, человек из народа стремится хотя бы в мечтах почувствовать себя богатым, подняться над своим положением в обществе и сравняться с теми; кто счастлив на этой земле и кому он завидует.

Белизер и его гости неприкаянно бродили по пыли среди этих шумных свадеб и в ожидании вождельного пира набивали себе рты бисквитами и печеньем. Разумеется, они тоже не

прочь были повеселиться, — и читатель вскоре это сам увидит, — но пока что голод сковывал их. Наконец один из представителей рода Белизеров, посланный на разведку, возвратился и объявил, что все готово, что пора садиться за стол. Услышав это, все устремились к ресторану.

Праздничный стол был накрыт в просторной зале разделенной аляповато расписанными раздвижными перегородками на несколько помещений, украшенных позолотой и одинаковыми зеркалами. Тут было слышно все что делалось в соседних помещениях, — смех, звон бока лов, переговоры с официантами и нетерпеливые звонки. Из окон виднелся маленький садик, газоны и цветники которого чередовались, как клетки шахматной доски; в комнате плавал теплый пар, можно было подумать, будто вы находитесь в банном заведении. Сперва гости почувствовали здесь, как и в мэрии, боязливое почтение при виде длинного, уставленного приборами стола, по краям которого красовались искусственные померанцевые ветки, какие-то непонятные сооружения, зеленые и розовые сласти в вазах. Все это стояло здесь незыблемо, годами, ибо предназначалось для непрерывной вереницы свадеб, и все было засижено многими поколениями мух, которые и сейчас тучами носились над столом, хотя официанты и отгоняли их салфетками. Г-жи де Баранси все еще не было; приглашенные стали рассаживаться. Новобрачный хотел было занять место рядом с женой, но его сестра из Нанта объявила, что теперь это не принято, что это даже неприлично, что молодые должны сидеть друг против дружки. В конце концов с ней согласились, правда, после долгого спора, в пылу которого старик Белизер повернулся к своей снохе и спросил ее не без ехидства:

— Скажите-ка вы, какой теперь заведен порядок? Как было у вас на свадебном пиру с господином Вебером?

На это разносчица хлеба невозмутимо ответила, что она выходила замуж у себя на родине, свадебный обед был на ферме, и она сама подавала на стол. Выходка старика не имела успеха, но нетрудно было понять, что Белизеров не радуется этой свадьбе и что самый роскошный обед не привел бы их в хорошее расположение духа. Женится старший сын, и семья лишалась дойной коровы — самого надежного источника доходов.

Сперва ели молча, прежде всего потому, что сильно проголодались, а кроме того, все робели в присутствии важных официантов в черных фраках, которых Белизер тщетно пытался умиловить тем, что старался улыбаться им как можно любезнее. Что за люди эти официанты из пригородных ресторанов! Лица у них помятые, поблекшие, но при этом наглые; подбородки гладко выбриты, густые бакенбарды не закрывают рта и придают ему насмешливое, холодное и властное выражение. Точь-в-точь префекты, отрешенные от должности, которым приходится исполнять унизительные обязанности. И с каким презрением смотрели они на этих горемык, на этих нищих, пирующих на свадьбе по пять франков с носа! Эту внушительную цифру — пять франков — каждый из приглашенных произносил с почтительным восторгом, она окружала Белизера ореолом величия, — он мог позволить себе истратить сто франков на свадебный обед! И эта же цифра наполняла официантов глубочайшим пренебрежением, которое выражалось в том, что они перемигивались между собой и прислуживали гостям с бесстрастными лицами. Официант, стоявший возле Белизера, подавлял его и повергал в священный ужас. Другой, высившийся за стулом новобрачной, сверлил шляпника таким недобрый взглядом, что бедняга, стремясь уйти от этого инквизиторского взора, уткнулся в лежавшую слева от него карту блюд и принялся читать ее и перечитывать. Она хоть кого могла ослепить! Рядом с привычными, всем понятными названиями: «утка», «репа», «филе», «фасоль» — были начертаны какие-то необыкновенные, причудливые наименования, которые приводили на память города, сражения, имена генералов: «Маренго», «Ришелье», «Шатобриан», «Баригуль». Белизер и его гости недоумевали. Сейчас они будут все это есть! Вообразите их смятение, когда, держа на подносе две тарелки с похлебкой, официант спрашивал: «Раковый суп или пюре креси?» — когда, указывая на две бутылки испанского вина, он задавал вопрос: «Херес или пакаре?»

Прямо как в игре, когда вам предлагают выбрать одно из двух названий цветов, за которыми укрылись неизвестные вам девицы. Как тут поступить? После некоторого колебания каждый отвечал наугад. Впрочем, можно было и не выбирать: во всех тарелках была одна и та же теплая, чуть подслащенная похлебка, а в бутылках — желтый и мутный напиток, какое — то пошло, напоминавшее Джеку «шиповник», которым его поили в гимназии Моронваля. Гости испуганно поглядывали друг на друга, каждый исподтишка наблюдал, как ведет себя сосед, какой из многочисленных бокалов самой разнообразной формы он протягивает официанту.

Рибаро остроумно вышел из положения: он пил все вина из одного бокала, самого вместительного. Словом, боязнь попасть впросак и чувство неловкости поначалу отравляли удовольствие от торжественного обеда. Новобрачная первая нашла выход из нелепого положения. Славная женщина, которую никогда не оставлял здравый смысл, вскоре освоилась и громко сказала своему малышу:

— Не стесняйся, дружок, не стесняйся, ешь все, что тебе нравится. Нам это недешево стоит, ну и кушай в свое удовольствие.

Эти разумные слова оказали благотворное влияние на гостей, и вскоре все челюсти уже шумно работали, за столом слышались взрывы смеха, и все наперебой требовали корзинку с хлебом. Только семейство Белизеров не принимало участия в общем веселье. Братья и сестры жениха шушукались, хихикали исподтишка, а старик все время что-то выкрикивал своим пронзительным голосом, насмешливо фыркал, поглядывая на сына, который, не обращая на это внимания, выказывал ему уважение и через стол все время говорил жене: «Тарелку папе!», «Папин бокал!». Глядя на стаю алчных Белизеров, противно подмигивавших друг другу, каждый невольно спрашивал себя, как сумела г-жа Вебер вырвать бедного шляпника из их когтей. Понадобилась вся чудодейственная сила любви, чтобы совершить подобный переворот в его жизни, но так или иначе, переворот уже произошел, и стойкая женщина чувствовала в себе достаточно сил, чтобы принять на себя всю полноту ответственности, не страшась недоброжелательства, злобы, ехидных намеков, которые родственники мужа делали по ее адресу. Все это не мешало ей широко улыбаться, подкладывать кушанья в тарелку сынишки и подбадривать его:

— Не стесняйся, дружок!

За столом пировали вовсю, как вдруг послышалось шуршанье шелка, дверь распахнулась и на пороге показалась Ида де Баранси — запыхавшаяся, улыбающаяся, ослепительная.

— Вы уж меня извините, но моя карета ползла, как черепаха! А главное, это так далеко, я уж думала, что до вечера не доберусь.

Обрадовавшись, что можно щегольнуть туалетами, она надела свое самое лучшее платье — такой случаи представился ей впервые за весь месяц, что она жила вместе с сыном. Она произвела неотразимое впечатление. Та непринужденность, с какой она опустилась на стул рядом с Белизером, небрежно бросила перчатки в бокал и, поманив официанта, попросила меню, привела всех в восхищение. Надо было видеть, как она обращалась с этими чванными и высокомерными официантами! Она признала одного из них, того самого, который нагонял страх на Белизера. Он работал в ресторане на бульварах, где она иногда ужинала с д'Аржантоном после спектакля.

— Оказывается, вы теперь тут?.. Ну, чем вы меня будете кормить?

Она громко смеялась, высоко поднимала выступавшие из широких рукавов обнаженные руки, чтобы отхлынула кровь и они стали белее, звенела браслетами, гляделась в зеркало, висевшее напротив нее, посылала воздушные поцелуи сыну. Затем потребовала скамеечку под ноги, спросила сельтерской воды со льдом, словом, держала себя как женщина, часто бывающая в ресторанах. Пока она говорила, за столом царил почтительное молчание, как в

начале обеда. За исключением младших братьев Белизера, которые бесцеремонно, алчными глазами разглядывали браслеты Иды, пытаясь определить их стоимость, все прочие гости застенчиво молчали и боялись шевельнуться: эта дама сковывала их не меньше, чем официанты. Джек тоже не способен был оживить празднество. Брачная церемония настроила его на мечтательный лад, и он грезил о своей любви, о будущем, а все окружающее его нисколько не занимало.

— Послушайте! У вас тут не очень весело!.. — внезапно объявила Ида де Баранси, вдоволь насладившись легко доставшимся ей триумфом. — Что ж это вы, любезный Бель, приуныли? Больше жизни, черт возьми! Во — первых, вот что...

Она встала с места, держа в одной руке тарелку, а в другой — бокал, и воскликнула:

— Госпожа Белизер! Давайте поменяемся местами... Бьюсь об заклад, что ваш муж на меня не посетует!

Сказано это было так непосредственно, так от души, предложение Иды так обрадовало Белизера, а малыш Вебер стал так визжать, когда мать подняла его со стула, что неловкое молчание, которое нарушалось толь ко стуком вилок, уступило место веселому оживлению, обед, наконец, стал настоящим свадебным пиршеством. Все ели с аппетитом, а вернее сказать, воображали будто едят. Официанты сновали вокруг стола и, точно фокусники, выказывали чудеса ловкости, насыщая двадцать персон одной уткой или одним цыпленком, так умело нарезанными, что всякому доставался кусочек, и можно было даже попросить добавки. Зеленый горошек «по — английски» градом сыпался на тарелки. Была там и фасоль «по-английски», которую тут же, на краю стола, посыпали солью, перцем, поливали маслом (и каким маслом!). Готовя это сомнительное кушанье, официант криво улыбался. Но гвоздем пиршества было шампанское. За исключением Иды де Баранси, которая немало выпила его на своем веку, все остальные гости знали этот волшебный напиток только по названию, само слово «шампанское» было для них символом богатства, роскошной жизни, неведомых развлечений. С самого начала обеда все ожидали его с нетерпением и шепотом признавались в этом друг другу. Наконец показался официант, неся бутылку с серебряным горлышком. Вооружившись щипцами, он приготовился ее откупорить. Ида с нарочитым испугом зажала уши, она не упускала случая принять картинную позу, чтобы заставить полюбоваться своими прелестями; другие женщины, глядя на нее, тоже приготовились к оглушительному взрыву. Но никакого взрыва не последовало. Пробку вытащили самым спокойным образом, беззвучно, как вытаскивают обычные пробки, и официант, высоко подняв бутылку, помчался вокруг стола, бормоча: «Шампанское!.. Шампанское!.. Шампанское!..» Все протягивали ему бокалы, а он на этот раз показывал фокус с неисчерпаемой бутылкой. Пены в ней хватило тоже на двадцать персон, на дне каждого бокала оказалось немного терпкой жидкости, которую все с благоговением пили крошечными глоточками. Должно быть, в бутылке, которая обошла весь стол, еще кое-что осталось — Джек, сидевший напротив двери, видел, как официант вылил остатки себе в глотку. Как бы то ни было, слово «шампанское» обладает такими чарами, в каждой капельке этого вина заключено столько чисто французского веселья, что с этой минуты все гости оживились. У родственников Белизера шампанское вызвало прилив невероятной алчности. Они, как коршуны, набросились на стол и все, что можно, засовывали в карманы — апельсины, конфеты, печенье на прогорклом масле; они все бубнили, что лучше, мол, унести с собой, чем оставлять официантам. Внезапно со смехом и веселым шушуканьем г-же Белизер передали тарелку с поддельными конфетами, среди которых возвышался младенец из розового и голубого сахара — такой сюрприз обычно преподносят новобрачной. Однако малыш Вебер со своей завитой головою был уже, так сказать, в натуре, и потому славная женщина спокойно отнеслась к этой традиционной и несколько грубоватой шутке. Она засмеялась громче всех, но Белизер покраснел, как рак.

Потом настал черед песен. Первым поднялся Рибаро; он взглядом призвал всех к молчанию



и, приложив руку к сердцу, затянул хриплым голосом чувствительный романс, популярный в 1848 году, «Труд угоден богу»:

Зиждителя миров земные дети!

Исполним скромный, малый свой урок...

И пройдоха же был этот Рибаро! Он сразу сообразил, что надо спеть, чтобы очаровать работающих супругов, в доме которых он поселился. Но, чтобы не нагонять тоску на веселую компанию, он, закончив песню «Труд угоден богу», весело запел:

Мы в Шаронне заглянем к Савару,

Там осушим стаканчик вина...

Он знал сотни таких песенок. Знатного компаньона подобрали себе супруги Белизер! Какие чудесные вечера будут проводить они в доме на улице Пануайо!

Между тем официанты, без сомнения, обнаружили, что загребущие пальцы представителей рода Белизе ров нанесли изрядный урон столу — в мгновение ока остатки пиршества были убраны, а самый стол разъят на составные части, каковые были тут же прислонены к стенам. Свадебный обед был окончен. Гости оторопело уставились друг на друга. А над ними, и вокруг ни за перегородками, царила вакханалия. Всюду пели, плясали, под каблуками ходунном ходили полы. Послышался чей-то несмелый голос: «А не потанцевать ли и нам?»

Да, это было бы славно, но музыка стоит денег! Кто — то предложил плясать под музыку, которая доносилась со всех сторон. К несчастью, скрипки и корнет-а-пистоны так надрывались, мелодии кадрилией, полек, полек — мазурок, экосезов сливались в такой хаос звуков, что ничего толком нельзя было разобрать.

— Ах, если бы тут было фортепьяно! — вздыхала Ида де Баранки, пробегая пальцами по столику с таким видом, будто играла на этом инструменте.

Г-жа Белизер была тоже не прочь потанцевать, но она сама воспретила мужу всякие дополнительные траты. Тем не менее шляпник куда-то исчез вместе со своим компаньоном Рибаро, а минут через пять они возвратились в сопровождении деревенского скрипача. Усевшись на небольшом помосте с литровой бутылкой вина у ног, он приладил скрипку под подбородком и собрался играть сколько душе угодно, хоть до утра! Скрипач кричал с явным беррийским выговором: «Становитесь для контрданса!» Женщины предусмотрительно обвязывались вокруг талии платками, чтобы предохранить платья от жирных рук танцоров. Г-жа Белизер примешивала ко всем фигурам кадрили па из бурре, все это вносило в залу ресторана, украшенную золочеными розетками, аромат деревенского бала. Недаром дело происходило в пригороде, в этой пограничной зоне, где соприкасаются и перемешиваются деревенские и парижские нравы. Одна только Ида со своим Джеком выглядела тут белой вороной, будто свалилась с небес в самую гущу простонародья. Да и то ей так все здесь нравилось, что в голову приходила мысль, уж не обрела ли она тут, невзирая на свои барские замашки, что-то близкое ее сердцу, напомнившее ей далекую юность, когда она вела совсем иную жизнь. Она смеялась, от души веселилась, участвовала в хороводах, выстраивала пары для кадрили, для котильона и прочих танцев. Шелест ее шелкового платья и позвякивание

браслетов возбуждали в сердцах присутствующих восторг и зависть.

Итак, на свадьбе Белизера веселились от души. Новобрачный, довольный тем, что может испробовать свои новые башмаки, лихо отплясывал, путая все фигуры кадрили. В соседних помещениях, прислушиваясь к этому топоту, говорили: «Вот веселятся!» Официанты то и дело вносили графины с подслащенным вином, в полуоткрытую дверь заглядывали посторонние. Вскоре, как обычно бывает на такого рода празднествах, среди приглашенных стали появляться и незваные гости. Число их стремительно росло. Вся эта шумная орава плясала, вопила, а главное, предавалась обильным возлияниям, и г-жа Белизер уже начала не на шутку тревожиться, как вдруг булочник, ее хозяин, объявил, что принимает все расходы по балу на себя. Между тем приближался рассвет. Малыш Вебер давно уже храпел на диванчике, закутанный в материнскую ковровую шаль. Джек уже не раз делал Иде знаки, но она притворялась, будто ничего не замечает: она вся отдавалась нехитрому веселью. Есть же такие счастливые натуры, которые всюду умеют находить для себя развлечения! Джек был похож на старого папашу, который безуспешно пытается увести дочку с вечеринки.

— Пойдем, уже поздно!

Но она проносилась мимо в чьих-то объятиях.

— Сейчас!.. Погоди немного!

Постепенно веселье принимало такой игривый и вольный характер, что Джеку стало неловко за мать. Рибаро принялся дурачиться, и, пока бывшая г-жа Вебер добродетельно танцевала бур ре, он, бросив свою даму, стал ходить на руках, не выпуская изо рта трубки. В конце концов Джеку удалось схватить мать на лету, закутать ее в длинную накидку с капюшоном и усадить в последний фиакр, медленно кативший по аллее. Вслед за ними удалилась и чета Белизер, предоставив своим гостям веселиться, как им вздумается. В этот ранний утренний час поезда еще не ходили, не было и омнибуса. Молодожены решили вернуться домой пешком через Венсенский лес. Белизер вел жену под руку, а на плече тащил мальчугана. Свежий воздух показался им особенно ароматным после душной вальсы ресторана, который при первых солнечных лучах выглядел особенно мрачно и убого. Садик, где валялись пустые бутылки и стояли большие лохани, в которых мыли бокалы, проступал сквозь утренний туман и весь был усеян лоскутками тюля и кисеи, оторванными от платьев дам каблуками кавалеров. В нижнем этаже все еще пикикали на скрипке, официанты, полусонные, одуревшие, но по-прежнему хранившие сардоническое выражение на своих лицах, уже распахивали окна на втором этаже, выбивали ковры, сбрызгивали водой полы, словом, готовили новые декорации для очередного представления. Утомленные люди, бледные, с мутными глазами, тщетно искали экипажи, засыпали на скамейках, прямо перед рестораном, в ожидании первого поезда. У кассы при оплате счетов вспыхивали споры, возникали семейные сцены, разгорались ссоры, дело доходило и до драк... Супруги Белизер были уже далеко от этих мучеников веселья. Счастливые, степенные, высоко подняв головы, они быстро шагали по проселочной дороге, влажной от утренней росы. Вокруг щебетали птицы, слышался шум зарождающегося дня. Двигаясь вдоль больших Благоуханных аллей, затененных цветущими акациями, они, наконец, вступили в Париж. Они проделали немалый путь, но он не показался им длинным. Ребенок всю дорогу спал, доверчиво припав своей большой головой к груди Белизера, и не проснулся даже тогда, когда, войдя в свое жилище, около шести часов утра, отчим уложил его в плетеную кровать. Г-жа\* Белизер сняла свое великолепное платье цвета индиго, сбросила украшенный цветами чепец и надела большой синий фартук с нагрудником. Для нее воскресений не существовало. Хлеб нужен людям всегда. Пока сын и муж спали наверху как убитые, славная женщина уже начала свой ежедневный обход, и ее громкий возглас: «Кому хлеба?» — звучал у дверей покупателей жизнерадостно и бодро, как будто она решила возместить хотя бы часть расходов, связанных с пышной свадьбой.

Прошло немного времени, и чета Белизер убедилась, что Рибаро совсем не годится в компаньоны и что, приняв его в долю, они совершили ошибку. Уже во время свадебного пира Белизер понял, что Рибаро не дурак выпить. А уже через неделю выплыли наружу и прочие его недостатки. Главным его недостатком была неистребимая лень, приставшая к нему, как грязь к коже, она навсегда отбила у него охоту к труду. Он был слесарь, но никто никогда не видел его за работой, хотя он всюду ходил с молотком на плече и кожаным фартуком под мышкой. Фартук этот никогда не употреблялся по прямому назначению, зато он несколько раз в день служил подушкой Рибаро, когда тот, выйдя из кабака, где он порядком нагружался, испытывал неодолимую потребность отдохнуть на бульварной скамейке или просто на кирпичках полуразрушенного здания. Молоток был его неизменным атрибутом, но и только. Он гордо сжимал его в руке, подобно тому как статуя Земледелия на городских площадях сжимает рог изобилия, из которого, однако, ничего не сыплется. Каждое утро, выходя из дому, он говорил, размахивая молотком: «Пойду искать работу...» Надо полагать, однако, что этот жест, этот хриплый голос, терявшийся в зарослях всклокоченной бороды, и вытаращенные, сверкающие глаза отпугивали работу, ибо Рибаро ни разу не встретил ее на своем пути. Чтобы убить время, он слонялся по предместью, переходя из одного кабака в другой, «метался, как пантера», по выражению парижских рабочих, которым случалось видеть в воскресные дни в Зоологическом саду, как эти звери мечутся в клетке.

Сперва Белизеры проявляли терпение. У нового компаньона был такой внушительный вид, а кроме того, он прекрасно пел «Труд угоден богу». Но так как ко всему прочему у него оказался зверский аппетит, то супруги, гнувшие спину с утра до вечера, в то время как Рибаро целую неделю «метался, как пантера», и ничего не приносил в день субботней полочки, в конце концов возроптали. Г-жа Белизер полагала, что его следует без долгих разговоров выставить за дверь, вышвырнуть на улицу, на помойку, где шляпник, которому позарез нужен был компаньон, должно быть, и подобрал его. Но Белизера безоблачное семейное счастье и новые башмаки сделали еще добрее, и он уговорил жену немного подождать. Если еврей великодушен, то его милосердие поистине беспредельно.

— Как знать, — твердил Белизер, — а вдруг он исправится, переменится к лучшему?

Они решили, что когда Рибаро будет возвращаться домой, держась за стены и с трудом ворочая языком, ему не станут давать ужин: это было чувствительным наказанием для пьяницы, которого, как на грех, в такие дни особенно мучил голод. Невозможно было без смеху глядеть, какие он прилагал усилия, чтобы не покачиваться, и как он здоровался, не раскрывая рта. Однако разносчицу хлеба провести было не так-то легко, и нередко, когда она уже разливала суп и Рибаро протягивал ей свою тарелку, она неожиданно обрушивалась на него:

— И вам не совестно усаживаться за стол в таком непотребном виде?.. Думаете, я не замечаю, что вы опять под мухой?

— Разве?.. — вмешивался Белизер. — А мне показалось:..

— Довольно! Я внаю, что говорю. А ну, подымайтесь-ка и ступайте к себе на солому, живо!

Рибаро вставал из-за стола, брал молоток и фартук, что-то бормотал в оправдание, бросал отчаянные взгляды на суп, а потом, как побитая собака, забирался в конуру, где Белизер ютился до свадьбы. Во хмелю он никогда не буянил; его густая, всклокоченная, неопрятная борода скрывала безвольный рот порочного ребенка.

— Ну ладно! — говорил после его ухода Белизер, выпячивая свои добрые толстые губы. — Ладно уж! Дай ему супу!

— Тебя только послушай...

— В последний раз!! Ладно уж!

Г-жа Белизер некоторое время не шла на уговоры. Как всякая женщина из народа, работающая не меньше мужчины, она терпеть не могла бездельников, но в конце концов она смягчалась, и Белизер с сияющим видом уносил полную тарелку супа в каморку к Рибаро. Возвращался он сильно взволнованный.

— Ну, что он тебе сказал?

— Знаешь, мне так его жалко, у него такой убитый вид! Он уверяет, будто пьет с горя, потому что никак не может найти работу и сидит у нас на шее.

— А что ему мешает работать?

— Да говорит, никто его не берет, потому как нет у него пристойного платья, а вот если бы ему малость приодеться...

— Довольно! Мы уж и так на него немало одежды перевели... Зачем он продал скюртук, который ты, ничего мне не сказав, заказал ему к нашей свадьбе?

На это Белизеру нечего было ответить. И все же добрые люди делали еще одну попытку, покупали Рибаро рабочую блузу и штаны. И в одно прекрасное утро он уходил в свежестыранном белье и в шейном платке, заботливо повязанном г-жой Белизер. Целую неделю он не появлялся, а потом оказывалось, что он храпит в своем чулане. Большая часть его новой одежды куда-то исчезала; во время очередного краха ему удавалось спасти лишь молоток да неизменный кожаный фартук. После нескольких таких выходов супруги ждали подходящего случая, чтобы избавиться от этого втируши, который не только ничем не помогал семье, но стал для нее тяжелой обувью. Даже сам Белизер вынужден был это признать и частенько жаловался на Рибаро своему приятелю Джеку; тот лучше, чем кто-либо, понимал его горе, так как и сам обзавелся на редкость неудобным компаньоном, но таким, на которого он жаловаться не мог. Он слишком горячо его любил!..

## VII. ИДА СКУЧАЕТ

Первое посещение Этьоля г-жой де Баранси доставило Джеку много радости и одновременно много тревог. Он гордился тем, что снова обрел мать, но знал, до чего она сумасбродна, болтлива, несдержанна в речах и поступках. Он опасался, что мать не понравится его невесте, опасался тех внезапных прозрений, быстрых и суровых оценок, которые так легко возникают в юных умах, даже когда они не вполне постигают то, о чем берутся судить. Вначале все шло благополучно, и Джек немного успокоился. Если не считать того, что Ида высокопарно обратилась к Сесиль со словами «дочь моя» и обвила руками ее шею, все сошло довольно гладко. Но когда, после сытного и вкусного завтрака, с г-жи де Баранси соскочила ее напускная торжественность и она по своей привычке стала вульгарно хохотать, показывая красивые зубы, когда она принялась без умолку болтать, рассказывая самые невероятные истории, к Джеку вернулись все его опасения. Веселое возбуждение настроило ее на авантюрный лад, и она удивляла слушателей своими необычайными приключениями. Доктор Риваль упомянул о родственниках, живших в Пиренеях.

— Ах да, Пиренеи! — Ида вздохнула. — Гаварии, горные потоки, море льда!.. Я совершила туда путешествие лет пятнадцать назад с другом нашей семьи, испанцем, герцогом де Касарес, — это брат генерала..-. Теперь-то я понимаю, какой это был сумасброд... По его милости я раз двадцать чуть не сломала себе шею. Вообразите: мы во весь опор летели в

карете, в которую были впряжены четыре лошади. Наш экипаж был битком набит бутылками с шампанским! Ну и оригинал был этот душка-герцог!.. Я познакомилась с ним в Биаррице при весьма забавных обстоятельствах.

Сесиль в разговоре упомянула, что обожает море.

— Ах, дорогая крошка, если бы вы видели его так, как видела его я, неподалеку от острова Пальма, в штормовую ночь!.. Я сидела в салоне парохода с капитаном, довольно грубым господином, который настаивал на том, чтобы я выпила стакан пунша... А я отказывалась... Тогда этот мерзавец, потеряв голову, открывает окно на корме, берет меня вот так за шиворот — это был человек богатырской силы! — и держит над водой! Льет дождь, сверкают молнии, море бушует... Просто ужасно!

Джек пытался пресечь эти сомнительные воспоминания, но подобно тому, как каждая часть рассеченного червя продолжает жить и извиваться, рассказы Иды каждый раз возобновлялись с того самого места, на котором Джек обрывал их.

Между тем Сесиль держалась с матерью жениха почтительно и была с ней очень ласкова. Девушку только тревожило, что Джек был в то утро чем-то явно озабочен. Можно себе представить, что почувствовал бедный юноша, когда во время занятий он услышал, как девушка предложила его магери:

— Не хотите ли пройтись по саду?

Что могло быть естественнее? Но при мысли, что они останутся вдвоем, Джек затрепетал. Господи, что она там ей еще нагородит?.. Доктор объяснял ему урок, а он неотступно следил за матерью и невестой, которые шли рядышком по аллее сада. Сесиль — гибкая, стройная, сдержанная, как все по-настоящему элегантные женщины, — задевала подолом своей розовой юбки цветущий вдоль дорожек тимьян; Ида — величественная и все еще привлекательная — была слишком разряжена и манерна. На голове у нее кокетливо сидела шляпка с перьями — остаток былой роскоши. Она то шла вприпрыжку, кривляясь, как маленькая девочка, то внезапно останавливалась и чертила открытым зонтиком широкие круги в воздухе. Судя по всему, говорила только она. Слушая свою собеседницу, Сесиль время от времени смотрела вверх, на окно, где видны были склонившиеся друг к другу кудрявая голова ученика и увенчанная седой шевелюрой голова учителя. Впервые Джеку показалось, что урок тянется долго. У него отлегло от сердца только тогда, когда он оказался в лесу и, гуляя по тропинкам, почувствовал руку невесты, слегка опершейся на его руку. Знакомо ли вам это приятное ощущение, когда лодка под надутым парусом мчится, точно птица, разрезая волны так, что ветер свистит в ушах? Нечто похожее чувствовал влюбленный Джек всякий раз, когда шел под руку с Сесиль. Тогда ему казалось, что он победит все житейские трудности, все препятствия на своем пути — он черпал силы и бодрость в ее чистой любви, которая парила над ним в тех таинственных сферах, где обычно бушуют роковые вихри судьбы. Но в тот день присутствие матери нарушало все очарование. Ида решительно ничего не понимала в любви: она представлялась ей либо чем-то до нелепости сентиментальным, либо поводом для развлечения, чем-то вроде увеселительной прогулки. Указывая доктору на влюбленных, она то хихикала, то с глубокомысленным видом произносила: «Гм!.. Гм!» — или, опершись на его руку, начинала шумно и выразительно вздыхать, приговаривая: «Ах, доктор, какая чудесная вещь — молодость!» Но хуже всего было то, что на нее вдруг напал страх, как бы не были нарушены приличия, и тогда она принималась окликать молодых людей, находя, что они чересчур уж уединяются: «Дети! Не уходите так далеко!.. Мы хотим вас видеть!» При этом она многозначительно таращила глаза.

Несколько раз Джек подметил гримасу на добродушном лице доктора. Г-жа де Баранен явно раздражала его. Но в лесу было так хорошо, Сесиль была так нежна, слова, которыми они

перебрасывались, сливались с жужжанием пчел, с гудением мошкеры, кружившейся в ветвях дубов, с щебетаньем птишек, с журчаньем ручьев, с шорохом листвы, и бедный Джек в конце концов забыл о присутствии своей неугомонной мамы. Но с Идой никогда нельзя было быть спокойным, всегда можно было ожидать взрыва... Они решили ненадолго заглянуть к леснику. Увидев свою прежнюю хозяйку, тетушка Аршамбо рассыпалась в любезностях и комплиментах, однако ничего не спросила о д'Аржантоне — здравый смысл крестьянки подсказал ей, что о нем говорить не следует. Встреча с этой доброй женщиной, которая столько лет была свидетельницей ее совместной жизни с поэтом, глубоко взволновала бывшую г-жу д'Аржантон. Не притронувшись к угощению, которое тетушка Аршамбо наспех приготовила в горнице, она внезапно поднялась с места, стремительно вышла из дому и одна направилась по дороге в Ольшаник, торопливо шагая, будто кто-то ее звал. Ей хотелось снова увидеть

Parva domus.

Башенка дома больше, чем когда-либо, заросла плющом; плющ обвил ее снизу доверху и скрыл от взоров. Гирш, судя по всему, отсутствовал, — все ставни были плотно притворены, над садом нависла тишина, трава на крыльце говорила о том, что здесь давно уже никто не ходил. Ида на миг остановилась, будто прислушиваясь к тому, что ей нашептывали безмолвные, но красноречивые камни, потом отломил веточку ломоноса, перевесившую через ограду множество белоснежных звездочек, и, опустившись на ступеньки, долго вдыхала ее аромат, прикрыв глаза.

— Что с тобой? — спросил Джек, все это время в тревоге разыскивавший мать.

Она подняла голову; все лицо у нее было в слезах.

— Пустяки... — ответила она. — Расчувствовалась немножко... У меня здесь немало погребено...

И правда: охваченный печальным безмолвием домик с латинской надписью над входом был похож на гробницу... Ида вытерла слезы, но вплоть до самого вечера веселость так и не вернулась к ней. Тщетно Сесиль, которой сказали, что г-жа д'Аржантон рассталась со своим мужем, пыталась нежной предупредительностью отвлечь ее от тягостных мыслей, тщетно Джек, желая отогнать ее печальные воспоминания о прошлом, старался заинтересовать ее своими радужными планами на будущее.

— Знаешь, дорогой мой мальчик, — говорила она ему, когда они шли вечером на вокзал Эври, — я не буду часто приезжать сюда с тобой. Мне это слишком больно, рана еще не зарубцевалась.

Голос у нее дрожал. Стало быть, вопреки всему дурному, что сделал ей этот человек, вопреки тем унижениям и оскорблениям, которым он ее подвергал, она все еще любила его!

Несколько воскресений Ида не ездила в Этьоль. Джеку приходилось делить свой свободный день, посвящая Сесиль лишь его первую половину, а затем торопиться в Париж, чтобы успеть пообедать вместе с матерью. Из-за этого он лишался самого драгоценного в их встречах — прогулок в лесу, задушевных бесед, которые молодые люди вели в сумерках, сидя на скамейке в саду. Он возвращался под вечер поездом, где было пусто, но жарко, и переходил от безмятежного покоя леса к шумному воскресному предместью. Переполненные omnibusы; стоявшие прямо на тротуарах — перед дверьми маленьких кафе — столики, за которыми сидели целыми семьями, и отец, мать, дети коротали время за кружкой пива и иллюстрированными журналами; толпы народа, глазевшие, запрокинув голову, на большой зеленый шар, поднимающийся над газовым заводом; суeta и толкотня на улицах — все это так резко отличалось от только что покинутой им мирной деревенской глуши, что голова у него кружилась, а в глазах темнело. На улице Пануайо, гораздо более пустынной, все

напоминало провинцию: на тротуарах играли в волан, а во дворе большого примолкшего дома привратник и его приятели из жильцов сидели на стульях, наслаждаясь прохладой, которую поддерживали, то и дело поливая землю. Обычно, когда Джек приезжал из Этьоля, он заставлял мать в коридоре, где она беседовала с четою Левендре. Белизер и его жена каждое воскресенье на целый день отправлялись за город; они с удовольствием брали бы с собой и г-жу де Баранси, но она считала зазорным показываться на людях с такимн бедняками; к тому же ей куда больше нравилось водить компанию с супругами Левендре, бездельниками и болтунами. Г-жа Левендре была портниха, но уже два года ни к чему не притрагивалась — все ждала, когда ей удастся приобрести швейную машину за шестьсот франков, да, за шестьсот франков, не дешевле! А муж ее, у которого когда-то была Ювелирная мастерская, заявлял, что не станет гнуть спину на других. Единственным источником существования унылой четы были жалкие подачи родственников, и, кое-как сводя концы с концами, супруги постоянно злобствовали, возмущались, сетовали на все и на вся. Ида отлично спелась с этими отщепенцами, она сочувствовала их невзгодам и упивалась неискренними восторгами и льстивыми комплиментами, которые расточали ей эти люди, уповавшие на то, что она впоследствии даст им шестьсот франков на швейную машину или сумму, необходимую для того, чтобы можно было открыть свою мастерскую: она сказала им, что временно находится в стесненных обстоятельствах, но стоит ей только пожелать — и она опять разбогатеет. Да, в этом темном и душном коридоре раздавалось немало вздохов, поверялось немало тайн:

— Ах, госпожа Левендре!..

— Ах, госпожа де Баранси!..

Г-н Левендре, разработавший свою систему политического устройства, высокопарно излагал ее, и, будто вторя ему, из конуры, где спал пьяный Рибаро, доносился густой, монотонный храп. Левендре иногда уходили по воскресеньям к родственникам или к друзьям, либо из соображений экономии отправлялись на обеды, устраиваемые франкмасонами. В такие дни Ида, убегая от скуки, тоски и одиночества, искала прибежища в кабинете для чтения г-жи Левек, где Джек и находил ее.

Эта маленькая полутемная лавчонка была битком набита книгами с зелеными корешками, пропахшими плесенью, завалена всевозможными брошюрами, иллюстрированными журналами двухнедельной давности, солдатскими газетенками, ценою в одно су, и картинками мод, выставленными в витрине. Воздух и дневной свет проникали сюда только сквозь открытую дверь, стекла которой были сплошь оклеены разноцветными листками. Тут обитала старая, вернее сказать, древняя дама, манерная и неопрятная; она с утра до вечера делала из цветных ленточек украшения, наподобие тех, какие можно было видеть на ридикюлях наших бабушек. По слухам, г-жа Левек знавала Лучшие дни, во времена Первой империи ее папаша был важной персоной — привратником при каком-то дворце.

— Я крестница герцога Данцигского[43]...- с важным видом говорила она Иде.

Г-жа Левек принадлежала к числу уцелевших от прошлого и ныне уже вымирающих людей, каких еще можно встретить в удаленных от центра кварталах Парижа. — столица каждодневно выбрасывает их сюда, точно морская волна. Подобно запыленным книгам ее лавчонки, всем этим разрозненным романам с люстриновыми корешками и изорванными страницами, ее речи изобиловали романтическими, но изрядно потускневшими воспоминаниями о былом величии. Волшебное зрелище блестящего царствования, конец которого она еще застала, как будто навеки оставило в ее глазах сверкающий отблеск, и она так произносила слова «господа маршалы», что у вас перед глазами невольно возникала вереница пышных султанов на головных уборах, расшитых мундиров, аксельбантов и шапок, опущенных белоснежным горностаем. А сколько она знала анекдотов об императрице Жозефине, метких словечек жены маршала Лефевра![44] Особенно часто и охотно г-жа Левек

рассказывала историю о пожаре в австрийском посольстве в ночь знаменитого бала, который давала княгиня Шварценберг. Казалось, вся жизнь старухи была освещена заревом этого широко известного пожара, она до сих пор видела, как в его пламени мелькали фигуры блестящих маршалов и декольтированных дам с высокими талиями, с греческими и римскими прическами, до сих пор помнила, как император, в зеленом сюртуке и в белых лосинах, нес на руках по охваченному огнем саду лишившуюся чувств г-жу Шварценберг. Помешанная на знати, Ида де Баранси чувствовала себя, как рыба в воде, в обществе этой выжившей из ума старухи. Они часами сидели в темной лавчонке, упиваясь звонкими именами герцогов и маркизов, подобно тому, как торговцы древностями упиваются звоном старинных изделий из меди или поврежденных драгоценностей. Лишь изредка сюда заглядывал мастеровой, чтобы купить газетку за одно су, или модистка, которой не терпелось узнать продолжение зажигательного романа-фельетона: она отдавала за очередной выпуск два су, отказывая себе в табаке, если была стара, или в пучке редиски на завтрак, если была молода, но зато проглатывала новую порцию приключений Горбуна[45] или Монте-Кристо с такой жадностью, с какой набрасываются на романы парижане. К сожалению, у г-жи Левек были внуки, которые шили ливреи для слуг из Сен-Жерменского предместья — «портные, обслуживающие знать», как она выражалась, — и они раз в две недели приглашали ее на обед. В такие воскресенья г-же Баранси оставалось только одно — рыться в залежах г-жи Левек: тут были целые груды разрозненных томиков, облезлых, захватанных пальцами книгочеев из предместья. Между их истончившихся страниц попадались крошки хлеба, сами страницы были в жирных пятнах — все это говорило о том, что старые романы читались за едой. Глядя на эти истрепанные книги, нетрудно было догадаться, что их читают праздные девицы, нерадивые мастеровые; о литературных вкусах этих людей красноречиво свидетельствовали карандашные пометки и нелепые замечания на полях.

В унылом одиночестве Ида сидела у окна и читала романы до тех пор, пока у нее не начинало все мешаться в голове. Она читала, чтобы забыть и ни о чем не жалеть. В этом большом, населенном трудовым людом доме ей все было чуждо. Бывшая ключом жизнь, которая видна была в окнах напротив, внушала ее сыну бодрость и желание работать, а у нее вызывала нестерпимую скуку и горестное отвращение ко всему. Всегда печальная женщина, шившая у окна, и несчастная старушка, постоянно повторявшая: «Хорошо тем, кто в такую благодатную погоду живет в деревне», — нагоняли на нее еще большую тоску своими высказанными вслух или подавленными сетованиями. В жаркий летний день, под ясным, голубым небом окружающая нищета казалась особенно беспросветной. Воскресная тишина и безмолвие, которое нарушали только звонившие к вечерне колокола да щебетавшие ласточки, не только не успокаивали Иду, а, наоборот, угнетали ее. И она погружалась в воспоминания. Давние прогулки, поездки в экипаже, шумные завтраки на лоне природы — все это воскресало в ее памяти, приукрашенное сожалением, будто позолоченное последними лучами солнца. Но мучительней всего было вспоминать о совсем близких годах, которые она провела в Этьоле. Ах, какая это была жизнь! Веселые обеды, громкие голоса гостей, долгие беседы на итальянской террасе, и он! Прислонившись к столбу, вскинув голову и вытянув руку, он читает при лунном свете:

Как в бога веруют, я верую в любовь.

Где-то он сейчас? Что делает? Как мог он за три месяца не написать ей ни строчки? Ведь он ничего о ней не знает! Книга выскальзывала у Иды из рук. Ида погружалась в глубокое раздумье, а взгляд ее блуждал. Так сидела она, пока не приходил Джек, и тогда она изо всех сил старалась улыбнуться ему. Но он тотчас же догадывался о том, что творится у нее в душе. В комнате царил беспорядок, и мать, прежде такая щеголиха, была одета небрежно; весь день она просидела в выцветшем пеньюаре и ночных туфлях. Обед она не готовила.

— Видишь, я ничего не сварила. Невыносимая жара! А потом я что-то совсем приуныла.

— Приуныла? Почему? Значит, тебе не хорошо у меня? Ты, верно, скучаешь?



— Нет, с чего ты взял? Я вовсе не скучаю... Разве я могу скучать, когда ты со мной, дорогой Джек?

И она осыпала сына поцелуями, будто пыталась, уцепившись за него, удержаться на краю бездны, которая разверзлась перед нею.

— Пойдем куда-нибудь обедать, — предлагал Джек, — это развлечет тебя.

Но Иде не хватало самого главного развлечения: она была лишена возможности принарядиться, достать из шкафа, где они висели без дела, свои красивые туалеты, слишком изысканные, слишком причудливые в ее нынешнем положении, — в них невозможно было ходить пешком, а уж тем более в этом квартале. И для прогулок по этим убогим улицам Ида одевалась как можно скромнее. Тем не менее в ее костюме неизменно было что-то шокирующее: глубокий вырез корсажа, слишком завитые волосы, чересчур широкие складки на юбке, — и Джек нарочно напускал на себя чопорный вид, как бы защищая своей серьезностью родную мать, скорее походившую на развязную любовницу. Они выходили из дому и попадали в поток празднично одетых мелких буржуа и рабочих, которые длинной вереницей, друг за другом, медленно двигались по улицам, по бульварам, где помнили наизусть все вывески. Занятное это было зрелище: важные лица, странные манеры, сюртуки, которые морщатся между плечами, шали, сползающие вниз, вышедшие из моды платья, в которых щеголяют только по воскресным дням, когда отдыхают и прогуливаются по городу, когда по тротуарам столицы растекается шумная, гудящая толпа, вдоволь налюбовавшаяся фейерверками. Воскресные вечера уже омрачены заботой о завтрашнем дне, и это накладывает на них отпечаток усталости. Джек с матерью двигались в толпе, заходили в какой-нибудь ресторанчик в Баньоле или Роменвиле и обедали, надо признаться, невесело. Они пытались беседовать, что-то рассказывать друг другу о себе, но разговор не клеился, и это было едва ли не самое тягостное в их совместном существовании. Они слишком долго жили врозь, и судьбы их были так несхожи! Изнеженная Ида морщилась при виде простой ресторанной скатерти с неотстиранными винными пятнами, она брезгливо вытирала свой бокал и прибор, а Джек, за долгие годы трудной жизни привыкший к неприглядным сторонам бедности, просто не замечал небрежной сервировки. Зато его с каждым днем все больше и больше пробуждавшийся ум поражала вульгарность матери. Она и прежде была невежественна, но по крайней мере держала себя натурально, а теперь, после долгого пребывания в среде «горе-talантов», она еще переняла их эффектные позы и ходульные речи. Она постоянно употребляла ходячие, стертые фразы, подражала ораторским оборотам д'Аржантона, усвоила его резкий, непререкаемый тон и, как попугай, повторяла: «Я-то, я... Я-то, я...». Если ей случалось о чем-нибудь поспорить с Джеком, то она под конец пренебрежительно взмахивала рукой, что должно было обозначать: «Скажи спасибо, что я вообще снисхожу до спора с тобою, несчастным рабочим...» Людям до такой степени свойственна переимчивость, что супруги, прожившие несколько лет вместе, начинают удивительно походить один на другого, и Джек со страхом подмечал на красивом лице матери гримасы своего «врага»; у нее даже появилась кривая усмешка д'Аржантона, которая в пору безотрадного детства приводила его в ужас. Должно быть, ни одному скульптору так послушно не покорялась мяг-» кая глина, как послушно покорялась мнимому поэту, одержимому желанием властвовать, безропотная Шарлотта, из которой он лепил все, что хотел.

Пообедав, Ида и Джек любили гулять долгими летними вечерами в новом сквере Бют-Шомон, огромном, нагонявшем тоску, разбитом на древних высотах Монфокона: тут было много гротов, искусственных водопадов, колоннад, мостиков, переброшенных через овраги, а по склонам холма сбегали сосновые рощицы. Этот городской сад, которому искусственные красоты придавали, по мнению Иды де Баранси, нечто романтическое, казался ей грандиозным парком. Она с удовольствием волочила длинный подол своей юбки по усыпанному песком аллеям, восторгалась экзотическими растениями, руинами, на которых охотно начертала бы свое имя. Нагулявшись вволю, они взбирались на самый верх и

усаживались на скамейке, откуда открывался восхитительный вид на столицу. Синеватый в сумерках Париж, проступавший сквозь туманную дымку и плававшую в воздухе пыль, расстилался у их ног. Гигантская чаша, над которой поднимались теплые испарения и смутный гул! Холмы вокруг предместий описывали в предвечерней мгле громадный круг, его замыкал Монфокон, по одну сторону которого располагался Монмартр, а по другую — Пер-Лашез.

Вблизи развлекался народ. На дугообразных аллеях с косыми рядами деревьев мелкие лавочки в праздничных костюмах кружились под музыку, а наверху, на оставшихся за пределами сада склонах старых холмов, среди зеленых кустов, по красновато-желтой земле рассыпались семьи рабочих. Люди бегали вверх и вниз по склону, валялись на траве, со смехом съезжали с зеленых пригорков, запускали больших змеев, в вечерней тишине над головами гуляющих громко звенели веселые крики. Удивительная вещь! Прекрасный сквер, расположенный среди рабочих кварталов, как будто империя хотела этим польстить обитателям Ла Виллетт и Бельвиля, казался им слишком ухоженным, приглаженным, их сердцу были милее старые холмы, невозделанные и потому больше напоминавшие сельскую природу. Ида поглядывала на эти незатейливые игры не без презрения; ее поза, то, с каким утомленным видом она подпирала голову ладонью, то, как рассеянно чертила зонтиком узоры в песке, — все говорило: «Как это скучно!» Джек положительно не знал, как развеять упорную меланхолию, в которой пребывала мать. Ему хотелось свести знакомство с каким-нибудь приличным, не слишком вульгарным семейством, где бы Ида нашла слушательниц, которым она могла бы поверять свои наивные мечты. Однажды ему показалось, будто он нашел то, что искал. Это произошло в одно из воскресений в городском саду Бют-Шомон. Впереди них шел сгорбленный старик в темной куртке, с виду напоминавший провинциала, он вел за руки двух малышек, к которым все время наклонялся, слушая их детский лепет с тем искренним интересом и неизменным терпением, на какое способен только дедушка.

— Этого человека я знал, — сказал Джек матери. — Ну, конечно!.. Я не ошибся... Это господин Рудик.

Это и вправду был папаша Рудик, но до такой степени постаревший и одряхлевший, что бывший ученик завода Эндре не столько узнал своего мастера, сколько догадался, что это он, при виде ребятшек: неуклюжая, почти квадратная толстушка напоминала Зинаиду в миниатюре, а если бы на мальчугана надеть форменную фуражку таможенника, то получился бы Манжен.

— Да ведь это ты, паренек!.. — проговорил добрый старик, заметив подходившего к нему Джека, и печальная улыбка озарила его изрытое глубокими морщинами лицо.

Только тут юноша разглядел, что на шляпе Рудика — черный креп. Боясь разбередить свежую рану, он не посмел ни о ком его расспрашивать, но в эту самую минуту из-за поворота аллеи вышла Зинаида, которая казалась еще тяжеловеснее теперь, когда она сменила юбку с широкими складками на городское платье, а герандский чепец — на парижскую шляпку. Настоящий комод, но по-прежнему добродушный! Она опиралась на руку Манжена, бывшего бригадира, получившего повышение в чине и переведенного в парижскую таможню; на нем был мундир из тонкого сукна с золотыми нашивками на рукавах. Как, должно быть, Зинаида гордилась этим красивым офицером, как, должно быть, любила своего миленького Манжена, хотя, судя по всему, держала его в ежовых рукавицах и не давала ему рта раскрыть, все решая за него! Впрочем, было заметно, что Манжен ничего не имеет против того, что жена им командует; его открытая физиономия сияла, и он глядел на Зинаиду такими влюбленными глазами, что было понятно: если бы ему надо было снова свататься, то теперь, когда он ее хорошо узнал, он бы не потребовал никакого приданого! Джек представил мать этим славным людям. Они пошли дальше, разделившись на две группы, и он, понизив голос, спросил Зинаиду:

— Что произошло? Неужели госпожа Кларисса...

— Да, она умерла два года назад, погибла, утонула в Луаре. Несчастный случай, — ответила Зинаида и шепотом добавила: — Мы только так говорим: «несчастный случай», — из-за отца. Но вы-то ее знали, Джек, и вы поймете, что она погибла не от несчастного случая, а наложила на себя руки с горя, что больше не видится со своим Нантцем... Ей-богу, есть же такие мужчины!.. Они женщин точно зельем опаивают!

Добрая Зинаида и не подозревала, что от ее слов сердце у Джека больно сжималось, и он со вздохом посматривал на мать.

— Бедный папа! — продолжала Зинаида. — Мы боялись, что он этого не вынесет... А ведь он даже не догадывается о том, что на самом-то деле произошло... Не то бы... Когда Манжена перевели в Париж, мы взяли отца с собой, и теперь живем все вместе, в Шаронне, на Сиреновой улице: это маленькая улочка, вся в садах, возле самой таможни. Вы ведь его навестите, Джек?... Помните, как он любил своего «паренька»?.. Может, хоть вам удастся разговорить его. А то ведь он с нами даже словом не перемолвится... Только дети и занимают его, немного отвлекают... Подойдем к ним. А то он все оглядывается. Должно быть, догадался, что мы о нем говорим, а он этого терпеть не может.

Ида, о чем-то оживленно беседовавшая с Манженом, при виде Джека сразу замолкла. Что она могла ему рассказывать? Одна фраза папаши Рудика сразу все разъяснила Джеку:

— Как же, как же, такой говорун, ему еще так понравилась наша гречишная лепешка!

Джек понял, что разговор шел о д'Аржантоне. Папаша Рудик спросил Иду, как поживает ее муж, и она, довольная, что может поговорить о муже, начала подробно рассказывать о нем. Необыкновенный поэтический дар, литературная борьба, которую он вел, видное место, какое он занял во французской литературе, сюжеты драм и романов, роившиеся у него в голове, — обо всем этом она говорила обстоятельно и пространно, а собеседники слушали ее из вежливости, ровным счетом ничего не понимая. Они расстались, пообещав свидеться. Джек очень обрадовался встрече с этими славными людьми; он надеялся, что мать охотнее станет бывать у них, нежели проводить время с г-жой Левек и четою Левендре. Притом Манжены ваниманн в обществе гораздо более высокое положение, чем его друзья Беливеры. И он стал бывать у Зинаиды вместе с матерью. В этой тесной квартирке парижского предместья он увидел на камине те же самые раковины, морские губки и морских коньков, как в Эндре. На стене висели те же картинки на евангельские сюжеты, какие висели в комнате Зинаиды, тут же высился громадный, обитый железными полосами шкаф, — словом, вся обстановка бретонского жилища перекочевала в зону укреплений вокруг столицы и придала этому дому на окраине Парижа провинциальный вид. Джеку нравилось это жилище, — здесь все дышало чистотой и добропорядочностью. Но он довольно скоро заметил, что матери скучно в обществе Зинаиды, слишком трудолюбивой и положительной, по ее мнению. В доме Манженов, как и всюду, куда ее водил сын, Иде было не по себе, она томилась и выражала свое неодобрение тремя словами: «Тут мастеровым пахнет!»

Дом на улице Пануайо, коридор, комната, где она жила с сыном, хлеб, который она ела, — все, казалось ей, было пропитано особым запахом и привкусом, тем дурным воздухом, который стоит в населенных беднотой кварталах больших городов, где ютится столько людей, фабричным дымом, потом. «Тут мастеровым пахнет!» Стоило ей открыть окно — и этот запах поднимался со двора. Стоило ей выйти из дому — и на улице ее окутывали нездоровые испарения. Люди, которых она видела, даже ее Джек, когда он возвращался с завода в блузе, перепачканной машинным маслом, — все распространяло это неотделимый от бедности запах, и она не могла от него отделаться, он переполнял ее тоской и омерзением, которое порою приводит к самоубийству.

## VIII. КОТОРЫЙ ИЗ ДВУХ?

Однажды вечером Джек, вернувшись домой, застал свою мать необыкновенно возбужденной — глаза у нее блестели, лицо горело. Куда только девалась апатия, так тревожившая его?

— Д'Аржантон мне написал, — выпалила она. — Да, мой милый, в тот господин посмел мне написать... Четыре месяца не сообщал ничего о себе, а теперь, видя, что меня это совершенно не трогает, не выдержал... Он уведомляет меня, что возвращается в Париж после короткого путешествия, и сообщает, что если он мне нужен, то он в моем распоряжении.

— Надеюсь, он тебе не нужен? — в волнении спросил Джек, не спуская глаз с матери.

— Он мне нужен?.. Ты же видишь, что я отлично без него обхожусь... А вот ему, должно быть, худо без меня... Он же ничего не умеет делать, разве только перо в руке держать. Да, он, конечно, настоящий слугитель муз!

— Что ж ты ему ответишь?

— Отвечу?.. Наглецу, который посмел поднять на меня руку?.. Ах, ты, видно, меня не знаешь! У меня, слава богу, гордости достаточно... Я даже не дочитала до конца его письмо. Порвала на мелкие клочки и выбросила... Благодарю покорно! С такой женщиной, как 4, получившей воспитание в замке, привыкшей к роскоши, так не поступают!.. Мне до него и дела нет! Вот только любопытно было бы посмотреть на дом, теперь, когда меня там нет и некому наводить порядок. Представляю себе, какой там хаос! Если только... Да нет, быть того не может! Не каждый день попадаются такие дурехи, как я... Впрочем, ясно, что он скучал, раз надумал поехать на два месяца в... в... как, бишь, называется это место?..

Она преспокойно достала из кармана письмо, которое будто бы разорвала и выкинула, и нашла нужное ей название!

— Ах, да!.. Он ездил на воды, в Руайа... Какое сумасбродство! Ведь минеральные воды ему вредны... Ну, а в конце концов пусть поступает, как хочет. Теперь меня это уже не касается.

Ложь матери заставила Джека покраснеть, но он ничего ей не сказал. Весь вечер она, как неприкаянная, бродила по комнате и все что-то делала, — так обычно ведут себя женщины, стараясь лихорадочной деятельностью отвлечь себя от неотвязной мысли. К ней возвратились бодрость и энергия первых дней, она прибирала в комнате, подметала пол и, расхаживая с озабоченным видом, что-то бормотала, укоризненно покачивая головой. Она то и дело подходила к сыну, опиралась на его стул, обнимала Джека, гладила его по голове.

— Какой ты у меня молодец! Как ты усердно занимаешься!

А он как раз занимался сегодня плохо — он все время думал о том, что происходит в душе у матери.

«Меня ли она сейчас целует?»-неволью спрашивал он себя.

И подозрения его неожиданно подтвердились. Как будто бы пустяк, но пустяк этот показал, что прошлое вновь безраздельно завладело сердцем этой злосчастной женщины. Ида все время напевала любимый романс д'Аржантона — «Вальс листьев». Поэт обычно наигрывал его на фортепьяно в сумерки, не зажигая огня:

Кружитесь в вальсе, как безумцы.

Кружитесь, бедные листы!

Чувствительный и тягучий припев, который у нее выходил еще более сентиментальным оттого, что она растягивала последние слова, преследовал ее, как наваждение. Слова эти да и сама мелодия будили в Джеке горестные и постыдные воспоминания. Ах, если бы он только мог, какую суровую правду высказал бы он в лицо этой сумасбродке! С каким удовольствием он негодующим жестом швырнул бы в мусорную корзину все эти увядшие букеты, все эти мертвые, высохшие безумные листья, которые вальсируют в ее жалкой, пустой голове и вихрем кружатся в ней! Но ведь эта женщина — его мать. Он любил ее и стремился силой своего уважения к ней научить ее уважать себя, и он ничего ей не говорил. Однако это первое предупреждение о приближающейся опасности наполнило его душу ревнивыми муками, знакомыми людям, которые ждут измены. Уходя, он испытующе следил за выражением ее лица, а возвращаясь, пытался по улыбке, которой она его встречала, угадать ее мысли. Он боялся, как бы ее не увлекли лихорадочные бредни, которые одиночество нашептывает праздным женщинам. И вместе с тем не мог же он за ней следить! Ведь это же его мать! Джек никому бы не посмел признаться, какое недоверие он к ней испытывает. Между тем Ида после письма д'Аржантона стала усерднее заниматься хозяйством: убирала комнату, готовила сыну обед и даже извлекла на свет божий пресловутую книгу для записи расходов, в которой было столько зияющих пробелов. Но подозрения не оставили Джека. Ему была знакома история обманутых мужей, чью бдительность усыпляют преувеличенным вниманием, нежной заботливостью: они могут точно установить день, когда на них свалилась беда, по этим знакам тайных угрызений совести. Однажды, когда он возвращался с завода, ему показалось, будто Гирш и Лабассендр, шедшие под руку, завернули за угол улицы Пануайо. Что они тут делали, на окраине, вдали от набережной Августинцев, где помещалась редакция их журнала?

— К нам никто не приходил? — спросил он у привратника.

По уклончивому ответу Джек почувствовал, что его обманывают, что уже зреет какой-то заговор, направленный против него. В следующее воскресенье, когда он вернулся из Этьоля, Ида была так поглощена чтением, что даже не слышала, как он вошел. Он уже успел привыкнуть к тому, что она с увлечением читает романы, и потому не придал бы этому особого значения, но она поспешила спрятать какую-то книжонку, лежавшую у нее на коленях.

— Как ты меня напугал!.. — воскликнула она, намеренно преувеличивая испуг, чтобы отвлечь внимание сына.

— Что ты читала?

— Да так, ерунду... Как там наши друзья — доктор, Сесиль? Ты передал от меня поцелуй милой девочке?

Сквозь тонкую, почти прозрачную кожу на ее лице проступила краска, — эта женщина, подобно детям, лгала не задумываясь, но делала это весьма неумело. Испытующий взгляд сына приводил ее в замешательство, и она с раздражением встала.

— Тебе угодно знать, что я читала?.. На, гляди.

Он узнал атласную обложку «Обозрения», того самого журнала, который он впервые прочел в

кочегарке «Кидна», только теперь номер был чуть не вдвое тоньше, был отпечатан на низкосортной папиросной бумаге и приобрел тот неуловимый оттенок, какой отличает издания, не окупающие себя. А в общем, все осталось, как было, — та же нелепая напыщенность, те же трескучие пустые заголовки, бредовые исследования на социальные темы, наукообразные благоглупости, бездарные стихи. Джек не стал бы раскрывать этот смехотворный журнал, если бы его взгляд не упал на слова, открывавшие оглавление:

## РАЗРЫВ

Лирическая поэма виконта А мори д'Аржантона

Начиналась она так: к той, что УШЛА

Как! Не сказав «прости»! Не повернув лица!

Как! Даже не взглянув «а кров осиротелый!

Как...

За этим следовало строк двести — длинных, убористых, глядевших со страниц, как самая унылая проза; это было только вступление к поэме. Чтобы не оставлять читателя в заблуждении, в каждой строфе по несколько раз повторялось имя Шарлотты, так что уж яснее сказать было нельзя. Джек пожал плечами и швырнул журнал.

— И этот негодяй посмел прислать тебе свою галиматью?

— Да, несколько дней назад кто-то оставил номер у привратника... — неуверенно сказала Ида.

Оба умолкли. Ей безумно хотелось поднять журнал, но она не решалась. Наконец она наклонилась с самым небрежным видом. Джек заметил это и резко сказал:

— Надеюсь, ты не собираешься беречь это добро! Стихи ужасные.

Она выпрямилась:

— Не нахожу.

— Да полно! Напрасно он бьет себя в грудь, изображая волнение, напрасно каркает без конца: «Как! Как!» — это никого не трогает.

— Надо быть справедливым, Джек. — Голос у нее дрожал. — Бог свидетель, что я лучше, чем кто-либо другой, знаю д'Аржантона, знаю его тяжелый нрав, я много страдала по его вине. Как человека, я его не защищаю. Но его поэзия — это совсем другое дело. По общему мнению, во Франции никогда не было поэта, который умел бы так трогать сердца... Да, да, мой милый, трогать сердца... Пожалуй, на это был способен еще Мюссе, но ему недоставало возвышенного идеала. В этом смысле «Кредо любви» ни с чем нельзя сравнить. И все же я нахожу, что вступление к «Разрыву» еще трогательнее. Молодая женщина уходит рано утром в бальном платье, исчезает в тумане, даже не сказав «прости», не повернув лица...

Джек не выдержал и с возмущением воскликнул:

— Но ведь эта женщина — ты! И ты-то знаешь, почему ты ушла, что тебя вынудил на это его позорный поступок!

— Друг мой! — вся дрожа, заговорила она. — Напрасно ты стараешься меня унижить, разбередить рану тем, что напоминаешь о нанесенном мне оскорблении. Сейчаа дело идет

только о поэзии, а я смею думать, что понимаю в этом больше тебя. Если бы даже д'Аржантон оскорбил меня во сто крат сильнее, я и тогда бы признавала, что он принадлежит к числу литературных светил нашего времени. Есть люди, которые с пренебрежением отзываются о нем, но впоследствии они с гордостью станут говорить: «Я его знал... Я сидел у него за столом».

И она с величественным видом удалилась — ей надо было излить душу перед г-жой Левендре, своей неизменной наперсницей, а Джек сел за книги — занятия были для него единственной утехой, они приближали его к Сесиль — и вскоре услышал, как за стеной, у соседей, что — то громко читают: до него долетали восторженные восклицания, кто-то сморкался, сдерживал слезы.

«Надо держаться изо всех сил... Враг приближается...» — подумал бедный малый. И он не ошибся.

Амори д'Аржантон скучал без Шарлотты не меньше, чем она без него. Жертва и палач были в равной мере необходимы друг другу, каждый из них на свой лад тосковал в разлуке. После ухода Шарлотты поэт принял позу человека, пораженного в самое сердце, и на его крупном бледном лице застыло драматическое, можно даже сказать байроническое, выражение. Он появлялся в ночных ресторанах, в пивных, куда заходил поужинать в сопровождении клики льстецов и лизоблюдов, говорил с ними о

ней, только о

ней. Ему хотелось, чтобы сидевшие вокруг мужчины и женщины поясняли друг другу:

— Это д'Аржантон, большой поэт... Его оставила любовница... Он ищет забвения.

Он и впрямь искал забвения, ужинал в городе, не ночевал дома, но вскоре ощутил усталость от этой бестолковой и дорогостоящей жизни. Черт побери, разумеется, это шикарно — стукнуть ладонью по столу в ночном ресторане и крикнуть: «Человек! Порцию абсента, только не разбавленного!..» — и услышать шепот сидящих кругом провинциалов: «Он губит себя... И все из-за женщины...» Но когда здоровье уже не то, когда, крикнув: «Порцию абсента, да только неразбавленного!», ты вынужден тут же шепнуть официанту: «Разбавьте как следует!», то в этом уже не слишком много геройства. За несколько дней д'Аржантон испортил себе желудок, пресловутые «припадки» происходили теперь гораздо чаще, и тут-то отсутствие Шарлотты сказалось в полной мере. Какая еще женщина была бы в силах сносить его постоянные жалобы, неукоснительно соблюдать часы приема порошков и целебных отваров и подавать их поэту с не меньшим благоговением, чем г-н Фагон[46] подносил лекарства великому королю? Больной опять стал капризным, как ребенок. Он боялся оставаться один, просил Гирша или кого-нибудь еще ночевать у него в комнате, на диване. Вечерами в доме было особенно мрачно, потому что вокруг царил беспорядок, на всем лежал слой пыли, которую женщины, даже такие, как сумасбродка Ида, умеют ловко вытирать. Камин не желал топиться, лампа светила тускло, из-под дверей дуло, и этот избалованный эгоист, лишившись привычных удобств, искренне сожалел о своей подруге. Он так старательно разыгрывал страдальца, что в конце концов уверовал в это сам. Чтобы рассеяться, он уехал на воды, но поездка не принесла ему пользы, о чем можно было судить по унылому тону его писем.

«Бедняга д'Аржантон прислал мне грустное письмо...»- говорили друг другу его достойные приятели, и вид у них был при этом и сокрушенный и довольный. Он всем присылал «грустные письма». Они заменяли ему «уничтожающие слова». На водах, как и в столице, его точила неотвязная мысль: «Эта женщина отлично обходится без меня, она счастлива, потому что с ней сын. Он ей заменяет все, даже меня». Эта мысль приводила его в отчаяние.

— Напиши об этом поэму, — надомил его Моронваль, заметив, что д'Аржантон возвратился

в таком же расстройстве чувств, в каком уехал. — Тебе станет легче.

Д'Аржантон немедленно принялся за работу и, подбирая рифмы, не изменяя своему правилу — писать без помарок, довольно скоро накропал вступление к поэме «Разрыв». Однако созданный им опус не только не успокоил поэта, он разбредил его рану. Следуя своей привычке все преувеличивать, он нарисовал идеальный образ Шарлотты, гораздо более прекрасной и возвышенной, чем она была в жизни, и вознес ее над землей так высоко, как только ему позволило его вымученное вдохновение. С этой поры он больше не в силах был терпеть разлуку. Как только вступление к поэме было опубликовано в «Обзрении», Гиршу и Лабассендру было поручено доставить номер журнала на улицу Пануайо. Закинув удочку с приманкой и окончательно поняв, что он не может жить без Шарлотты, д'Аржантон решил все пустить в ход. Он завил волосы, нафабрил усы, навел на себя лоск, нанял фиакр, который должен был ждать его у дверей, и явился на улицу Пануайо в два часа пополудни, когда дома бывают одни только женщины, а из всех заводских труб предместья поднимаются к небу клубы черного дыма. Сопровождавший его Моронваль вылез, чтобы переговорить с привратником, и тотчас вернулся:

— Можешь идти... На седьмом этаже, в самом конце

коидаа... Она там.

Д'Аржантон поднялся по лестнице. Он был бледнее, чем обычно, сердце его учащенно билось. Поистине человеческая природа полна загадок, коль скоро у подобных людей существует сердце, да к тому же еще способное учащенно биться! Впрочем, его привела в волнение не столько любовь, сколько все, что было с нею связано: романтическая сторона этой поездки, экипаж, стоящий на углу, будто при похищении, а главное, злорадное чувство, переполнявшее его, когда он представлял себе, как будет обескуражен Джек, возвратившись с завода и увидев, что пташка улетела из гнезда. План у д'Аржантона был такой: он неожиданно предстанет перед Шарлоттой, упадет к ее ногам, воспользуется ее волнением, замешательством, которое вызовет его внезапный приход, заключит ее в объятия, скажет: «Пойдем, уедем отсюда!», усадит ее в фиакр — и с богом! Если только она не переменялась за это время, то, конечно, не устоит перед соблазном. Вот почему д'Аржантон не предупредил ее о своем приезде, вот почему он осторожно шел по коридору, где из каждой трещины сочилась нищета, а во всех дверях торчали ключи, словно говоря: «Украсть тут нечего... Входи, кто хочет».

Даже не постучав, он распахнул дверь и вошел, проворковав с таинственным видом:

— Это я!

Жестокое разочарование, вечное разочарование и на сей раз постигло этого человека, как всегда, когда он становился на ходули. Вместо Шарлотты перед ним предстал Джек. По случаю семейного праздника у владельцев завода он в тот день не работал и весь ушел в свои книги, а Ида, лежа на кровати, за пологом, по обыкновению отдыхала — так она старалась хоть на несколько часов усыпить свою тоску, отдохнуть от томительного безделья. Оторопев, мужчины молча смотрели друг на друга. Впервые на стороне поэта не было преимущества. Прежде всего он был в чужом доме, а потом не так-то просто принять высокомерный тон по отношению к высокому юноше с умным и гордым лицом. Джек стал красив и чем-то походил на мать, что еще больше выводило любовника из равновесия.

— Что вам угодно? — спросил Джек, стоя у порога и преграждая ему путь.

Д'Аржантон сперва покраснел, потом побледнел.

— Я полагал... — забормотал он. — Мне сказали, что ваша матушка тут.



— Она и в самом деле тут, но с нею я, и вы ее не увидите.

Все это было произнесено быстро, тихим голосом, в котором звучала ненависть. Затем Джек шагнул к любовнику матери с угрожающим видом — так по крайней мере показалось д'Аржантону, — тот попятился, и оба оказались в коридоре. Ошеломленный, сбитый с толку, поэт попытался призвать на помощь свою обычную самоуверенность, для чего, как всегда, встал в позу.

— Джек! Между нами давно возникло недоразумение, — начал он величественно и вместе с тем взволнованно. — Но теперь, когда вы стали взрослым и серьезным человеком, когда вашему пониманию многое стало доступно, этому недоразумению пора положить конец. Я протягиваю вам, милый мальчик, свою руку, руку честного человека, на которого всегда можно положиться.

Джек пожал плечами.

— К чему вся эта комедия, сударь?! Вы меня ненавидите, а я питаю к вам отвращение...

— С каких пор, Джек, мы сделались непримиримыми врагами?

— Думаю, что с первого дня знакомства. В моем сердце с детства жила ненависть к вам. Да и разве мы можем не быть врагами? Как иначе могу я вас назвать? Кем вы для меня были? Зачем я только вас узнал?! Если даже и бывали минуты, когда я думал о вас без гнева, то разве мог я о вас думать, не краснея от стыда?

— Это верно, Джек, я признаю, что в наших отношениях было много ложного, совершенно ложного. Но не станете же вы возлагать на меня ответственность за то, в чем повинен случай, роковая судьба... Да и потом, мой дорогой, жизнь не роман... и не следует требовать от нее...

Джек прервал эти пустопорожние рассуждения, на которые был так падок д'Аржантон.

— Вы правы. Жизнь — не роман, напротив, это вещь весьма серьезная, так и следует к ней относиться. И лучшее тому доказательство-это то, что у меня каждая минута на счету и я не могу позволить себе роскошь тратить время на пустые разговоры... Десять лет моя мать была вашей служанкой, вашей вещью. Что выстрадал за эти годы я, мне не позволяла говорить гордость, но не об этом сейчас речь. Теперь мать живет со мной. Она вернулась ко мне, и я буду удерживать ее всеми доступными мне средствами. Вам я ее никогда не отдам... Да и зачем она вам?... Чего вы еще от нее ждете?... У нее появились седые волосы, морщины... Она так много плакала по вашей вине!.. Она уже не та красивая женщина, которой можно хвастаться как любовницей. Теперь она только мать, моя мама, оставьте же ее мне!

Они стояли друг против друга на мрачной и грязной площадке, куда время от времени доносился визг детей и отголоски шумных споров, которые часто возникали в этом большом, населенном, точно улей, доме. То было достойное обрамление для унижительной и горькой сцены, где за каждым словом стояло что-то постыдное.

— Вы ошибаетесь касательно цели моего прихода, — проговорил поэт, сильно побледнев, несмотря на свой непомерный апломб. — Я знаю, как щепетильна Шарлотта, знаю, какими скромными средствами вы располагаете. И вот я пришел на правах старого друга... осведомиться, не нуждается ли вы в чем-нибудь, не требуется ли моя помощь.

— Мы ни в ком не нуждаемся. Моего заработка вполне достаточно для нас обоих.

— Вы стали очень горды, любезный Джек... Прежде вы таким не были.

— Это правда, и потому ваше присутствие, которое я прежде терпел, теперь для меня невыносимо. Предупреждаю вас, что больше я не потерплю вашего оскорбительного для меня присутствия.

Вид у Джека был такой решительный, даже угрожающий, взгляд его так явно подтверждал эти слова, что поэт, не проронив ни звука, ретировался, пытаясь сохранить достоинство, и стал медленно спускаться с седьмого этажа! Его элегантный костюм и тщательно завитые волосы казались тут на редкость неуместными и давали наглядное представление о тех причудливых связях между людьми разных сословий, которые рождают столько контрастов во всех концах этого непостижимого Парижа. Убедившись, что д'Аржантон удалился, Джек вернулся к себе. У дверей его ждала Ида, бледная как полотно, непричесанная, с распухшими от слез глазами.

— Я тут стояла... — тихо сказала она. — Я все слышала, все, даже то, что я постарела и что у меня морщины.

Он подошел к ней, взял ее за обе руки и посмотрел ей прямо в глаза:

— Он еще недалеко ушел... Хочешь, я его верну?

Она высвободила руки и, не задумываясь, бросилась ему на шею, подчиняясь одному из тех порывов, которые не позволяли ей окончательно опуститься.

— Нет, дорогой Джек! Ты прав... Я — твоя мама, отныне я только твоя мама, и никем другим быть не хочу.

Через несколько дней после этой сцены Джек написал доктору Ривалю следующее письмо:

«Друг мой, отец мой! Все кончено, она меня покинула и вернулась к нему. Произошло это при таких тяжелых обстоятельствах и так внезапно, что удар был для меня особенно мучительным... Увы! Я вынужден жаловаться на родную мать. Было бы достойнее умолчать об этом, но я не в силах. Я знавал в детстве несчастного негритенка, который все повторял: «Если бы люди не умели вздыхать, они бы задохнулись». Никогда еще я так глубоко не понимал этих слов, как теперь. У меня такое чувство, что если я не напишу Вам это письмо, не вздохну полной грудью, то горе, сдавившее мне сердце, не даст мне ни дышать, ни жить. Я даже не в силах дожидаться воскресенья. Это еще так долго, а потом, при Сесиль я не решился бы заговорить... Помнится, я Вам уже рассказывал, какой разговор произошел между мною и этим человеком. С того дня я стал замечать, что моя несчастная мать затосковала; я понял, что принятое ею решение непосильно для нее, и решил перебраться в другой квартал, чтобы немного развлечь ее, развеять ее печаль. Я хорошо понимал, что разгорелась битва и что, если я хочу ее выиграть и сохранить возле себя маму, я должен пустить в ход любые средства, пойти на всевозможные хитрости. Маме не нравились ни наша улица, ни наш дом. Надо было подыскать место более приятное для глаз, где бы ей легче дышалось и где бы она меньше жалела о набережной Августинцев. И вот я снял в Шаронне, на Сиреневой улице, домик в глубине сада: там были три маленькие комнаты, заново отделанные, оклеенные свежими обоями. Я обставил нашу квартирку несколько более удобной и изящной мебелью. Все мои небольшие сбережения (простите меня за то, что я ввожу Вас в такие подробности, но я поклялся ничего от Вас не скрывать), все, что я скопил за полгода, чтобы получить возможность сдать экзамены и внести плату за учение, на это ушло, но я не сомневался, что Вы меня одобрят. Белизер и его жена помогли мне все устроить на новой квартире, приняла в этом участие и славная Зинаида, — она живет вместе с отцом на той же улице, и я надеялся, что соседство этих людей будет приятно моей бедной маме. Все это я держал в тайне, собираясь, точно влюбленный, сделать ей сюрприз, в возникшей борьбе с д'Аржантоном мне надо было бороться с моим врагом, с моим соперником его же оружием. Право, мне казалось, что ей там будет хорошо. Сиреневая улица, тихая, как деревенская улочка, находится в самом конце пригорода; из-за оград там

свешиваются ветки деревьев, из-за дощатых заборов несется пение петухов — словом, я думал, что маме все должно было прийти по душе, чем-то напомнить ту жизнь в деревне, о которой она так часто с грустью вспоминала.

Вчера вечером все в доме было, наконец, готово для ее переезда. Белизер должен был сказать маме, что я жду ее у Рудиков, и прийти с ней в обеденный час. Я уже был на месте задолго до них и, радуясь, как ребенок, с гордостью расхаживал по нашей квартирке, где все блестело, где на окнах висели красивые светлые занавески, а на камине стояли большие букеты роз. Вечер был прохладный, я развел огонь, и комната приобрела вид обжитого, уютного жилища, а у меня потеплело на душе... Но вдруг — не знаю, поверите ли Вы мне? — мое радостное настроение было внезапно нарушено мрачным предчувствием. В голове, как электрическая искра, мгновенно вспыхнула уверенность: «Она не придет!» Тщетно я называл себя глупцом и, чтобы отвлечься, при\*двигал к столу стул для мамы, готовил для нее прибор, прислушивался, не прозвучат ли ее шаги на тихой улице, переходил из комнаты в комнату, где все ее ожидало. Я уже твердо знал, что она не придет... На протяжении всей моей жизни я всегда предугадывал, что меня в скором времени ждет какое-нибудь жестокое разочарование. Можно подумать, что судьба, готовясь нанести удар, из сострадания предупреждает меня об этом, чтобы мне не так было больно. Мать не пришла. Белизер явился один, очень поздно, и принес мне от нее короткую записку. Несколько наспех нацарапанных слов извещали меня, что д'Аржантон опасно заболела и она сочла своим долгом вернуться, чтобы сидеть у его изголовья. Как только он поправится, она снова переедет ко мне. Заболел! Об этой уловке я не подумал. Ведь я тоже мог бы начать жаловаться на недомогание и удержать ее возле своей постели... Ах, негодяй, как он хорошо ее знает! Он хорошо изучил эту добрую, но слабую женщину, которая привыкла всем для него жертвовать, вечно его опекать! Вы ведь его лечили от этих странных припадков — они проходили тут же, за столом, после вкусного, сытного обеда. Теперь к нему вернулась эта хворь. Но мать, без сомнения, только ждала случая снова войти к нему в милость и охотно клюнула на эту приманку. Боюсь, что, если бы захворал я, захворал серьезно, она бы, чего доброго, не поверила!.. Но вернемся к моей прискорбной истории. Вообразите, я сижу один в снятом мною флигельке и после всей суеты, приложив столько усилий и зря потратив столько денег, узнаю, что все мои заботы и приготовления ни к чему! Ах, как жестоко, как жестоко поступила она со мной!.. Я не захотел оставаться в новой квартире. Я вернулся в свою прежнюю комнату. Уютный домик казался мне слишком печальным, точно дом, где недавно умер близкий человек, — мне казалось, что мама словно бы уже жила там. Я ушел, оставив в очаге еще тлевшие угли, лепестки стоявших на камине роз уже начинали неслышно падать на его мраморную доску. Дом арендован мною на два года, и я оставил его за собой на этот срок, — с таким же суеверным чувством мы надолго оставляем гостеприимно открытой дверцу клетки, откуда улетела наша любимая птица. Если мама вернется, я перееду туда вместе с ней. Если же она не вернется, один я там жить не стану.

Жить в одиночестве было бы слишком печально, это было бы похоже на траур... Теперь я Вам обо всем рассказал. Надеюсь, мне незачем прибавлять, что письмо это написано Вам и только Вам; Сесиль читать его не следует. Мне было бы очень стыдно. Боюсь, что если она узнает обо всех этих низостях, то, чего доброго, сочтет, что и на меня, на мою чистую любовь к ней они накладывают какую-то тень. А вдруг она меня разлюбит?.. Ах, мой добрый друг, что случилось бы со мной, если бы на меня обрушилась еще и эта беда! У меня теперь нет никого на свете, кроме нее. Ее любовь — для меня все. В минуту самого безысходного отчаяния, когда я оказался один в пустом доме, где все, казалось, с насмешкой глядело на меня, в голове у меня была только одна мысль, в душе-только одна надежда: Сесиль!.. А вдруг и она меня оставит?.. Боже!.. Самое страшное в измене любимого нами человека состоит в том, что после нее к нам в сердце закрадывается боязнь новых измен. Но как я могу допустить такую мысль? Сесиль дала мне слово, дала мне обещание, а ведь она никогда никого не обманывала».

## IX. СЕСИЛЬ ОТКАЗЫВАЕТ ДЖЕКУ

Он еще долго верил в то, что мать возвратится. Утром, вечером, когда он в полной тишине сидел за книгами, ему часто казалось, будто он слышит шелест ее платья в коридоре, ее легкие шаги возле дверей. Когда он бывал у Рудиков, то непременно заглядывал во флигелек на Сиреновой улице, надеясь, что вдруг дом открыт, что Ида поселилась в этом мирном жилище, адрес которого он ей сообщил: «Дом тебя ждет... Он целиком в твоём распоряжении... Можешь переехать, когда тебе вздумается...» Она ему ничего не ответила. Он был покинут, на этот раз — бесповоротно, навсегда.

Джек был безутешен. Когда мать причиняет боль своему ребенку, то рана особенно мучительна, ибо жестокость эта противна законам естества, она воспринимается как роковая ошибка судьбы или как божья кара. Но Сесиль была просто волшебница. Ей были ведомы целительные силы природы — цветы, лесные ароматы, умиротворяющая тишина полей. Ей была ведома тайна волшебных слов, приносящих покой, пристальных взглядов, вливающих силы, а ее деликатная, неистощимая нежность помогала Джеку сносить суровость судьбы. Огромной поддержкой был для него труд, упорный, неистовый труд, — он подобен тяжелым и стеснительным доспехам, но надежно защищает от скорби. Пока мать жила с ним, она часто, сама того не желая, мешала ему заниматься. Беспокойный и переменчивый нрав вызывал у нее самые неожиданные желания: внезапно она начинала одеваться, собираясь на прогулку, но, вдруг решив остаться дома, тут же сбрасывала шляпку и шаль. Она была бы рада не мешать сыну, но все, что она для этого делала, было так неуклюже и еще больше мешало ему! Теперь, когда мать уехала, он много успевал и наверстывал упущенное. Каждое воскресенье он ездил в Этьоль и сам чувствовал, что с каждым разом растет его любовь, растут и его познания. Доктор восхищался успехами своего ученика: если дело так и дальше пойдет, говорил он, то через год Джек будет уже бакалавром и сможет поступить на медицинский факультет. При слове «бакалавр» юноша улыбался от удовольствия, а когда рассказывал об этом Белизерам — после очередного запоя Рибаро Джек снова стал их компаньоном, — небольшая мансарда на улице Пануайо делалась как будто просторнее и светлее. Разносчица хлеба тоже воспылала жаждой знаний. По вечерам, покончив с починкой и штопкой, она, жертвуя отдыхом, требовала, чтобы муж учил ее грамоте, и он показывал ей буквы, тыча в них своим квадратным пальцем, который почти совсем закрывал их. Доктор Риваль был в восторге от успехов Джека, но здоровье ученика беспокоило его. Пришла осень, и у юноши опять появился кашель, щеки у него впали, в глазах появился лихорадочный блеск, руки горели огнем.

— Не нравится мне это, — говорил добрый старик, с тревогой глядя на своего ученика. — Ты слишком много занимаешься, голова у тебя постоянно работает, ты не даешь ей ни минуты передышки... Не горячись, остуди свой пыл... У тебя еще много времени впереди, черт побери! Сесиль никуда от тебя не уйдет.

Нет, конечно, она никуда не уйдет! Никогда еще она не была так ласкова, так внимательна, так близка ему душой. Видимо, она понимала, до какой степени ему всю жизнь недоставало нежности, ей хотелось, чтобы обиженный судьбой юноша обрел в ее любви необходимое ему счастье. Именно это и прищпоривало нашего друга Джека, это его и подогревало, это и порождало в нем безмерное трудолюбие. Отрывая время у сна, он работал по семнадцать часов в сутки, но усталости не ощущал. Трудовой азарт умножал его силы, рукоятка пресса на заводе Эссендеков казалась ему не тяжелее пера.

Человеческие возможности поистине неисчерпаемы. Джек, пренебрегавший отдыхом, изнурявший себя ночными бдениями, в конце концов, подобно индийским факирам, пришел в

состояние такого лихорадочного возбуждения, когда боль почти сладостна. Он готов был благословлять холод в мансарде, который уже в пять утра пробуждал его от крепкого сна, какой бывает только в двадцать лет, готов был благословлять сухое покашливание, мешавшее ему уснуть до глубокой ночи. Случалось, что, сидя за столом, он внезапно чувствовал удивительную легкость во всем теле, непостижимую ясность мысли, его ум и память необычайно обострялись, но одновременно им овладевала крайняя слабость. Ему казалось, будто он весь растворяется и уносится в неведомые миры. И тогда перо само скользило по бумаге, а в книге не было такого трудного места, которого бы он не мог одолеть. Джек, без сомнения, успешно прошел бы весь свой нелегкий путь, но при одном непременном условии: на дороге, по которой он несся с головокружительной быстротой, не должно было возникать никаких препятствий. И в самом деле, при таких обстоятельствах опасен даже слабый удар, а его ожидал удар сокрушительный.

«Завтра не приезжай. Нас не будет целую неделю.

Риваль».

Джек получил эту депешу в субботу вечером, когда г-жа Белизер уже гладила его белую сорочку, а сам он радостно улыбался, как улыбаются люди накануне праздника. Внезапный отъезд друзей, короткая деловая депеша, холодный, казенный шрифт вместо знакомого почерка — все это его испугало. Он ждал письма от Сесиль или от доктора: он надеялся, что оно разъяснит тревожную тайну, — но письма не было. Целую неделю Джек жил во власти страха, от лихорадочной тревоги переходил к смутной надежде; достаточно было облаку заслонить солнце, чтобы сердце его мучительно сжималось, а когда солнышко вновь проглядывало, на душе у него светлело.

На самом деле ни доктор, ни Сесиль никуда не уезжали. Риваль удерживал Джека в Париже для того, чтобы постепенно подготовить влюбленного к страшному удару: ему предстояло сообщить несчастному юноше о внезапном, беспримерном решении Сесиль, которое, как надеялся старик, она еще могла переменить. Все произошло неожиданно. Как-то вечером, возвратившись домой, доктор не узнал внучки: на ее лице появилось какое — то мрачное, непреклонное выражение, побелевшие губы были плотно сжаты, красивые темные брови сошлись у переносицы. Тщетно он пытался во время обеда вызвать у нее улыбку, потом как бы невзначай обронил:

— В воскресенье, когда приедет Джек...

Она резко оборвала его:

— Я не хочу, чтобы он приезжал...

Старик оторопел и с испугом воззрился на нее. Побелев как полотно, она твердо повторила:

— Я не хочу, чтобы он приезжал... Не хочу, чтобы он к нам ездил.

— Что произошло?

— Нечто очень важное, дедушка: я не могу стать женой Джека.

— Не можешь?... Ты меня просто пугаешь. Что случилось?

— Ничего не случилось, просто мне многое открылось. Я не люблю его, я ошибалась.

— Ах ты господи! Что же это такое? Сесиль, дорогая моя, опомнись! Вы что, поссорились? Но ведь это пустяки!

— Нет, дедушка, клянусь тебе: это не пустяки. Я люблю Джека, как брата, но и только. Я

пыталась полюбить его по-настоящему, но теперь понимаю, что это невозможно.

Доктор вздрогнул; в голове у него промелькнуло воспоминание о дочери.

— Ты любишь другого?

Она покраснела.

— Нет, нет, никого я не люблю! Но я не хочу выходить замуж.

В ответ на все уговоры доктора, на все его доводы Сесиль твердила одно:

— Я не хочу выходить замуж.

Он попытался подействовать на ее самолюбие. Что будут говорить в округе? Молодой человек, мол, ездил чуть не целый год, все на него давно смотрели как на жениха... Потом он решил пробудить в ней сострадание и при этом расчувствовался сам:

— Подумай, какой страшный это будет для него удар. Ты разобьешь ему жизнь, погубишь все его будущее.

Судорога пробежала по лицу Сесиль: так глубоко была она взволнована. Старик взял ее за руку.

— Умоляю тебя, девочка! Нельзя столь опрометчиво принимать такое решение... Подождем немного... Ты все обдумаешь, поглядишь...

Но она спокойно и твердо сказала:

— Нет, дедушка, это невозможно. Я хочу, чтобы он как можно скорее узнал о моем решении. Я знаю, что причиняю ему боль, но чем дольше мы будем это откладывать тем она будет сильнее. Каждый лишний день только усилит ее. Да и мне невыносимо тяжело видеться с ним. Я не в состоянии лгать и притворяться.

— Стало быть, я должен объявить ему, что он тут лишний?! — крикнул доктор, в ярости вскакивая с места. — Ладно, я так и сделаю... Но разрази господь!.. Вы, женщины...

Она побледнела, затрепетала и посмотрела на него с таким отчаянием, что гнев старика сразу улетучился.

— Нет, нет, девочка, я не сержусь на тебя... Не знаю, что на меня нашло... Да и в том, что произошло, я виноват больше, чем ты. Ты ведь еще совсем ребенок. А вот мне не следовало... Эх, сумасброд, старый сумасброд!.. Видно, до самой смерти я буду делать глупости!

Как сообщить Джеку? Это было самое трудное. Доктор несколько раз принимался за письмо и всякий раз начинал его такой фразой: «Джек, мальчик мой! Сесиль отказывает тебе». Больше он не мог придумать ни слова. «Сесиль отказывает тебе...» Наконец он решил: «Лучше уж я с ним поговорю...» Чтобы выгадать время, чтобы подготовиться к этому тяжелому разговору, он и попросил Джека отложить приезд на неделю, смутно надеясь, что тем временем внучка, быть может, одумается.

Всю неделю они ни о чем не разговаривали. Но в субботу Риваль сказал девушке:

— Завтра он приедет. Ты стоишь на своем? Твое решение бесповоротно?

— Бесповоротно! — твердо ответила она, и каждый слог этого бесчеловечного слова больно отзывался в сердце старика.

В воскресенье Джек, как всегда, приехал спозаранку и единым духом преодолел расстояние между станцией Эври и Этьолем. В сильном волнении переступил он порог дома, хотя его здесь всегда так дружески встречали, что, казалось, он мог бы не тревожиться.

— Господин Риваль ждет вас в саду, — сказала служанка и отворила дверь.

Джек похолодел: он сразу почувствовал, что стряслась беда. Расстроенное лицо доброго старика еще больше испугало его. За сорок лет своей врачебной практики Риваль много видел горя, страданий и, казалось бы, привык ко всему, но сейчас он весь дрожал и был взволнован не меньше, чем Джек.

— А что, Сесиль нет дома?..

Вот о чем прежде всего спросил бедный юноша!

— Нет, друг мой, я оставил ее... там... где мы были. Она там побудет некоторое время.

— Долго?

— Да, очень долго.

— Значит... Значит, она мне отказывает, господин Риваль?

Доктор ничего не ответил. Чтобы не упасть, Джек тяжело опустился на скамью. Разговор происходил в глубине сада. Стояло тихое и ясное ноябрьское утро. Легкий иней покрывал землю, осеннее солнце было подернуто прозрачной дымкой, — все это напомнило юноше день, который они вместе с Сесиль провели в Кудре, сбор винограда, косогор над Сеной и их первое безмолвное признание в любви в окружении величавой природы, признание, робкое, как едва слышный зов птенца, впервые вылетевшего из гнезда. Горькая годовщина!.. После недолгого молчания доктор, как ласковый отец, положил ему руку на плечо.

— Не убивайся, Джек... Может, она еще одумается... Ведь она так молода! А вдруг это просто каприз?

— Нет, господин Риваль, вы сами прекрасно знаете, что у Сесиль капризов не бывает... Да и слишком бесчеловечно было бы из каприза с размаху ударить человека ножом в сердце... Нет. Я не сомневаюсь, что она немало размышляла, прежде чем прийти к такому решению, и оно ей далось нелегко. Ей известно, что значит для меня ее любовь, ей известно, что без ее любви для меня нет жизни. И если уж она на это решилась, стало быть, считала, что обязана так поступить. Я должен был этого ждать. Разве я вправе был надеяться на такое великое счастье? Вы не представляете себе, сколько раз я говорил себе: «Это слишком большая радость. Этому не бывать...» И что же? Я оказался прав. Вот и все.

Усилием воли он подавил душившие его рыдания. С трудом поднялся. Доктор сжал ему руки.

— Прости меня, бедный мой мальчик... Это я во всем виноват. Я думал, что сделаю вас обоих счастливыми.

— Нет, господин Риваль, не корите себя. Случилось то, что должно было случиться. Сесиль настолько выше меня! Как же она могла меня полюбить? Она меня жалела и приняла это чувство за любовь, доброта обманула ее. Теперь она прозрела, и лежащее между нами расстояние испугало ее. Но все равно... Выслушайте меня внимательно, мой добрый друг, и передайте ей мои слова: как ни жесток удар, который она мне нанесла, я никогда в жизни ни словом не упрекну ее, и вот почему...

Широким жестом он указал на поля, на небо, на синевший вдали горизонт...

— Год назад, в такой же вот день, я понял, что люблю Сесиль, и мне показалось, что и она, быть может, полюбит меня. И с того часа для меня началась самая счастливая, единственно счастливая пора в моей жизни. Весь этот год я жил такой полной, такой неповторимой жизнью, и теперь, когда я думаю о нем, то понимаю, что он стоит целой жизни! В тот день я словно заново родился, а нынче умираю. Но за этот благословенный год, когда алая судьба как будто забыла обо мне, я должен благодарить Сесиль и вас. И этого я никогда не забуду.

Джек осторожно высвободил руки из дрожащих рук доктора.

— Ты уходишь, Джек?.. Ты не позавтракаешь со мной?

— Нет, спасибо, господин Риваль... Я был бы слишком унылым гостем.

Он твердой походкой прошел через сад, прикрыл за собой калитку и, не оборачиваясь, удалился. Если бы он оглянулся, то увидел бы наверху, на антресолях, за чуть приподнятой белой занавеской свою любимую, столь же бледную и трепещущую, как он; она с плачем простирала к нему руки, но так и не окликнула его...

Для Ривалей начались печальные дни. Маленький дом, который повеселел и словно помолодел за последние месяцы, теперь опять стал угрюмым, как прежде, пожалуй, он даже казался сейчас еще мрачнее. Доктор с беспокойством следил за внучкой, за тем, как она в одиночестве прогуливается по садику, как подолгу, часами, сидит в комнате, где когда-то жила ее мать: теперь комната была открыта, и Сесиль как будто смотрела на нее, как на свою, словно печаль давала ей право на эту обитель скорби. Там, где когда-то рыдала Мадлен, теперь плакала Сесиль, и бедному старику порою мерещилось, будто там, наверху, за окном, сидит в молчании, бессильно уронив красивую голову под тяжестью невысказанного горя, не внучка, а дочь... Господи, неужто и Сесиль умрет?.. Почему? Что ее мучит? Если она больше не любит Джека, то как объяснить эту грусть, это стремление к одиночеству, эту полную безучастность, которая не оставляет ее, даже когда ей приходится хлопотать по хозяйству? А если она все еще любит его, то почему она ему отказала? Добрый доктор чувствовал, что здесь кроется тайна, что в душе у внучки идет борьба. Но при первом же слове, при первом же вопросе Сесиль замыкалась в себе, уходила от разговора, словно ни с кем не могла разделить ответственность за принятое решение, и поступала так, как ей повелевала совесть. Доктор был так обеспокоен ее состоянием, что даже на время забыл о горе Джека. С него хватало своих огорчений и тревожных раздумий, и кабриолет, в котором он с утра до вечера разъезжал по дорогам, его старая лошадка, с годами ставшая еще норовистее, могли бы немало порассказать о лихорадочном волнении старика, о том, как плясали вожжи в его дрожащих руках.

Однажды ночью раздался звон дверного колокольчика: пришли от больного. Под окном, на дороге, стояла старуха Сале и жалобно причитала. На сей раз, объясняла она, ее муж, ее бедный муж надумал, видно, «окочуриться». Доктор Риваль, которого ни горе, ни преклонные годы не останавливали, когда надо было оказать помощь больному, не мешкая, отправился из Этьоля в Ольшаник. Супруги Сале жили возле

Parva domus, в стороне от дороги, в землянке, похожей на берлогу. В эту темную, грязную каморку с плохо пригнанной дверью приходилось спускаться, как в погреб, — она напоминала крестьянское жилище времен Лабрюйера,[47] пережившее все окружающие замки. Пол здесь был земляной, а вся обстановка состояла из разбитого сундука да хромоногих скамеечек. В очаге, потрескивая и шипя, горели краденые дрова. Здесь все напоминало о воровстве — обломки полированных досок, прислоненные к стене, ружье в углу, возле очага, силки, капканы и громадные сети, которые осенью браконьеры разбрасывают по сжатым полям, подобно тому, как рыбаки забрасывают невод. В самом темном углу этого нищенского жилища, на жалком ложе, готовился «окочуриться» старик. Добрых шестьдесят лет занимался он браконьерством, сидел по ночам в засаде в оврагах, в снегу, в болотах,



ползком, не разбирая дороги, спасался от конной полиции, а это даром не проходит. Всю свою жизнь этот мелкий хищник дрожал, как заяц, и ему еще повезло: он умирал в своей норе... Войдя, доктор Риваль чуть не задохнулся от сильного запаха ароматических трав, которые тут жгли, запах этот оказался сильнее зловония грязной землянки.

— Что за дрянь вы тут жгли, тетка Сале?

Старуха растерялась и хотела было солгать, но доктор и сам догадался:

— Значит, у вас уже побывал сосед, отравитель?

Риваль не ошибся. Гирш решил испробовать на злосчастном браконьере зловещую методику лечения ароматическими веществами. Ему все труднее было находить охотников для своих опытов. Крестьяне побаивались его. К тому же ему приходилось быть очень осмотрительным, потому что этьольский врач вел непримиримую борьбу с этим знахарем, с этим медиком без диплома. Гирша уже дважды приглашали в Корбейль к прокурору и предупредили, что его постигнет суровое наказание, если он не прекратит свою противозаконную практику. Но Сале жили так близко, люди они были такие жалкие!.. И как ни боялся Гирш полиции, а все же не устоял перед соблазном.

— А ну, живо! Распахните дверь, откройте окно!.. Вы что, не видите? Бедняга задыхается!

Старуха поспешила выполнить приказ доктора, ворча себе под нос:

— Бедный мой муж, бедный мой муж! А они ведь сулили, обещали, что вылечат его... И не совестно людей обманывать! Мы люди темные, одно слово — крестьяне, горемычные...

Когда доктор, склонясь над умирающим, щупал его едва слышный пульс, из-под тряпья, наваленного на кровати, раздался замогильный голос:

— Скажи им, жена! Ты обещала сказать.

Старуха что-то бормотала скороговоркой, поправляя хворост в очаге. Умирающий снова заговорил слабым голосом:

— Скажи им, жена!.. Скажи им, жена!..

Доктор взглянул на тетку Сале; ее темное, как у старой индианки, лицо приобрело кирпичный оттенок. Она подошла ближе и пробубнила:

— Вот беда! Уж поверьте, во всем виноват соседский лекарь: это по его наущению я так огорчила бедную барышню, даром, что она такая хорошая!

— Какую барышню? О ком вы говорите?

Доктор встrepенулcя и выпустил руку больного.

Старуха колебалась. Но браконьер уже совсем слабым голосом, доносившимся как будто издали, снова прошептал:

— Скажи им!.. Я хочу, чтоб ты им сказала!

— Ну, будь что будет! — решилаcь, наконец, тетка Сале. — Вот оно как получилось, добрый господин Риваль: этот негодяй дал мне двадцать франков. Есть же на свете такие бесстыжие люди, прости господи! Дал он мне, значит, двадцать франков, чтобы я рассказала мамзель Сесиль всю историю про ихних папашу и мамашу.

— Мерзавка!.. — вне себя от ярости, громовым голосом крикнул старик Риваль и, схватив

мерзкую старуху за плечи, встряхнул ее. — Как ты посмела?

— Да все из-за двадцати франков, благодетель вы наш... Не дай он мне, этот гадкий человек, двадцати франков, я бы померла, а рта не раскрыла... Клянусь своим несчастным мужиком, который вот-вот богу душу отдаст, что я ничегошеньки об этом деле не знала! Он сам мне все и рассказал, чтобы я барышне потом выложила.

— Ах, подлец! Недаром он грозил мне отомстить... Но кто ему-то обо всем рассказал? Кто направлял эту злобную руку?

Жалобный стон — так стонет человек, когда появляется на свет или когда его покидает, — вернул врача к убогому ложу старика. Теперь, когда по его настоянию жена все рассказала, папаша Сале мог спокойно умереть, — быть может, это позднее раскаяние старого бродяги, у которого за душой было столько преступлений, облегчило ему тяжкий переход в мир иной. Доктор до рассвета просидел около старика. У больного началась агония, в нем едва теплилась жизнь, — ей предстояло угаснуть, как только в окнах забрезжит белесый свет. Ривалю пришлось проявить огромную выдержку, чтобы остаться в лачуге у постели больного, лицом к лицу со старухой, скорчившейся возле очага и не решавшейся ни заговорить с доктором, ни взглянуть на него. Но его тут удерживал долг. Всю ночь он размышлял, сопоставлял различные догадки, сравнивал отдельные смутные предположения, пытался до конца понять подоплеку этих гнусных козней. Когда все было кончено, он поспешил в Этьоль, предварительно убедившись, что Гирша, этого бесчестного шарлатана, нет сейчас в Ольшанике. В старике kloкотало такое бешенство, что, попадись ему сейчас подлый враг, обрушивший свою месть на ни в чем не повинную девочку, он расправился бы с ним не хуже, чем в те годы, когда был еще молодым хирургом и плавал на кораблях. Вернувшись домой, он прямо прошел в комнату Сесиль. Никого. Ее постель даже не была измята. Он задрожал и кинулся в «аптеку». Там тоже никого не было. Комната, где прежде жила Мадлен, была открыта, и тут среди реликвий, напоминавших о безвременно ушедшей, на низенькой скамеечке в неловкой позе спала Сесиль — должно быть, она всю ночь на коленях поверяла небу свою скорбь, молилась и плакала, а потом забылась в изнеможении. Ее разбудили шаги доктора, и она открыла глаза.

— Дедушка!

— Значит, эти негодяи посмели открыть тебе тайну, которую мы так старательно от тебя скрывали?... О, господи! Сколько мы прилагали усилий, сколько принимали мер предосторожности, чтобы уберечь тебя от этого ужаса! И вот ты обо всем узнаешь от чужих, от враждебных тебе людей. Бедная ты моя...

Сесиль спрятала голову у него на груди.

— Не говори! Ничего не говори! Мне так стыдно!..

— Нет, нет, мне надо с тобой поговорить... Эх, если бы я только мог догадаться, почему ты отказала Джеку! Ведь ты из-за этого решила не выходить за него замуж? Правда?

— Правда.

— Но почему? Объясни мне, что тебя на это толкнуло?

— Совесть повелевала мне все сказать моему будущему мужу, а я не могла открыть ему позор своей матери... У меня оставался только один выход, вот почему я так поступила.

— Стало быть, ты его любишь, любишь до сих пор?

— Всем сердцем. И мне думается, что он тоже любит меня так сильно, что сам никогда бы не

отказался от меня, но я не могла принять от него такую огромную жертву. Нельзя жениться на девушке, отец которой неизвестен, а тем более на такой, об отце которой известно, что он был мошенник и фальшивомонетчик.

— Ты заблуждаешься, дитя мое. Джек все про тебя знает, и тем не менее он был горд и счастлив при мысли, что ты станешь его женой. Я ему все рассказал.

— Не может быть!

— Противная девочка! Если бы ты больше мне доверяла, я бы предотвратил это ужасный удар, которым ты, как кинжалом, пронзила наши сердца. А ведь как мы все трое были счастливы!

— Значит, Джек все про меня знает?..

— Я почел своей обязанностью его предупредить еще в прошлом году, когда он сказал мне, что любит тебя.

— И его это не оттолкнуло?..

— Глупая девочка!.. Ведь он же тебя любит! В ваших судьбах так много общего!.. Он тоже не знает своего отца, мать его никогда не была замужем. У тебя есть перед ним большое преимущество: твоя мама была святая, а мать Джека...

И, подобно тому, как доктор Риваль в свое время поведал Джеку историю Сесиль, теперь он поведал Сесиль историю Джека, рассказал о бесконечных страданиях этого человека, такого ласкового и доброго, о его безотрадном детстве, о его ужасной юности. Вспоминая о горестном прошлом Джека, доктор вздрогнул, как ужаленный.

— Ну, разумеется, это она!.. И в этом несчастье повинна она!.. — воскликнул он. — Она, наверно, говорила о вашем браке в присутствии Гирша... Да, да, теперь я в этом уверен. По милости взбалмошной бабы ты узнала о драме, которую мы так тщательно скрывали от тебя... Это рок! Новый страшный удар нанесла бедному юноше его родная мать.

Сесиль слушала рассказ деда, и ее охватывало отчаяние: подумать только, она сама причинила бедному Джеку такое горе! И зачем она это сделала! Она готова была на коленях молить его о прощении.

— Джек!.. Бедный мой друг!.. — рыдая, повторяла Сесиль. Она столько выстрадала сама, что хорошо понимала меру его страданий. — Господи! Какая же это была для него мука!

— Он все еще мучается.

— Ты что-нибудь про него знаешь, дедушка?

— Нет. Можно попросить его приехать, и он сам тебе расскажет... — с улыбкой сказал доктор.

— А что, если он не захочет приехать?

— В таком случае поедем к нему сами... Нынче как раз воскресенье, он не работает. Мы застанем его дома и привезем сюда... Ты согласна?

— Ну еще бы!

Спустя несколько часов доктор Риваль и его внучка уже катили по дороге в Париж.

Вскоре после их отъезда к дому подошел человек — вспотевший, согнувшийся под тяжестью

большой корзины. Он внимательно оглядел небольшую зеленую дверь, заметил медную пластинку и с усилием, по складам прочел: «Зво-нок к док-то-ру».

— Здесь, — проговорил он и, вытерев пот со лба, дернул, звонок.

Молоденькая служанка, увидев одного из бродячих торговцев, которые ходят по деревням, испугалась и придержала дверь.

— Вам кого?

— Вашего хозяина...

— Его нет.

— А ихняя барышня?

— И ее нет.

— А когда они возвратятся?

— Не знаю.

И она захлопнула дверь.

— Боже милосердный!.. Боже милосердный!.. — прохрипел Белизер. — Неужели он умрет, не повидавшись с ними?

И он так и остался стоять на дороге, не зная, что предпринять.

## Х. НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД СОБОРОМ БОГОМАТЕРИ

В этот вечер на набережной Августинов, рядом с Академией, в доме главного редактора «Обозрения будущих поколений» собралось большое общество. Все без исключения «горе-talанты» пришли на литературный вечер, устроенный в честь возвращения Шарлотты. Особую торжественность этому вечеру придавало то, что д'Аржантон должен был прочесть свою наконец-то законченную большую поэму «Разрыв». Надо заметить, что это замечательное произведение вылупилось из яйца при довольно странных обстоятельствах. Шарлотта возвратилась в свое гнездо. Как же было теперь оплакивать отсутствие неблагодарной, как было описывать муки оставленного любовника? Положение создавалось комическое, и это было тем более досадно, что никогда еще поэт не посещало такое плодотворное и устойчивое вдохновение. Несколько дней он пребывал в сомнении, а потом решил пренебречь житейской прозой.

— Право же, это несущественно!.. Я буду продолжать поэму... Произведение искусства не должно зависеть от случайностей.

Зрелище было препотешное: поэт жаловался на то, что его покинула возлюбленная, а возлюбленная сидела тут же и слушала, как ее величают «злой», «неверной», «милой беглянкой». Этого мало: она своей рукой переписывала все эти возвышенные эпитеты в тетрадь с розовыми шелковыми завязками. Закончив поэму, д'Аржантон возымел желание прочесть ее своей клике не столько из вполне понятного честолюбия художника, сколько из мелкого тщеславия любовника, которому хочется, чтобы все знали: его рабыня вернулась, и на этот раз он крепко держит ее в руках. Никогда еще небольшая квартира на пятом этаже не

была свидетелем такого роскошного вечера, такого изобилия цветов, красивых драпировок, прохладительных напитков. А до чего ослепителен был туалет милой беглянки — белоснежное платье с вытканными на нем бледно-голубыми фиалками! Такой наряд как нельзя лучше отвечал бессловесной роли, которая была ей отведена во время чтения. Никому бы и в голову не могло прийти при виде эдакого великолепия, что тень денежных затруднений нависла над домом, подобно тому, как нависают над крыльями бабочек едва различимые нити паутины. А ведь дела и впрямь шли неважно. Журнал был при последнем издыхании, номера становились все более тощими, и появлялись они весьма нерегулярно, через все более долгие промежутки времени. Убедившись, что эта затея поглотила добрую половину полученного им наследства, д'Аржантон все чаще подумывал о том, кому бы продать «Обозрение». Плачевное состояние дел и несколько искусно разыгранных «припадков» помогли поэту вновь приковать к себе цепью взбалмошную Шарлотту. Достаточно ему было стать перед ней в позу великого человека, ныне побежденного, изверившегося в своих силах, всеми покинутого, окончательно утратившего веру в свою звезду, некогда блеснувшую ему, — и она дала торжественную клятву:

— Отныне я твоя... Твоя навек.

В сущности, д'Аржантон был просто неумный позер, но надо отдать ему справедливость: он умело играл на слабостях этой женщины и умудрялся извлекать из этого несложного инструмента эффектную мелодию. Вы даже представить себе не можете, с каким обожанием она смотрела на своего «поэта» в тот вечер, каким он ей казался неотразимым, гениальным, утонченным. В ее глазах он был не менее обольстителен, чем двенадцать лет назад, когда она впервые увидела его в гостиной Моронваль при свете ламп под стеклянными колпаками, — нет, пожалуй, он стал еще прекраснее, ибо теперь его окружала иная обстановка: уютная и богатая, в его ореоле появилось много новых лучей. Впрочем, люди его окружали все те же, «духовная среда» не изменилась. Тут был и Лабассендр в бархатной куртке бутылочного цвета и в высоких, как у оперного Фауста, сапогах, и доктор Гирш, весь в пятнах от химических растворов, и Моронваль в черном, побелевшем на швах фраке и белом шейном платке, потемневшем на сгибах. Были здесь и дежурные «питомцы жарких стран»: вечный египтянин с туго натянутой кожей, и желтый, как шафран, японец, и племянник Берцелиуса, и человек, читавший Прудона. И еще целая вереница людей — нелепых, худых, голодных, с Испитыми лицами, но полных иллюзий. Руки у них лихорадочно дрожали, а часто мигавшие, лишенные ресниц глаза были воспалены, ибо неотрывно созерцали мнимое солнце. Их можно было принять за толпу пилигримов Востока, идущую к неведомой Мекке, золотая лампада которой все время пропадает за горизонтом. За двенадцать лет нашего знакомства с «горе — талантами» иные из них пали в пути, но на парижских мостовых появились другие фанатики, они заменили умерших и пополнили поредевшие ряды. Ничто не приводит их в уныние: ни горькие разочарования, ни болезни, ни холод, ни зной, ни голод. Они идут вперед, они торопятся. И никогда не достигают цели. Рядом с ними д'Аржантон — сытый, хорошо одетый — походил на богатого хаджи, который в нищей толпе богомольцев спешит в Мекку со всем своим гаремом, с трубками, с драгоценностями. А в этот вечер поэт сиял даже больше обыкновенного: тщеславие его было удовлетворено, и он безмятежно радовался своему торжеству.

Во время чтения поэмы Шарлотта сидела на диване в нарочито безразличной позе и слегка краснела от содержащихся в каждой строфе намеков: они были едва прикрыты прозрачной вуалью, подобно тем кокетливым женщинам, которые прикрывают лицо, но жаждут, чтобы их узнали. Вокруг нее расположились жены неудачников, вид у них был подобострастный и заискивающий. Среди них обращала на себя внимание низенькая г-жа Моронваль, сидя, она казалась выше ростом-до того непомерно высок был у нее лоб и так длинен подбородок. В знак того, что ее волнует чтение, она поминутно прикладывала платок к глазам. Такое лицемерие было недостойно г-жи Моронваль, урожденной Декостер. Но на что не толкнет нужда, а Моронваль, сидевший против жены, неотступно следил за нею, как дирижер

управлял ее чувствами, изображал на своей обезьяньей физиономии необыкновенный восторг и яростно грыз ногти, — это было верным признаком того, что он непременно попросит займы. Компания прихлебателей почтительно слушала, а стихотворные строки медленно и монотонно кружились в воздухе, словно прялка разматывала бесконечный клубок. Вирши все текли, все текли! Заунывный голос д'Аржантона перемежался с потрескиванием дров в камине, с чуть слышным гудением ламп, с завыванием гулявшего на балконе ветра, который время от времени с бешенством ударял по стеклам, как ударял он в ту далекую ночь. Однако в этот вечер Шарлотта была совсем в ином расположении духа, ее не мучили беспокойные мысли, не томили мрачные предчувствия. Она была занята только своим поэтом, той драмой, которую он излагал, старательно скандируя стихи. В поэме и впрямь был весьма драматический эпизод. В последней песне, по воле д'Аржантона, милая беглянка, вернувшись к любовнику, умирала, не выдержав мук, пережитых в разлуке с ним. Поэт собственноручно закрывал ей глаза и клялся при этом в вечной любви:

Я опустил с тобой в могилу

Частицу самого себя...

Живу, тоскуя и любя.

Величие души героя поэмы, готового забыть все обиды, и горестная судьба несчастной женщины были до того трогательны, что все рыдали, а пуще всех Шарлотта: в конце концов ведь это же она умирала, а в подобных случаях больше всего страдают те, с кем это происходит.

Внезапно в самом волнующем месте, когда д'Аржантон уже обводил слушателей самодовольным взглядом, дверь гостиной распахнулась, и горничная в чепце с развевающимися лентами, одна из тех развязных служанок, которые чаще всего приживаются у барынь такого сорта, как Шарлотта, влетела с испуганным видом в комнату и крикнула хозяйке:

— Сударыня! Сударыня!..

Все повскакали с мест.

— В чем дело?.. Что случилось?

— Там какой-то мужчина...

— Мужчина?

— Да, мужчина, такой неказистый, противный, он хочет поговорить с барыней. Я ему сказала, что госпожи нет дома, что ее нельзя видеть. Но он уселся на ступеньку и объявил, что будет ее ждать.

— Сейчас иду... — в волнении проговорила Шарлотта, словно предчувствуя, кто прислал этого странного гонца.

Но тут вмешался д'Аржантон.

— Нет, нет!.. Боже упаси!.. — сказал он и обратился к Лабассендру, самому сильному из его гостей: — Посмотри, пожалуйста, кто это еще ломится.

— Ладно, ладно!.. Бэу! — промычал певец и, расправляя плечи, направился к выходу.

Д'Аржантон, на устах которого еще трепетала рассеченная надвое стихотворная строка, быстро занял место у камина и приготовился читать дальше. Но дверь вновь отворилась, показалась голова Лабассендра, и он рукой поманил к себе поэта. Д'Аржантон в бешенстве устремился в прихожую.

— Ну что там еще? Говори!

— Джек как будто тяжело заболел, — понизив голос, сказал поэт.

— Черта с два!.. Так я и поверил!

— Так по крайней мере утверждает этот субъект.

Д'Аржантон посмотрел на «субъекта» — некрасивого оробевшего, — и высокая фигура человека, сгорбившегося у дверей, показалась ему знакомой.

— Вы пришли по поручению этого господина?

— Нет, я пришел не по его поручению, — ответил мужчина. — Он тяжело болен и ничего поручать не может... Вот уже три недели, как он свалился, видать, сильно, очень сильно заболел.

— А что с ним такое?

— Да в легких что-то; доктор сказал, что он больше недели не проживет. Вот мы и подумали с женою, что надо бы матери сообщить, потому я и пришел.

— Да вы кто такой?

— Белизер, Бель, как называла меня мадам... Она — то меня хорошо знает да и жену мою.

— Вот что, господин Белизер, — издевательским тоном начал поэт, — передайте тому, кто вас прислал, что прием этот недурен, да только всем известен. Пусть придумает что-нибудь похитрее.

— Что вы сказали? — в изумлении спросил Белизер, не понявший этих «уничтожающих слов».

Но д'Аржантон уже захлопнул дверь, и шляпник, успевший охватить взглядом ярко освещенную гостиную, наполненную людьми, оторопело замер на лестнице.

— Ерунда!.. Не по адресу обратился, — входя в комнату, небрежно бросил поэт.

И пока он с величественным видом продолжал читать свое произведение, бродячий торговец быстро шагал по темным улицам, втянув голову в плечи, чтобы укрыться от «крупы» и пронизывающего ветра, — он торопился вернуться к Джеку, к несчастному компаньону, который неподвижно лежал на убогой кровати в мансарде...

Джек захворал в тот самый день, когда воротился из Этьоля. Никому ничего не сказав, он слег. И с тех самых пор его бил озноб, а потом к ознобу прибавился сильный кашель. Заводской врач предупредил Белизеров, что болезнь серьезная, опасная. Шляпник хотел известить доктора Риваля, но Джек строго-настрого запретил ему. Только тут он ненадолго вышел из своего подавленного состояния, да еще раз заговорил, когда попросил г-жу Белизер продать его часы и — подарок матери — кольцо. Дело в том, что в скромном жилище на улице Пануайо с деньгами было туго. Все свои сбережения Джек истратил на аренду

квартиры в Шаронне и на обстановку, во всех ящиках было пусто, а чета Белизер тоже была в стесненных обстоятельствах после больших трат на свадьбу и на устройство семейного гнезда. Но бог с ними, с деньгами! Поднять бы толь, ко на ноги беднягу! Шляпник и его жена не остановились бы для спасения своего друга перед любой жертвой. Они снесли в ломбард мебель, тюфяки, заложили целую корзину соломенных шляп, которую надо было обязательно выкупить к весне. Но и это не помогло. Ведь все так дорого — дрова, лекарства!.. Да, не везет им с компаньонами. Первый оказался пьяницей, лодырем и обжорой, второй попался такой, что лучше не надо, так вот поди ж ты: захворал и стал для них теперь тяжкой обузой. Соседи советовали им поместить Джека в больницу. «И ему там будет лучше, и вам не придется тратиться». Но супруги не соглашались: долг требовал, чтобы они сами ухаживали за больным другом, если бы они доверили его заботам посторонних, они бы тем самым нарушили законы товарищества. Но теперь они совсем обеднели. Нужда с каждым днем становилась все безысходнее, состояние больного ухудшалось, вот почему они решили все рассказать Шарлотте — «этой расфуфыренной кукле», как называла ее возмущенная разносчица хлеба. Она-то и послала к ней мужа с таким напутствием:

— Смотри же, приведи ее, а то она одна еще не дойдет... Бедняга повидается с матерью, может, ему малость полегчает. Он о ней никогда не заговаривает. Знаешь, какой он гордый!.. Но бьюсь об заклад, что все время о ней думает.

Белизеру не удалось привести мать Джека. Вот почему вид у него при возвращении был убитый, и он побаивался, как встретит его жена. Г-жа Белизер, держа на коленях уснувшего малыша, вполголоса разговаривала с г-жой Левендре, сидя возле еле теплившегося, скудного огня, который народ называет «вдовьим огоньком», и чутко прислушивалась к доносившемуся из алькова затрудненному дыханию Джека, которого душил кашель. В голой, мрачной комнате невозможно было узнать прежнюю светлую мансарду, окно которой выходило во двор, мансарду, где с самого утра ни на минуту не стихал труд — этот неугомонный парижский жаворонок. На столе больше не было ни книг, ни тетрадей, на огне в котелке дымился лекарственный отвар, наполняя комнату тем сложным, тяжелым запахом, который так трудно определить, но который сразу же наводит на мысль о болезни. Было тихо, слышался только шепот женщин да стук каминных щипцов. Потом раздались шаги вернувшегося Белнзера.

— Ты один пришел?..- спросила жена.

Понизив голос, он стал рассказывать, как ему не дали повидаться с матерью Джека, как барин с пышными усами не впустил его в дом.

— Вот мерзавцы!.. Да и ты, я вижу, тряпка!.. Знаю я тебя, ты собственной тени боишься... Надо было оттолкнуть его, ворваться и крикнуть в лицо этой бесстыднице: «Ваш сын умирает!»

И эта добрая женщина бросила гордый материнский взгляд на своего ребенка, сладко спавшего у нее на коленях.

— Ах, бедный мой муженек! Видно, тебе весь век суждено оставаться мокрой курицей.

Белизер понурился. Он заранее знал, что его ждет дома нагоняй, но не в силах был одолеть свою робость, он привык всю жизнь бродить по большим дорогам и улицам, торгуя вразнос, привык, что км помыкают жандармы и полицейские, такое существование сделало его смиренным и приниженным, даже бойкая и храбрая жена не могла его переделать.

— Уж если б я туда пошла, я бы наверняка ее привела!.. — твердила г-жа Белизер, сжимая кулаки.

— Оставьте, моя милая, вы понятия не имеете, что это за особа, — язвительно вставила г-жа



Левендре.

Она стала называть Иду де Баранси «этой особой» после того, как та уехала и у нее не осталось надежды вытянуть из Иды деньги на швейную машину или на мастерскую мужа. Этот почтенный господин тоже повадился к Белизерам. Каждый вечер без всяких церемоний, как это принято в домах, где живет беднота, соседи приходили сюда под тем предлогом, что хотят осведомиться о здоровье больного. Узнав, что дамочка не приехала. Левендре произнес длинную тираду о современных Фринах,[48] позоре нынешнего общества, и не упустил случая лишний раз изложить свою систему политического устройства, которая избавит мир от всей этой накипи. Остальные, разинув рты, слушали нагонявшие сон разглагольствования этого неистощимого говоруна, а ветер между тем раздувал чуть тлеющие головешки, из-под одеяла доносился сильный кашель Джека.

— Не о том речь, — вновь заговорила г-жа Белизер, не любившая уклоняться от серьезного разговора. — Что мы станем делать? Не можем же мы допустить, чтобы бедный малый помер от плохого ухода.

Супруги Левендре заговорили разом:

— Надо поступить так, как сказал врач. Надо доставить его в Главный приемный покой, что на площади перед Собором богоматери. Оттуда его направят в больницу.

— Тсс!.. Тсс!.. Не так громко!.. — зашикал на них Белизер, указывая рукою на альков, где в жару метался больной. Наступило короткое молчание, шуршали только грубые холщовые простыни на кровати Джека. — Я уверен, что он слышал, — рассердился шляпник.

— Не велика беда!.. Он вам ни сват, ни брат. Вы только развяжете себе руки, если устроите его в больницу.

— Но ведь он наш товарищ! — воскликнул Белизер, и по тому, как он произнес эти слова, было понятно, сколько достоинства и самоотверженности заключено в этом простодушном, но благородном человеке.

Они были сказаны с таким волнением, что разносчица хлеба даже зарумянилась и посмотрела на мужа заблестевшими от слез глазами. Супруги Левендре удалились, в недоумении пожимая плечами; после их ухода в комнате как будто стало уютнее и теплее.

Джек и в самом деле слышал их разговор. Он слышал все, что говорили. С той поры как вернулась его легочная болезнь, приняв еще более грозную форму — а произошло это сразу после того, когда трагически оборвалась его любовь, — он не поднимался с постели, но почти не спал. Однако он намеренно отгораживался от жизни, которая шла вокруг, и замыкался в упорном молчании, хранил его даже в часы жестокого жара и мучительных галлюцинаций. Весь день глаза его были широко раскрыты, а взор упирался в стену, и если бы эта стена, сумрачная, вся в трещинах, как морщинистое лицо старухи, могла бы заговорить, то она поведала бы, что в этих остановившихся глазах, напоминавших глаза лунатика, было начертано огненными буквами: «Горше беды не бывает... Выхода нет...» Но все это видела только стена, а сам бедняга не жаловался. Он даже силился улыбаться своей могучей сиделке, когда она поила его обжигающими лекарственными отварами и с доброй улыбкой подбадривала его. Так проводил он в одиночестве целые дни, а к нему в мансарду доносился шум работ, и больной проклинал свое вынужденное безделье. Отчего он не так мужествен и крепок, как многие другие? Тогда бы ему легче было противостоять жизненным невзгодам... А для чего, собственно, теперь работать? Мать ушла, Сесиль отказала ему. Два этих женских лица неотступно преследовали Джека, они все время стояли перед ним. Когда всегда улыбающаяся, но заурядная и такая равнодушная физиономия Шарлотты исчезала, перед ним возникал чистый облик Сесиль. Джек не мог постичь тайну ее отказа, и она, как вуаль, окутывала это прелестное лицо. Больной лежал без сил, он не мог вымолвить ни слова, не

мог пошевелить ни рукой, ни ногой, а кровь бешено стучала у него в висках и в запястьях, он тяжело и хрипло дышал, приступы глухого кашля вплетались в разнообразные шумы, слышавшиеся вокруг, перемежались с гудением ветра в трубе, со стуком омнибусов, сотрясавших мостовую, со стрекотом швейной машины в соседней мансарде.

На следующий день после разговора Белизеров с супругами Левендре, который слышал Джек, разносчица хлеба, еще не сняв белого от муки фартука, вошла в комнату узнать, как больной провел ночь, но у порога она вамерла от изумления, увидя, что Джек, худой и бледный, как привидение, совершенно одетый, стоит у очага и спорит с ее мужем.

— Что тут происходит?.. В чем дело? Почему вы на ногах?

— Да вот, надумал встать, — ответил обескураженный Белизер. — Решил лечь в больницу.

— В больницу?.. А почему это?.. Стало быть, мы за вами плохо ходим? Чего вам недостает?

— Нет, что вы, милые мои друвья!.. Вы оба такие благородные, такие преданные товарищи. Но дольше оставаться здесь я не могу. Прошу вас, не удерживайте меня! Так нужно... Я так хочу.

— Но как вы туда доберетесь? Вы на ногах еле держитесь!

— Да, я, конечно, малость ослаб. Но если надо идти, то дойду. Белизер меня доведет. Он уже вел меня однажды под руку по улицам Нанта, когда я так же нетвердо держался на ногах, как и нынче.

Настойчивость Джека заставила их уступить. Юноша обнял г-жу Белизер и, опираясь на руку шляпника, направился к выходу. На пороге он остановился и молча, с невыразимой грустью оглядел на прощанье комнату, где он провел столько радостных часов, где так сладко мечтал и которую — он это знал твердо — ему не суждено увидеть. В те времена Главный приемный покой помещался напротив Собора богоматери, в мрачном, сером квадратном здании; у входа было несколько ступеней. Дорога сюда с высот Менильмонтана показалась друзьям бесконечной. Они часто останавливались возле тумб, у мостов, но долго отдыхать было нельзя из-за резкого холода. Тяжелое декабрьское небо нависало над самой головой, и в тусклом свете зимнего утра больной казался еще более исхудалым и бледным, чем в полумраке алькова. Идти ему было трудно, и от напряжения он вспотел, падавшие на лоб волосы слиплись; от слабости у него кружилась голова, все плясало перед глазами: потемневшие дома, сточные канавы и лица прохожих, с сочувствием глядевших на эту несчастную пару — больного и его товарища, который почти тащил Джека на себе. В этом беспощадном Париже жизнь похожа на жестокую битву, и юноша напоминал раненого, сраженного во время боя, — соратник под градом картечи ведет его в лазарет, а потом вернется в гущу роковой битвы.

Было еще совсем рано, когда они добрались до Главного приемного покоя. И все же большой зал ожидания был уже битком набит — люди чуть не с рассвета сидели на деревянных скамейках вокруг широкой печи, где потрескивало и гудело пламя. В душном, спертом воздухе трудно было дышать, людей клонило ко сну, и все изнемогали: больные, прямо с мороза попавшие в эту парильню, служащие приемного покоя, что-то писавшие за стеклянной перегородкой, уборщик, с каким-то удрученным видом подбрасывавший дрова в печь. Когда Джек, опираясь на руку Белизера, вошел в помещение, их встретили угрюмыми и опасливыми взглядами.

«Ну вот!.. Еще одного нелегкая принесла!..» — будто говорили эти взгляды. И в самом деле, богоугодные заведения так забиты, что каждую больничную койку берут с бою, из-за нее спорят, дело доходит даже до ссор. Муниципальные власти делают что могут, благотворительность ширится, и все равно больных больше, чем мест. И происходит это

потому, что жестокий Париж — рассадник всяческих заболеваний, он способствует возникновению самых необъяснимых, самых неожиданных и сложных недугов, и в этом ему помогают порок, нищета и роковые последствия, к которым приводят эти язвы общества. Многочисленные образчики его пагубного влияния, измученные хворью люди сидели в самых жалких позах на грязных скамьях в приемном покое. Всех приходивших сюда разбивали на две большие группы: по одну сторону размещались люди, изувеченные на фабриках и заводах маховыми колесами, шестернями, машинами, ослепленные и обезображенные кислотами в красильнях; по другую — больные в жару, малокровные, чахоточные: руки и ноги у них тряслись, на глазах у некоторых были повязки, многие кашляли, надсадно и глухо, и когда в этом углу поднимался кашель, чудилось, будто одновременно зазвучали душераздирающие звуки какого-то чудовищного оркестра. А какие на них были немыслимые лохмотья, башмаки, шапки, шляпчонки! На разодранную, обтерханную одежду втих людей страшно было смотреть; она вся вымокла, к ней присохли комья грязи, — ведь несчастные большей частью притащились сюда на своих ногах, как и Джек. Все с лихорадочным беспокойством ожидали осмотра врача: он решал, поместить их в больницу или отказать. Как эти горемыки толковали друг с другом о своих болезнях, как они намеренно преувеличивали свои страдания, стремясь убедить соседей в тяжести своего недуга! Джек, словно в полузабытьи, слушал эти мрачные разговоры. Он сидел между отечным рябым человеком, которого душил кашель, и пригорюнившейся молодой женщиной, кутавшейся в черный платок, — она была так истощена, что походила на тень, лицо у нее было изможденное, нос казался восковым, тонкие губы побелели, на ее лице жили только глаза, в которых застыл безумный испуг, словно перед ней уже стоял призрак смерти. Старуха в платочке, завязанном на лбу узелком, ходила по залу с корзиной в руке и предлагала дрожавшим от лихорадки, полумертвым людям засохшие и запыленные хлебцы и галеты; все отталкивали ее руку, а старуха молча продолжала обход. Наконец дверь открылась и показался сухощавый, подвижной человек невысокого роста.

— Доктор!

Глубокое молчание воцарилось во всех углах, но кашель усилился, а лица вытянулись еще сильнее. Отогревая замерзшие пальцы у печки, доктор обводил больных пронизательным, испытующим взглядом, от которого пьяницам и бездомным становилось не по себе. Затем врач приступил к осмотру; его сопровождал служитель, который по его указанию раздавал направления в больницы. Как радовались несчастные люди, когда им объявляли, что их будут лечить! Как убивались те, кому говорили, что они не так уж опасно больны! Как они умоляли врача! Врач осматривал больных бегло и был даже резковат, потому что людей набилось много, и все эти горемыки обстоятельно рассказывали о своих хворостях, попутно припоминая различные истории и случаи, не идущие к делу. Трудно даже вообразить, до какой степени невежественны, наивны и забиты бедняки. Они так запуганы, что боятся даже назвать свою фамилию, сообщить адрес, и от робости болтают невесть что.

— А что с вами, сударыня? — спрашивает доктор у женщины, к которой жметесь мальчик лет двенадцати.

— Со мной-то ничего, господин доктор, да вот мальчонка хворает.

— А мальчик на что жалуется? Да ну же, поскорее.

— Он у меня не слышит... Это с ним стряслось... я вам сейчас все расскажу..

— Вот как! Не слышит?.. А на какое ухо?

— Особенно на оба, господин доктор.

— Как это? Не понимаю!

— Да, да, господин доктор... Эдуард! Встань, когда с тобой разговаривают... Ты глух на какое ухо?

Мать трясет сына за плечо, требуя, чтобы он встал.

Но сын тупо молчит.

— На какое ухо ты глух? — уже кричит мать и, поглядев на оторопевшего мальчика, прибавляет, повернувшись к доктору: — Вот видите, сударь! Я же вам сказала... особенно на оба.

Немного погодя доктор подошел к отечному рябому соседу Джека.

— На что жалуетесь?

— Да вот грудь, сударь... У меня здесь все горит.

— Ага! Значит, горит в груди... А водку, часом, не пьете?

— Даже не притрагиваюсь, господин доктор, — отвечает тот с притворным возмущением.

— Превосходно! К водке, стало быть, не притрагиваетесь. Ну, а вино употребляете?

— Да, пью, но меру знаю.

— Какая же ваша мера?.. Надо полагать, несколько литров?

— Ну, это смотря в какой день.

— Понимаю... Стало быть, в дни получки...

— Ну, в получку, сами знаете, как бывает... Подберется компания...

— Вот именно, в дни получки вы пьянствуете... Вы каменщик, платят вам раз в неделю, и вы, следовательно, четыре раза в месяц напиваетесь так, что на ногах не держитесь... Отлично. Высуньте язык!

Сколько ни отпирается пьянчужка, он вынужден под конец признаться в своей пагубной привычке, — он имеет дело с опытным человеком, который в этом разбирается не хуже следователя.

Когда очередь дошла до Джека, врач внимательно осмотрел его, спросил, сколько ему лет, давно ли хворает. Джек отвечал с усилием, в груди у него свистело. Пока он говорил, Белизер, стоя сзади, выразительно мигал глазами и горестно выпячивал свои толстые губы.

— Привстаньте, мой милый, — сказал доктор, прикладывая ухо к влажной рубашке больного, чтобы выслушать его. — Неужели вы пришли сюда пешком?

— Да.

— Как же вы добрались в таком состоянии?.. У вас, видно, сильная воля. Но больше я вам этого не разрешу. Вас доставят в больницу на носилках.

Повернувшись к служителю, который выписывал направления, врач распорядился:

— Больница Шарите... Палата святого Иоанна Богоугодного.

И, не сказав больше ни слова, продолжал свой обход.

На шумных парижских улицах можно наблюдать множество быстро сменяющих друг друга, мимолетных, беспорядочных видений. Но вряд ли есть среди них что-нибудь более тягостное, чем зрелище задернутых полосатым тиком носилок, которые мерно покачиваются в руках двух санитаров, идущих в затылок друг другу. Они напоминают одновременно походную кровать и саван. Под покровом неясно вырисовываются очертания тела больного, что вызывает у прохожих самые мрачные мысли. Женщины, завидев такие носилки, крестятся, как при встрече с покойником. Иногда носилки никто не сопровождает, и тогда только санитары проходят мимо расступающихся людей. Но гораздо чаще позади маячит женский силуэт: мать, дочь или сестра с заплаканными глазами идет за этим движущимся ложем, вдвойне страдая оттого, что к болезни близкого человека присоединяется унижение, знакомое всем беднякам. Так несли и Джека. В ушах у него звучали не только мерные шаги носильщиков, но и шаркающие шаги Белизера, который то и дело брал своего друга за руку, будто желая дать ему почувствовать, что не все его бросили. Беспрестанное покачивание утомило Джека, он был совершенно разбит, в голове плавал туман, он еле дождался, пока они, наконец, добрались до больницы Шарите; его внесли в палату св. Иоанна Богоугодного, расположенную на третьем этаже, в глубине заднего двора. Это была неприветливая комната, ее потолок подпирали чугунные столбы, окна палаты выходили частью в сумрачный двор, частью в сырой, расположенный на низком месте сад. Двадцать коек стояли впритык, по бокам большой печи виднелись два кресла. Обстановку палаты дополняли стол и широкий низкий буфет с мраморной доской.

Когда внесли Джека, несколько безмолвно игравших в домино, похожих на призраки людей в темных, широких, как плащи, халатах и в хлопчатых колпаках подняли головы, чтобы посмотреть на нового больного. Другие, гревшиеся у печки, посторонились, чтобы пропустить носилки. В этой большой палате был только один светлый угол — маленькое застекленное помещение, где сидела сестра-монахиня, а перед нею высился небольшой престол во имя пресвятой девы, красиво и со вкусом убранный: на кружевном покрове лежали искусственные цветы, в подсвечниках горели свечи белого воска, гипсовая мадонна простирала руки, и длинные развевающиеся рукава ее одеяния напоминали крылья. Монахиня подошла к Джеку и высоким, невыразительным голосом, звук которого приглушало монашеское покрывало на голове, переходившее в нагрудник, сказала:

— Ах, бедняжка, как он плохо выглядит!.. Надо его поскорей уложить... Вот только для него пока нет койки, но вон та, последняя, скоро освободится. Тот больной недолго протянет. А пока что мы для новичка носилки поставим.

Она называла носилками складную кровать. Санитар установил ее возле койки, которая должна была вскоре освободиться, — оттуда доносились глухие стоны, тяжелые вздохи, и от них становилось особенно жутко потому, что окружающие не обращали на это внимания. Лежавший там человек умирал. Но Джеку самому было так худо, он был так поглощен своими печальными думами, что даже не замечал зловещего соседства. Он с трудом расслышал, что Белизер прощается с ним и обещает непременно прийти на следующий день, потом до него долетел стук котелков и тарелок: больным раздавали суп, — а немного позднее он различил негромкие голоса возле своего ложа, — речь шла о каком-то «одиннадцатом-бис», который был опасно болен. Это его самого так именовали! Отныне он был уже не Джек, а больной «одиннадцать-бис» из палаты св. Иоанна Богоугодного. Сон все не приходил к Джеку, но страшная усталость сковала его будто оцепеневшее тело. И вдруг спокойный и ясный женский голос вырвал его из полузабытья:

— На молитву, господи!

Джек смутно различал возле престола темную женскую фигуру — монахиня в грубом шерстяном одеянии стояла на коленях. Она слегка нараспев, не останавливаясь и не переводя дыхания, привычно и быстро читала молитву — Джек тщетно пытался что-нибудь разобрать. И все же последние слова ясно донеслись до его ушей:

— Помоги, о господи, друзьям моим, и врагам, и заточенным в узилище, и путешествующим, и недужным, и умирающим...

Джек, наконец, забылся лихорадочным и тревожным сном, но и во сне он слышал предсмертные хрипы на соседней койке; перед ним мелькали узники, потрясавшие цепями, он видел путников, бредущих по дороге, которой не было конца.

...Он сам один из таких путников. Он бредет по дороге, похожей на дорогу, ведущую в Этьоль, только эта дорога гораздо длиннее, гораздо извилистее, и с каждым пройденным шагом она как будто становится еще длиннее. Сесиль и его мать идут впереди и не хотят ждать, пока он их догонит. Джек видит, как между деревьями то появляются, то исчезают их платья. Он бы догнал их, но ему мешают громадные машины, выстроившиеся вдоль придорожных канав. Страшные эти машины похожи на чудовищных драконов, из их разинутых пастей вырывается хриплое дыхание, вылетают дымные языки пламени, опалая и ослепляя его. Приводимые в движение паром строгальные станки, огромные пилы подстерегают его, шатуны, крюки, поршни мелькают перед глазами, — они так грохочут, что кажется, будто бьют кузнечные молоты. Джек, дрожа от страха, все же решает проскользнуть между ними, но железные зубья хватают его, царапают и раздирают тело; его рабочая блуза разодрана в клочья, вместе с нею во многих местах содрана кожа у него на руках, поток расплавленного металла обжигает ему ноги, вокруг него со всех сторон бушует пламя, и вот ему уже кажется, будто адское пламя пылает у него в груди. Он отчаянно борется, стремясь вырваться на волю, он жаждет укрыться в Сенарском лесу, который тянется по обеим сторонам этой проклятой дороги... И вот он, наконец, под освежающей сенью густых ветвей, но только он вдруг опять стал ребенком. Ему всего десять лет. Он возвращается после одной из чудесных прогулок в обществе лесника, но там, за поворотом зеленой просеки, его подстерегает старуха Сале; она сидит на вязанке хвороста и сжимает в руке серп. Джек хочет убежать, но старуха бросается за ним, несется через весь лес, сумрачный, наполненный грозными шорохами. Джек бежит, бежит... Но старуха не отстает. Он слышит ее шаги за спиной, ее хриплое дыхание, слышит, как вязанка шуршит, задевая сетку кроличьего садка. И вот она его настигает, борется с ним, валит на землю, а потом всей своей тяжестью обрушивается ему на грудь и царапает ее колючим хворостом...

Джек просыпается. Он узнает большую палату, освещенную ночниками, видит ряды коек, слышит затрудненное дыхание, кашель, разрывающий тишину. Это уже не сон, и однако он по-прежнему чувствует, как что — то давит ему на грудь, что-то холодное, тяжелое, неподвижное и зловещее лежит поперек его тела. На его испуганный крик сбегаются санитары, торопливо освобождают Джека от ужасного груза, перекадывают этот груз на соседнюю койку, сдвигают занавески, и кольца на них тоскливо скрипят.

## XI. ОНА НЕ ПРИДЕТ

— Ну и мастер же вы спать!.. Одиннадцатый-бис! Пора просыпаться!.. Обход!

Джек открывает глаза, и первое, что он видит, — это неподвижно свисающие до самой земли занавески, закрывающие соседнюю койку.

— Ну как, юноша? Нынче ночью вам, кажется, пришлось изрядно поволноваться?.. Этот бедняга в агонии свалился прямо на вас... Здорово испугались, а?.. Приподнимитесь, вас надо осмотреть... Ого, как мы ослабели!

Это говорит человек лет тридцати пяти — сорока, в бархатной шапочке, в большом белом фартуке, закрывающем грудь до подбородка; у него золотистая борода и умный, немного

насмешливый взгляд.

Он выслушивает больного, задает ему вопрос за вопросом:

— Кто вы по профессии?

— Рабочий-механик.

— Пьете?

— Раньше пил... Теперь не пью.

Затянувшееся молчание.

— Тяжелая же у вас, верно, была жизнь, друг мой.

Врач ничего больше не говорит, чтобы не напугать больного, но Джек уловил на его лице то же горестное удивление, тот же сочувственный интерес, с каким накануне на него смотрели в приемном покое, на площади перед Собором богородицы. Кровать окружают интерны. Заведующий отделением объясняет симптомы, отмеченные им у больного. Как видно, это необыкновенные, угрожающие симптомы. Практиканты подходят по очереди и убеждаются в правоте старшего врача. Джек подставляет спину всем этим внимательным ушам. Наконец, услышав слова: «Вдох, выдох, свистящие хрипы, потрескивание в верхушках и в нижней части легких, скоротечная чахотка», — он понимает, что состояние у него очень тяжелое. Он, правда, в таком тяжелом состоянии, что после того, как врач кончает диктовать рецепт интерну, сестра-монахиня подходит к постели больного и мягко, осторожно спрашивает, есть ли у него в Париже близкие, не хочет ли он кого-либо уведомить, ждет ли он кого-нибудь к себе — ведь нынче воскресенье. Близкие? Пойдите! Да вот они, мужчина и женщина, переминаются с ноги на ногу около кровати, не решаясь приблизиться; у них простые, добрые лица, они улыбаются больному. Кроме них, у него нет больше ни родственников, ни друзей. Только они ни разу в жизни не причинили ему зла.

— Ну как? Как ваше здоровье?.. Получше? — спрашивает Белизер, которому уже сказали, что его товарищ умирает.

У шляпника к горлу подступают слезы, но он изо всех сил старается казаться веселым.

Г-жа Белизер кладет на полочку около Джека два великолепных апельсина. Потом, сообщив ему новости о своем большеголовом ребенке, она усаживается в узком проходе между койками вместе с мужем, который молчит, словно воды в рот набрал. Джек тоже не говорит ни слова. Его широко раскрытые глаза неподвижно уставились в пространство. О чем он думает? Но об этом могла бы догадаться разве только мать.

— Скажите, Джек, — вдруг спрашивает г-жа Белизер, — а что, если я схожу за вашей матушкой?

Угасший взгляд больного загорается, он с улыбкой смотрит на добрую женщину... Да, ему хочется именно этого. Теперь, когда он уже знает, что вот-вот умрет, он забывает все дурное, что сделала ему мать. Ему так нужно, чтобы она была тут, чтобы он мог прильнуть к ее груди! И г-жа Белизер уже устремляется к выходу, но разносчик ее удерживает, и они о чем-то шушукуются у изножья больничной койки. Муж не хочет, чтобы его жена шла туда. Он знает, что в ней кипит гнев против этой «шикарной дамы», знает, что она терпеть не может усатого мужчину и что, если ее не впустят в дом, она, пожалуй, поднимет крик, разбушует и, кто знает, может еще попасть в полицейский участок. А ведь Белнзера всю жизнь преследует страх перед полицейским участком. Разносчица хлеба знает, как робок ее муж, как просто выпроводить его за порог.

— Нет, нет! Будь спокойна, на сей раз я ее приведу, — говорит он под конец с такой решимостью, что его дражайшая половина соглашается.

И он уходит. 'Вскоре он уже на набережной Августинцев, но на этот раз добивается еще меньше.

— Вы куда? — спрашивает привратник, останавливая Белизера возле лестницы.

— К господину д'Аржантону.

— Это вы, кажется, вчера вечером приходили?

— Я самый, — простодушно подтверждает Белизер.

— Так вот, вам не к чему подниматься, у них никого нет... Они уехали за город, в деревню, и возвратятся не скоро.

За город? В такую погоду? В эдакую стужу? Того и гляди пойдет снег! Это кажется Белизеру невероятным. Он тщетно настаивает, говорит, что сын дамы тяжело болен, что он в больнице. Привратник слушает и мотает себе на ус, но не позволяет злополучному гонцу перешагнуть через половичок, лежащий перед лестницей. И вот Белизер опять на улице, в полном отчаянии. Вдруг ему приходит в голову великолепная мысль. Джек так и не объяснил, что именно произошло между ним и Ривалями; он только сказал, что женитьба его расстроилась. Но еще в Эндре, а потом в Париже, с тех пор как Джек поселился у Белизеров, между ними нередко заходила речь о доброте старого доктора. А что, если он, Белизер, разыщет доктора и приведет к смертному одру своего бедного товарища этого милого человека, друга Джека? Решены Белизер заглядывает домой, взваливает на спину свою корзину — без нее он никогда не пускается в путь, — и вот он уже, дрожа от холода и согнувшись в три погибели, бредет по большой дороге в Этьоль, по той самой дороге, на которой Джек впервые с ним повстречался. Увы! Читателю уже известно, что ждало шляпника в конце этого далекого пути.

Между тем г-жа Белизер все сидит у изголовья Джека и не знает, чем объяснить долгое отсутствие мужа, не знает, как унять тревогу больного, а больной, надеясь увидеть мать, пришел в крайнее волнение. Это волнение возрастает из-за того, что по воскресеньям посетители приходят почти ко всем. С улицы, с нижней площадки лестницы, уже долетает смутный гул и топот шагов, которые особенно громко звучат на плитах двора, в длинных коридорах. Каждую минуту отворяется дверь, и Джек с надеждой смотрит на входящих. В большинстве это рабочие или опрятно одетые мелкие торговцы; они снуют по узким проходам между койками, беседуют с больными, которых пришли навестить, подбадривают их, стараются рассмешить анекдотом, семейными воспоминаниями или рассказом о нечаянной встрече на улице. Нередко голос у них пресекается от сдерживаемых слез, но они стараются, чтобы глаза оставались сухими. Звучат неловкие фразы, временами наступает тягостное молчание: не так-то легко здоровому человеку говорить, понимая, что слова его падают на измятую подушку умирающего! Джек смутно слышит негромкое жужжание голосов, до него доносится запах апельсинов. Всякий раз, когда входит новый посетитель, Джек испытывает разочарование: ухватившись за подвешенную на веревке палочку, он приподнимается, убеждается, что это не мама, и, ослабевший, удрученный, откидывается на подушку. Как это бывает с умирающими, жизнь, которая едва теплится в нем, эта нить, которая становится все тоньше и тоньше, связывает его отныне не с бурными годами юности-для этого она слишком слаба, — а с самыми ранними годами детства. Джек снова становится ребенком, и теперь он уже не рабочий-механик, а маленький Джек (не Жак!), крестник лорда Пимбока, златокудрый малыш в бархатном костюме, сын Иды де Баранси, и он ждет свою маму...

Но ее нет!



А люди между тем все идут и идут — женщины, дети, совсем еще несмышлениши. Они с изумлением останавливаются, заметив, как осунулся отец, впервые увидев его в казенном, больничном халате, радостно восклицают, разглядев все чудеса престола, так что монахине с трудом удается их унять. Но мать Джека все не появляется. Разносчица хлеба исчерпала запасы своего красноречия. Она высказала предположение, что захворал д'Аржантон, что в воскресенье люди обычно уезжают за город. Больше она уже ничего не может придумать и, чтобы скрыть свое замешательство, расстилает на коленях цветастый носовой платок и принимается чистить апельсины.

— Она не придет!.. — восклицает Джек, как он уже однажды восклицал, нетерпеливо шагая по флигельку в Шаронне. Только теперь голос его звучит хрипло, и, несмотря на слабость, в нем слышится гнев: — Я уверен, что она не придет!

Несчастный в крайнем изнеможении закрывает глаза. Теперь он размышляет уже об иных горестях, вспоминает о своей разбитой любви и беззвучно зовет: «Сесиль!.. Сесиль!» — но так, что этот вопль души не слетает с его немых уст. Заслышав стон, подходит монахиня и тихо спрашивает г-жу Белизер, широкое лицо которой блестит от слез:

— Что с ним, с бедненьким?.. Ему как будто хуже?

— Это он все из-за матери, сестрица, мать к нему не идет... А он все поджидает ее... И убивается, бедняга!

— Надо ее поскорее известить.

— Муж пошел туда. Только, видите ли, она больно важная дама. Видно, боится замарать свой наряд в больнице...

Внезапно она вскакивает, дрожа от гнева.

— Не плачь, дружок, — обращается она к Джеку так, будто говорит со своим малышом, — я сама пойду и разыщу твою мамашу.

Джек слышал, что она ушла, но по-прежнему повторяет хриплым голосом, не сводя глаз с двери:

— Она не придет... Она не придет!..

Сиделка пытается утешить его:

— Полно, дружок! Успокойтесь!..

И вдруг он приподнимается, страшный, как призрак, и начинает говорить, точно в бреду:

— Я же сказал: она не захочет прийти... Вы ее совсем не знаете: это скверная мать. Все, что было тяжелого в моей жизни', происходило из-за нее. Мое сердце — кровоточащая рана. Столько она нанесла мне ударов!.. Когда тот,

другой, прикинулся больным, она бросилась к нему и не захотела с ним расстаться... А я — я умираю, и она не хочет прийти... Злая, злая, скверная мать! Это она меня убила и даже не хочет поглядеть на меня перед смертью!

Обессиленный от этой вспышки гнева, Джек опять в изнеможении откидывается на подушку. Монахиня снова склоняется над ним, утешает его, уговаривает, а тем временем недолгий зимний день печально угасает в желтоватых сумерках, предвещающих снег.

Шарлотта и д'Аржантон выходили из экипажа на набережной Августинцев. Они возвращались

с концерта — расфранченные, в мехах, в светлых перчатках; на Шарлотте был бархатный костюм, отделанный кружевами. Она сияла. Подумать только! Она вновь появилась на людях вместе со своим поэтом» появилась во всей красе. Она и впрямь была хороша в тот вечер, лицо ее раздумянилось от холода» она была укутана в меха, в обрамлении которых женская красота сверкает, искрится, как драгоценный камень, лежащий среди мягкой ваты в бархатном футляре. Простая женщина, рослая и сильная, стоявшая, как страж, у дверей, бросилась ей наперерез:

— Сударыня, сударыня!.. Идемте скорей!

— Госпожа Белизер! — бледнея, пробормотала Шарлотта.

— Ваш сын опасно болен... Он вас зовет... Пойдемте!

— Да что это за напасть!.. — вспыхнул д'Аржантон. — Дайте нам пройти... Если этот господин болен, мы придем к нему своего врача.

— Врачей у него довольно, у него их больше, чем надо, он в больнице.

— В больнице?

— Да, сейчас он там, но будет там недолго, так и знайте... Если хотите застать его еще в живых, то не мешкайте.

— Пойдем, пойдем, Шарлотта, все это наглая ложь... За этим кроется подвох... — твердил поэт, стараясь увлечь свою спутницу в подъезд.

— Сударыня! Ваш сын отходит... Ах, разрази, господь, и откуда только берутся такие матери!

Тут Шарлотта не выдержала.

— Ведите меня, — сказала она.

Женщины пустились бегом по набережной, а разъяренный д'Аржантон застыл на месте: он был убежден, что все это козни его врага.

Не успела разносчица хлеба отойти от больницы, как там появились двое запоздалых посетителей — девушка и старик: на их лицах была написана тревога, и они торопливо пробирались сквозь шумную толпу людей, уже покидавших больницу-

— Где же он?.. Где же он?..

Прекрасное лицо склонилось над койкой Джека.

— Джек, это я!.. Сесиль!

Ну да, это она, она! Ведь это же ее лицо — чистое, побледневшее от бессонных ночей и пролитых слез, и рука, которую он судорожно сжимает, — та самая благословенная рука, которая некогда сделала его таким счастливым, и тем не менее она тоже причастна к тому, что он оказался здесь, в больнице. Судьбе порою свойственна изощренная жестокость — она наносит удар исподтишка, руками самых лучших, самых близких вам людей. Больной открывает и снова закрывает глаза; он хочет убедиться, что не грезит. Но Сесиль тут. Он слышит ее голосок, звенящий, как серебряный колокольчик. Она обращается к нему, просит у него прощения, объясняет, почему заставила его столько выстрадать... Ах, если бы она раньше могла предположить, что их судьбы так схожи!.. И чем больше она говорила, тем спокойнее становилось на душе у Джека; гнев, горечь, мука уступали место великому покою.

— Так вы меня по-прежнему любите? Правда?

— Я всегда любила только вас, Джек... И буду любить вас всю жизнь!

Слова любви, произнесенные шепотом под сводами больничной палаты, видевшей немало смертей, прозвучали необыкновенно отрадно, словно голубка нечаянно залетела сюда и хлопала крыльями в складках больничных занавесок.

— Какое счастье, что вы пришли, Сесиль! Теперь я уже ни на что не жалуюсь. Теперь мне и умереть не страшно, и я умру возле вас, примирившись с судьбою.

— Умрешь! Кто это тут толкует о смерти? — пробасил доктор Риваль. — Не бойся, сынок, мы тебя поставим на ноги. Ты уже и сейчас выглядишь лучше, чем тогда, когда мы вошли.

И в самом деле, Джек преобразился, — то был прилив жара, тот предзакатный отблеск, какой уходящая жизнь и заходящее светило отбрасывают вокруг себя последним великолепным усилием. Джек все еще не выпускал руку Сесиль, он припал к ней щекою и как бы отдышал, с любовью шепча:

— Вы подарили мне все, чего мне не хватало в жизни. Вы стали для меня всем: подругой, сестрой, женой, матерью!

Но возбуждение его тотчас же угасло, уступив место вялости и оцепенению, лихорадочный румянец сменился мертвенной бледностью. И тогда все разрушения, причиненные недугом, стали отчетливо заметны на его судорожно исказившемся лице; дыхание вырывалось у него из груди со свистом. Сесиль испуганно, умоляюще смотрела на деда. Больничная палата постепенно погружалась во тьму, и сердца всех, кто находился тут, сжимались, словно люди предчувствовали, что близится нечто еще более скорбное, еще более таинственное, чем ночь. Джек попытался привстать, глаза его широко раскрылись.

— Слышите!.. Слышите!.. Кто-то поднимается по лестнице... Это она!

На лестнице свистел зимний ветер, негромко переговаривались расходившиеся посетители, с улицы доносился гул. Джек опять напряг слух, пробормотал что-то невнятное, потом голова его снова упала на подушку, глаза вновь закрылись. И все же он не ошибся. Две женщины бегом поднимались по ступенькам. Их пропустили, хотя прием посетителей уже кончился. Но в некоторых случаях правила нарушаются, препон не ставят. Миновав больничный двор, одолев все лестницы, Шарлотта подбежала к дверям палаты св. Иоанна Богоугодного и вдруг остановилась.

— Мне страшно!.. — прошептала она.

— Ладно, ладно! Чего уж теперь... — буркнула ее спутница. — О господи! Такие женщины, как вы, не должны иметь детей!

Она подтолкнула ее. И мать одним взглядом охватила все: большую унылую комнату, зажженные ночники, чьи-то призрачные коленапреклоненные фигуры, тени, падавшие от занавесок, больничную койку в глубине, двух понурившихся мужчин и Сесиль Риваль, бледную как смерть, такую же бледную, как тот, чью голову она поддерживала рукою.

— Джек, мальчик мой!

Доктор Риваль обернулся.

— Тсс! — сказал он.

Все прислушались. Невнятный шепот, тихий стон и, наконец, глубокий вздох...

Шарлотта робко подошла, ноги у нее подкашивались. Это был ее Джек, но лицо у него окостенело, руки вытянулись вдоль неподвижного туловища. Она, как потерянная, уставилась на его губы, но он уже не дышал.

Доктор Риваль склонился над койкой.

— Джек, друг мой! Это твоя мама... Она пришла.

Несчастливая мать простерла руки, готовясь при первом знаке кинуться к сыну.

— Джек!.. Это я!.. Я тут!

Он остался недвижим.

У матери вырвался вопль:

— Умер?!.

— Нет! — в ярости воскликнул доктор Риваль. — Нет!.. ОТМУЧИЛСЯ!

## Примечания

1

Двор чудес. — В XV–XVI веках так называли кварталы притонов, где ютилась голытьба. Парижский Двор чудес описан Гюго в «Соборе Парижской богородицы».

2

Фактотум (от лат. *fac totum* — делай все) — слуга, годный на любое поручение.

3

Пуэнт-а-Питр — город в восточной части Гваделупы, в те годы — французской колонии.

4

Агентство «Веритас» — международное общество по регистрации морских судов; ежегодно публиковало подлинные данные о состоянии торговых и пассажирских кораблей разных

стран, компаний и т. д.

5

Ашанти — африканское племя, обитавшее в Гвинее.

6

Фенелон, Франсуа де Салиньяк (1651–1715) — французский педагог, моралист и Писатель, автор романа «Приключения Телемаха» (1699). С 1689 года был учителем герцога Людовика Бургундского, внука Людовика XIV.

7

Госпожа Севинье, Мари де Рабютен-Шанталь (1626–1696), прославилась своими письмами к дочери, в которых она с поразительной наблюдательностью, живостью и яркостью описывает жизнь двора Людовика XIV. Изданные в 1726 году, ее письма до сих пор считаются образцом эпистолярного стиля.

8

Оцелот — хищное животное из семейства кошачьих, живет в Центральной Америке.

9

Атены — в древней Греции — храм богини мудрости Афины; позднее так стало называться собрание ученых. Пританы — в античных Афинах общественное здание, где получали обед за счет государства дежурные члены Совета — пританы — и наиболее именитые граждане, которым было дано это право за их заслуги перед городом.

10

Берцелиус, Ионе Якоб (1779–1848) — выдающийся шведский химик.

11

Не у дел (лат.)

12

Просодия — наука о долготе и краткости гласных звуков в слогe и о строении стоп в стихах.

13

Виконт д'Арленкур. Шарль-Виктор Прево (1789–1856) — французский писатель, автор бездарных и напыщенных поэм, трагедий и псевдоисторических романов.

14

Монитор — броненосное судно; называлось оно так по имени первого броненосца, введенного в бой во время Гражданской войны в Америке.

15

Шарлотта — героиня романа Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

16

Американские каменоломни — занимающие больше трех га разработки белого камня в предместье Парижа Бельвиле.

17

Замок Этьоль принадлежал мужу г-жи Помпадур Ленорману д'Этьолю.

18

Французский театр — второе название театра Французской комедии.

19

Благословенный хлеб — частицы просфоры; их раздают молящимся в церкви во время богослужения.

20

Сироп аз камеди (лат.).

21

«Немая из Портичи» — опера французского композитора Обера (1782–1871); впервые поставлена в 1828 году. «Геркуланум» — опера композитора Фелисьена Давида (1810–1876); впервые поставлена в 1859 году.

22

Коллекция Панкука — серия книг латинских авторов с оригинальным текстом и французским переводом; издавалась с 1828 года французским литератором и издателем Шарлем Панкуком (1780–1844).

23

Лига — объединение дворян-католиков, созданное в 1576 году под главенством герцога Генриха Гиза с целью борьбы с «гугенотами» — кальвинистами.

24

ария Фауста из первого акта оперы Гуно.

25

Бьевра — протекающая через Париж речка, куда сливались промышленные воды, сбрасывались нечистоты и т. п. Прежде — приток Сены; в настоящее время отведена в трубы городской канализации.

26

Арпан — старинная мера площади во Франции, около 0,4 га.

27

Теперь ученики в Эндре живут отдельно от взрослых рабочих. У них свои мастерские, свой инструмент, своя особая, посильная для них работа. Эндре превратился в образцовую школу заводского ученичества. (Прим. автора.)

28

Имеется в виду сочинение римского писателя и философа Сенеки (4 г. до н. э.- 65 г. н. э.) «Письма к Луцилию», представляющие собой рассуждения на моральные темы в форме посланий к другу.

29

Перевод М. Лозинского.

30

Джагернаут — индийское божество, на празднике которого фанатически настроенная толпа бросалась под колеса «священной колесницы бога».

31



Бурре — старинный французский народный танец.

32

Имеется в виду вензель Дианы де Пуатье (1499–1566), фаворитки короля Генриха II.

33

Моряки французского флота делятся на две большие категории: «Моко» и «Понанте», то есть на провансальцев и бретонцев, на жителей Юга и жителей Севера. (Прим. автора.)

34

«Обозрение Старого и Нового Света» («Revue de deux Mondes») — французский литературный журнал, выходил с 1828 по 1944 год. В нем сотрудничали Бальзак, Александр Дюма-отец, Сент-Бёв и др.

35

в Париже народ называет водку. Вино именуется «винцом». (Прим. автора.)

36

Гендель, Георг Фридрих (1685–1759) — великий немецкий композитор, автор опер, ораторий, инструментальных сочинений. Палестрина, Джованни Пьерлуиджи (1525–1594) — величайший композитор итальянского Возрождения, прославившийся своей церковной музыкой.

37

Вельпо, Альфред Армав (1795–1867) — знаменитый французский хирург; начал учиться, оставаясь подмастерьем в кузнице своего отца.

38

Эвридика (грея, миф.) — жена певца Орфея; после ее смерти он спустился за вей в царство мертвых, чтобы вывести ее оттуда.

39

«Парижские тайны»-роман Эжена Сю (1842-43); Флерде-Мари-героиня романа, внебрачная дочь князя Родольфа Герольштейнского, попавшая на дно. ставшая проституткой, во сохранившая душевную чистоту.

40

Поль и Виргиния — герои одноименного романа Бернардена Де Сен-Пьера (1788).

41

«Гимен! О Гименей!» — призма к богу брака Гименею — припев «эпиталамиев» (брачных гимнов) у древних греков и римлян.

42

Зейдер-Зе — залив в Голландии.

43

Герцог Данцигский — наполеоновский маршал Франсуа-Жозеф Лефевр (1755–1820). выслужившийся из рядовых солдат.

44

Жена герцога Данцигского Катрин Лефевр была в молодости прачкой Она является героиней известной пьесы Сарду «Мадам Сан-Жен» («Катрин Лефевр»).

45

Горбун — герой одноименного авантюрно-исторического романа Поля Феваля (1857). написанного в подражание «мушкетерским» романам Дюма.

46

Фагон, Ги Кресан (1638–1718) — французский врач и ботаник, лейб-медик Людовика XIV.

47

Лабрюйер. Жан (1645–1696) — французский писатель, автор книги «Характеры и нравы нашего века», где он с беспощадной правдивостью нарисовал картину жизни современного ему общества

48

Фрина (IV в. до и в.) — афинская гетера (куртизанка). отличавшаяся необыкновенной красотой Когда она, обвиненная в нечестия, предстала перед судом обнаженной, ее оправдали за красоту.